ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

СВЕТ В НОЧИ

(о „Преступлении и наказании“)

COUSB

Свет в ночи

ГЕОРГИЙ МЕЙЕР

СВЕТ В НОЧИ

(о «Преступлении и наказании»)

ОПЫТ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ

ПОСЕВ

1967

© 1967 by Possev-Verlag V. Gorachek KG
Frankfurt/Main
Printed in Germany

Георгий Андреевич Мейер

ГЕОРГИЙ АНДРЕЕВИЧ МЕЙЕР

Георгий Андреевич Мейер родился 7 февраля 1894 г. в Симбирской губернии. Предок его Мейер фон Зегевольт был выходцем из ливонского рыцарства. При Иване Грозном он пришел на службу в Россию, принял православие и остался в ней навсегда. Отец Г. А. Мейера родился в Перми, окончил в Москве медицинский факультет, а до того — ветеринарный институт. Работал в Удельном ведомстве. Он был женат на М. О. Аксаковой. От этого брака родилось у них пятеро детей: три дочери и два сына, Георгий Андреевич был вторым ребенком в семье. Детство Г. А. Мейер провел в Самарской губернии, в Аксаковском имении своей матери. До конца жизни у него осталась большая любовь к деревне и отвращение к городу.

С самого раннего детства Г. А. Мейер отличался свободолюбивым, горячим и независимым характером, тянулся к простым людям; отлично говорил в детстве по-мордовски и с отвращением относился к урокам французского языка. Одним из больших друзей его был кучер их семьи — Иван Галкин, благодарную память о котором Мейер пронес через всю свою жизнь. Игры с деревенскими мальчишками, русскими и мордовскими, поездки в ночное, пребывание в конюшне у своего друга-кучера, вместе с лошадьми и собаками, были счастливейшими часами его детства. Но бывало и так, что наступали часы иные — детского сосредоточенного внимания на окружающем его мире, часы спокойного и чуткого раздумия: мальчик мог целыми часами лежать в траве, наблюдая за незаметной жизнью насекомых, за пробивающимися из-под весенней земли росточками. Всё от самого мелкого до самого грандиозного в этой суровой природе приуральского края он замечал и запоминал на всю жизнь, а память у него была исключительной.

Г. А. Мейер нежно любил свою мать, всю свою семью и тетку — крестную мать Ольгу Григорьевну, внучку С. Т. Аксакова, которой писатель, теряя в последние годы зрение, диктовал свою «Семейную хронику».

Пристрастие к литературе у Г. А. Мейера обнаружилось с ранних лет. В их доме и в доме крестной матери были огромные библиотеки, а читать ему разрешалось решительно всё. Благодаря этому, в нем вырабатывался совершенно самостоятельный литературный вкус. Но всегда, с самого начала, особенно привлекала его поэзия. Почти всего Пушкина он знал наизусть и увлекался им, пока трафаретное школьное толкование не охладило его. К 14 годам он отлично знал Фета, а в 16 лет, случайно раскрыв книгу Баратынского, был потрясен им. Эта любовь осталась на всю жизнь. Баратынский стал его «Вечным Спутником».

Второй страстью юноши была оперная музыка. Он очень часто бывал в опере, иной раз, на каникулы, и по два раза в день. В доме у них часто бывали оперные артисты. Г. А. Мейеру, несмотря на его юный возраст, всегда был доступ за кулисы. Много и живо рассказывал Мейер о певцах, о их ролях и голосах, в которых прекрасно разбирался. Сам он обладал отличным драматическим тенором и, будучи в Москве, учился у знаменитой Терьян Каргановой. Так, как его в свое время потряс в русской поэзии Баратынский, в оперной музыке потряс «Борис Годунов», который в те годы еще не имел у широкой публики успеха.

Семья Г. Мейера была глубоко религиозной. И он с юных лет любил посещать монастыри, перед самой войной был у последнего старца в Оптинской пустыни, беседовал с ним и был свидетелем его прозорливости. У матери Г. А. Мейера было два особо чтимых святых: Иоанн Креститель и князь Александр Невский. Как-то под Крещенье, при переезде зимой на лошадях через реку, мать, отец и Г. А. Мейер, будучи еще ребенком, попали в прорубь и чуть не утонули. К счастью, на берегу была деревня, и их троих вместе с кучером спасли, но лошадей, как ни пытались, спасти не смогли. Всю свою жизнь Г. А. Мейер помнил их тонкое ржание, когда они

уходили под лед. Считая, что под Крещенье мог их спасти Иоанн Креститель, мать Мейера дала обет служить во все дни Иоанна Крестителя молебны. Сын до своей смерти честно исполнял обет своей матери. Что касается второго святого — Александра Невского, то и с ним было многое связано в его жизни: во время Первой мировой войны Г. А. Мейер попал в полк св. Александра Невского, мать благословила его образком этого святого. С ним прошел он жестокие, кровавые бои, пережил болезни, лишения, ранения. В Константинополе, попав с Белой армией в эмиграцию, он как-то обронил образок на улице. Велико было его горе, когда он заметил пропажу. На другой день, проходя по главной улице, он встретил турка, который, подавая ему образок. сказал: «Это, видимо, русский потерял. Передайте, если найдете, кто».

По окончании реального училища Г. А. Мейер поступил в университет на филологический факультет, но, пробыв там год, однажды явился к отцу и заявил, что оставаться в этом «рассаднике революции» не желает и перейдет на военную службу. А чтобы не терять года при поступлении в военное училище, он пойдет раньше срока в вольноопределяющиеся. После краткого пребывания в гусарском полку Г. А. Мейер перешел в пехотный полк св. Александра Невского и всю войну, вплоть до революции, провел в нем, участвуя в кровавых, тяжелых боях. Был несколько раз ранен и перенес натуральную оспу.

Приближалась февральская революция. Когда пришло известие на фронт об отречении государя, командир полка, в котором состоял Г. А. Мейер, собрал офицеров. Выслушав странную весть, Мейер, отличавшийся большой дисциплинированностью, громко сказал:

— Ну, теперь Россия пропала!

Командир: На каком основании вы позволяете себе высказывать ваше мнение?

— На том основании, господин полковник, что теперь — «свобода».

— Довольно, идите и объявите это вашим солдатам.

Когда Г. А. Мейер объявил это своему фельдфебелю, тот заплакал. Мейер, желая его утешить, сказал, что еще все может обойтись. Но тот, безнадежно вздохнув, сказал:

— Эх, ваше благородие, молоды вы, не знаете нашего народа. Пропала Россия...

Когда же вслед за этим пришло время присягать Временному правительству, Г. А. Мейер категорически отказался, несмотря на опасность с этим связанную, сказав при этом:

— Я присягал государю и свою присягу, как перчатки, не меняю.

Одним из первых Г. А. Мейер записался в Белую армию. Эта эпопея была проделана им, как и другими белыми офицерами, в страшных условиях, сопровождавшихся болезнями, холодом и голодом. Наступило время «Ледяного похода». За него Г. А. Мейер получил, как и все его участники, медаль: терновый венец с мечом. В приказе значилось: за беспримерное геройство и перенесенные лишения. Мейер лично хорошо знал Корнилова, часто играл с ним, при всяком затишье от боев, в шахматы. Корнилов был убит на его глазах. Всю последующую гражданскую войну Г. А. Мейер провел в Белой армии при генерале Казановиче, отличавшимся беспредельной отвагой и водившим свои войска в самый огонь.

Затем началась эвакуация, сначала из Новороссийска, а затем из Крыма. В Константинополе Г. А. Мейера настигли новые мытарства и лишения. Был и голод, и ночевки в пустых могилах на турецком кладбище; но бывали и просветы: преподавание русского языка жене американского директора, русский клуб «Очаг», в котором Г. А. Мейер часто читал доклады о русской поэзии для русской эмиграции. Как-то в «Очаге», благодаря своей исключительной памяти и знанию русской поэзии, Г. А. Мейер выиграл значительное пари, читая в течение двух часов, без остановки и не разу не повторившись, стихотворения русских поэтов.

В 1923 г. перед эмигрантами стала новая проблема: принять турецкое подданство или покинуть Турцию. К этому времени почти все культурные силы сосредоточились в Па-

риже. Бальмонт, к которому Г. А. Мейер обратился, выхлопотал ему с женой въезд во Францию. В Париже самыми близкими домами в первые годы были для него дом Бальмонта и писателя Корчемного.

В начале 20-х годов в Париже возник журнал «Русская Земля», редактировал его Г. А. Алексинский, издателем был Добронравов, что и определяло монархическую направленность печатного органа. В него пригласили постоянным сотрудником Г. А. Мейера, где он и работал до закрытия журнала, последовавшего после смерти Добронравова.

Скромная комнатка в маленьком отеле, где Г. А. Мейер с женой прожили семнадцать лет, вплоть до начала Второй мировой войны, посещалась многими интересными людьми — писателями, поэтами, певцами, художниками. Среди них были Бальмонт, Корчемный, Крачковский, художник Коровин, Беляев, певцы из Миланской «Скала», Горянский, гр. Салтыков. После войны Г. А. Мейер сблизился с композитором Вл. Полем, поэтами Г. Ивановым и Вл. Смоленским.

Потеряв работу после закрытия журнала «Русская Земля», Г. А. Мейер вынужден был стать парижским шофером и в течение двух лет ездил таксистом. И лишь после открытия газеты «Возрождение» Г. А. Мейер мог оставить эту работу: его пригласили стать постоянным сотрудником «Возрождения», в котором он и проработал до самой войны, 1940 г.

Во время немецкой оккупации Г. А. Мейер с женой жили в большой нужде, идти на сотрудничество с немцами он не мог и не желал, зная, как немцы ведут себя в России. Уже в те годы он утверждал, что несмотря на исключительно выгодное положение немцев в Европе, несмотря на их блестящие победы, они войну проиграют — их погубит их отношение к России.

В этот период Г. Мейер и артист Янчевский создали союз писателей и артистов. Часто устраивали спектакли. Также удалось Г. Мейеру достать зал для занятий с молодежью русской литературой. После ухода немцев этот кружок молодежи разросся, собирались у частных лиц, приходили к ним

люди и среднего возраста. Сам Г. А. Мейер часто читал публичные лекции по литературе, обычно с музыкальной программой во второй части. Были у него ученики-французы.

По приглашению Гукасова Г. А. Мейер одно время неофициально возглавлял толстый журнал «Возрождение», возникший из одноименной газеты. Но впоследствии идеологические разногласия вынудили Г. Мейера оставить не только работу в «Возрождении», но и перестать в нем публиковать свои статьи. После нескольких лет молчания статьи Г. А. Мейера стали появляться в журнале «Грани». Первой была работа «Неузнанный поэт бессмертия» (Грани № 41/1959 г.), о творчестве К. К. Случевского. Затем в этом же журнале стали появляться отдельные главы из книги Г. Мейера о Достоевском, которую он в тот период писал.

Эти главы вызвали горячий отклик среди читателей. Г. А. Мейер получал большое количество писем. В одном из них автор пишет: «...моя внутренняя жизнь делится на два периода — до чтения глав Вашей замечательной книги, и другой — после прочтения их. Вы много мне дали духовно». В другом: «Я пережила тяжелую утрату, и Ваша глава из книги о Достоевском «Свет в Ночи» меня единственно поддержала духовно». Газеты эмиграции давали на каждую новую вышедшую главу подробные и положительные отзывы. Очень высокого мнения об этой книге был покойный ныне С. К. Маковский. О Достоевском читал Г. А. Мейер с большим успехом на открытых собраниях. Приглашал его Институт славянских языков. Читал также доклады французским и английским студентам; после одного из них английские студенты устроили Г. А. Мейеру овацию. Читал в клубе «Aux deux aurs» основанном для усовершенствования русского языка.

В течение всего периода своей эмигрантской жизни Г. А. Мейер опубликовал ряд статей на различные темы. Каждая из них — значительна, оригинальна по мысли, ценна по содержанию. Приведем неполный, к сожалению, список

его работ, которые в высшей степени достойны быть изданы отдельной книгой:

Неразгаданные лики и символы; «Бунтующие» герои Пушкина; «Черный человек» (о «Моцарте и Сальери»); Баратынский; Баратынский и Пушкин; Баратынский и Достоевский; Жало в духе (место Тютчева в метафизике русской литературы); Недруги Лермонтова; Фаталист; Неузнанный поэт бессмертия (о К. К. Случевском); Поэзия Кольцова; Поруганное чудо; У истоков революции; Достоевский и всероссийская катастрофа; Интервенция и гипноз революции и другие.

В 1959 г. Мейер с женой переехали в деревню, вблизи от Парижа, где он, в почти полном уединении, продолжал работать над своей книгой о Достоевском. Здесь же начала проявлять себя болезнь, подкравшаяся незаметно. Домашний врач не узнал ее вовремя и лечил Г. А. Мейера от простуд, в то время как он страдал нехваткой белых кровяных шариков. Пришлось лечь в госпиталь, где его мучали различными тяжелыми исследованиями. Однажды в палату его вошло десять молодых врачей, со стульями в руках. Г. Мейер с ужасом смотрел на них, ожидая, что его вновь будут «изучать». Каково же было его удивление, когда они заявили, что пришли задавать ему вопросы о Достоевском. Беседа длилась сорок минут. Уходя, они заявили, что если его книга будет переведена на французский, они немедленно ее приобретут.

Болезнь ни вылечить, ни остановить всё же не удалось. Пребывание в деревне, а затем на океане мало помогло. В сентябре 1965 г. жена Г. А. Мейера попала в автомобильную катастрофу и была ранена в голову. Несмотря на то, что она поправилась, шок для Г. А. Мейера был так велик, что хрупкое его здоровье не вынесло потрясения. Болезнь резко усилилась и 7 февраля 1966 г. свела его в могилу. Он скончался в госпитале в Диеппе. Погребен на кладбище в Медоне.

Смерть нарушила планы Г. А. Мейера: после книги о Достоевском он лелеял мечту написать книгу о Баратынском, о своем «Вечном Спутнике», которого он всю жизнь любил и глубоко, проникновенно понимал.

Но и книгу о Достоевском не удалось Г. А. Мейеру завершить: ему оставалось написать последнюю, заключительную главу и предисловие, в котором он хотел объяснить, что «повторения», встречающиеся в книге, делались им умышленно, чтобы подчеркнуть ими самые значительные у Достоевского места и мысли. Его также очень огорчало, что не все читатели улавливали его мысль о «метафизике встреч».

Приведенные выше две цитаты из писем его читателей характерны для всего творчества Г. А. Мейера и в особенности для его книги о Достоевском. Эта книга — особый анализ жизни и всего того, что входит в ее круг, в первую очередь, мы сами. Это — анализ с позиций нашей совести, нашего духа.

«...романы Достоевского никого и ничего не изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их, касаются миров иных... самая важная, главная, ценная и неповторимая особенность гения Достоевского — это его способность бесстрашно разворачивать перед нами свиток нашей совести».

Именно в силу этого ви́дения Достоевского книга Мейера может расколоть жизнь его читателя на два разных периода, может сообщить духовную силу, принести подлинное утешение в самых страшных потерях.

Через Достоевского, «писателя высших реальностей», показывает нам Мейер иное, чем мы знаем, устройство мира и нашей человеческой жизни, то реальнейшее из реальных, о котором в течение двух тысяч лет повествует нам Евангелие. А призыв к медленному чтению, который запечатлен в подзаголовке этой книги, не только определяет ее направлен-

ность, но против течения нашей эпохи, — суетной, поверхностной, торопящейся, неуспевающей — приближает нас к новой человеческой эре неторопливого глубинного проникновения в жизнь, во все ее измерения и планы, в подстерегающую нас вечность.

Н. ТАРАСОВА

Топор Раскольникова

I

Года за три до начала Второй мировой войны собралось в Париже у гостеприимных хозяев в доме довольно большое и разнообразное общество говорящих по-русски французских дипломатов и профессоров, русских эмигрантских литераторов, мыслителей, богословов, бывших судебных деятелей и офицеров. В гостях, когда многие из собравшихся впервые встречаются друг с другом, обычно пьют, едят, играют в карты и серьезных вопросов не затрагивают. Так и на этот раз речь шла о том, о сем, а больше ни о чем. Случайно и вскользь разговор коснулся некоторых особенностей русского языка, устарелых оборотов, неупотребительных форм, и кто-то, в пример неблагозвучия и неправильного словообразования, привел двустишие поэта, вообще известного безукоризненной грамотностью, отлично владеющего стихом:

И Раскольников старуху
Зарубает топором.

Все согласились, что «зарубает» звучит во всех отношениях нехорошо. Но, помню, меня поразило тогда, почему никто не заметил другой, неизмеримо более важной оплошности, допущенной в двустишии. А среди присутствующих находились едва ли не все самые лучшие, весьма известные, всеми признанные знатоки Достоевского, напечатавшие разновременно множество статей и книг о его творчестве. Все же, говоря откровенно, удивил меня в тот вечер один только Ремизов, тончайший ценитель художества, справедливо видевший в Достоевском не философа и психолога, как это

ныне по печальному недоразумению принято думать, а, прежде и после всего, величайшего художника, писателя высших реальностей. Впрочем, вполне допустимо, Ремизов промолчал, подобно мне, не желая углублять поверхностной беседы, вызывать бесполезного спора.

Я не знаю, справедлива ли моя догадка, и жалею, что никогда потом не говорил с ним об этом. Но мне тогда же пришло на память известное утверждение Ницше, что крайне редко попадаются на свете люди, владеющие искусством медленного чтения.

Настояший читатель никогда не остается пассивным. Он сотворчествует с художником, зорко следя за развитием темы и фабулы, сопоставляя все детали, не упуская ничего. Осуществлять это чрезвычайно трудно даже при чтении реалистического романа, царившего в прошлом веке над умами и сердцами, и первейшим мастером которого надо считать Льва Толстого. Но при изучении романов-трагедий, романов-мистерий Достоевского, в особенности «Преступления и наказания», где буквально каждая подробность, каждый жест, каждый беглый намек преисполнены бездонного значения, малейшая ошибка читателя грозит обрушить им же самим, вслед за автором, возводимое здание.

В реалистическом повествовании читателю не всегда важно точно помнить, кто и от кого сидел направо или налево, кто и с кем поменялся местами и по каким именно внутренним причинам такой-то персонаж доводится, скажем, братом или дядей такой-то героине. Писатель реалистический не обязан обосновывать метафизически, почему те или другие события слагаются в его произведении так, а не иначе. От него мы вправе требовать лишь конкретных, житейски бытовых обоснований им изображаемых явлений. Он творит человеческие характеры, но личности человека, в духовном христианском смысле этого слова, не ведает. Для него собственное творчество развивается стихийно, почти бессознательно, в какой-то мере, безответственно. Он соображает и изображает, думает, но не мыслит. Творческое сознание и, следовательно, полная ответственность служителя

искусства возникает там, где начинается художественное мышление, к слову говоря, всячески далекое от каких бы то ни было философских абстракций. По Достоевскому, употребляя его же выражение, мысль, добрая или злая, «наклевывается, как из яйца цыпленок». И если она рождается от добра, то становится частицей высшего бытия и должна быть органичной, как все бытийственное. В отличие от философских мертвенных отвлечений, живая мысль облечена в свое особое духовное тело. Художник мышления обладает единственно верным искусством мысли и потому его творения одухотворены.

Реалистический роман изображает земной трехмерный мир людских характеров и природы, тогда как романы Достоевского никого и ничего не изображают, а раскрывают тайны человеческого духа и, познавая их, касаются миров иных. Художник мышления ничего общего не имеет ни с реалистическими течениями в искусстве, ни с так называемой ныне модной экзистенциальной философией, не только легкомысленного и вредного образца, изобретенного, например, Сартром, но и добросовестной, немецкой. Мысль настоящих художников мышления, творчески воплощаясь в слове, совпадает с подспудными, наиглубочайшими бытийственными процессами и становится их живым прообразом. Можно как угодно называть различные методы и отрасли философии, от этого философская мысль, в том числе именуемая экзистенциальной, не сделается инобытием существования — подлинным символом истинного бытия. Такая возможность дарована Творцом только церковному культу, неразрывно сращенному с религиозным обрядом, и высшим духовным стадиям художественного творчества. А философия обречена на абстракции. Она возводит вокруг и по поводу существования религии и искусства свое очередное отвлеченное построение, но не в силах приобщиться к ним, стать их живущим отражением.

1

Где все художественное прочувствовано и, сверх того, проникнуто живым *непосредственным* мышлением, там воплощенная мысль цепляется за мысль, жест за жест, поступок за поступок, событие за событие, встреча за встречу, как звено за звено, и порвать одно из звеньев значит обрушить все. Поэтому надо знать и твердо помнить, что Раскольников не зарубил ростовщицу, но, очутившись у нее за спиной, проломил ей череп обухом топора. А ростом был убийца намного выше своей жертвы. Таким образом, когда топор с размаху опускался на голову старухи, его лезвие глядело Раскольникову прямо в лицо. Что же, в данном случае, следует вывести из такого положения? Да решительно все, весь ход, весь замысел романа. В произведении искусства, созданном художником мышления, средоточие находится везде, окружность нигде. Проникнутое мыслью художественное творение — живой духовный организм — через любую его деталь постигается в целом. Так, по одному костному суставу может ученый, не боясь ошибиться, мысленно восстановить все кости животного, жившего миллионы лет назад и вообразить его во плоти.

По Достоевскому, человек неизменно обретается в центре мироздания. Для юного автора «Бедных людей» это было так по причинам довольно наивным, всего лишь гуманистическим, но для создателя «Преступления и наказания», для Достоевского, переродившегося на каторге в пламенного христианина, человек навсегда и во всех отношениях становится средоточием вселенной. От его жизни, судьбы и внутренней воли зависит животный мир, вся природа со всеми ее явлениями, климатом и погодой; в особенности подвластны ему изделия человеческих рук. Топор Раскольникова, нож Рогожина, нож Федьки Каторжного, кошелек, лежащий в кармане Ставрогина, пронизаны флюидами своих владельцев. Но только юродивая во Христе, ясновидящая хромоножка Марья Тимофеевна Лебядкина, живущая в миру отшельницей, способна разоблачить магию предметов, нагальванизированных злой человеческой волей. Одинаково

и добрая воля человека одушевляет вещи, его окружающие. Такова семейственная драдедамовая шаль Мармеладовых, таков пряничный петушок, которого нес пьяненький Мармеладов своим детям, когда был раздавлен на улице лошадьми: «Вообразите, Родион Романович, в кармане у него пряничного петушка нашли: мертво-пьяный идет, а про детей помнит!»

Все, подспудно и явно свершающееся в «Преступлении и наказании» вокруг топора, извилисто и сложно. Черных наваждений этого бесовского подарка в двух словах не выразишь. Именно с него, до поры до времени скромно лежавшего в каморке дворника под лавкой и вдруг блеснувшего в глаза Раскольникову, впервые намечается в романе крушение чрезмерно возгордившегося человека.

Согласно Достоевскому, выходит как будто, что окончательно решившийся на злое дело сразу же, с первого шага, лишается самостояния, теряет свою внутреннюю первородную свободу. Тогда уже не он властвует собой, а кто-то другой владеет им. Стоит только по совести разрешить себе пролитие крови, как этот другой, в просторечии именуемый чёртом, ввергает нас в круговорот роковых встреч, положений и событий и неизбежно влечет к преступлению. Нельзя ни на минуту забывать, читая «Преступление и наказание», «Бесов» и «Братьев Карамазовых», что в свои зрелые годы, после духовных прозрений, посетивших его на каторге, Достоевский по средневековому, подобно Гоголю, верил в реальное существование дьявола. Человек ответственен перед людьми и Богом не за фактически совершенное им убийство, но за помысел, по совести оправдывающий еще неосуществленное злодеяние. К «Преступлению и наказанию» следовало бы поставить эпиграфом четверостишие Баратынского, прямого предшественника Достоевского:

Велик Господь! Он милосерд, но прав.
Нет на земле ничтожного мгновенья.
Прощает Он безумию забав,
Но никогда пирам злоумышленья.

По догадке и Баратынского и Достоевского не за злое деяние, а за злое умышление карает нас Бог. Нет ничтожного, иначе говоря, случайного мгновения, и все, свершающееся в мире, заранее предуготовлено в наших душевных недрах. Недаром Иннокентий Анненский, глубже всех постигший творчество Достоевского, утверждал, что автор «Преступления и наказания» не только всегда разделял человека и его преступление, но не прочь был даже противополагать их друг другу. Не сам человек, а по его вине вошедшая в него злая потусторонняя сила вершит преступление. На этом Достоевский настаивает упорно, многократно. Ведь уже отточив, как бритву, свою казуистику, свое оправдание греха, по совести разрешив себе пойти и прикончить «вредную старушонку-процентщицу, заедающую чужой век», Раскольников все еще не верит, что вот он сейчас встанет, пойдет и, действительно, убьет ее. «Он просто не верил себе, — пишет Достоевский, — и упорно, *рабски* искал возражений по сторонам и ощупью, *как будто кто его принуждал и тянул к тому*. Последний же день, так нечаянно наступивший и все разом порешивший, подействовал на него почти совсем механически: как будто его кто-то взял за руку и потянул за собой, неотразимо, слепо, с неестественной силой, без возражений. Точно он попал клочком одежды в колесо машины и его начало в нее втягивать».

Раскольников сочинил свою убийственную теорию в слепом отъединении от людей, лежа в нищенской каморке. Но «нехорошо человеку быть одному». Непререкаемую правду этих библейских слов Достоевский всецело познал на себе, когда в ранней молодости, проходя через подпольный опыт, погибал в своем постылом одиночестве. Смертный грех гордыни, грех утверждения себя вне Бога настигает нас в уединении. И всеми своими творениями Достоевский говорит нам: «Живите с людьми, будьте с ними всегда. Лучше жить по нищенским углам в тесноте и темноте, враждовать друг с другом, мириться и снова враждовать, чем оставаться в одиночестве». Чёрт легче всего соблазняет одиночек. Отторженный от соборности, одинокий человек теряет веру и впадает в страшный грех самообожествления, потому что, сог-

ласно диалектике Достоевского, если нет Бога, то я Бог. Но неверие нисколько не мешает быть суеверным. Напротив, атеизм неминуемо приводит нас к суеверию. На первый взгляд странно и крайне парадоксально это звучит, но для Достоевского суеверие совсем не есть тщетная вера, направленная мимо Бога в пустоту. Нет, оно есть обличение злых реальностей, оно не что иное, как вера в дьявола и его приспешников. В «Бесах», на вопрос Ставрогина, можно ли, не веря в Бога, верить в существование бесов, епископ Тихон отвечает: «Очень можно и даже очень часто так бывает».

Порабощенный своей казуистикой, Раскольников сделался суеверным, он стал примечать, что чья-то темная таинственная воля завладевает им. «И во всем этом деле, — говорит Достоевский, — он всегда наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений».

Однако эти злые влияния и совпадения свершаются совсем не прямолинейно и не всеобъемлюще: с ними вступают в борьбу светлые ангельские силы, ниспосылаемые Богом, никогда не покидающим нас даже в нижайших наших падениях. Влекомый к преступлению неведомой властью, истерзанный противоречивой борьбой с собственной совестью, в глубине своей не принимающей оправдания греха, Раскольников возвращался домой после бесцельной, вернее же, не достигшей своей цели прогулки. Дойдя до Петровского Острова, он остановился в изнеможении, свернул в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул. Он увидел страшный сон об истязаемой пьяными мужиками лошади. Эта привидевшаяся ему во сне, насмерть забитая, ни в чем не повинная тварь олицетворяла собою душу Раскольникова, им же самим растоптанную, искалеченную его же злыми решениями. Это она — душа Раскольникова — силилась сбросить с себя путы навязанных ей умствующих теорий, мертвых абстракций. Ум, оторвавшись от сердца, губит нас. Он предается тогда духовному бунту и восстает на образ Божий, вложенный в нас Создателем. Оторванный от жизни сердца, отвлеченный, идеалистический ум превращается в завистливого лакея, ищущего гибели своего господина. Потому, между

прочим, абстрактный, философический подход к творениям Достоевского не различает в них главнейшего, а именно: высшей духовной пневматологической стадии художества, ничего общего с философией не имеющего и чуждого, временами даже враждебного, всему психологическому, душевно-телесному.

2

Очнувшись от ужасного сна, Раскольников почувствовал, что сбросил с себя мертвое бремя преступных измышлений «и на душе его стало вдруг легко и мирно. Господи, — молил он, — покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей».

Вот мгновение божественного вмешательства, знамение, данное свыше! Но инфернальная воля не дремлет. Слишком далеко зашел духовный бунт Раскольникова, слишком глубоко пустил он корни в его душу и нет уже хода назад! Надо неминуемо пройти теперь через кровавый опыт. Все же, предельная последняя глубина человеческой души, ее сердцевина, созданная по образу и подобию Божьему, остается непричастной греху. Оттого и возможно конечное раскаяние преступника.

Иннокентий Анненский в своей «Первой Книге Отражений» говорит: «Чёрт вошел в «Преступление и наказание» лишь эпизодически, но в мыслях место его было, по-видимому, центральное и, во всяком случае, значительное. Это несомненно». Странно было бы сомневаться в глубочайшей верности этого замечания, когда сам Достоевский вкладывает в уста Раскольникову роковые слова: «Я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил... Старушонку эту чёрт убил, а не я...»

Тут не пустая отговорка, не наивная попытка сложить с себя вину, хотя бы на кого-то, в действительности не существующего, тут подлинное свидетельство человека, прошедшего непосредственно через преступный опыт, переступившего через запретный порог и познавшего на себе власть темного потустороннего, но абсолютно реального существа. И, как окончательное разъяснение, как вывод из этого прав-

дивого свидетельства, звучат ответные слова Сони Мармеладовой: «От Бога вы отошли и Бог вас поразил, дьяволу предал».

Изучая художественное произведение, нужно, прежде всего, не отрываться от текста, надо срастись с автором, сотворчествовать с ним, отложив попечения о критике, потому что где критика, там и критерий — заранее готовая искусственная мерка, прилагаемая к искусству, не ведущая, во всяком случае, к постижению творчества.

Сочиненная Раскольниковым теорийка, со ссылкой на Наполеона, сама по себе стоит не много; это всего лишь „une théorie comme une autre", сфабрикованная в оправдание одинокого, надменного, гордого лежания в убогой конуре. «Был он очень молод, — пишет Достоевский о своем герое, — и, следовательно, отвлечен». Из молодой отвлеченности Раскольникова является его бездушное отношение к людям, как к фигуркам из папье-маше, которых можно переставлять на доске или валить по собственному произволу. Привязанность Раскольникова к сестре и матери далека от любви к ближнему, завещанной нам Евангелием. Это привязанность, не освященная религиозным сознанием, почти полностью биологическая, душевно-телесная. Родственные кровные связи не ведут нас к духовному просветлению, но, напротив того, преграждают нам путь к нему. Не потому ли сказано Спасителем: «И враги человеку домашние его».

Письмо от матери, полученное Раскольниковым за день до того, как убил он ростовщицу, не только не удержало его от убийства, но еще способствовало преступлению. Не материнскую нежность почерпнул он из письма, но злобу и ненависть ко всему и ко всем за то, что оно напомнило ему, в какой бедности жилось сестре и матери. Он вынес из него лишний довод к оправданию своего злоумышления. Между прочим, мать писала, что высылает ему тридцать пять рублей — сумму, на которую можно было скромно прожить в те времена целый месяц. Таким образом, ходом самой жизни отнималась у Раскольникова возможность сослаться хотя бы на неотложную материальную нужду. Казалось, он

стоял перед свободным выбором между светом и тьмой. Но уже слишком глубоко проникло в его сердце им же самим возлелеянное зло. И вот, по получении письма и тотчас после свыше ниспосланного сна о замученной лошади, завладевает им «дух глухой и немой».

Начались для Раскольникова роковые встречи и совпадения, зачатые в его неисследимых, недоступных сознанию, душевных недрах, подготовленные к осуществлению в жизни его, зараженной смертным грехом, подспудной волей. Но уже не он владел собою, а неведомая, неотвратимая сила, вошедшая в него, управляла за него событиями, подтасовывала совпадения и порождала встречи. «Впоследствии, — пишет Достоевский, — Раскольникова до суеверия поражало одно обстоятельство, хотя, в сущности, и не очень необычайное, но которое постоянно казалось ему потом как бы каким-то предопределением».

Здесь оговорки — «хотя, в сущности, не очень необычайное» и «как бы каким-то» сделаны Достоевским лишь для художественного смягчения своей настойчивой мысли о несомненном, о совершенно реальном присутствии дьявола в мире и в нас.

Сновидение о лошади успело лишь на мгновение вразумить Раскольникова. Не он, но тот, другой, невидимый и страшный, предопределял теперь развитие дальнейших обстоятельств, осуществлял его злые вожделения. Раскольников никак впоследствии не мог понять и объяснить себе, почему усталый, измученный, он вернулся домой с прогулки не кратчайшей дорогой, но сделал лишний крюк, «очевидный и совершенно не нужный». «Он спрашивал себя потом всегда, — говорит Достоевский, — зачем же такая важная, такая решительная для него и, в то же время, такая, в высшей степени случайная встреча на Сенной (по которой даже и идти ему незачем) подошла как раз теперь, к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настроению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, привести самое решительное, самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно она поджидала его?»

Здесь, под «таким настроением его духа», Достоевский разумеет обращение Раскольникова к Богу с просьбой указать ему истинный путь. Почему же именно к этой минуте подошла такая «в высшей степени случайная встреча»? Потому, прежде всего, что эта встреча в высшей степени не случайна, как совсем не случайно и то, что подошла она тотчас после обращения Раскольникова к Богу. Все это связано с неподвижным, как сама истина, раз навсегда обосновавшимся утверждением Достоевского: «Душа человека — арена борьбы Бога и диавола».

В сущности, «Преступление и наказание» сводится в целом к сложнейшему показанию и обоснованию этого утверждения. За приливом — отлив, за небесным воинством — бесы, а имя им — легион.

Повторяю, необходимо с неустанной, исключительной зоркостью следить за развитием повествования Достоевского. Он часто довольствуется будто бы случайно брошенным замечанием. Нужно очень считаться в его творениях даже со знаками препинания. Иногда какое-нибудь многоточие прикрывает неизведанные миры, бездонные, по своему значению, возможности. Но если Достоевский задерживает вдруг стремительное нарастание происшествий и начинает как бы топтаться на месте, настойчиво растолковывая те или иные положения, то тут надо напречь все помыслы и чувства, чтобы ничего не упустить. И, в итоге, всегда получается, что казавшееся нам ничтожным, совсем не ничтожно. Причем, из воли Бога мы не выходим даже, когда, по выражению Сони Мармеладовой, Он предает нас за грехи дьяволу. Но тогда мы лишаемся внутренней свободы, дарованной нам Небом, и, поскольку упорствуем во зле, теряем власть над событиями, становимся игралищем судьбы, рока. Здесь я хочу раз и навсегда подчеркнуть, что, по-моему, самая важная, главная, ценная и неповторимая особенность гения Достоевского — это его способность бесстрашно разворачивать перед нами свиток нашей совести, который, по замечанию Иннокентия Анненского, только мерещился Пушкину (в «Воспоминании», в «Борисе Годунове», в «Скупом рыцаре», в «Русалке»). Другая, не менее важная способность

Достоевского — творчески показывать, что в свернутом свитке совести, пребывающем в глубинах человеческого духа, заранее намечается нашими помыслами, мечтами и желаниями все, что потом случается, вернее, неизбежно происходит с нами в жизни. Одним словом, все происходящее с нами обретается в нас, и потому места для справедливого ропота на Бога и людей в свитке нашей совести не имеется.

3

Дойдя до Сенной площади, Раскольников увидел мещанина и бабу, торговавших тут мелким товаром. Они разговаривали с подошедшей женщиной. Это была давно знакомая Раскольникову Лизавета, младшая сестра той самой старухи процентщицы, к которой еще вчера заходил он под благовидным предлогом, чтобы, по возможности, заранее перед убийством высмотреть обстановку. «Когда Раскольников вдруг увидел Лизавету — пишет Достоевский — какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного».

Да, если смотреть на явления глазами повседневными, однопланными, то ничего не найдешь в этом удивительного. Лизавета давала на продажу белье и платья собственного шитья мещанам, торговавшим недалеко от квартала, в котором проживали и она и Раскольников. Чему же так изумиться? Но для Достоевского мир не только трехмерен, как для художников душевно-телесного склада — Тургенева, Льва Толстого, Флобера, Мопассана, Чехова — но еще и трехпланен.

Достоевский как художник вырастает органически из жизни живой, воспринимаемой им одновременно в трех, как бы сквозных, взаимопроницаемых планах: в явном земном, в небесном ангельском и, наконец, в мытарственном инфернальном. Эти три плана, пребывая в непрестанном взаимообщении, взаимовлиянии, представляют собой не умозри-

тельные категории, не безответственную фантастику в стиле немецкого писателя Гофмана, а некий трехликий вселенский процесс, всеохватное, трояко отраженное, духовно-телесное брожение, высшую реальность, сверхъявное бытие, выразителем которого, по праву, считал себя автор «Преступления и наказания». Недаром занес он в свою записную книжку: «Меня зовут психологом. Неправда! Я писатель высших реальностей».

Достоевский — пневматолог, визионер, духовидец. Он улавливал в человеческой душе сокровенные движения, дуновения, недоступные восприятию психолога и психиатра. Раскольников при встрече с Лизаветой испытал глубочайшее изумление, не поняв его страшного значения. Это сделал за Раскольникова Достоевский.

Лизавете исполнилось к тому времени тридцать пять лет. «Она работала на сестру день и ночь, состояла в доме вместо кухарки и прачки и, кроме того, шила на продажу, даже полы мыть нанималась и все сестре отдавала». Словом, она была кротка, покорна и совершенно безответна. Именно таким смиренным существам суждено бывает от Бога стать прообразом Жертвы Закланной. Погруженные в свои очередные дела, мы просто не замечаем таких, нас окружающих прообразов Голгофской Жертвы. Но предельное напряжение всех нервных и душевных сил накануне всерешающего дня приоткрыло в душе Раскольникова некую дверцу, ведущую если не к постижению, то, по крайней мере, к возможности молниеносного восприятия вневременных сущностей. Встретясь с Лизаветой, внезапно ощутил Раскольников за ее будничным, обращенным к людям и привычным для него обликом мещанки ее сияющий нуменальный лик, сотворенный по образу и подобию Божьему. Раскольников не мог его не ощутить, и не только потому, что это был данный ему с Неба последний предупреждающий знак, а еще и потому, что наши внутренние духовные и злодуховные решения опережают земные события и явления. Истинно реальные свершения происходят там, в душевной глубине; здесь же, на поверхности, лишь их отражения и подтверждения. В про-

валах своей мрачной, угрюмой души Раскольников, сам того не сознавая, уже обрекал Лизавету на смерть.

*

Кому не случалось, войдя в незнакомую ему дотоле квартиру, вдруг почувствовать, что вот эти самые комнаты он уже видел где-то. Совсем как у Алексея Толстого:

Все это уж было когда-то,
Но только не помню когда.

Ныне у психологов на такие чувства имеются готовые ответы, основанные на довольно смутной игре понятиями сознания и подсознания. Но никакие психологические толкования не удовлетворили бы Достоевского, полагавшего, что можно, идя и обратным путем, от окружающей нас наружной обстановки, от отражения к сущному, постигать то или иное духовное состояние человека. Так, кабинка, каморка, клетушка, в которой проживал Раскольников, всего лишь фотография его духовно уже отпылавшего и прогоревшего восстания на Бога. Не нищенская конура доводит Раскольникова до злодеяния, а назревающее в нем злоумышление приводит его к проживанию в ней. Пульхерия Александровна — мать Раскольникова — невольно и бессознательно подводит итог всем названиям, данным комнатушке ее сына: «— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб». И в высшей степени знаменательно, что именно мать, как будто случайно оброненным словом, на самом же деле наитием разоблачает тесную домовину своего преступного детища. Гордыня, в неисследимую пору отрочества овладевшая Раскольниковым, постепенно отъединяет его от солнца живых, обволакивает его душу гробным коконом. Этот бесовского изделия злодуховный, непроницаемый покров проектируется вовне, отражается в мире явлений житьем Раскольникова в одинокой каморке. Он дан ему грехом взамен благословенной материнской утробы для второго мертвого рождения, приводящего преступника на каторгу — в мертвый дом. Такая злая пародия на рождение делает Раскольникова убийцей, погру-

жает его в темные области нестерпимых мытарств, прерываемых лишь изредка, на отдельные мгновения, вторжением Божественной воли, ангельским светом, ниспосылаемым грешнику в залог возможного спасения через посредников и проводников запредельных райских сущностей: малых и взрослых детей, нищих духом, без вины страдающих жертв, закланных во искупление грехов погибающего ближнего. Но преисподняя бдительна и, в противовес небесному вмешательству, она изрыгает своих посредников и приспешников в образе людей, подобных самому Раскольникову, его злых двойников, из которых главный — Свидригайлов, оглушенный грехом, намагниченный адом, ведет, сам того не ведая, борьбу с Небом за обладание убийцей, одним своим присутствием и примером помогая преступнику нераскаянно утвердиться во зле.

Здесь нельзя не спросить тех, кто, наперекор очевидности, видят в Достоевском психолога: какое же отношение к психологии имеет такое многосложное, в трех планах возведенное, мистическое здание? Допустимо ли вообще относить Достоевского к той или иной категории художников, или, еще того лучше, философов, ни разу не посчитавшись с его собственным мнением, ясно и категорически выраженным? Он назвал психологию палкой о двух концах: схватишься за один конец, а другим прекрепко стукнешь себя же самого по лбу.

Исследования психолога и психиатра движутся по плоскости несомненно существующей, но все же именно по плоскости, тогда как у явлений имеется второй метафизический смысл, и не плоский, а неисчерпаемо глубокий. Достоевский всегда сопоставлял видимую плоскость с ее мистериальной основой и неуклонно устанавливал между ними параллель, предоставляя поверхностному читателю тешиться внешним ходом фабулы и даже, при случае, психологией, над которой автор «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых» так жестоко издевался в лице врачующего Раскольникова доктора Зосимова, прокурора и адвоката Мити Карамазова и судебных психиатров, никогда не согла-

шающихся друг с другом, зато дружно пренебрегающих всем истинно сущим.

Для зрелого, прозревшего на каторге Достоевского душа человека была неизменно таинственной сферой, пронизанной ангельскими и демонскими силами. По Достоевскому, все, свершающееся в нашей духовной бездонности, неотъемлемо от того, что предпринимается преисподней и решается на небесах. Проходя в ежедневной жизни через величайшие сомнения, он, как художник, как творец только то и делал, что обличал существование ада и рая и непрестанное общение с ними человеческой души, проходящей через земной опыт. Достигал он этого не столько непосредственной верой в Бога, слишком часто в нем искушаемой, сколько художественной интуицией, идя, как подобает истинному художнику, путем Прометея, похищая небесную искру. Однако у служителя искусства значение таких похищений безмерно усложняется тем, что, по слову Баратынского, им сопутствует глубокая мука — «таинство печали и страдания». На благодатности и, следовательно, на необходимости таинства страдания Достоевский, как всем известно, упорно настаивал, утверждая тем самым, что люди в глубине своей духовны. Оттого, между прочим, он устанавливает положение чрезвычайной важности, с которым все еще не хочет считаться в его творчестве большинство исследователей: *не болезнь порождает злой умысел, а злой умысел порождает болезнь*. Преступление же, как таковое, вершится человеком уже в состоянии одержимости, что нисколько не снимает с преступника ни метафизической вины, ни ответственности перед людским судом. Болезнь возникает на путях греха. Согрешая, мы лишаемся первородной свободы, мы становимся рабами собственных пороков и злых желаний. Болезнь, в том числе и психическая, всего лишь видимый наружный признак духовного рабства, содеянного греха.

Нельзя отыскать настоящего подхода к творчеству Достоевского, не приняв всего этого к строжайшему руководству.

4

Возвращаясь домой и проходя по Сенной площади мимо Лизаветы, беседовавшей с торговцами, Раскольников услышал, что они сговариваются встретиться друг с другом, как узнал он потом, по самому обыкновенному делу о перепродаже кому-то каких-то вещей.

«— Приходите-тко завтра, в часу семом. И те прибудут, — говорил мещанин.

— Хорошо, приду, — ответила Лизавета».

«Раскольников, — добавляет автор, — проходил тихо, незаметно, стараясь не проронить ни одного слова».

Это замечание, сделанное как бы мельком, лишний раз показывает, с каким пристальным вниманием, не пропуская ничего, следует читать Достоевского. Он не пишет философских сочинений, как это принято думать до сих пор, но творит особое искусство, редчайшее искусство мысли. Он пронзительно, неправдоподобно умен и одновременно изощренно хитер в приемах, приступая к повествованию всегда издалека, раскидывая предварительно сети головокружительной по сложности интриги, подводя к средоточию своих замыслов обиняком, намеренно многого не договаривая, довольствуясь часто намеком, оставляя, таким образом, читателю обширное поле для сотворчества, принуждая его неустанно трудиться, быть крайне бдительным, никогда умственно не дремать.

Достоевский имел все права и основания требовать этого от нас потому, что сам, по верному замечанию Г. В. Адамовича, был охвачен умственной духовной бессонницей. Ему не до передышек, он лихорадочно торопится, спешит разрешить многосложную задачу жизни, заданную человеку Богом, мало отпустившим на то драгоценных дней своему творению и подобию. Достоевский редко говорит о смерти, тем более, что для него и ад и рай и чистилище ежечасно подают нам весть о себе через своих посредников, через нас же самих — носителей света и тьмы, греха и святости. В нашей духовной бесконечности отражается для него весь потусторонний мир, вся вселенная, стоит только приглядеть-

ся к земному существованию, прислушаться к биению человеческого сердца. Достоевским всецело владеет антропоцентризм: через человека и самим человеком будет подведен итог всему вселенскому процессу. Вот и тут, своим спешно брошенным замечанием, Достоевский вплотную приводит нас к столкновению ангела и демона в душе Раскольникова. Ведь только что видел Раскольников провиденциальный сон о замученной лошади, только что молился Богу избавить его от наваждения, послать ему силы отречься от злого умысла, от преступной мечты, и, тотчас после этого, как тать, проскальзывает он мимо Лизаветы, хищно подслушивая чужой разговор, узнавая со всей точностью, как ему казалось, когда именно ростовщица останется дома одна и можно будет, наконец, не боясь быть застигнутым врасплох, осуществить задуманное преступление...

«Первоначальное изумление его, — продолжает Достоевский, — мало-помалу сменилось ужасом, как будто мороз прошел по спине его. Он узнал, он вдруг внезапно и совершенно неожиданно узнал, что завтра, ровно в семь часов вечера, Лизаветы, старухиной сестры и единственной ее сожительницы, дома не будет и что, стало быть, старуха, ровно в семь часов вечера, *останется дома одна*».

Здесь, в переходе от глубочайшего изумления к ужасу, мистическому ужасу перед воровски подслушанным роковым известием, выражается подспудное знание Раскольникова о происходящей в его душе борьбе ангельских и демонских сил. Это отражение на поверхности того, что не доходит до рассудка, но безошибочно ведомо внутреннему «я» Раскольникова: его глубина знает, ареной борьбы кого и с кем она сейчас была. Но темные замыслы, взращенные в уединении гордыней, успели укрепиться в его сердце, и чёрт уже влечет свою жертву к злодеянию.

«Он вошел к себе, как приговоренный к смертной казни. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать, но всем существом своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли, и что все вдруг решено окончательно».

«Как приговоренный к смертной казни»! Тут опять обнаруживается постоянно воплощавшаяся Достоевским интуитивная творческая мысль о том, что все, происходящее в нашей глубине, рассудку недоступной, все, свободно решенное и разрешенное совестью, предопределяет нашу явную судьбу, вплоть до одежды и обуви на нас, вплоть до ложек и плошек.

Не только тот, кто фактически убил, но тот, кто лишь оправдал по совести возможность убить своего ближнего, уже казним метафизически. Эта сущая находка Достоевского стала одним из главнейших двигателей его творчества: корень водяного растения укрепляется в земле под водою, а его листья на водной поверхности — лишь прообраз корневых подводно-подземных волевых усилий.

К смертной казни, метафизически настигающей преступника еще до свершения задуманного злодеяния, Достоевский снова возвращается, когда Раскольников с топором, подвешенным в петле под пальто, идет убивать старуху и инстинктивно, от нестерпимого страха перед уже неизбежным убийством, перед надвигающейся катастрофой, старается думать о чем-нибудь постороннем. «Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепляются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге», мелькнуло у Раскольникова в голове, но только мелькнуло, как молния; он сам поскорее погасил эту мысль».

Эти слова Достоевского необходимо сохранить в памяти, как один из ключей к дальнейшему развитию событий. Ведь, значит не совсем превратился Раскольников в автомат в когтях у чёрта, когда могла еще мелькнуть у него такая мысль и когда сам он добровольно погасил ее поскорей. Что это? Шествие с чёртом заодно, по согласию, или же только безнадежное ощущение над собою его полной власти, сознание того, что поздно теперь сопротивляться, и, следовательно, лучше не думать?

Вероятнее всего и то и другое вместе. Ожидайте после этого богатой жатвы от занятий психологией! Нет, «слишком широк человек, не мешало бы его и сузить», восклицал Достоевский. Очевидно одно: иррационального и сверхрацио-

нального начала в нас ни под какую психологическую мерку не подгонишь.

5

Все творческие силы Достоевского сосредоточены на познании личности человека, бездонной, неразгаданной, по-христиански им воспринимаемой. Характер же и все его проявления в нас, как раз то, что подлежит психологическому исследованию и что всегда и всецело поглощало внимание писателей душевно-телесного склада, для Достоевского лишь досадная накипь на человеческой душе, мутная пленка, мешающая подлинному постижению *личности*. Что же касается «типа», — излюбленное словечко школьных пособий по изучению литературы, — то о таковом, при чтении Достоевского, надо забыть, как о чем-то умертвляющем живую взрывчатую личность, неизменно пытающуюся сбросить с себя вековые личины, надетые на нее гуманистическими, романтическими и прочими измышлениями, стремящуюся в процессе жизни, по выражению Достоевского, «огорошить Шиллера» и обратить на жизненном опыте гуманистические теории в пустопорожнее «гу-гу». Тут для Достоевского пригодны все средства, вплоть до пьяного беспутства Лебядкина и наглых выходок, переходяших в открытый скандал, таких злых шутов, как Федор Павлович Карамазов и Фердыщенко. Моральному безобразию и шутовству некоторых своих персонажей Достоевский, вне всякого сомнения, тайно сочувствует. Они помогают ему сорвать с человека многовековые маски, бутафорские альмавивы и шпаги, уличить представителя науки в наигранных позах, выставить напоказ фальшивую условность салонного воспитания, ловко укрывающего зловонные грешки и пороки, смрадные душевные уголки. С помощью злого шута — опустившегося «бывшего» человека, лицемерно отверженного обществом, Достоевский высмеивает абстрактное, внежизненное кипение таких устроителей общественного счастья, как Белинский, утопистов вроде Чернышевского, с их пошлейшими хрус-

тальными дворцами, ловит «бескорыстных борцов за свободу, рыцарски преданных народу» на злобе и ненависти ко всему, что не похоже на их «беспардонный» и бездарный русский нигилизм. Все эти, по мнению «прогрессивно настроенных людей», реакционные выпады Достоевского нисколько не мешают ему больно зацепить по дороге царского сановника в блистательных орденах, прикрывающих мелкую пошлость и беспросветную глупость своего носителя. Но грубо ошибается тот, кто думает, что Достоевский занимается такими разоблачениями ради исправления нравов и сатирических бичеваний. Нет, он стремится сорвать с нас плотно пригнанные веками условные маски, его цель — раздеть человека *духовно* донага и увидеть воочию, кто же он такой, по существу, в самом сущном, в беспредельной глубине, данной ему не природой, а Богом, в глубине, недоступной разуму и лишь ощутимой по-христиански любящим сердцем.

Да, в поисках совершенной религиозной правды о человеке Достоевский сочувствует не только шутам и скандалистам, но даже наемному убийце, грабителю церквей — Федьке Каторжному, ставшему таковым не столько по природной склонности к злым умыслам, сколько по вине своего либерального барина, отдавшего его в солдаты в уплату за карточный долг. Скандалы, пороки, уголовные преступления неизменно таят в себе какое-нибудь неисцелимое духовное оскорбление, нанесенное так называемой падшей личности самодовольно моральным, лицемерным и безбожным человеческим коллективом, ненавистным автору «Записок из Мертвого дома», предстателю отверженных. И уж никак не случайно, что именно Федька Каторжный, убийца по ремеслу, расхититель церковных святынь, наделяет по праву, данному ему Богом, увесистыми пощечинами возглавителя социальной революции — убийцу по убеждению — Петра Верховенского, угасившего в себе последние признаки совести.

Имена, отчества и фамилии в творениях Достоевского почти всегда преисполнены глубочайшего смысла и опреде-

ляют не характер, а личность того или иного персонажа. При этом очень важно отметить, что Достоевский собственным именем, данным ему самому при крещении, называет злого и развратного шута Федора Павловича Карамазова, беглого каторжника Федьку и даже переделывает «Федора» в фамилию Фердыщенко, выказывая этим сочувствие наглому цинику из «Идиота», отдавая ему предпочтение перед Тоцким, прикрывающим мерзость душевного запустения изяществом салонных манер и благоприличными о себе россказнями. Но что интимно руководило при этом Достоевским? Прежде всего, конечно, прямое и ясное сознание того, что все персонажи его произведений, написанных по возвращении из Сибири, являют собою осколки его самого — взорванного грехом Адама. Бывший гуманист просветительного толка, преданный в молодости пропагандному атеизму Белинского, Достоевский вернулся с каторги пламенным христианином, каковым, впрочем, он, сам того не сознавая, был внутренне всегда.

Достаточно ознакомиться с письмами юного Достоевского к брату, весьма не чуждыми напористого хвастовства и призрачных мечтаний о Кларушках и Минушках, чтобы понять, с каким затаенным презрением к самому себе казнил он в лице Тоцкого свои подпольные грезы о салонах и сюсюкающих аристократах, а в лице Петра Верховенского свою революционность, граничащую с прямой «нечаевщиной», недалекой от того, что ныне все мы называем большевизмом.

Разбойник Федька, наперекор стараниям Верховенского, революционером не сделался и, несмотря на свои преступления, а, быть может, как раз благодаря им, остался верующим в Бога великим грешником.

Достоевский прибыл на каторгу неверующим или, вернее, не осознавшим собственной веры. Сознательно принимать страдание во искупление грехов, смиряться и веровать во Всевышнего научили его отверженцы, убийцы. С каторги, из ссылки и солдатчины, Достоевский вернулся в Петербург величайшим художником со Христом и во Христе. Кого же было благодарить ему за чудесное превращение?

Во всяком случае, не Белинского и не «светлую личность» из «Бесов», возросшую среди народа и бежавшую потом за границу «от царя щипцов и ката», чтобы распространять оттуда среди русского простонародья в унылосерых шпаргалках ненависть к церкви, семье и государству.

Достоевский до самого гроба сохранил великую любовь и уважение — да, и уважение — к отверженным, «несчастненьким», к убийцам и грабителям, вернувшим ему носимый им в душе с ранних лет истинный образ Христа, временно в нем помраченный стараниями белинских. По прибытии на каторгу, еще напитанный модными гуманистическими идеями, писал Достоевский жене декабриста Фонвизина благодарственное письмо за присылку Евангелия, называя Христа ни более ни менее, как «симпатичной личностью». Далекий же путь предстояло проделать ему от такой невыносимой пошлости до того, чтобы постичь сущность христианства — огня небесного, сжигающего все человеческое, слишком человеческое.

К самому концу шестидесятых годов Достоевский все ближе и ближе подходил к церкви, пытаясь от всего сердца, измученного сомнениями и маловерием, сделаться вполне церковным. И когда заговорил он в «Бесах» о чудотворной иконе Божией Матери, поруганной Петром Верховенским, о святыне, чтимой простонародьем и еще не совсем разложившимися барами, то каждому стало ясно, с кем заодно и против кого оказался бывший политический ссыльный, каторжанин Федор, давший свое имя варнаку, памятуя слова молитвы перед причастием: «Яко разбойник исповедую Тя». О, только как разбойник, не больше, ибо из всех грешных самый грешный «есмь аз».

Таким стал, точнее сказать, почти стал Достоевский к началу семидесятых годов. Но в разгаре работы над «Преступлением и наказанием» и по окончании этого романа в 1866 году он только нерешительно приближался к церковной ограде. Церковь не была для него тогда неопровержимым столпом и утвержением истины, к которому всеми своими душевными силами надо стремиться, вопреки сомнениям и

маловерию. В «Преступлении и наказании» — разливной огонь христиаства, пожар, пожирающий обветшалые для Достоевского гуманистические надежды. Однако приближения к оформлению христианства, к единственно истинной церковной дисциплине, там нет. И, думается мне, что их Достоевский никогда полностью достичь не мог. За его молодую, но вполне преступную революционность, за нечаевщину, по совести им оправданную, ему навсегда дано было Богом жало в дух: он остался на церковной паперти перед настежь открытой дверью, ведущей в храм, но через заветный порог всем сердцем, всей душой не переступил. Отсюда произошло его, не до конца проясненное «неохристианство», справедливо осужденное Константином Леонтьевым. Все же, возгоревшееся в Достоевском как в художнике христианское пламя было безмерно велико и только оно одно согревало творческий очаг этого гения.

В лице Раскольникова автор «Преступления и наказания» пытался победить свой собственный душевный раскол, преодоление которого началось еще на каторге и в ссылке, когда мучительно медленно, через познание мистической сути зла, совершалось в бывшем гуманисте-революционере нарождение нового, духовно-преображенного существа. К христианству Достоевский пришел от обратного — от познания зла к религиозному освящению добра. С этим связана настойчиво проводимая им мысль, нигде не выраженная прямолинейно, но подспудно ощущаемая в его творениях везде: лучше в жизни не видеть добра, чем не видеть зла. К этому положению сводится, например, основная тема «Идиота».

Творчески созревший и прозревший на каторге Достоевский никогда не мог простить себе гуманистической слепоты. Гуманист просветительского толка полагает, что единственная причина мирового зла обретается в социальной несправедливости, в общественном нестроении. Стоит правильно поделить между всеми земные блага, главным образом, материальные, и зло само собою исчезнет. Какая жалкая немощная теплота! Ее носителей не только Бог изблюет из

уст Своих, — от нее уже тошнит любого мало-мальски живого человека.

На каторгу Достоевский прибыл с довольно легковесной идеологией в голове, унаследованной от кружка Белинского и подпольного сообщества Петрашевского. И вот, вдруг, на тюремном опыте, на примере немногих вполне закоренелых преступников, бесповоротно самоутвердившихся вне Бога в гордыне, увидел Достоевский, что есть на свете, выражаясь несколько условно, бескорыстное зло, творимое ради зла, le mal gratuit. Достоевский постиг, что это зло происхождения нездешнего, что его корни уходят в потустороннее, что существует некое вселенское средоточие греха — невидимый *некто*, вмещающий в себя и олицетворяющий собою абсолют зла. Не будь Достоевский гением, человеком, отмеченным свыше и предназначенным к особой миссии, он, подобно Раскольникову, суеверно ощутил бы присутствие в мире духа глухого и немого и застыл бы на этом, или быть может, по примеру Ставрогина, уверовал бы в существование беса, не веруя в Бога. Но сияющий образ Христа, посетивший Достоевского в детстве, не покидал его никогда, даже в годы его нижайшего падения.

На каторге увидел Достоевский не только отверженных, самоутвердившихся в несокрушимой гордыне, но и других, научивших его смиряться и молиться. Он видел, как эти люди, затверделые во зле, во время великопостного богослужения падали на колени при молитве, произносимой священником, воспринимая сердцем покаянные слова о разбойнике в буквальном, в непосредственном применении к самим себе. Тогда-то вне всякого сомнения встала впервые перед духовным зрением Федора Достоевского фигура Федьки Каторжного. Он понял, как и почему всяк за всех виноват, понял, что существует круговая ответственность за зло, ежесекундно творимое людьми, что он отвечает перед Богом за каждого из этих заклейменных арестантов, что он ничуть не лучше их перед престолом Всевышнего и что он сам, наконец, и есть Федька Каторжный. Отсюда вывод был один, и Достоевский его сделал: «Смирись, гордый человек!».

Через познание реального существования дьявола до-

шло до Достоевского веяние Божественности Христа, — «симпатичная личность» превращалась в Сына Бога Живого. Перед внутренним зрением будущего автора «Преступления и наказания» земной трехмерный мир разрастался в некое мистическое трехпланное вселенское здание.

В блошиные и вшиные бессонные ночи, лежа на жестких тюремных нарах, впервые увидел Достоевский по-иному, по-новому и себя, и людей, и мир. Тогда-то, через познание подлинного первоистока зла, этот необычайный, небывалый, ни с кем и ни с чем несравнимый каторжанин постиг окончательно то, что гораздо позднее поведали в «Братьях Карамазовых» чёрт — Ивану, а звездное небо — Алеше: «Все, что есть у вас, есть и у нас». Достоевскому открывалась взаимопроницаемость всех областей вселенной: ада, рая и нашей земной жизни; возникал зародыш «Преступления и наказания»; взорванный грехом, раздробленный духовным бунтом Адам приступал к преодолению своего раскола и уже казнил в себе Раскольникова.

6

Возвратясь к себе после встречи с Лизаветой на Сенной площади, Раскольников заснул свинцовым сном, как будто придавившем его. «Он спал, — добавляет автор, — необыкновенно долго, без снов».

Сонные состояния в творчестве Достоевского подразделяются на три различные стадии: на особое положение, в каком находится человек между сном и действительностью, когда он спит — не спит, но грезит; когда он спит, уходя в сновидения, непременно духовного вещего содержания; и, наконец, когда он погружается в самозабвенный сон, и его внутреннее «я» остается наедине с самим собою, вне чувств и сознания самого спящего. Где обретается «я» человека, как бы потерявшего себя во сне, что оно чувствует, чем и как живет, мы не знаем. Но несомненно, что именно тогда эта до конца неведомая самому человеку его внутренняя сущность приходит к тому или иному решению, избирает путь, ведущий к тьме или свету.

Только на следующий день, в десять часов утра, хозяйская прислуга Настасья разбудила Раскольникова. Она принесла ему свой хлеб и спитой чай. То, что олицетворяет собою эта, как принято говорить, «второстепенная фигура» в романе, преисполнено чрезвычайного значения. Повторяю, собственные имена даются Достоевским не случайно, они почти всегда отражают не характеры, не типы, а личность его персонажей. Анастасия означает воскресение, и это надо теперь же запомнить. Настасья в «Преступлении и наказании» — один из важнейших символов матери-сырой земли. Утверждаясь во зле, Раскольников тем самым надругивается над породившей его матерью-землей, но она по-прежнему любовно носит его на своем лоне, и ее символ, ее посредница — Настасья, простая, жалостливая деревенская баба, бездумно заботится о Раскольникове, порвавшем сознательно и злостно живую связь с людьми, ушедшем в гробный кокон.

Существуют рудиментарные жизненные положения, которые нельзя истолковать, перед ними бессильны рациональные рассуждения. Скрытый смысл этих бытийственных сущных положений можно лишь на мгновение интуитивно схватить, и о них следует сказать, что они такие потому, что они такие. Чистым разумом их не объяснить, но через них доходит до нас одновременно и совместно любовь матери-земли и небесная благодать. У тяжких грешников, подобных Раскольникову, имеются свои заботливые Настасьи и бескорыстные хлопотуны Разумихины, безотчетные проводники божественного милосердия. Их деятельного присутствия при падших и заблудших возжелала сама жизнь, неизменно несущая в себе благословенную возможность нашего воскрешения и спасения. Для Неба, нас создавшего, и земли, нас породившей, мы всегда остаемся детьми, нуждающимися в поддержке. Любовь присуща бытию, но сама в себе она довременна, неизъяснима и внеразумна.

У Достоевского нет ни второстепенных, ни, тем более, бытовых фигур; каждый из его героев являет собою единственную, неповторимую личность, и все они несут друг другу весть из областей нездешних — инфернальных и ангельских. Выходит, что всякий человек, кто бы он ни был,

пребывает в собственной глубине, но от него идут духовные и злодуховные токи к окружающим его людям, и наши встречи друг с другом не только не случайны, а всегда провиденциальны и, по своей значимости, неисчерпаемы. *На точках пересечений человеческих жизней пытался Достоевский разгадать тайну нашего бытия.* Любой из его персонажей — живая и тем самым необходимая частица раздробленного грехом Адама, силящаяся найти свое дополнение. Однако зло, проникая в мир и в нас, снова и снова взрывает Адама, сводя на нет наши стремления к взаимному воссоединению. Все наши встречи и столкновения, все пересечения трепетных людских существований не что иное, как религиозный вселенский процесс, равно положительный и отрицательный.

Творчество Достоевского надприродно, пневматологично. Именно поэтому даже такая на первый взгляд незначительная биологическая фигура, как Настасья, разрастается в символ огромной метафизической емкости. Эта непритязательная, простая женщина способна — пусть бессознательно и невольно, зато всем своим девственным нутром — непосредственно уловить, разоблачить потаенный грех и преступление. Когда она вторично, уже в два часа дня, вошла к Раскольникову, неся ему суп: «Он лежал, как давеча. Чай стоял нетронутый. — Чего дрыхнешь! — вскричала она, с отвращением смотря на него». Откуда взялось это отвращение? Его, конечно, легко объяснить обидой Настасьи на Раскольникова, не оценившего ее предварительной хлебной и чайной жертвенности. Так, с намерением глубоко художественным, и поступает Достоевский, ссылкой на внешнюю причину избегая того, что в философии принято называть коротким замыканием. Поверхностному читателю он предоставляет удовлетвориться крайне упрощенным «психологическим» толкованием, на самом же деле предусмотрительно подготовляя этим почву для неожиданной развязки, разверзающей на мгновение страшную правду о Раскольникове. Отвращение, проявленное в данном случае Настасьей, вызвано, как это скоро выясняется, не только обидой за пренебрежение к ее дарам. Нет! В тяжелой, мертвенной спячке

Раскольникова она совершенно бессознательно учуяла окончательно назревающее в нем кровавое решение.

Ее безотчетное предчувствие не ошиблось: в тот же день вечером Раскольников убил ростовщицу, проломив ей череп обухом топора и острием прикончил Лизавету, на свою погибель слишком рано вернувшуюся домой, прорубив ей одним ударом верхнюю часть лба поти до темени.

На следующий день, уже в полные сумерки, Раскольников забылся, лежа у себя на диване, когда почудилось ему, что он очнулся от страшного крика. Трудно решить, пробудился ли он совсем или все еще продолжал дремать. Персонажи Достоевского нередко как бы колеблются на грани сна и яви, да и кто всегда с неизменной точностью укажет, где кончается грезное, фантастическое и начинается действительность. Недаром величайший испанский драматург полагал, что жизнь есть сон. Конечно, с медицинской точки зрения одно несомненно: наяву или в дреме, но Раскольников бредил. «Таких неестественных звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побоев,—говорит Достоевский,—он никогда еще не слыхивал... В ужасе приподнялся он и сел на постели, замирая и мучаясь... И вот, к величайшему изумлению, он вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя — конечно, о том, чтобы ее перестали бить, потому что ее беспощадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел... Вдруг Раскольников затрепетал, как лист: он узнал этот голос; это был голос Ильи Петровича (помощника полицейского пристава, с которым еще утром Раскольников встретился и поспорил в участке. — Г. М.). Илья Петрович здесь и бьет хозяйку! Он бьет ее ногами, колотит ее головою о ступени, это ясно, это слышно по звукам, по воплям, по ударам. Слышно было, как во всех этажах, по всей лестнице, собиралась толпа, слышались голоса, восклицания, стучали, хлопали дверями, сбегались... Но, стало быть, к нему сейчас придут, если так, «потому что . . . верно это из-за того же, из-за вчерашнего . . . Господи!».

Бредовая догадка Раскольникова совершенно действительна. Да, все это кажется ему из-за вчерашнего, и не его квартирную хозяйку истязают, а кричит и воет и бьется его собственная душа, его *бессмертная хозяйка*, им же самим, по совести оправдавшим пролитие крови, преданная мытарствам. И нет условных психиатрических обозначений бреда и кошмара, но есть, тут же, сейчас осуществленная, неопровержимая, доподлинная реальность мытарств — предвкушение ада, уже раздирающего того, кто добровольно попрал в себе подобие Бога. Но суд Божий, Его вышнее Право, оборачивается для нас здесь, на земле, человеческим судом, а людской неумолимо последовательный юридизм подменяется предварительно полицейской расправой, повторяющей, как эхо, злое своеволие и произвол самого преступника. Грех, помимо и сверх всего, еще и позорно смешон. В карикатурном, комическом таится страшное. По народному поверию, громом и молнией заведует пророк Илья, а имя апостола Петра означает камень. И вот, опозорившему себя низким преступлением Раскольникову представляется в бреду всего-навсего помощник полицейского пристава, в жизни глуповатый и пошловатый — Илья Петрович, в кошмаре грозный, как пророк, и твердый, как апостол. А сам полицейский пристав, с которым утром встретился Раскольников, начальник Ильи Петровича — карикатурного подобия небесного правосудия — именуется у Достоевского, по-евангельски, Никодимом Фомичем. Поистине, в том, что так легковесно называем мы бредом и кошмаром, уже приоткрывается, готовый поглотить преступную душу *«ад всесмешливый»*, упоминаемый в церковном богослужении.

Человеку труднее всего признаться в грехах и преступлении именно из боязни показаться смешным. Мы знаем об этом из беседы Ставрогина с епископом Тихоном, проживавшим в монастыре на покое. Исповедь свою, засвидетельствованную письменно, Ставрогин хочет обнародовать, но епископ Тихон опасается за него, что он не выдержит последствий такого поступка, и как раз потому, что устрашится смешного. Но все же, как, совершив злодеяние, избежать посмешища? Ведь всего еще только в бреду, а уже

слышится Раскольникову, как во всех этажах, по всей лестнице, собирается толпа; как восклицают, хлопают дверями, сбегаются. Порвавший круговую поруку любви и чести, отошедший от соборности, казним непереносимым злодуховным одиночеством. Однако люди тут, они смотрят на него, наблюдают за ним, он выставлен на позор, и ответственности за содеянное зло избежать перед ними и Богом невозможно.

Бред Раскольникова кончается отрывистым, беспомощным «Господи»!. Повторить молитвы, вознесенной им к Богу после сна о замученной лошади, Раскольников теперь больше не в силах. Он убил и потому отъединен от живого потока бытия, от всего живущего. Одиночное тюремное заключение — всего лишь бледный призрак страшной духовной оторванности от мира и людей, испытываемой человеком, добровольно и сознательно совершившим злое, не с прямой целью вульгарного ограбления, а ради самого зла. Да, бывают такие положения в жизни, когда даже и молиться совершенно бессмысленно. Еще утром, в полицейском участке, куда он был вызван по незначительному делу, Раскольников не только сознал, но, что неизмеримо ужаснее, всем своим существом ощутил, до чего вдруг опустело его сердце. «С ним, — говорит Достоевский, — совершалось что-то ему совершенно незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое. Не то, чтоб он понимал, но он ясно ощущал всею силою ощущения, что ему уже нельзя более обращаться к этим людям в квартальной конторе, и, будь это все его родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни; он никогда еще не испытывал подобного странного и ужасного ощущения. И что всего мучительнее — это было более ощущение, чем сознание, чем понятие, непосредственное ощущение, мучительнейшее ощущение из всех, до сих пор *жизнию пережитых им ощущений*» (выделено мной. — Г. М.).

Здесь Достоевский настаивает, повторяясь, с особым упорством именно на важности ощущений, оттесняя, как, впрочем, он часто это делал, сознание на второй план: ему на потребу не рассудок, ему нужна натура человека, дей-

ствующая вся целиком. В «Записках из подполья» он так и говорит: «Рассудок есть только рассудок и удовлетворяет только рассудочной способности человека... И хоть жизнь наша выходит зачастую дрянцо, но все-таки жизнь, а не одно извлечение квадратного корня... Рассудок знает только то, что успел узнать... а натура человека действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно и, хоть и врет, да живет».

Постижение духовных законов приходит путем интуитивного внедрения в существование свое и чужое, а для этого надо, прежде всего, как говорит Достоевский: *«Жизнию пережить собственные ощущения»*. Только тогда возникает истинная мысль, «наклевываясь, как из яйца цыпленок», мысль, пристально, неотступно следящая за опытом, приобретенным сердцем. Духовные законы бытия, сущные положения и состояния, добрые и злые, светлые и темные, уловляются непосредственным опытом. Раскольников убил и познал через жизнью пережитое ощущение злую сущность отъединения, он испытал ужас от пребывания в гробном коконе. Отсюда его бред, или, выражаясь существеннее, бытийственнее, его прохождение через мытарства, предваряющие в земной жизни загробное заключение в чистилище. Но мытарства все еще не ад, не окончательная, бесповоротная изоляция живого мертвеца: при прохождении через них человек подвергается лишь мучительной иллюзии безнадежного безысходного одиночества, но ни Бог, ни мать-земля от него еще не отступились.

Для «разумных» душа преступника непроницаема, и никакой психологии и психиатрии недоступна правда о человеке согрешившем, даже всего лишь обуреваемом страстями, подобно Мите Карамазову. Ни обвинитель, ни защитник Мити, ни судебные психиатры — все эти умствующие интеллигенты — ничего не в силах понять в заблудшем существе, они лишь грубо тычут юридической и медицинской указкой в живую трепетную ткань человеческой души. Правда о человеке, замыслившем и совершившем злое, открыта, без видимых улик и вещественных доказательств, лишь «малым», «неразумным». И в том, что они улавливают без-

отрадную истину о преступнике, кроется залог его конечного воскрешения. Чужое умствование оскорбляет согрешившего, а сердечное, совершенно бессознательное проникновение в душу человека, рано или поздно, спасает ее.

7

В творчестве Достоевского не существует рельно никаких перегородок между внешним и внутренним: подспудное порождает в нем наружное, а внешнее, не в переносном, но в буквальном значении этого слова, подтверждает внутреннее. Это потому так для Достоевского, что его мировосприятию, его творчеству органически была присуща мысль великого Оригена: «материя есть уплотненная грехом духовность». Домашняя обстановка, одежда и вещи, принадлежащие человеку, это уплотнившиеся эманации его духовной сущности. Так, каморка Раскольникова и вечерний полный мрак, поглотивший его тотчас после бреда о квартирной хозяйке, якобы избиваемой на лестнице, не что иное, как непосредственное продолжение убийцы, снимок его злодуховного состояния. И когда вдруг яркий свет озарил его и вошла Настасья со свечою и тарелкой супа в руках, то вошла она не только в комнату, но и в душу убийцы, вошла как милосердная посредница матери-земли, поруганной преступником. Передавать последовавшую сцену своими словами невозможно, настолько совершенна она у Достоевского. Ее надо сначала воспроизвести и потом уже попытаться, хотя бы частично, наметить ее бездонное значение. Эта сцена неразрывно связана с подзнейшим властным призывом Сони Мармеладовой. Раскольников не выдержал страшного одиночества, отсеченности от всего живого, и пришел к Соне признаться в убийстве. И это кротчайшее, тишайшее существо, греховно пожертвовавшее собой, своим девическим телом ради прокормления голодной семьи, нашла в себе силы и мудрость, — а имя «София» и значит премудрость, — обратиться к убийце, указывая на единственно для него возможный выход из кровавого тупика: «Пойди сейчас же, сию

минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны и скажи всем вслух: «Я убил!» Тогда Бог тебе опять жизнь пошлет».

Но Настасья ничего не может посоветовать, она как некая вполне бессознательная пифия, пожалуй, даже не интуитивно, а всего только инстинктивно, чует убийственную правду о преступнике и, не понимая разумом, в чем же именно заключается истина, лишь нащупывает ее всем телом, всем своим бабьим существом, определяя болезнь, охватившую Раскольникова, с нелепостью своих деревенских познаний в медицине.

«— Небось со вчерашнего не ел», — сказала Настасья, внимательно разглядывая Раскольникова. «— Целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет.

— Настасья... за что били хозяйку?

Она пристально на него посмотрела.

— Кто бил хозяйку?

— Сейчас... полчаса назад Илья Петрович, надзирателя помощник, на лестнице... За что он так ее избил? и... зачем приходил?

Настасья молча и нахмурившись его рассматривала и долго так смотрела. Ему очень неприятно стало от этого рассматривания, даже страшно.

— Настасья, что ж ты молчишь? — робко проговорил он, наконец, слабым голосом.

— Это кровь, — отвечала она, наконец, тихо и как будто про себя говоря.

— Кровь!.. какая кровь?.. — бормотал он, бледнея и отодвигаясь к стене. Настасья продолжала молча смотреть на него.

— Никто хозяйку не бил, — проговорила она опять строгим и решительным голосом. Он смотрел на нее, едва дыша.

— Я сам слышал... я не спал... я сидел, — еще робче проговорил он. — Я долго слушал... Приходил надзирателя помощник... На лестницу все сбежались, из всех квартир...

— Никто не приходил. А это кровь в тебе кричит. Это

когда ей выходу нет и уж печенками запекаться начнет, тут и начнет мерещиться... Есть-то станешь, что ли?

Он не отвечал. Настасья все стояла над ним, пристально глядела на него и не уходила.

— Пить дай... Настасьюшка.

Она сошла вниз и минуты через две воротилась с водой в белой глиняной кружке; но он уже не помнил, что было дальше. Помнил только, как отхлебнул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство».

Истинный смысл всей этой сцены проходит подспудно, как это часто бывает у Достоевского, персонажи которого далеко не всегда отдают себе действительно полный умственный отчет, — как, впрочем, все люди вообще, — в том, что говорят, делают и чувствуют. Их жизнь, подверженная тайным внушениям бесчисленных духов, во многом проходит бессознательно, несмотря на то, что они, в отличие от душевно-телесных фигур реалистических романов, буквально одержимы той или иной идеей. Но ведь эти идеи управляют ими изнутри, большею частью не доходя вполне до их сознания, зарождаясь в неисследимых душевных недрах или, как говорит Достоевский, в глубинах человеческой натуры, которая, «хоть и врет, да живет». Бесспорно, наша натура частенько врет, потому что хитрит, добывая для себя житейские выгоды, инстинктивно прикрываясь от непрошенных посторонних вторжений, но больше всего оттого, что сама себя не понимает и не постигает.

Настасья, из всех героинь Достоевского самая земная и по виду элементарная, выказывая свои познания в медицине, несет явную чепуху о печенках. Но в самом сущном она неизмеримо ближе к истине о Раскольникове, чем ученый доктор Зосимов, пользующий идейного убийцу порошками и глубокомысленными психиатрическими советами. Достаточно удалить из всего сказанного Настасьей ни к чему не приуроченные печенки и получится грозная правда о самообожествившемся человеке, по своему близорукому усмотрению присвоившем вышнее Право, принадлежащее единственно Богу,

лишать людей жизни. С какой ужасающей, беспощадной верностью звучат слова Настасьи о кричащей в Раскольникове крови, запекающейся и сгущающейся совсем как у холодеющих жертв, произвольно лишенных убийцей дарованного Богом дыхания. Казнящий другого забывает, что и сам он будет духовно казним еще более мучительной казнью. Кровь его собственная, как и его жертв, будет кричать в нем и, по выражению Настасьи, тут-то и начинает ему «мерещиться». Иными словами, он попадает в особый мир страшных фантасмагорий и мытарств, в мир беспрестанных провалов, тошнотно жуткий, зыбкий, неустойчивый.

Весь разговор Настасьи с Раскольниковым показывает, как поразительно мало в нас сознания, как все мы живем и действуем инстинктивно, по повелению невидимых и неведомых существ, во власть которых мы сами себя отдаем, добровольно поступаясь нашей первородной свободой. По убеждению Достоевского, люди лицемерят, твердя на все лады, что они дорожат свободой. Нет, ее-то как раз и страшится человек, потому что боится ответственности. Оттого-то с такой легкостью изобретает он различные социальные доктрины, в конце концов его порабощающие. Человек всем своим темным нутром ищет не свободы, но рабства.

В разговоре Настасьи с Раскольниковым ценее всего открываемая нам Достоевским совершенная цельность вселенского бытия, срощенность воедино феноменального и нуменального, явного и тайного, цельность, обычно не замечаемая нами. Зажженая свеча, несомая Настасьей, одновременно и совершенно одинаково освещает и каморку Раскольникова, и его телесный облик, и его темную душу. Причем гробная комнатушка Раскольникова лишь продолжение его души, его, как и он сам, мрачное инобытие, а горящая свеча в руках Настасьи — вещее проникновение бездумной деревенской прорицательницы, бессознательно, но зато беспрепятственно обличающей черную тайну убийцы. В другой руке Настасьи тарелка супа и хлеб — дары, предлагаемые всепрощающей матерью-землею своему блудному сыну.

Но утроба Раскольникова, зараженная преступлением, не принимает ни воды, ни пищи от сердобольной матери, Раскольников уходит в беспамятство, временно отпадает от жизни, символизируя этим свой смертный грех.

По словам Настасьи, кровь кричит и запекается в Раскольникове, потому что ей нет выхода. Вот почему вся эта сцена, весь этот разговор бессознательного, но девственного существа с идейным преступником неминуемо приводит позднее, при развитии внешних и внутренних событий в романе, к властному указанию Сони на единственный исход для восставшего на Бога и сознательно, из принципа, пролившего кровь своих ближних. Надо всенародно признаться в совершенном преступлении и не только с целью открытого покаяния, но еще и потому, что просто невозможно существовать, укрывая свое злодеяние, которое, хочет того или нет сам преступник, не принимается глубиною человеческого сердца, сотворенного по образу и подобию Бога. Злодеяние, по Достоевскому, противоестественно и, что еще неизмеримо важнее, оно для бессмертной души человека противобожественно.

Таить в себе от всех идейно, из принципа содеянное зло невозможно. В уединении и отъединении от людей личность преступившего через запретный порог и нарушившего божественные установления бытия начинает распадаться, разлагаться, приближаясь к погружению в преисподнюю. Можно не покаяться, но нельзя оградить себя от бесплодных и потому губительных угрызений совести. Необходимо, пусть нераскаянно сознаться в преступлении, чтобы жить хотя бы на каторге, в некоторой степени предвосхищающей заслуженный ад и, в то же время, дающей отсрочку падшему, дабы прийти к покаянию.

Итак, из разговора Настасьи с Раскольниковым оказывается, что наши встречи, беседы и поступки больше ведают о нас, чем мы о них. Они глубже нашего сознания.

Но все же, в точности, как и при посредстве кого был доведен Раскольников до беспамятства, до преддверия к духовной смерти?

*

«... Давно уже прежде, — пишет Достоевский, — его (Раскольникова. — Г. М.) занимал один вопрос: почему так легко отыскиваются и выдаются почти все преступления, и так явно обозначаются следы почти всех преступников? Он пришел мало-помалу к многообразным и любопытным заключениям, и, по его мнению, главнейшая причина заключается не столько в материальной невозможности скрыть преступление, как в самом преступнике; сам же преступник, и почти всякий, в момент преступления подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых напротив того детским феноменальным легкомыслием, и именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность»...

«Дойдя до таких выводов, — продолжает Достоевский, — он решил, что с ним лично, в его деле, не может быть подобных болезненных переворотов, что рассудок и воля останутся при нем неотъемлемо, во все время исполнения задуманного, *единственно по той причине, что задуманное им — «не преступление»* (Выделено мною. — Г. М.).

Раскольников не ошибался, полагая, что порешенное им убийство ростовщицы, *не* будет уголовным преступлением. Но он не понял и не хотел понять, что самый замысел его чудовищно преступен. Так же точно возглавитель социальной революции, уничтожая ради «идеи» сотни тысяч человеческих жизней, совершенно искренне не считает себя нарушителем нравственных законов. Впрочем, он даже не спрашивает себя, преступны ли его кровавые деяния. Он заранее уверен в противном.

В лице Раскольникова впервые ставится в творчестве Достоевского с полной ясностью вопрос о том, что же такое *духовный бунт*, возникающий, для начала, по чердакам и подвалам в отдельных уединенных душах, и что же такое его прямое следствие — бунт коллективный, обобщенный, совершающийся под маской социальной революции? В круговороте мыслей Достоевского о Раскольникове уже зарождались «Бесы»: главный персонаж этого романа, обуреваемый злом,

одержимый демонами — Ставрогин и его метафизически неизбежное «социальное» опошление, его карикатурный двойник — революционный изверг Петр Верховенский.

К величайшему несчастью для Раскольникова, он совершал, убивая ростовщицу, совсем не уголовное, но идейное злодеяние, сопровождаемое, как и всякое преступление, феноменальным легкомыслием самого преступника. Раскольников не предвидел, что ради попрания принципа и пробы своих бунтарских сил разрешенное себе убийство есть нечто несравненно более страшное, чем простая, немудреная уголовщина; не учел и того, что пропорционально ужасу совершаемого зла возрастает и легкомыслие злодея, самоуправно проливающего кровь какого бы то ни было человеческого существа.

Кто из нас, говоря словами Тютчева, «смеет молвить «досвиданья» чрез бездну двух или трех дней?» Более того: кто с полной уверенностью может предвидеть, что произойдет с ним через две-три секунды? Думая так о собственной и чужой судьбе, легче, по крайней мере, уберечься от соблазняющего нас тяжкого и абсурдного греха самообожествления, не свойственного, кстати сказать, типично уголовному убийце. Уголовником владеет низкая материальная корысть. Он обычно нравственно недоразвит. Но ведь и он — прежде всего человек, и у него есть совесть, никогда, в отличие от Раскольникова, не оправдывающая им же самим учиненного зла. Есть в человеке некая духовная сфера, обретающаяся в нем глубже его тупости, недомыслия и недочувствия, глубже всех его пороков и грехов. Пребывая в состоянии нравственной оглушенности, уголовный убийца не возводит в сознательно оправданную систему своих преступлений, как делают это во имя «идеи» бунтари по призванию и убеждению, и потому темная потусторонняя сила, лишь частично им управляющая, не может завладеть полностью его духовной сердцевиной, сокрушить и разложить бесповоротно его личность. В этом великая разница между уголовником и тем, кто во имя духовного бунта принимает на себя Божественные полномочия, присваивает себе Вышнее Право распоряжаться жизнью

и смертью своих ближних. Трудно сделать решительный вывод, но по Достоевскому выходит как будто, что существу, подобному Петру Верховенскому, преданному бунту и утратившему какую бы то ни было связь с Божеством, все пути к спасению в вечности закрыты. Да и в эпилоге «Преступления и наказания», хоть и говорится о возможности полного раскаяния Раскольникова, но *творчески* оно Достоевским нам не показано.

Будем же осторожны с выводами, намеченными, но все же не сделанными самим Достоевским. Скажем только, что если легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царство небесное, то каковы же трудности, встающие перед человеком самообожествившимся, хотя бы и признавшим себя в итоге, с горечью и злобой, неудавшимся богом, как делает это Раскольников. Такой новоявленный бог, вступая на дорогу зла, оказывается куда меньше способным к верному расчету и предвидению, чем вульгарный грабитель и убийца; он сразу же теряет власть над собой и превращается в игрушку рока, диавола.

*

По возвращении своем с бесцельной прогулки, оказавшейся, как обнаруживается потом, далеко не бесцельной, Раскольников заснул и в два часа был разбужен Настасьей, принесшей ему суп. Он поел немного «без аппетита, машинально» и снова впал в полузабытье. «Вдруг он ясно услышал, что бьют часы и вздрогнул, очнулся, посмотрел в окно, сообразил время и вскочил, совершенно опомнившись, *как будто кто его сорвал с дивана*» (выделено мною. — Г. М.). Надо было спешно приготовиться. Во-первых, пришить петлю к пальто под левую мышку изнутри — дело минуты: «иголка и нитка были давно приготовлены». Теперь стоило только вложить в петлю лезвие топора, и он будет висеть спокойно, всю дорогу. Во-вторых, надо было достать из-под дивана заранее приготовленный «заклад» — деревянную дощечку, величиной с серебряную папиросочницу, сложенную

для веса с железной пластинкой, связанные вместе накрепко ниткой «аккуратно и щеголевато» обернутые в белую бумагу. Все обвязано так, «чтобы помудренее было развязать. Это для того, чтобы на время отвлечь внимание старухи, когда она начнет возиться с узелком, и улучить, таким образом, минуту».

Такой приступ к действиям был, пожалуй, не плохо задуман, однако, лишь на него одного хватило предусмотрительности у Раскольникова. Дальнейшие обстоятельства стали чередоваться и развиваться помимо расчетов самого преступника. «Только что он достал заклад, как вдруг где-то на дворе раздался чей-то крик:

— Семой час давно!

— Давно! Боже мой!»

С этого ответного восклицания, уже потерявшего себя существа, возрастает все сильнее и неумолимее власть завладевшего своей жертвой беса. Возглас кого-нибудь из жильцов густо населенного дома, — «Семой час давно!» — неминуемо, роковым образом донесшийся до слуха обреченного на преступление человека, послужил как бы потусторонним толчком, как будто некто невидимый, только что сорвавший Раскольникова с дивана, нажал на инфернальную кнопку и привел в действие послушный автомат.

«Предстояло самое важное дело, — повествует Достоевский, — украсть из кухни топор. О том, что дело надо делать топором, решено им было уже давно... на нож, и особенно на свои силы, он не надеялся, а потому и остановился на топоре окончательно... Что же касается до того, где достать топор, то эта мелочь его нисколько не беспокоила... Настасьи, и особенно по вечерам, поминутно не бывало дома... Итак, стоило только потихоньку войти, когда придет время, в кухню и взять топор, а потом, через час (когда все уже кончится), войти и положить обратно».

Но вот именно мелочи, нисколько не беспокоившие Раскольникова, с первого шага лукаво и своевольно обступили его. Поговорка гласит: «Человек предполагает, а Бог располагает». Вдобавок имеется еще и другое, не менее верное из-

речение: «Захочет Бог наказать, так и разум отнимет». Тогда временно, до срока, событиями, обстоятельствами и всеми мелочами располагает уже не Бог и не самонадеянный человек, а некая безымянная неведомая сила. Так и случилось на деле с Раскольниковым. «Одно ничтожнейшее обстоятельство поставило его в тупик еще прежде, чем он сошел с лестницы. Поравнявшись с хозяйкиною кухней... он осторожно покосился в нее... Но каково же было его изумление, когда он вдруг увидал, что Настасья не только на этот раз дома... но еще занимается делом: вынимает из корзины белье и развешивает на веревках!.. Но дело было кончено: нет топора! Он был поражен ужасно». К этим словам Достоевский добавляет от лица Раскольникова нечто в высшей степени знаменательное: «И с чего взял я, — думал он, сходя под ворота, — с чего взял я, что ее непременно в эту минуту не будет дома? Почему, почему, почему я так наверно это решил?»... Он был раздавлен, даже как-то унижен. Ему хотелось смеяться над собой со злости... Тупая зверская злоба закипала в нем».

Самообожествившийся человек — стоило ему двинуться — одним ударом, вернее, щелчком слепой судьбы, своенравием случая был сброшен с призрачной вершины, на которую сам возвел себя в собственном воображении. Судьба, по Достоевскому, слепа лишь по видимости, а то, что называем мы «случаем», происходит совсем не случайно. Им руководит тот, кому мы сами подчиняемся, отказываясь от первородной свободы. Черт сразу же наложил на Раскольникова свою лапу, и самозванный бог был раздавлен, даже как-то унижен, поскольку продолжала владеть им иллюзия самостояния.

Грех и злодейство позорно смешны и «ад всесмешлив», и это страшно, но еще страшнее, что сознательно бунтующему человеку, по причине его одержимости, его причастности к умыслам преисподней, самому хочется смеяться над собою. В нем закипает зверская злоба от собственного бессилия, от беспомощности перед «судьбою» и «случаем». Злоумышляя, мы попадаем в заклятый круг все разрастающихся наваждений и предаемся «с феноменальным легкомыслием» при-

зрачным расчетам и предрешениям. «Почему, почему, почему я так наверно это решил?» Да потому, что каждый из нас, замышляя злое и лукаво оправдывая его перед совестью, выпадает из бытия, теряет меру всего подлинно реального и небытийствует, как само зло, предаваясь фантасмагориям, существуя лишь паразитарно за счет добра.

«Он (Раскольников. — Г. М.) остановился в раздумьи под воротами... прямо против темной каморки дворника, тоже отворенной. Вдруг он вздрогнул. Из каморки дворника, бывшей от него в двух шагах, из-под лавки направо что-то блеснуло ему в глаза... Он осмотрелся кругом, — никого. На цыпочках подошел он к дворницкой, сошел вниз по двум ступенькам и слабым голосом окликнул дворника. — «Так и есть, нет дома!..» — Он бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто его не заметил! *«Не рассудок, так бес!»* подумал он, *странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно»*.

Подчеркнутые мною здесь слова, брошенные Достоевским мимоходом, исключительно важны для всего замысла «Преступления и наказания». Между прочим, они лишний раз убедительно показывают правильность уже высказанного мною предположения, что, по Достоевскому, все же не до конца становится преступник, даже оправдавший перед совестью свой греховный умысел, игрушкой диавола, послушным автоматом. Какую-то частицу собственной воли, направленной на поругание бытия, он в себе сохраняет, во всяком случае, вплоть до последней минуты, предшествующей фактическому завершению злодеяния.

Раскольников увидел на опыте, что если рассудок не может служить безошибочно на преступных путях, то имеется у злоумышленника верный до поры, до времени, союзник и руководитель. Этого-то, столь любезно подвернувшегося помощника, он приветствовал *странной* усмешкой и торжественным восклицанием.

В искусстве — будь-то роман, поэма или небольшое сти-

хотворение — часто всего одно слово, с неотвратимой меткостью попадая в цель, освещает внезапно изнутри художественное произведение в целом. Топор, околдованный нездешней властью, олицетворил собою как бы материализовавшуюся потустороннюю волю. Он блеснул из темноты в глаза Раскольникову, *странная* усмешка которого лишь отразила этот блеск — подобие улыбки возликовавшего беса.

Слово «странный» придает особый оттенок усмешке Раскольникова и позволяет нам ощутить мистику нежданно явленного бесовского преподношения. Это слово одним мановением ставит в «Преступлении и наказании» на центральное место темную власть, завладевающую нами на путях греха.

Петля, с прикрепленным к ней топором, находилась, как мы уже знаем, с внутренней стороны пальто под левой мышкой и, следовательно, орудие преступления прижималось к сердцу преступника. Таким образом символизировалось — отразилось вовне — содружество Раскольникова с силами преисподней. Поистине, нет ничего случайного в мире и, по существу, любое явление неисчерпаемо! По Достоевскому, получается как будто, что такого рода союз бывает нерасторжим и верен, пока не осуществится злодеяние. Черт, в отличие от нас, делает свое дело чисто и умеет распорядиться обстоятельствами в нужном ему распорядке.

Дом, в четвертом этаже которого проживала ростовщица, состоял из мелких квартир и был заселен всякими промышленниками и мелкими чиновниками. «Входящие и выходящие люди так и шмыгали под обоими воротами... Тут служили три или четыре дворника». Когда, накануне решительного дня, Раскольников заходил к старухе «на пробу», он никого не встретил под воротами и очень был рад, что ему удалось проскользнуть на лестницу незамеченным. И теперь, «на счастье его, в воротах опять прошло благополучно. Мало того, *даже как нарочно* (выделено здесь и ниже мною — Г. М.), в это самое мгновение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший его все время, как он проходил подворотню... Там, по

ту сторону воза, слышно было, кричали и спорили несколько голосов, но его никто не заметил и навстречу никто не попался... Лестница к старухе была близко, сейчас из ворот направо. Он уже был на лестнице...» Вот и четвертый этаж, вот и дверь старухиной квартиры.

Еще накануне, в день пробы, когда он позвонил к ростовщице, «звонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди... этот особенный звон как будто вдруг ему что-то напомнил и ясно представил... Он так и вздрогнул...» Отчего? Что же такое вспомнилось ему? Автор «Преступления и наказания» не договаривает. Но если исходить из основ мировосприятия Достоевского, то одно лишь несомненно: слабое, какое-то безжизненное звучание колокольчика было лишь отражением, символом мертворожденных измышлений, задолго до того назревавших в недрах падшей души Раскольникова. Изделие человеческих рук — покорная человеку материя — предупреждающе имитировало ведущее к духовной смерти решение преступника. Но мертвенность этого звучания отражала одновременно и злую сущность старухи, всецело преданной паразитарной наживе. Облик «старой ведьмы» срастался для Раскольникова с его собственными темными замыслами. Преступление, лишь теоретически им решенное, становилось роковой неизбежностью. И вот теперь, на другой день после «пробы», снова надо было дергать за звонок, придерживая на этот раз левою рукою, опущенной в карман, ручку топора, висящего в петле под пальто возле самого сердца.

Он «позвонил. Через полминуты еще раз позвонил, погромче.

Нет ответа... Он... приложил ухо к двери».

Если бы мог Раскольников до конца понять умом и постичь сердцем то, что послышалось ему тогда, он, наверное, отказался бы от своего замысла и убежал бы. Но он не владел собою; его сознанием и чувствами распоряжался кто-то другой. «...Он различил как бы осторожный шорох рукой у замочной ручки и как бы шелест платья о самую дверь. Кто-то неприметно стоял у самого замка и точно так же, как он

здесь снаружи, прислушивался притаясь изнутри, и, кажется, тоже приложа ухо к двери...»

Итак, намеченная убийцей жертва занимала, стоя в прихожей у замка, положение, в точности подобное тому, в каком находился он сам, ее палач. В разительном сходстве этих двух положений таилось для Раскольникова нечто угрожающее: а что если вдруг придется поменяться местами и из казнящего обратиться в казнимого? Но угроза не сразу дошла до него. Когда же, через какие-нибудь две минуты, он ощутил ее, то было уже поздно спасаться.

Раскольников позвонил в третий раз, но тихо, солидно, без всякого нетерпения. «Вспоминая об этом после, — говорит Достоевский, —... он понять не мог, откуда он взял столько хитрости, тем более, что ум его как бы померкал мгновениями, а *тела своего он почти и не чувствовал на себе*... (Выделено мною. — Г. М.). Мгновение спустя послышалось, что снимают запор».

Ставшее теперь злодуховным «я» Раскольникова теряло разум и почти освобождалось от тела, отражая тем самым страшный потусторонний лик своего властелина. Под видом бывшего студента-оборванца «старая ведьма» сама впускала к себе своего демона, явившегося по ее душу. Тут опять необходимо вспомнить слова Раскольникова, сказанные им впоследствии Соне и уже приведенные мною однажды: «Старушонку эту черт убил, а не я».

Войдя в квартиру и поздоровавшись с ростовщицей, Раскольников протянул ей свой «заклад». «Старуха... уставилась глазами прямо в глаза незваному гостю. Она смотрела внимательно, злобно и недоверчиво».

Здесь снова случилось то, что так часто бывает в творчестве Достоевского. Будучи визионером, он знал, что все, происходящее внутри нас, опережает явленные потом события нашей жизни, лишь повторяющие уже свершившееся в духовной глубине. По словам Достоевского, можно прийти в состояние, при котором почти не чувствуешь своего тела. Наше земное наружное «я», с его сознанием и чувствами, служит всего только покровом нашему внутреннему духов-

ному «я», с его особым сознанием и особыми чувствами, рациональному рассудку недоступными.

Старуха и Раскольников стояли на стыке, окончательно решающем их судьбу. Прошло с минуту, — пишет Достоевский, — *ему показалось даже в ее глазах что-то вроде насмешки, как будто она уже обо всем догадалась* (выделено мною. — Г. М.). Он чувствовал, что теряется, что ему почти страшно, до того страшно, что, кажется, смотри она так, не говоря ни слова еще с полминуты, то он бы убежал от нее».

Иные усомнятся, пожалуй, нужно ли обращать столь пристальное внимание на сделанное мельком автором замечание, и мало ли что кажется подозрительным человеку, замыслившему убить другого? Будь речь о реалистическом романе, такое возражение имело бы смысл, но к роману-трагедии, роману-мистерии оно относиться не может. В творениях Достоевского, — особенно в «Преступлении и наказании», все, вплоть до мельчайших подробностей и оговорок, между собой связано и все, как в живом организме, друг от друга зависит, и потому достаточно коснуться незначительной, с первого взгляда, детали, чтобы все привести в движение.

Раскольников уловил в глазах старухи знание о надвигающейся на нее неминучей беде и, одновременно, насмешливое торжество над своим палачем. Конечно, это внутренее знание собственной судьбы не доходило до позитивного рассудка скопидомки, злой и хитрой, но, несомненно, глупой. Однако, в деньгах есть магия, бросающая зловещий отсвет на того, кто их любит до полного самозабвения. Недаром во все века и всюду ростовщиков изображали существами, общающимися с нечистой силой. Одержимый идеей Раскольников, в предельном напряжении воли, устремленной к единой цели — убить, почти не чувствующий своего тела, ставший на мгновение подобием злого духа, проник во внутреннее «я» старухи и увидел именно то, что оно знало. Но бежать было поздно.

Из того, что угадал Раскольников в глазах своей жертвы, вскоре возникнет его сон об убитой, насильственно и внезапно отправленной им в вечность, когда не прямо в ад, то уж,

во всяком случае, не в райские обители, вернее же всего в ту потустороннюю комнатку, о которой Свидригайлов поведет беседу с убийцей: — «одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, вот и вся вечность».

Так или иначе, но нельзя забывать, что именно из этого сна Раскольникова рождается его неизбежная, как рок, встреча с Свидригайловым. Но не будем по заразительному примеру самого Достоевского забегать вперед.

*

«— Что такое? — спросила она (старуха. — Г. М.), еще раз пристально оглядев Раскольникова и взвешивая заклад на руке.

— Вещь... папиросочница... серебряная... посмотрите.

... Стараясь развязать снурок и оборотясь к окну, к свету (все окна у нее были заперты, несмотря на духоту), она на несколько секунд совсем его оставила и стала к нему задом. Он расстегнул пальто и высвободил топор из петли, но еще не вынул совсем...

... — Да что он тут навертел! — с досадой вскричала старуха и пошевелилась в его сторону.

Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор совсем, взмахнул его обеими руками, *едва себя чувствуя* (выделено мною. — Г. М.), и почти без усилия, почти машинально, опустил на голову обухом. Силы его тут как бы не было. Но как только он раз опустил топор, тут и родилась в нем сила... Удар пришелся в самое темя, чему способствовал ее малый рост. Она вскрикнула, но очень слабо, и вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке она еще продолжала держать «заклад». Тут он из всей силы ударил раз и другой, все обухом, и все по темени. Кровь хлынула, как из опрокинутого стакана, и тело повалилось навзничь».

Мы видим, что в продолжение всей сцены убийства лезвие топора было обращено к Раскольникову и угрожающе глядело ему прямо в лицо, показывая, что пора палачу ста-

новится на место собственной жертвы. И когда бы довелось Раскольникову ограничиться лишь этим одним злодеянием, он неизбежно сделался бы добычей мстительной «старой ведьмы», союз которой с нечистой силой оказался на деле покрепче, чем у него.

Спасти Раскольникова от окончательной духовной гибели могло теперь только вмешательство Божественной воли.

На небесах больше радости об одном кающемся грешнике, чем о девяноста девяти праведниках. Но как привести к покаянию человека самообжествившегося, сковавшего и наглухо запечатавшего в себе совесть?

«Убить вошь, бесполезную, гадкую, зловредную», — по утверждению Раскольникова, по меньшей мере, позволительно. Он повторяет это дважды. Сначала в разговоре с Соней, потом с сестрой, перед тем как идти признаваться в своем преступлении властям.

«— То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, никому не нужную, которую убить, сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это преступление? Не думаю я о нем и смывать не думаю».

Я не буду задерживаться на том, как растерянно, неумело, нелепо бросился Раскольников в соседнюю комнату обыскивать комод и укладку, находившуюся под постелью, как набивал он в карманы браслеты, кольца и серьги... Но он не успел много набрать.

Всегда таинственные силы жизни, приведенные в движение его преступлением, уже начинали действовать наперекор его же расчетам и намерениям. По повелению Божественной воли проснулась его судьба, дотоле спавшая в умолкнувших Перунах. Случилось так, что Лизавета гораздо быстрее, чем это можно было предвидеть, вернулась домой после делового свидания с мещанами-торговцами. И вот послышалось Раскольникову, «что в комнате, где была старуха, ходят...

Он сидел на корточках у сундука и ждал, едва переводя дух; но вдруг вскочил, схватил топор и выбежал из спальни.

Среди комнаты стояла Лизавета, с большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру...»

Я уже говорил о том, что таким кротким беззащитным существам, как Лизавета, порою бывает суждено от Бога стать, во спасение погибающего ближнего, жертвой закланной. Теоретически это, конечно, не трудно понять, на то имеются различные философские и богословские рассуждения. Несравнимо труднее приобщиться к этой жизненной истине животрепещущим сердцем. Тут надо, как говорит Достоевский, «непосредственно ощутить жизнию пережитое ощущение подобного таинства». Ныне нам, русским, после всего виденного и перечувствованного и в свое время предсказанного Достоевским, легче, чем другим, вспоминая испытанное, не предаваться бесплодным абстракциям, но постигать всем существом доподлинную ткань бытия. Если же упоминать о своем личном опыте, то я должен признаться, что эта истина дошла до меня далеко не сразу. А Достоевский болел ею всю жизнь, вплоть до самого гроба, и по-видимому так и не мог до конца оправдать Божества, допускающего страдания ребенка, принося его, ни в чем не повинного, в жертву во спасение злодея. Отсюда возникал бунт Достоевского, и мне кажется, поскольку можно судить о сердечных решениях другого, что автор «Братьев Карамазовых» не всегда открывал сердце навстречу высказанной Хомяковым мысли о Боге Отце, приносящем в жертву людям собственного Сына для того, чтобы раз и навсегда отнять у них право роптать на Небо. И, думается, что Достоевский очень был бы склонен присоединяться подчас и изъявлению поэта нашего времени: «Нет, если мир — Божественная тайна, он каждый миг клевещет на себя».

Однажды, в годы гражданской войны в Испании, мне попалось в газете извещение о том, как настроенные гуманистически мадридские революционеры захватили семью какого-то испанского помещика и приговорили ее к расстрелу. Пятилетний мальчик, сын помещика, умолял республи-

канских судей пощадить его и предлагал им в подарок свою любимую игрушку — плюшевого зайчика. Однако социальная справедливость превыше всего, и, во имя ее, мальчик был расстрелян. Когда я прочитал это, первым моим движением было погрозить небу бессильным кулаком. И только очень постепенно, мучительно медленно зародилась, созрела и укрепилась во мне не головная, а сердцем выстраданная мысль, что этот испанский мальчик и есть живой и неопровержимый символ ежедневно нами распинаемого Христа. Напрасно думать, что распинание Сына Божьего длилось лишь до девятого часа, оно продолжается, и нет ему ни конца, ни краю.

Нет сомнения, что именно из таких мыслей и чувств, творчески интуитивно, исходил Достоевский, подставляя голову кротчайшей своей героини под острие топора. Убивая Лизавету, Раскольников, сам того не понимая и не ведая, глубоко забрасывал в себя некое озимое зерно. Только эта озимь была происхождения нездешнего, как и смертельная зима, оледенившая душу преступника. О подобной зиме можно было бы сказать словами великого поэта, что она, каким-то непостижимым для нас чудом, «греет сев для будущего мира», особый сев, не скоро и не всегда превращающийся в тучный колос — в кающегося грешника. Непосредственно из убийства Лизаветы зарождается и возникает для Раскольникова его, теперь уже неминуемая, встреча с Соней Мармеладовой, с крестовой сестрой убитой. И Соня скажет ему о Лизавете: «Она была справедливая, она Бога узрит». Соня с Лизаветой когда-то поменялись крестами. Соне и суждено было стать живым символом засеянного в Раскольникова самим Богом нездешнего зерна — душевной частицы, представшей по смерти перед престолом Всевышнего, мученически погибшей Лизаветы.

Увидев Раскольникова, выбежавшего с топором из соседней комнаты, «она задрожала как лист, мелкой дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол... Он бросился на

нее с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда они начинают чего-нибудь пугаться... И до того эта несчастная Лизавета была проста, забита и напугана раз навсегда, что даже руки не подняла защитить себе лицо... Она только чуть-чуть приподняла свою свободную левую руку, далеко не до лица, и медленно протянула ее к нему (топору. — Г. М.) вперед, как бы отстраняя его. Удар пришелся прямо по черепу, острием... Она так и рухнулась. Раскольников совсем было потерялся, схватил ее узел, бросил его опять, и побежал в прихожую».

Когда Раскольников убивал Лизавету, топор, как бы сам собою, повернулся к нему обухом, потому что в тот миг орудие убийства не угрожало и не могло угрожать убийце мщением, оно, по Божьему попущению и соизволению, острием своим обрушилось на ни в чем не повинную жертву — на инобытие распинаемого Христа.

Мы видим, что все происходившее нарастало и развивалось с неудержимой внутренней логикой, помимо внешней воли и соображений Раскольникова: у жизни, у бытия имеются свои пути, своя последовательность и воля, соответствующие нашим внутренним хотениям, недоступным рассудку. Человека, замыслившего и совершившего преступление, постигает участь колдуна, поражаемого сокрушительными последствиями собственного злого колдовства. Уязвимость колдуна и всякого преступника заключается в том, что ни тот, ни другой не знают в точности, какие силы приведут они в действие, и на кого именно обратятся эти, разнузданные ими, энергии.

«И если бы, говорит Достоевский, — в ту минуту он (Раскольников — Г. М.) в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при этом, сколько затруднений, а может быть и злодейств, еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы вырваться отсюда и добраться домой, то очень может быть, что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только

ужаса и отвращения к тому, что он сделал. *Отвращение особенно поднималось и росло в нем с каждою минутой* (выделено мною. Г. М.). Ни за что на свете не пошел бы он теперь к сундуку и даже в комнаты».

Однако не дано видеть и рассуждать правильнее тому, кто только что совершил, и вдобавок ради «идеи», кровавое преступление. Иначе он тотчас же сам признал бы себя развенчанным богом, а это совсем не легко. Ведь если духовное падение человека происходит постепенно, по этапам, то еще неизмеримо медленнее, мучительнее и труднее обретаем мы снова полную ясность сознания, ведущего к угрызениям совести и, лишь в конечном итоге, да и то не всегда, к истинному раскаянию.

Почти совсем машинально Раскольников заглянул на кухню и, увидев там ведро, наполовину наполненное водою, догадался вымыть топор и свои окровавленные руки.

«Мучительная, темная мысль поднималась в нем, — мысль, что он сумашествует, и что в эту минуту не в силах ни рассудить, ни себя защитить, что вовсе, может быть, не то надо делать, что он теперь делает...» Он опять бросился в переднюю... «Но здесь ожидал его такой ужас, какого, конечно, он еще ни разу не испытывал.

Он стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую ладонь приотворенная... Старуха не заперла за ним, может быть из осторожности. Но Боже! ведь видел же он потом Лизавету! И как мог, как мог он не догадаться, что ведь вошла же она откуда-нибудь! Не сквозь стену же!.. Надо идти, идти!.. Он... стал слушать на лестницу».

Но главный, неотвратимо надвигающийся ужас ожидал его впереди, ужас роковой, как стук каменного командора, своевольно потревоженного Дон Жуаном и пришедшего пожать ему руку своею каменной десницей и провалиться вместе с ним в глубины разверзающегося ада.

Раскольникову послышались шаги, еще очень далеко, в самом начале лестницы. И «с первого же звука, — пишет

Достоевский, — тогда же он стал подозревать почему-то, что это непременно *сюда*, в четвертый этаж, к старухе. Почему?»

Когда Достоевский задерживает ход повествования и задает свое «почему», то читателю необходимо тотчас насторожиться, чтобы найти для себя ответ на задаваемый вопрос. «Шаги были тяжелые, ровные, неспешные, — продолжает Достоевский. — Вот уже *он* прошел первый этаж, вот поднялся еще; все слышней и слышней!.. Послышалась тяжелая одышка всходившего. Вот уж и третий этаж начался... *Сюда!* И вдруг показалось ему, что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить хотят, а сам точно прирос к месту, и руками пошевелить нельзя».

К сожалению, доныне существует весьма легкомысленное мнение, все еще не опровергнутое окончательно, несмотря на старания Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова, что будто бы слаб, не своеобычен и не выразителен язык Достоевского. Тому виною всеобщее безоглядное увлечение «изобразительностью», «живописностью» реалистического романа. Но язык Достоевского, это — прежде всего, звуковая лепка, подобная музыке Мусоргского в «Борисе Годунове» и в «Хованщине». Он ничего не живописует, не изображает, но ритмом, паузами, ускорениями и замедлениями, повышениями и понижениями речи дает ощутить потаенное, слышимое, но глазами невидимое, подспудное движение жизни. Чего стоят по выразительности в только что приведенных мною словах эти подчеркнутые самим автором *«сюда»* и *«он»* эта «одышка *всходившего»*, это как бы небрежное, в тревоге недоговоренное, «вот уже и третий начался», эти прерывистые «догоняют, близко, убить хотят».

Невольно вспоминаются мне замечательные слова Ремизова, сказанные о персонажах Достоевского: «Нереальные, эти — только мысли — герои, живы и действуют, как кожные, а по встрепету — неотразимы. Слушайте, только — чур! Не трогать пальцами: рука скользнет по воздуху».

Это оттого так, что в жизненной подспудности, мистериальном шествии бытия нет чувственных образов, но лишь

сущность образа. А Достоевский весь в тайном, в подспудном, в мистерии. Потому-то, когда уже кончились и совершенно исчерпали себя реалистические романы, созданные лучшими мастерами, творения Достоевского продолжаются в бесконечности.

«Всходил» по лестнице совсем не каменный гость, а самый будничный обрусевший деловой немец Кох. Поджидал же его наверху не гвардии офицер Герман, не застывшая благообразно в кресле, умершая от испуга старая графиня и не ее романтическая воспитанница Лиза, но бывший студент-оборванец и окровавленные тела ростовщицы и ее сестры, мещанки Лизаветы. И все же Кох не поднимался, а всходил по лестнице, и все же неподвижные тела ростовщицы и Лизаветы были так таинственно страшны, что ни за что на свете не вернулся бы Раскольников из прихожей в комнаты. Недаром, только что до того обыскивая убитую им старуху, не посмел он рубнуть топором по застрявшему у нее за пазухой шнурку, с привязанным к нему кошельком. Ведь мертвые не только «сраму не имут», но в их распростертых останках есть что-то священное и мистически живое даже для самого убийцы.

Почему Раскольников мгновенно учуял, что поднимающийся по лестнице человек идет в четвертый этаж, *сюда?*

Обычно дремлющие в нас многочисленные познавательные способности внезапно просыпаются, когда надвигается опасность. Тогда снова и снова обнаруживается в жизни и творчестве Достоевского непреложный закон: все, что происходит или долженствует с нами произойти, уже совершилось в нашей душевной глубине. Поэтому, находясь в предельном напряжении всех своих чувств, Раскольников угадал, куда именно направляется «всходивший» по лестнице незнакомец.

Мы знаем, что в нужное мгновение Раскольников не уловил значения, заключавшегося в разительном сходстве положений, занятых им и ростовщицей, — им, стоявшим снаружи у двери старухиной квартиры, и самой старухой, притаившейся за той же дверью, изнутри, в прихожей. Теперь на-

чинал раскрываться потайной смысл этого страшного для Раскольникова сходства.

Душа смиренной Лизаветы, узревшая Бога, посылала навстречу убийце — ему во спасение — свою крестовую сестру, свое инобытие в земном облике Сони Мармеладовой, и свое евангелие, как бы случайно увиденное Раскольниковым в Сониной комнате на комоде. Но нет случайного, существование мистериально, и каждый наш жест, каждый волос на голове состоят на учете.

Насильственно и внезапно отправленная Раскольниковым в загробный мир ростовщица понесла с собой туда неизбывную злобу и неутоленную жажду паразитарной наживы. А зло как раз паразитарно; оно само по себе небытийственно и существует лишь за счет дыхания, дарованного вселенной Творцом. Убивая ближнего ради попрания самого принципа, человек призрачно самообожествляется и берет на себя сверх тяжкой ноши собственных неискупленных прегрешений еще и грехи убитого, неуспевшего покаяться. Но ведь по слову поэта, «Тот, грехи подъявший мира, осушивший реки слез», был, действительно, Богом и потому мог понести на себе, по Всевышнему Праву и Божественному Соизволению, все зло, содеянное людьми. Что же может убийца, палач, самозванный бог? Умерщвляя другого, он входит с ним в противобожественные и противоестественные извращенные злодуховные сношения, создавая безобразную круговую поруку грехов и пороков убивающего с убиваемым. Палач заражается смрадом своей жертвы, мстящей ему через живых посредников, утверждая его, при их содействии, в нераскаянности, ведущей убийцу к окончательной духовной гибели. Злая жертва становится палачом своего бывшего злого палача.

Когда «всходивший» по лестнице стал подниматься в четвертый этаж, Раскольников «успел-таки быстро и ловко проскользнуть назад из сеней в квартиру и притворить за собой дверь. Затем схватил запор и тихо, неслышно насадил его на петлю. Инстинкт помогал. Кончив все, он притаился не дыша, прямо сейчас у двери. Незнакомый гость был тоже у

дверей. *Они стояли теперь друг против друга, как давеча он со старухой, когда дверь разделяла их, а он прислушивался»*. (Выделено мною. — Г. М.).

Тут я считаю не лишним сделать небольшое отступление, чтобы провести еще раз ясную грань между художниками душевно-телесного склада — создателями реалистических романов и их читателями, с одной стороны, и художниками духовно-телесного строя — с другой.

Иной читатель может принять в «Преступлении и наказании» такое повторное стояние у дверей за обычный в уголовных романах, чисто внешний эффектный прием. Произнес же свое глубокомысленное суждение Золя, прочитав «Преступление и наказание»: «Немногим выше Рокамболя». Но что говорить о Золя, когда Бунин, да и сам Лев Толстой, были о творчестве Достоевского приблизительно такого же мнения. (Слова Толстого о чисто дидактически моральном значении писаний Достоевского в счет не идут.). По свидетельству Горького, на этот раз, по-видимому, правдивому, Толстой сказал ему однажды: «Я перечитал недавно «Преступление и наказание», как это глупо!» Это заявление звучит, по крайней мере в передаче Горького, несколько двусмысленно. Что глупо? «Преступление и наказание» или то, что Толстой перечитал этот роман? Во втором случае, Толстой был бы ближе к истине. Ему незачем было перечитывать творений Достоевского, точно так же, как и трагедий Шекспира. Тем более, не следовало Толстому писать беспомощную статью с целью показать нам, что Шекспир всего-навсего заурядный писатель. Художникам душевно-телесного склада, как бы ни были они могущественны в своей области, доступ ко всему духовному закрыт. Слова апостола Павла на веки вечные остаются в полной силе: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает сие безумием; и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно».

Спешу добавить, что я веду речь не о превосходстве друг над другом художников того или иного плана, а только о необходимости каждому из них занять подобающее ему

место. Достоевский, в свою очередь, не склонен был, судя по его печатному отклику на «Анну Каренину», признавать за Толстым гениальность. Он полагал, что Толстой, с присущим ему огромным талантом, развивает некоторые художественные идеи Пушкина. Не больше. А о Золя в одном своем письме Достоевский говорит: «Прочитал роман Золя «La terre». Какя гадость!»

В заключение скажем, что в творениях Достоевского получается на деле кое-что поглубже и посложнее, чем у Золя и Рокамболя. И приступая к изучению романов-мистерий Достоевского, нужно заранее обрести искусство медленного чтения.

*

Раскольников и незваный посетитель стояли друг против друга, причем убийца занял теперь место своей жертвы.

«Гость несколько раз тяжело отдыхнулся. *«Толстый и большой, должно быть»*, подумал Раскольников, *сжимая топор в руке. В самом деле, точно все это снилось.* (Выделено мною. — Г. М.) Гость схватился за колокольчик и крепко позвонил.

Как только звякнул жестяной звук колокольчика, ему (Раскольникову — Г. М.) *вдруг как будто почудилось, что в комнате пошевелились. Несколько секунд он даже серьезно прислушивался»* (Выделено мной. — Г. М.).

Почему же ему показалось, что все это лишь снится? Прежде всего потому, что, убив, он еще не успел познать собственного черного превращения, того, что по существу, он уже не прежний Родион Романович Раскольников и не просто Родя в кругу близких друзей, для матери и сестры, но некто темный, безымянный, сделавшийся безликой добычей своей мстительной жертвы. Став иным, он как бы попал в иной мир, подверженный неведомым законам, и этот другой мир показался ему, новичку, жутким сновидением. Когда позвонили в квартиру, ему почудилось, что в комнате пошевелились потому, что прошел сквозь него невидимый ток от позвонившего к еще неостывшему телу старухи. А что ощу-

щает еще горячая плоть только что убитого существа, какою жизнью она продолжает жить, мы не знаем. Но брякнувший на особый лад звонок и кажущееся шевеление в комнате, все это было начинающимся наступлением на Раскольникова отправленной им в незнаемые области ростовщицы, как бы принявшей облик кого-то «толстого и большого». которого придется, пожалуй, рубить теперь топором, как свиную тушу.

Ростовщикам присуща злая мистика. До сновидения Раскольникова о старухе, Достоевский касается этой мистики лишь побочно, намеками, давая нам возможность почувствовать ее присутствие будто случайно оброненными словами. Всё же, зорко следя за развитием повествования, мы явно ее улавливаем. Одно непреложно: ни под каким видом нельзя пренебрегать у Достоевского мельком сделанными замечаниями, мимоходом брошенными словами, им ли самим от себя или его персонажами. Надо знать и непрестанно помнить, что в творениях Достоевского всё, абсолютно всё, живет часто инопланными, разнородными по отношению друг к другу, существованиями. В центре вселенной находится человек; от него идут непрерывные флюиды и токи ко всему природному и сверхестественному. Эти магические волны, исходящие от человека, снова возвращаются к нему, начиная от изделий человеческих рук, от вещей, непосредственно его окружающих, безразлично каких, будь то дом, звонок, нож, шаль, кошелек, топор или ключ. Примеров того, что для Достоевского всё живет и таинственно между собою общается, можно найти в его творчестве множество. Вот, к слову, один из них, весьма характерный. Стараясь не замараться текущей кровью, Раскольников вынул из кармана убитой старухи ключи в одной связке, на одном обруче, и побежал с ними в спальню. «— *Странное дело:* — оговаривается Достоевский, — *только что он начал прилаживать ключи к комоду, только что услышал их звяканье, как будто судорога прошла по нем.* (Выделено мною. — Г. М.). Ему вдруг опять захотелось бросить всё и уйти. Но это было только мгновение; уходить было поздно. Он

даже усмехнулся на себя, как вдруг другая, тревожная мысль ударила ему в голову. Ему вдруг почудилось, что старуха, пожалуй, еще жива и еще может очнуться. Бросив ключи и комод, он побежал назад, к телу, схватил топор и намахнулся еще раз над старухой, но не опустил. Сомнения не было, что она мертвая».

Какая же может быть связь между звяканьем ключей и умерщвленной за две минуты до того их владелицей, и каким образом эта связь дает судорогой о себе знать убийце? Упоминания о судорогах нередко встречаются в творчестве Достоевского. Судорога пробегает по лицу того или иного из его персонажей иногда от крайнего испуга, но, чаще всего, она выдает присутствие беса, плотно засевшего в человеке. Ключи, запирающие неправедно накопленные ростовщицей чужие деньги и драгоценности, дороже ей собственной жизни. И, как это ни абсурдно на первый взгляд, но скупец, умирая, всегда надеется захватить с собой свое золото. Недаром у Пушкина скупой рыцарь, чувствуя приближение неминуемой смерти, взывает: «Где ключи? Ключи, ключи мои!».

Творчество Достоевского органически вырастает из «Скупого рыцаря», «Пиковой Дамы» и проблемы совести у Пушкина. Нет никакого сомнения, что, говоря о ключах ростовщицы, вызвавших судорогу, пробежавшую по телу убийцы, Достоевский помнил о том, как умирал пушкинский скупой рыцарь. Ключи убитой старухи сохранили с нею зловещую связь. Несомненно, что так же неотступно думал Достоевский и о старой графине из «Пиковой дамы» во все время, пока писал «Преступление и наказание». И когда нежданный Раскольниковым гость в нетерпении дергает за звонок и ревет, как из бочки, обращаясь к лежащей за дверью убитой ростовщице: «Эй, Алена Ивановна, старая ведьма!», то мгновенно вспоминается обращение к старой графине Германа, еще не успевшего заметить, что она умерла: — «Старая ведьма! так я же заставлю тебя отвечать!».

Слова у таких великих художников, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, кроме внешнего, для всех привычного

смысла, очень часто имеют еще и второе, углубленное значение. Гоголь и Достоевский многому учились у Пушкина, научились они у него и хитрой игре со словом, как бы невзначай сказанным, и сложной игре с замечаниями, кинутыми будто между прочим, нечаянно. Так, например, у Гоголя, майор Ковалев, утративший нос, сбежавший от него при загадочных обстоятельствах, приходит в газетную экспедицию, чтобы объявить о столь трагическом для него происшествии в печати и, на вопрос недоумевающего чиновника, отвечает: «Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. *Чёрт хотел подшутить надо мной*». Эти слова Ковалева, подчеркнутые не Гоголем, а мною, могут пройти и проходят незамеченными читателем. Ведь мало ли кто привык поминать черта с раннего утра до позднего вечера! Однако в этом замечании Ковалева кроется разгадка всего замысла гоголевского «Носа».

Старая графиня, сидевшая неподвижно перед невольным виновником ее смерти, явилась потом Герману ночью, не то во сне, после того как ему, спящему, померещилось, что он проснулся, не то прямо наяву с того света. Старая ведьма в «Пиковой Даме» отомстила своему убийце и полностью над ним восторжествовала. Но в «Преступлении и наказании» дело отмщения для старой ведьмы чрезвычайно осложнилось вмешательством Божественной воли и ангельских сил, и пришлось преисподней вплотную вести ярую борьбу с Небом за обладание преступником, понесшим в себе озимое неземное зерно, Богом заброшенное в него при посредстве убитой кротчайшей Лизаветы. Эта нездешняя озимь грозила чёрту пустить, на глазах у него, в душе убийцы чудодейственный росток покаяния. От этого замысел «Пиковой Дамы», целиком воспринятый Достоевским, растет, расширяется и безмерно усложняется в «Преступлении и наказании».

Напоминаю уже сказанное мною: три плана вселенского бытия — наш — земной; небесный — ангельский и, наконец, инфернальный — бесовский, — лишь слегка намеченные у Пушкина, становятся в творчестве Достоевского неопро-

вержимой, явленной нашим умам и сердцам высшей реальностью. Эти три плана как у Пушкина, так и у Достоевского, не только не отделены друг от друга герметически, но находятся в непрестанном взаимообщении, и каждый из нас, людей, служит по отношению к своему ближнему проводником ангельских или демонских сил. Три воли пересекаются между собою — божественная, диавольская и человеческая; и внутренняя воля человека сама свободно выбирает, чьим проводником ей быть — света или тьмы.

Разгадать многоразличие переплетения человеческих встреч, никогда не бывающих случайными, вызываемых изнутри нашей волей, нашими хотениями и вожделениями — вот чего добивается Достоевский. Его творческая интуиция знает при этом, что рядом с нашей волей, устремляющейся то вверх, то вниз, неотлучно движутся духи добра и зла, ищущие проявиться через человека.

Есть волевые творцы художества и есть служители искусства медиумические. Ко второму разряду художественных натур у нас, например, всецело принадлежал Блок, во Франции — Верлэн. Они пассивно пропускали в себя и через себя различные космические соблазны и прельщения, и потому их поэзия роковым образом должна была стать демоничной. Художниками, лишенными волевой сопротивляемости, властвуют демоны. Но великий грех возлагать всю ответственность за это на одних поэтов-медиумов. Нет, за направление их искусства отвечаем мы все, с ними живущие. Художник всегда отражает метафизику своей эпохи, скрытые устремления своих современников, положительные и отрицательные, святые и греховные. Явление Блока в краткий период российского ренессанса, во времена Державина и Пушкина было бы невозможным, немыслимым. Но уже Гоголь учуял и предсказал скорое нарождение страшилищ и чудищ, а Достоевскому выпало на долю вступить с ними в длительную борьбу. Создатель «Преступления и наказания», «Бесов» и «Братьев Карамазовых» был художником волевым и потому, до глубины всего своего существа, сознательным. Он обладал не одним, но двумя исполин-

скими умами. Один из этих умов входил неотъемлемой органической частью в его интуицию, другой пребывал над творческим процессом, зорко следя за ним. Этот, всё поверяющий ум заведывал художеством Достоевского и не пропускал в него ничего, самому автору не угодного. Блок — служитель искусства безотчетный, пассивный; Достоевский же, подобно Баратынскому и Пушкину, принимает на себя ответственность за каждое свое слово. Он, как и Баратынский, принадлежит к разряду творцов, очень редко встречающемуся; он — художник мышления, высшей стадии сознания, опровергающей во всем позитивный рассудок, который, в свою очередь, считает такое сознание безумием. Но ведь подлинное искусство, к какому бы оно роду ни относилось, с точки зрения рассудка, — бессмыслица ничуть не меньшая, чем религия. И как раз то, что для рассудка — абсурд, то и роднит всякое художество с религией. Человеческий рассудок, по слову апостола Павла, есть мерзость перед Господом, и поэтому прав Иннокентий Анненский, утверждавший, что в основе художественного творчества «лежит обоготворение невозможности и бессмыслицы», как и в основе религии, остается мне добавить от себя. Евклидову уму нет места ни в религии, ни в художестве. Кстати, ныне, после открытий Лобачевского, нельзя серьезно отрицать того, что евклидовские истины ценны лишь относительно.

Полнейшее обожествление художником невозможности и бессмыслицы я и называю высшим сознанием. И все, что могло бы показаться здесь отступлением, сделанным мною от основной темы, в действительности ведет непосредственно к ней и прямо упирается в обрусевшего немца, делового и практического Коха, никогда, конечно, не чаявшего стать героем романа-мистерии. Да, Кох безнадежно сер и вдобавок жуликоват, «мошенник какой-то», по определению Разумихина. Он скупал у ростовщицы просроченные вещи для перепродажи и, следовательно, был связан с нею в нечистом деле круговою порукою греха. В сером, в ничтожном, в будничном художественный взор Достоевского всегда различал не-

кое тусклое темноватое мерцание мистики, — иногда злой, удушающей живое, но порою готовой вспыхнуть неодолимым незакатным светом. Это недоступное обычному взгляду мерцание превращало для Достоевского весь мир, со всеми его вещами и существами, из трехмерного в трехпланный. Попав в поле художественного зрения Достоевского, не избежал такого превращения и Кох. Связанный с ростовщицей общим им обоим грехом, он, после того как она была убита, сделался — пусть всего лишь для начала — избранным ее посредником, проводником ее мстительных намерений. Ток, пробежавший от ростовщицы к приближающемуся к квартире Коху, пронзил Раскольникова, приобщив его на мгновение к иному плану существования, и застигнутый врасплох убийца тотчас догадался, что *«всходящий»* по лестнице направляется в четвертый этаж, *сюда*.

Входная дверь, у которой изнутри в прихожей стоял Раскольников, была им заперта не на ключ, а всего лишь крючковатым запором. Кох, видя, что никто не отвечает на звонки, стал дергать за ручку двери.

«В ужасе смотрел Раскольников на прыгавший в петле крюк запора и с тупым страхом ждал, что вот-вот и запор сейчас выскочит». Но тут Кох, остервенясь, снова принялся дергать колокольчик.

«В самую эту минуту вдруг мелкие, поспешные шаги послышались недалеко по лестнице... Раскольников и не расслышал сначала». Это был некто Пестряков, молодой человек, готовящийся в судебные следователи. Именно с этой минуты, еще очень издалека, начала надвигаться на Раскольникова человеческая законность — беспощадность юридизма.

Туповатый Кох никак не мог догадаться, что дверь не заперта на ключ, а держится на одном запоре и оттого при дерганьи отстает. Пестряков немедленно это сообразил и понял, что творится неладное. Оставив Коха сторожить у двери, он пошел за дворником. Но нетерпеливый Кох, подождав немного, бросил свой караул и тоже отправился вниз. Это и спасло Раскольникова, вернее же сказать, даровало ему от-

срочку. Старая ведьма, во власти которой он теперь очутился, собиралась, очевидно, поиграть с ним, как кошка с мышью, да и не в ее расчетах было посадить своего убийцу в острог и тем самым дать ему возможность одуматься и прийти к покаянию. К тому же, по соизволению свыше, завязывался новый таинственный узел, вызванный к жизни и внутренней волей самого убийцы. В круговорот событий должен был вступить теперь один из антиподов Раскольникова, ищущий пострадать маляр Миколка.

Раскольникову ничего не оставалось другого, как только попробовать, пока Кох и Пестряков не вернулись с дворником, сбежать по лестнице и проскользнуть незамеченным из подворотни на улицу. «Он уже сошел три лестницы, как вдруг раздался сильный шум ниже...»

«С криком вырвался кто-то внизу из какой-то квартиры... крича во всю глотку: — Митька! Митька! Митька! Митька! Митька! Шут-те-де-ри-и-и... Последние звуки послышались уже на дворе... Но в то же самое мгновение несколько человек, громко и часто говоривших, стали шумно подниматься на лестницу... «Они!».

Встреча с «ними» казалась неминуемой, — «и вдруг, спасение!.. направо, пустая и настежь отпертая квартира... в которой красили рабочие, а теперь, как нарочно, ушли. Они-то верно и выбежали сейчас с таким криком... В одно мгновение прошмыгнул он в отворенную дверь и притаился за стеной», и, когда Кох, Пестряков и дворники прошли мимо, вверх по лестнице, «вышел на цыпочках и побежал вниз».

А в пустой квартире, за стеной в углу остался лежать на полу оброненный им в спешке из кармана футляр с золотыми серьгами.

Для невидящих и неслыщащих, живущих в мире, по слову Тютчева, как впотьмах, события и обстоятельства громоздятся и цепляются друг за друга, будто бы совершенно случайно. Для духовно слепых и глухих жизнь есть хаос, поскольку не вмешивается в нее и не наводит своих искусственных распорядков трезвый людской рассудок. Однако у существования, движущегося одновременно в трех взаимооб-

щающихся планах, имеется своя безумная, с точки зрения позитивного рассудка, последовательность, постигаемая интуитивно и доступная только высшему художественному и религиозному сознанию. Бытие не укладывается ни в какие нами изобретенные научно-философские системы. Для них художник мышления иллогичен и несостоятелен. Но ведь у Достоевского, как замечает Ремизов, — «живая жизнь мыслей, а для *живой* мысли последовательность (рассудочная, — добавлю от себя. — Г. М.) не обязательна». У Достоевского, — говорит Ремизов, — кипяток, огонь мыслей».

Мысль истинного художника мышления, накаленная до предела непосредственным опытом страданий и радостей, отстраняет научно-философскую логику и, взамен ее, порождает собственную, кровно и духовно неопровержимую высшую последовательность, всегда совпадающую с тайной закономерностью существования, с ее динамикой, с ее взрывчатой сущностью. В этой динамике, решающей судьбы вселенной, а, следовательно, и человека, не может быть места мертвенной случайности, потому что всё живет в напряженных поисках самоопределения и соборного воссоединения. Хоть и невольно, но совсем не случайно оброненный убийцей футляр с серьгами подберет не случайно красильщик Миколка и попадет в круговорот жизненных сцеплений и энергий, взвихренных ищущей, преступно дерзающей волей своего антипода — Раскольникова. Вещи, по Достоевскому, живут и пропускают через себя многоразличные токи, идущие от человека. Вещи — это звенья, связующие людей, находящихся, неведомо для самих себя, в непрестанном общении с духами света и тьмы. Крайности соприкасаются: внутренняя воля Миколки, жаждущего смирения и личной жертвенности, не могла не встретиться в жизни с ненасытной гордыней Раскольникова, жертвующего во имя самоутверждения не собой, но другими.

Я уже говорил, что нет в творениях Достоевского второстепенных персонажей. Где всё воистину дышит, раскрывая свою духовную сущность, там все одинаково важно, там средоточие повсюду, окружность нигде. Достоевскому,

в силу основного замысла, нужно было поставить в центр своего повествования Раскольникова и тем обязать нас исходить от этого символа, прослеживая нити, связующие его со всеми остальными мыслями-героями, живущими и действующими в романе-мистерии. Но мог бы Достоевский, расположив свой замысел на иной лад, пойти, скажем, хотя бы от Коха или Миколки-маляра и придти неминуемо к Раскольникову.

Если Кох роковым образом столкнулся с убийцей ростовщицы в качестве проводника ее мстительных намерений, то еще мистически глубже и бытийственней появление Миколки на путях Раскольникова, убившего безответную Лизавету. Миколка — это прежде всего мужественное преломление того, что руководило всеми поступками бессознательной Лизаветы, женственно пассивно воспринявшей и воплотившей в жизни идею самоотдачи и самопожертвования. Эта идея, мужественно преломленная человеком, тотчас включает в себя высшее духовное сознание круговой поруки вины: «всяк за всех виноват». А когда так, то, приняв на себя чужую лишь по виду вину, я порву порочный круг и приобщусь непосредственно к искуплению мирового зла. Именно так чувствовал и думал Миколка, и потому, если Соня Мармеладова — крестовая сестра злодейски умерщвленной Лизаветы, то Миколка — названный брат умученной праведницы, узревшей Бога. Это при ее невидимом содействии обронил Раскольников футляр с серьгами, который и подберет Миколка, действенно включаясь тем самым в развитие жизненной мистерии, в религиозный процесс бытия.

Миколка, подобно Соне, проводник спасительных излучений, направленных к Раскольникову от мученически погибшей Лизаветы. Миколка всем сердцем, всею душою хочет *угодить* Богу. Имена даются не случайно, и он при крещении назван именем святого Угодника, особенно чтимого русским народом. Но Достоевский никогда не мыслил прямолинейно, и нет в его творчестве коротких замыканий. Его живая мысль, неизменно развиваемая до конца, вызывает к

жизни свое противоположение. Он помнит, что человек ежеминутно может изменить своему святому. Оттого у Миколки-красильщика есть антипод, такой же, как и он, деревенский парень — Миколка, пьяный и дикий, насмерть забивающий несчастную лошадь. Поразительно по бездонной глубине положение, творимое Достоевским: Раскольникову, уже порешившему в себе стать убийцей, снится именно этот антипод Миколки-красильщика — беспощадный Миколка, терзающий невинную тварь, божественную основу земного существования. Преступный Миколка связан с Раскольниковым круговой порукой греха. Они — родные братья по преступности, и обоим им одинаково противопоставлен не всуе несущий свое имя красильщик, жаждущий возложить на себя мировую вину и страдание.

Тут я еще раз настойчиво отмечаю: мысль Достоевского — враг каких бы то ни было отвлеченностей, она трепетна, огненна, неотделима от подлинной жизни, от глубинных родников бытия, от того, что Ремизов очень удачно называет *первожизнью*. Мысль автора «Преступления и наказания» открывает доступ к сущному, ко всему нерасчленимому, неразложимому, исключающему всякую абстракцию.

Миколка-красильщик в романе-мистерии — основной символ всечеловеческой совести, уязвимой, терзаемой чувством первородного греха, совести падшего Адама, не померкающей в душах лучших людей, верующих во Всевышнего. Изойдя от Миколки, от безвестного красильщика, деревенского тяжелодума, возжелавшего принять на себя чужую вину и судебную ответственность за зло, совершенное идейным злодеем, совесть мира навестит Раскольникова, отпавшего от солнца живых. Она предстанет перед убийцей сначала наяву, приняв совсем не призрачный облик пригородного мещанина, «одетого в чем-то вроде халата, в жилетке, издали очень похожего на бабу» и, вслед затем, явится ему в сновидении, под видом все того же мещанина, «с дряблым морщинистым лицом, с заплывшими глазками, глядящими угрюмо, строго, с неудовольствием», и поведет преступника к месту преступления — в квартиру ростовщицы, хотя на вре-

мя быть может, но все же восторжествовавшей над своим палачом. Там душе спящего Раскольникова раскроется неумолимая потусторонняя реальность: бывшее жилище умерщвленной процентщицы окажется преображенным в немыслимый, невероятный для рассудка, неизъяснимо жуткий бесовский притон, озаренный не то огромным круглым, медно-красным месяцем, глядящим прямо в окно, не то кровавым, явно инфернальным заревом. Этот неслыханный притон и был на самом деле какой-то страшной разновидностью той мытарственной области, куда так внезапно отправил Раскольников старуху с ее неутоленной на земле паучьей алчностью. Когда приходил он к ростовщице еще только на пробу, — о, как давно! может быть, миллионы лет прошли с той поры, так успело измениться все и здесь и в его сердце, — то эта самая комната была ярко освещена заходящим солнцем. Раскольников навсегда запомнил, как в уме его, будто «невзначай мелькнуло»: «И *тогда*, стало быть, так же будет солнце светить». Он не ошибся — в день убийства солнце освещало сквозь закрытые окна, и его, и топор, и старуху. Но теперь...

Однако подробная речь о сновидении Раскольникова, о Миколке, старой ведьме и мещанине, похожем на бабу, ожидает нас впереди. Пока же все мои упоминания о них — лишь флюиды, предварительно испускаемые футляром с золотыми серьгами, оброненным убийцей. С вещами шутить нельзя. Хорошо, в связи с Гоголем, сказано о них у Ремизова: «Вещи жгут и в своем огне распадаются, погасая, в пепел». Говоря о творчестве Достоевского, к этому следовало бы добавить, что вещи испепеляются, но сущность их, пребывая в памяти человека, продолжает по-прежнему влиять и действовать.

Раскольникову, по-воровски, на цыпочках, вышедшему из пустой квартиры, где только что работали красильщики, неожиданно сбежавшие вниз, надо было никем не замеченным проскользнуть по лестнице, шмыгнуть из подворотни на улицу и там замешаться в толпе. И вот, если в нужную минуту «не рассудок, так бес» подсунул ему в руки топор, то и тут из совершенно, казалось бы, безвыходного положения

выручил его едва ли не тот же дух, называемый откровенно и прямо чертом «научно непросвещенными» людьми.

Чудеса на свете происходят разные и не столь редко, как мы обыкновенно думаем по свойственным всем слепоте и поразительному невниманию к текущей жизни. Чудеса творит не только Небо, о них — на погибель человеку — заботится и преисподняя. Ведь в собственном спасении Раскольников не принимал никакого действительного участия. Он в полном отчаянии шел на «будь, что будет!» «Остановят — все пропало; пропустят — тоже все пропало: запомнят». Его подлое прокрадывание на цыпочках само по себе ничему не помогало. Наши кажущиеся нам хитроумными уловки почти никогда не соответствуют непрестанно надвигающимся, изменяющимся сцеплениям и пересечениям жизненных обстоятельств. Приемы преступника, заметающего собственные следы, немногим целесообразнее петлистых прыжков по снегу, проделываемых зайцем с намерением укрыть от собак и охотников свое присутствие в логове. Нет, ближайшей и отдаленной судьбой преступника заведует и распоряжается, во всяком случае, не беспомощный человеческий рассудок.

Дом, из которого Раскольникову предстояло выбраться, как уже говорилось, был большой. «Входящие и выходящие жильцы, обычно, так и шныряли под обоими воротами и на обоих дворах». Когда Раскольников шел убивать старуху, его «как нарочно», заслонил в подворотне огромный воз сена, въезжавший во двор. Теперь снова это «как нарочно» пришло убийце на выручку: «Никого на лестнице, под воротами тоже! Быстро прошел он подворотню и повернул налево по улице». С ним повторилось то, что принято определять как «счастливый случай» или называть словом «повезло». Но, по Достоевскому, все имеет мистическую первооснову, и именно потому его романы мистериальны. Кажущееся, по закону вероятия, совершенно немыслимым происходит с нами очень часто. Недаром для Достоевского «действительность фантастичнее всякой фантастики». Правда невероятна, и, чтобы сделать ее правдоподобной, необходимо прибавить к ней долю лжи. Почему это так? — Потому, отвечает Достоевский

всем своим творчеством, что вселенная трехпланна, и в наш трехмерный мир то и дело вторгаются стремления и влияния существ, нам инопланных, неведомых, однако побуждаемых к действию нашей собственной внутренней волей. Мы сами добровольно становимся посредниками и проводниками нам инопланных сил, изменяющих, в той или иной степени, размерный привычный ход земных событий и явлений. Раскольниковым владел «дух глухой и немой». Этот дух и был частично первопричиной совершающегося теперь с Раскольниковым.

«Не в полной памяти прошел он и в ворота своего дома; по крайней мере, он уже прошел на лестницу и тогда только вспомнил о топоре. А между тем, предстояла очень важная задача: положить его обратно и как можно незаметнее... Дверь в дворницкую была приотворена, но не на замке, стало быть, вероятнее всего было, что дворник дома. *Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его: «что надо?», он, может быть, так прямо и подал бы ему топор* (выделено мною. — Г. М.). Но дворника опять не было, и он успел уложить топор на прежнее место...»

Из поведения Раскольникова вывод ясен: не он владел собою, но кто-то владел им; и не он сознательно, по своей воле, нес топор на прежнее место, но как будто сам топор — и это всего замечательнее — вел его к дворницкой. Я уже говорил о том, что история с топором чрезвычайно сложна и извилиста. Не рассудок, а бес вложил его в руки преступнику. Но необходимо помнить, что через топор должны были врезаться в душу Раскольникова и осуществиться грозные библейские слова: «Страшно впасть в руки Бога живого».

Лезвием и обухом указавший Раскольникову его судьбу, исполнивший двойную миссию, околдованный бесом и отмеченный Богом топор скромно вернулся восвояси, лег, по-прежнему, как ни в чем не бывало под лавку в дворницкой. А Раскольников, ни единой души не встретив на лестнице, добрался до своей комнаты.

«Войдя к себе, он бросился на диван, так, как был. Он

не спал, но был в забытьи. Если бы кто вошел тогда в его комнату, он бы тотчас же вскочил и закричал. Клочки и отрывки каких-то мыслей так и кишели в его голове; но он ни одной не мог схватить, ни на одной остановиться, несмотря даже на усилия...»

На диване лежал воистину расколотый человек, грехом раздробленный Адам.

Дух глухой и немой

Да, несомненно, — в основе искусства и религии лежит обоготворение невозможности и бессмыслицы. Истинный художник и глубоко верующий человек одинаково исходят из непризнания повседневной действительности. Оба они жаждут и ищут преображения жизни. Говоря словами Пушкина, сказанными им по другому поводу, служение музам и молитва, возносимая к небу, «друг другу чужды по судьбе», но «они родня по вдохновенью», по отказу от рассудка. Наилучший пример такого отказа имеется в Евангелии от Матфея (26. 1-13) и Марка (14. 3-9). Там же и на том же примере подтверждается родство искусства с религией. На это, поскольку мне известно, было впервые указано о. С. Булгаковым в его статье «Иуда Искариот — Апостол Предатель».

Вот что говорится в Евангелии от Матфея в *принятом* переводе на русский язык: «Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к Нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову. Увидевши это ученики Его вознегодовали и говорили: к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и дать нищим. Но Иисус, уразумев сие, сказал им: что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня». И далее, через два стиха: «Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет и о том, что она сделала».

О. С. Булгаков исправляет неточность, допущенную в переводе, и слова Христа приобретают иной оттенок: не «она доброе дело сделала для Меня», а — «она дело красоты сделала для Меня», сказано в подлиннике.

«Но у Его учеников, — продолжает о. С. Булгаков, — ока-

зались закрыты глаза на красоту и на смысл душевного движения этой женщины. Они оставались в прозаически моралистическом недоумении пред этой расточительностью и пред нерасчетливой нецелесообразностью этой траты. Они были даже правы, поскольку неспособны были постигать происходящее и зреть красоту, *характерный случай столкновения между моралистическим и художественным восприятием жизни*». (Подчеркнуто здесь и ниже мною. Г. М.).

Замечательно, что и переводчики Евангелия на русский язык заменили «красоту» «добром», очевидно, также из соображений моралистических. Но где водворяется голая моралистика, там нет ни религии, ни искусства. Христианство, взамен омертвелой морали и неподвижного законничества, провозгласило живую любовь к ближнему; в искусстве же царствует не нравственное назидание, а вкус, строгое соотношение всех частей и деталей — художественная целесообразность. Красота неопределима, ее первоистоки нам неведомы. Обыкновенно принято разуметь под красотой нечто условно изящное. Но тогда надо было бы исключить из художества творения Гоголя, Достоевского, Бодлера, Гойи и многие, многие другие образцы высокого искусства. Красота неопределима и недоказуема, она лишь показуема. Однако, показать ее можно только тому, кто обладает особыми свойствами зрения и слуха, особым строем сердца и души. Ученики Христа, еще не ставшие апостолами, не обладали, по-видимому, такими качествами и не могли «судить духовно» о вдохновенном поступке женщины, руководимой не расчетливой моралью, но чувством любви и красоты. Мораль рассудочна, и потому для нее красота — безумие, невозможность, бессмыслица. Мораль порождает протестантство, сектантство, иконоборчество, злостное отрицание церковного обряда — ангельского, райского инобытия.

С точки зрения трезвого рассудка, бессмысленно проливать даром драгоценное миро, и невозможно воскресить умершего человека, когда «уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе». Вверяясь доводам рассудка, то же самое следует повторить и о художестве. Допустимо ли, трезво рассуждая,

сказать, что радуга «один конец в леса вонзила, другим за облака ушла» что перед грозою «*жарче* роз благоуханье»? Имеют ли хоть какой-нибудь трезвый смысл выражения: «невнимательный лорнет», «фортуны блеск холодный», «румяное появленье» «озябнувший кристалл», «нещадное утешенье»? Может ли бес подсунуть убийце в нужную минуту топор и не правильнее ли, как это постоянно делается, приписать все услужливому случаю? Могут ли ключи иметь таинственную связь со своим владельцем и сохранить ее даже после его смерти? Такого рода примеры и вопросы легко приводить и ставить сотнями, и я намеренно ограничиваюсь образцами классическими, взятыми наудачу из Тютчева, Пушкина, Баратынского и Достоевского, чтобы не подать кому-либо повода заговорить о так называемом «декаденстве». Всего же парадоксальнее и одновременно вернее то, что вовсе не нужно художнику и человеку религиозному отвергать повседневной действительности, — достаточно зорко к ней присмотреться, и за ее наружной обманчивой пеленой откроется бездонная глубина вселенского бытия, и прав окажется Достоевский. Да, действительность фантастичнее всякой фантастики и, чтобы сделать правдоподобной всегда неправдоподобную правду, необходимо прибавить к ней долю лжи. Достоевский снимал с существования не только наружную буднично-серую пелену, он еще не страшился срывать с мира его блистательный космический покров, он расковывал мудро скованные в творчестве Пушкина хаотические силы, чтобы подглядеть, наконец, что же кроется в человеческой душе за ними, бессмысленно и бесцельно бушующими, безразличными к добру и злу. Достоевский постиг, что за разгулом стихий и страстей обретается в каждом из нас некая духовная сфера. В ней-то и образуются в абсолютной свободе завязи и зарождения будущих жизненных событий, встреч, падений и возвышений, ожидающих всякого человека, подготовленных его внутренней волей к осуществлению вовне. Каждый из нас заранее сам предопределяет свою собственную биографию. «Жить, — говорит Достоевский, — значит сделать художественное произведение из себя». Но если это верно,

то творить искусство значит отражать в словах, звуках или красках уже сделанное в жизни из самого себя, или же другими из себя, художественное произведение. Таким образом, все истинно бытийственное в человеке сливается воедино с искусством, и живая, враждебная ко всякой абстракции человеческая мысль неминуемо совпадает с тайным подспудным жизненным процессом. Оттого, между прочим, и замечает Достоевский в «Дневнике писателя», что «*можно очень много знать бессознательно*». Как же, в итоге, истолковать такое утверждение? Выходит, что во мне живет мое внутреннее знающее и потому до ужаса за все ответственное «я», вдвинутое, как в футляр, в мою душевно-телесную оболочку, мало что знающую и лишь смутно чувствующую и предчувствующую.

Искусство, в наивысших своих проявлениях, помогая нам высвободить наше знающее «я» из подспудных душевно-телесных давлений, встречается с религией. Но разница между ними остается великой: искусство неизменно восходит к Прометею, оно насильственно похищает небесную искру и являет лишь *символы* высших реальностей, тогда как религия действенно раскрывает подлинную реальную небесную правду. Творчество Достоевского ничего общего не имеет с реалистичностью, в нем отражается инобытие потусторонних светлых и темных сущностей, постигнутых непосредственным опытом души, преданной всем превратностям существования. Недостаточно, сидя в уютном углу, воображать себе тяготы и страхи войны, вшей, блох и клопов, поедающих людей на каторге, нужно самому очутиться и тут и там на равных основаниях с солдатом и каторжанином. Чтобы стать художником наивысшего склада, необходимо, как говорит Иннокентий Анненский, бесстрашно погрузиться в самую гущу жизни и тем убить в себе «бледного мечтателя», прячущегося в свою раковину от малейшего соприкосновения с неумолимою действительностью.

Достоевский изведал на себе и каторгу и солдатчину. Он познал в общении с тюремными отверженцами внутреннюю, единственно сущую свободу, возможную и в цепях, а казарма

собрала и привела в порядок его дотоле рассеянные мысли. Можно смело сказать: военное училище дисциплинировало Достоевского; последовавшее затем знакомство с Белинским и Петрашевским привело его к крайней распущенности, к душевному заболеванию, а крепость, острог и солдатчина излечили его. Но чтобы стать величайшим художником, понадобилось Достоевскому встретиться на эшафоте, в ожидании расстрела, лицом к лицу со смертью, приблизиться вплотную, по выражению Пушкина, «к началу своему» и, благодаря этому, увидеть все изначальное в жизни. Именно из этого особого, одному Достоевскому дарованного видения изначального, вырастает «Преступление и наказание», из познанной первожизни возникает иножизнь.

Гордыня, овладевшая Раскольниковым в неисследимую пору отрочества, постепенно привела его к самоутверждению и отъединению от людей. Тогда овладела им неподвижная идея — «сильному все позволено». Но ведь все позволено в святости и благодати только Творцу Небесному, а мнящий себя титаном роковым образом самообожествляется, становится призрачным богом, подобием темного духа. Конечно, и человеку все позволено, поскольку дана ему внутренняя духовная свобода выбора между злом и добром, но «не все мне полезно и не все назидает» — говорит апостол Павел. Здесь мы подходим к основной теме Достоевского, к теме извечной свободы, нам данной. Человек — не Бог, он духовно несовершенен и потому на путях свободы обречен на падение. Приветствуя жизнь, *соглашаясь быть*, я, тем самым, принимаю прохождение через греховный опыт. И, по-видимому, Достоевский полагал, что нет иного пути, ведущего к Богу, кроме шаткой и скользкой дощечки, переброшенной через черную пропасть. Неминуемое падение поджидает каждого из нас, но, падая нужно ухватиться за край дощечки, чтобы не рухнуть, по примеру Петра Верховенского, в глубины сатанинские. Формула Баратынского пребывает для Достоевского непоколебимой: «Бог милосерд, но прав; Он прощает безумию забав, но никогда пирам злоумышленья». Нельзя сознательно перед собственной совестью оправдывать свои

преступления. Невнимающий этому запрету уподобляется бесам, становится существом одержимым. Раскольников, еще только что вступивший на путь сознательно оправдываемого зла, все же сохраняет, по замыслу Достоевского, какую-то отдаленную возможность на спасение, Небом ему ниспосланную в лице Лизаветы — жертвы закланной. Окончательно гибнет у Достоевского, теряя свой человеческий лик, лишь один Петр Верховенский — кровавый вершитель социальной революции, убийца по убеждению.

В «Преступлении и наказании» нам непосредственно не показаны предварительные пути и перепутья, приведшие, в конце концов, Раскольникова к решению убить ростовщицу. На первой странице романа мы знакомимся с Раскольниковым в ту минуту, когда он уже отправляется к старухе на пробу, и лишь потом, из разговоров действующих лиц и авторских замечаний, начинаем понимать, что именно привело его к злодеянию. Так же постепенно, из оговорок, заброшенных Достоевским в складки повествования, раскрываются перед нами *явные жизненные зачатия — прямые следствия внутренних духовных состояний Раскольникова.*

Кому, например, не случалось долго и тщетно думать над чем-нибудь, не поддающимся пониманию, и вдруг, идя по улице, увидеть в витрине магазина выставленную книгу, как раз отвечающую на нужный вопрос? Или кому не приходилось, будто совершенно нечаянно, встретить человека, вполне способного разъяснить неразрешенную задачу? Все подготовленное нами в душевной глубине выходит наружу сначала наподобие древесных почек, готовых осуществить волевые и мечтательные устремления дерева, накопившего в себе предвесенние соки. Все наши тайные вожделения и грезы воплощаются в жизни, принимая те или иные формы, для начала в виде нежданных встреч с людьми, странных совпадений, мельком услышанных разговоров или просто попавшихся на глаза предметов. Так, в «Идиоте» князь Мышкин видит за стеклом магазина выставленный на продажу нож и уже «знает бессознательно» о назревающих в душе Рогожина преступных намерениях, а подходя впервые в своей жиз-

ни к рогожинскому дому, еще издали узнает его, до того он похож на своего мрачного изувера-хозяина.

Когда Раскольниковым всецело овладела гордыня, и завершилась в нем скрытая, злая и длительная подготовка, то начали исподволь поступать наружу, образовываться вовне предварительные жизненные завязи, теперь уже неизбежные, предрешенные внутри состоявшимся богоборческим бунтом. Еще зимою, задолго до роковой «пробы», некий студент Покорев сообщил Раскольникову адрес старой ростовщицы, «если бы, на случай, пришлось ему что заложить». Это ничего по виду не значащее сообщение было даже не почкой, а крохотным пупырышком, содержащим в себе, однако, последовавшие неотвратимые события. Месяца за полтора до «пробы» Раскольников вспомнил про адрес старухи и решил отправиться к ней, чтобы заложить имевшееся у него «маленькое золотое колечко с тремя какими-то красненькими камешками, подаренное ему при прощании сестрой на память». Не предвещали ли эти красненькие камешки своим цветом неизбежное пролитие крови? И не явилось ли само заложенное колечко звеном, связавшим Раскольникова со старухой, а потом, через сестру, с Свидригайловым — посланцем убитой старухи? Я знаю, что такие вопросы могут показаться кое-кому нелепыми. Но, ведь, считал же Достоевский, что действительность фантастичнее всего. И не сказал ли этого, задолго до Достоевского, неизменно трезвый, реалистически настроенный С. Т. Аксаков. В своих «Записках об ужении рыбы», занятии, казалось бы, простом и наглядном, он говорит о двух необычайных случаях, приключившихся с ним при ловле окуней, и добавляет: «оба случая, иногда рассказанные мною не охотникам, не рыбакам, нередко возбуждали лукавые улыбки, в которых ясно выражалось, что мои рассказы годятся в известную книжку «Не любо, не слушай, а лгать не мешай», *но ничего нет невероятнее истины и мудренее действительности*».

Для Аксакова, человека бывалого и мудрого, — истина невероятнее всего, а Достоевский, проникая вглубь, видит духовные первопричины, обусловливающие и предрешающие

эту невероятность. Прикрываясь утверждениями и Достоевского и Аксакова, я нахожу себе весьма надежную защиту от скептических возражений, хотя недальновидных, но ходких. Надо помнить, что Достоевский, описывая какой-нибудь предмет, никогда не вдается в детали даром. Более того, в спешно отмеченных деталях часто кроется у него потаенный смысл главнейших положений. Лишь тому, кто чрезвычайно медленно, шаг за шагом, слово за словом читает творения Достоевского, открывается бездонность его художественного живого мышления. Он научился понимать вещий язык предметов. Впрочем, в дальнейшем развитии событий роковая роль золотого колечка становится ясной внимательному читателю.

*

При знакомстве с ростовщицей, закладывая колечко, Раскольников «с первого же взгляда, еще ничего не зная о ней особенного, почувствовал к ней непреодолимое отвращение, взял у нее два «билетика» и по дороге зашел в один плохенький трактиришко. Он спросил чаю, сел и крепко задумался. *Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок, и очень, очень занимала его*».

До того, как пробить клювом яичную скорлупу и появиться на свет Божий, цыпленок проходит в яйце через скрытые сложные фазы постепенного оформления. Через точно такие же фазы своего развития проходит и мысль до того, как пробьется наружу из духовных тайников человека, ее в себе зачавшего. Мысль находит окончательное воплощение в слове и тогда обретает вполне самостоятельное бытие, делаясь одновременно доступной и ясной тому, кто ее породил. Но еще прежде, чем выразиться в слове и словом стать, мысль — добрая или злая — производит в мире некий круговорот событий и, отражаясь и тут и там в человеческих душах, вызывает встречи друг с другом людей, смутно охваченных схожими или противоположными, враждующими между собой идеями. Мысль — идея, зарождаясь в наших душевных недрах, в согласии с нашей внутренней волей, уже живет, влияет и дей-

ствует. В рассказе Глеба Успенского «Паровой цыпленок» один мещанин, которого, по его выражению, «Бог привел пойтить сначала по рыбьей, а потом по куриной части», убеждает своих слушателей, ссылаясь на собственный непосредственный опыт, в том, что есть душа и у рыбы и у курицы. Не верить этому, по мнению мещанина-курятника, может лишь нигилист, — словом тот, кто и в Бога не верует. Истинный знаток и артист куроводства мещанин утверждает, что когда курица высиживает яйца, то из нее в яйцо идет тепло, а из яйца обратно в нее. И как только ощутит наседка это ответное, к ней возвращающееся тепло цыплячьего зародыша, она уже не может встать с яиц «и просидит свой живот до голого мяса, покуда цыплят не выведет. Жалость у нее уже есть! Душа заговорила!.. Вот, таким-то родом и всякие заботы из куриной души в цыплячью переходят».

Мне думается, что в этом курином мыслителе много ума и интуиции, знания жизни, ее тайн и таинств. Ошибается ли курятник — не знаю, но для меня, во всяком случае, несомненно одно: он думает о живом по-живому, в то время как любой ученый позитивист-материалист думает о мертвом по-мертвому.

«Странная» мысль Раскольникова всего лишь наклевывалась в нем, однако уже успела сцепиться с явью, с конкретным миром феноменов. Назрев в темных глубинах бунтующей души, эта странная мысль не согревала Раскольникова, как греет наседку растущий в яйце цыпленок, но жгла своего господина злым нездешним пламенем: когда-то свободный человек превращался теперь в раба собственного греховного измышления. «Почти рядом с ним, повествует Достоевский, — на другом столике, сидел студент, которого он совсем не знал и не помнил, и молодой офицер. Они сыграли на бильярде и стали пить чай. Вдруг он услышал, что студент говорит офицеру про процентщицу, Алену Ивановну, коллежскую секретаршу, и сообщает ему ее адрес. Это уже одно показалось Раскольникову как-то странным: он сейчас оттуда, а тут как раз про нее же. Конечно, случайность, но он, вот, не может отвязаться теперь от одного весьма необыкновен-

ного впечатления, *а тут, как раз, ему, как будто, кто-то подслуживается: студент вдруг* начинает сообщать товарищу об этой Алене Ивановне разные подробности».

Не следует принимать на веру авторской оговорки: «конечно, случайность». Это всего лишь постоянный прием Достоевского, всегда избегающего прямолинейности и коротких замыканий — смертельных врагов художества. Но что-то уж слишком много получается случайностей! Невольно вспоминаешь возражение Суворова всем, видевшим в его постоянных военных успехах одну слепую удачу: «Сегодня счастье, завтра счастье, помилуй Бог, надо же когда-нибудь и умение»! Разоблачая хитрый прием Достоевского, можно слова Суворова с успехом перефразировать: «Сегодня случайность, завтра случайность, помилуй Бог, надо же когда-нибудь заглянуть и в глубину!» Достоевский как раз этим только и занят.

Кто же именно тут «как будто подслуживался»? Не дух ли немой и глухой, заставляющий других говорить за себя? Студент сообщал офицеру адрес ростовщицы совсем как Покарев Раскольникову. При таком повторении того же явления при Раскольникове чувствуется чья-то издевательская воля, будто кто-то кого-то имитирует, передразнивая. Но существу, замышляющему преступление, не до юмора, будь он хотя бы и без намека на улыбку. Раскольникова поражает лишь странность совпадения: «Он как раз оттуда, а тут про нее же».

«Богата, как жид, — говорил студент о процентщице, — может сразу пять тысяч выдать, а и рублевым закладом не брезгует. Наших много у нее перебывало. Только стерва ужасная... Нет, вот что я тебе скажу. Я бы эту проклятую старуху убил и ограбил и, уверяю тебя, что без всякого зазору совести, — с жаром прибавил студент. Офицер опять захохотал. А Раскольников вздрогнул. Как это было странно!»

Вздрогнуть было от чего! Ведь еще неясное ему самому решение, зародившееся в темных закоулках его восставшей на Бога души, уже искало воплотиться, внедриться в существование, избирая для начала студента с его наивной бол-

говней. Но от такой болтовни, и как раз студенческой, — это все мы познали теперь на опыте, — загораются и гибнут целые страны. Да и, в конце концов, разве уж так далеки писания французских энциклопедистов и невежественных белинских и чернышевских от ими внушенных легковесных студенческих разговоров? И разве все они не причастны к замышленному и осуществленному Раскольниковым убийству ростовщицы? Социальная революция, возникая из теоретических предпосылок, начинается с убиения кое-каких ростовщиков и неминуемо приводит к поголовному изничтожению кротчайших, ни в чем не повинных Лизавет. От малограмотного романа Чернышевского «Что делать?», с которым ни с эстетической, ни с иных точек зрения решительно нечего делать, родятся студенческие песенки, восхваляющие все того же Чернышевского. И вздорный добренький Лебезятников из «Преступления и наказания», пытающийся в глупенькой беседе с Лужиным проповедовать и без того уже общеизвестные домыслы опять-таки Чернышевского, не подозревает даже, насколько близка его человечество возлюбившая проповедь к оправданию злодеяния Раскольникова. Но замечательнее всего, что именно на таком бессознательном оправдании убийства сходятся непримиримые противоположности — идиллическая коммуна Лебезятникова с капиталистическими теориями Лужина, сторонника, как он сам выражается, «прогресса во имя науки и экономической правды», основанной на провозглашании абсолютного эгоизма. Раскольников с первой же минуты угадал, чем живет и дышит этот делец, и учуял в нем пародию, если не прямо на себя как человека, то, во всяком случае, на свою теорию, разрешающую по совести пролитие крови. Безотчетная ненависть Раскольникова к Лужину объясняется, как замечает Иннокентий Анненский, карикатурным сходством их идеек. И когда вдруг зашла речь об убийстве ростовщицы, и Лужин проявил на словах, как полагается истому буржуа, лицемерную заботу о нравственности и нерушимых правилах общежития:

— «Да о чем вы хлопочете? — неожиданно вмешался

Раскольников. — По вашей же вышло теории!

— Как так по моей теории?

— А доведите до последствий, что́ вы давеча проповедывали, и выйдет, что людей можно резать...».

От идеи Раскольникова, выношенной им в комнатушке, похожей на гроб, рукой подать до Лужина, Лебезятникова и разговаривающего с офицером студента, пылкого проповедника социальной справедливости.

Оказывается, что только у офицера мозг в голове не набекрень, и всё расставлено там по своим местам. И уж это совсем не случайно! Недаром всегда утверждал Достоевский, что единственно на офицерах и чиновниках — явлении вполне у нас законченном и отшлифованном — держится Россия.

«Убей и возьми ее деньги, — говорил студент, — с тем, чтобы с их помощью посвятить себя на служение всему человечеству и общему делу; как ты думаешь, не загладится ли одно крошечное преступленьице тысячами добрых дел?... Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более, как жизнь вши, таракана, да и того не сто́ит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец со зла укусила, чуть-чуть не отрезали.

— Конечно, она недостойна жить, — заметил офицер, — но ведь тут природа.

— Эх, брат, природу поправляют и направляют, а без того пришлось бы потонуть в предрассудках... Стой, я тебе задам еще один вопрос. Слушай!

— Нет, ты стой; я тебе задам вопрос. Слушай!

— Ну!

— Вот ты теперь говоришь и ораторствуешь, а скажи ты мне: убьешь ты **сам** старуху или нет?

— Разумеется, нет! Я для справедливости... Не во мне тут дело...

— А по-моему, коль ты сам не решаешься, так нет тут никакой и справедливости. Пойдем еще партию!».

«Не во мне тут дело». Но в ком же тогда? Или и здесь

разделение труда — умному теория и проповедь, а практику воплощение теории — убийство? «Природу поправляют»... Но не слишком ли часто ее поправляют по образцу пьяного Миколки, истязующего старую лошадь, всю свою жизнь прослужившую ему — царю и поправителю природы? От Миколкиной «поправки» — «поправка» всероссийская: образ замученной лошади оказался пророческим символом истязуемой на наших глазах России. А оправдывающий лишь на словах убийство, быть может, вреднее самой старушонки-процентщицы и того, кто пойдет и убьет ее. По крайней мере, *та́к* полагал Достоевский в своем творчестве. У него вина обрушивается всей своей тяжестью не на Смердякова, физически умертвившего Федора Павловича Карамазова, и не на Митю, крикнувшего в припадке гнева: «Для чего живет такой человек!», а на Ивана, теоретически, но по совести приговорившего собственного отца к смерти и предательски уклонившегося от исполнения приговора. Сказавший себе по совести: «все позволено», должен на деле испытать духовную стоимость этого лозунга. Тогда для него откроется хотя бы искупительный путь на каторгу. Но оставшемуся в стороне от идеологически им же подготовленного преступления выход один: сойти с ума. Болтливый студент, конечно, не так тяжко виноват, как Иван Карамазов, и про его рассуждения Достоевский заметит только, что «это были самые обыкновенные и самые частые, не раз уже слышанные им (Раскольниковым. — Г. М.) в других только формах и на другие темы молодые разговоры и мысли». Тут уже вина не личная, а вполне безличная, коллективная, и про таких студентов следует сказать, что имя им — легион. Безликая вина не стократ ли для всех нас ужаснее по своим последствиям, чем проявленное отдельным человеком дерзание, пусть преступное, кровавое. Ведь толпа — всегда толпа, в толпе себя не видно, и, присоединяясь к ней, еще при жизни погружаешься в небытие.

«Раскольников, — говорит Достоевский, — был в чрезвычайном волнении». Его больше всего поразило, «почему именно теперь пришлось ему выслушать именно такой раз-

говор и такие мысли, когда в собственной голове его только что зародилось... *такие же точно мысли?* (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.). И почему именно сейчас , как только он вынес зародыш своей мысли от старухи, как раз и попадает он на разговор о старухе?... Странным всегда казалось ему это совпадение. Этот ничтожный трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как будто, действительно, было тут какое-то предопределение, указание».

На чем, так упорно повторяясь, настаивает Достоевский, на чтó наводит нас? Читая эти строки, нельзя отделаться от ощущения, что будто кто-то невидимый присутствует среди нас, наподобие назойливой занозы, мешающей свободно жить и дышать. Тут дело не в психологии Раскольникова, не в его «подсознании» и прочих, ничего существенного не выражающих терминах. Достоевский был духовидцем, пневматологом, он прибегал к художественному творчеству не для того, чтобы доказать искусством недоказуемое или изображать жизненные происшествия, а с целью показать тому, у кого имеются особое зрение и особый слух, на присутствие среди нас существ, нам инопланных, светлых и темных, пытающихся направить нашу внутреннюю волю по путям добра или зла и тем решить собственную свою судьбу.

Помимо духа глухого и немого, Раскольникова обступили бесы из самых нечиновных, бесы безликого коллектива, распространители модных идеек, проводимых ими в жизнь при посредстве Лужиных, Лебезятниковых и совсем уже обезличенных студентов — любителей пофилософствовать в перерывах между двух бильярдных партий. Все буднично, мелко, по виду незначительно, но одно к другому и одно на другом, смотришь, вот и назрела неизбежная встреча, вот и получилось совпадение, а, в конечном итоге, выходит то, чтó принято называть предопределением. Раскольников не ошибался, в разговоре студента с офицером таилось для него властное указание — пойти и убить.

В «Преступлении и наказании», за исключением одного

момента, к которому мы скоро подойдем, присутствие бесов всего лишь ощутимо. Но они уже ждут своего праздника, чтобы появиться во всей красе в романе «Бесы». Из преступного дерзания Раскольникова разовьется демонизм Ставрогина, из черного зерна, засеянного в благоприятную русскую почву, вырастет российский Анчар.

*

В отличие от Ставрогина, в котором все, когда-то живое, давно омертвело, душа Раскольникова не перестала быть ареной борьбы Бога и диавола. Стоило Раскольникову отправиться на «пробу», как в тайниках его духа, еще не окончательно зараженных грехом, зарождается его провиденциальная встреча с Мармеладовым. Гордыня не уживается со смирением, но внутреннее «я» Раскольникова еще тоскует по утраченному, еще хочет снова найти себя. По Достоевскому, Провидение всегда отвечает на желание человека спастись, как бы ни было оно беспомощно и слабо. Небо ниспосылает нам помощь через своих посредников — людей, наделенных даром смирения, и мы встречаемся с ними, благодаря взаимодействию нашей внутренней воли с волей Божественной. Возможности спастись дается грешнику во встрече с его антиподом по духу.

Углубляясь в творчество Достоевского, прикасаешься к первоистокам существования, ощущаешь реальность первожизни, присутствуешь при зачатии, назревании и рождении из какой-то первичной домирной утробы того, что все мы называем земными событиями, встречами, происшествиями. Уходя после пробы от ростовщицы, Раскольников «не мог выразить ни словами, ни восклицаниями своего волнения. Чувство бесконечного отвращения, начинавшее давить и мучить его сердце еще в то время, как он только шел к старухе, достигло теперь такого размера и так ярко выразилось, что он не знал, куда деться от тоски своей».

Что это? И откуда взялось такое отвращение? Достоевский многократно творчески настаивал на одном из глу-

бочайших своих положений: *умом недосягаемая, предельная глубина человеческого духа непричастна преступлению.* Сущное ядро человека — образ Божий в нем — отталкивает зло, неизменно отвращается от него. Грех пребывает лишь на периферии души, и чем сильнее проявляется отвращение к нему нашего духовного ядра, тем ближе подходим мы к возможности спасительной встречи с проводником Небесной Воли, с представителем Христа, с людьми, познавшими благодать смирения. Именно из чувства нестерпимой тоски и бесконечного отвращения, охвативших Раскольникова, рождается его встреча с Мармеладовым. «Он шел по тротуару, как пьяный, не замечая прохожих и сталкиваясь с ними, и опомнился уже в следующей улице. Оглядевшись, он заметил, что стоит подле распивочной, в которую вход был с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж».

Недоступная рассудку внутренняя воля, как бы самим крайне напряженным чувством тоски и отвращения, привела его к этой распивочной. Достоевский обычно скуп на описание наружных деталей; зато когда он задерживается на них, хотя бы на мгновение, они всегда открывают нам нечто чрезвычайно значительное и уж никак не внешнее. Следует даже сказать, что ничего внешнего у Достоевского не имеется, и всё, что по первому взгляду кажется таковым, есть на самом деле инобытие духовных сущностей, их символика, их отражение вовне. Вещи суть вехи, расставленные на жизненных путях и указующие нам направления, избранные нашей внутренней волей. Лестница, ведущая вниз, в подвальное помещение распивочной, показывала Раскольникову, что ему предстоит сейчас спуститься в самого себя, сойти вглубь своей несчастной, грехом изъязвленной совести, и встретить своего невольного изобличителя и возможного спасителя. Но почему провиденциальная встреча Раскольникова с Мармеладовым должна была осуществиться именно в распивочной? Основной порок смирившегося в своей порочности Мармеладова — пьянство. Для кабацкого завсегдатая кабак — его второй дом, его греховная оболочка, вторая кожа, прилипшая к нему. Пьянство приводит Мар-

меладова к мерзости запустения, к проживанию вместе с семьей в проходной комнате, лишь отражающей его душевное запустение, духовный сквозняк, предвестник ледяного инфернального ветра. Душа Раскольникова противопоставлена этому холоду, она зажжена грехом, ей грозит пламя ада. Существования Раскольникова и Мармеладова пересекаются, как черта вертикальная с чертой горизонтальной. Гордыня самоутвердила Раскольникова. Чувство и сознание своего бессилия перед властью порока ведут Мармеладова к смирению.

Раскольников сошел вниз. Тут Достоевский, с явным желанием подчеркнуть многозначительность слагающихся обстоятельств, замечает от себя, что *никогда до сих пор Раскольников не входил в распивочные*. Итак, не привычка привела его сюда, не то, что принято называть на общепринятом языке «подсознанием», но первородная внерассудочная воля, все еще ищущая, несмотря на преступные замыслы, духовной помощи. Его сердце искало опоры в том, кто *благодаря* своей порочности смирился перед Богом.

Достоевский творил и призывал нас к сотворчеству. Он доверял внимательному читателю и потому многого не договаривал, роняя мысли на лету, в неустанной спешке, сохраняя тем самым в целости художественную ткань своих романов-мистерий. Из всех его творений явствует, что люди живут и влекутся друг к другу, как сталь к магниту. И уж если приводить такое избитое сравнение, то лишь с целью подчеркнуть, что по составу своему живые души сложнее стали и магнита, и их взаимопритягаемость движи́ма законами высшего пневматологического, но, ни в коем случае, не психологического порядка. Законы эти необъяснимы, но постижимы чувством взаимной любви, исцеляющей Адама, раздробленного низким рассудком. Нет никакого человечества, есть раздробленный грехом Адам, и все мы — его рассеянные частицы. Воссоединившись в любви, мы восстановили бы Адама — обладателя сверхрационального сознания. Вселенная трехпланна, и каждый из нас входит в эту

трехпланность незаменимой, единственной по самобытности, частицей. Люди пронизаны духами света и тьмы и несут один другому вести о спасении и погибели. Мы встречаемся в силу свершившихся в наших душевных недрах процессов и решений. Все мы тянемся к воссоединению, предчувствуя сердцем, «что где-то есть не наша *связь, а лучезарное слиянье*».

Всё, зародившееся и назревшее в Раскольникове и в Мармеладове, ныне скрещивало их внутренние воли, предрешая их встречу во плоти.

«Раскольников уселся в темном углу, за липким столом, спросил пива и с жадностью выпил первый стакан... Он не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно, в последнее время. Но теперь его вдруг что-то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, вместе с тем ощущалась какая-то жажда людей».

Из этого «что-то» и из этой ощущаемой «какой-то жажды людей» возникало в Раскольникове «как бы новое», слагалась для него неосознанная возможность осуществить встречу со своим спасительным антиподом. Стоит только почувствовать отвращение к замышленному злу, как тотчас же проснется желание видеть людей. Одно с другим связано непосредственно. Уединение губит, пребывание на людях спасает. Но если «что-то» помогло Раскольникову искать общения с людьми, то кто-то заранее мешал ему обрести для себя скорое спасение в неминуемой встрече, кто-то настойчиво возращал его мысли к преступному решению. Посредник этого «кто-то» был тут, подле Раскольникова, в образе весьма прозаического владельца распивочной. «Хозяин заведения был в другой комнате, но часто входил в главную, спускаясь в нее откуда-то по ступенькам, причем, прежде всего, выказывались его щегольские смазные сапоги с большими красными отворотами. Он был в поддевке и в страшно засаленном черном атласном жилете, без галстука, а все лицо его было, как будто, смазано маслом, точно железный замок».

Какое тут, не совсем обычное для Достоевского, тща-

тельное описание, я сказал бы, выписывание всех подробностей, невольно притягивающее внимание, вынуждающее насторожиться! Достоевский никогда не настаивает на деталях всуе, никогда не выделяет их напрасно. Здесь же появляются *предварительно* красные отвороты на сапогах, а потом уже их собственник. Таким образом, красная примета получает особое, чрезвычайно важное значение.

Когда Раскольников выпил первый стакан пива, «тотчас же все отлегло, и мысли его прояснели. «Все это вздор, — сказал он с надеждой, — и нечем тут было сущаться! Просто физическое расстройство! Один какой-нибудь стакан пива, кусок сухаря, — и вот, в один миг крепнет ум, яснеет мысль, твердеют намерения! Тьфу, какое все это ничтожество!».

Он уже готов забыть только что испытанное «бесконечное отвращение», готов приписать его мимолетному физическому расстройству. «Он глядел уже весело, как будто внезапно освободясь от какого-то ужасного бремени». Этим бременем была его совесть, угнетенная злым замыслом, навязанным ей самим же Раскольниковым, собиравшимся именно от ее лица вершить свое преступление. После выпитого пива ему показалось, «что страшная тяжесть спала с его души». «Но даже в эту минуту, — замечает Достоевский, — он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненной». Как будто бы кто-то обманывал Раскольникова, держал его под наркозом.

Между тем, приближалась всерешающая встреча, вызванная к жизни непричастным греху духовным ядром Раскольникова. Она приближалась вопреки тому, кто хотя и находился вне этого светоносного ядра, но все же был крепко сцеплен с Раскольниковым и только что пробовал снова утвердить его в оправдании зла. Этот «кто-то» невидимо присутствовал тут, совсем близко, и его присутствие можно было бы ощутить, вглядевшись в облик хозяина распивочной, будивший безотчетную тревогу в сердце. В красных камешках на колечке, заложенном Раскольниковым, и в больших красных отворотах на сапогах кабатчика есть что-

то родственное. Этой родственности нельзя не уловить, если вспомнить горестное обращение Раскольникова к самому себе тотчас после сновидения о замученной лошади, о поправленной, по рецепту студента, природе. «Боже! да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, размозжу ей череп... буду скользить в липкой теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать, прятаться, весь залитый кровью... с топором... Господи, неужели? Ведь вчера еще, сходя с лестницы, я сам сказал, что это подло, гадко, низко, низко... Ведь меня от одной мысли *наяву* стошнило и в ужас бросило». Раскольников сам не верил, что такая кровавая фантастика произойдет с ним в действительности. Откуда же взял бы он столько зоркости, чтобы заранее заметить предупреждающие сигналы, явные приметы, говорившие о близком осуществлении зла? Да и кто из нас, зараженных душевным скептицизмом, смеет похвастаться большей зоркостью, большим вниманием с собственной жизни, всегда бездонной, таинственной?

Хозяин распивочной был страшен, и страшным было сочетание его засаленного *черного* атласного жилета с *красными* отворотами на сапогах. А лицо его, будто смазанное маслом, походило на железный замок. Можно ли вообразить что-либо ужаснее такого подобия человеческого лица: ни носа, ни глаз, на их месте безыменный замок, воплощение безличия и безразличия. Давно умершие чувства держатся в душе под замком, как деньги в сундуках и укладках. Таковы, по существу своему, кабатчики и ростовщики. Между ними стоит знак равенства, и те и другие подобны нежити. Они, как всякое зло, небытийствуют, паразитарно навязывая себя жизни, существуя лишь на несчастьи других, за счет обираемых ими беспомощных нищих и, удрученных своим пороком, пьяниц.

Душная распивочная так пропиталась винным запахом, «что кажется, от одного этого воздуха можно было в пять минут сделаться пьяным». Этот запах как бы предупреждал Раскольникова о неминуемой теперь встрече с Мармеладовым.

*

Есть у Фета одно четверостишие, может быть и не из лучших у него. Он говорит в нем о неопределимой, но чувствуемой родственности душ.

Рассказывал я много глупых снов,
На мой рассказ так грустно улыбались;
Многозначительно при звуке странных слов
Ее глаза в глаза мои вперялись.

Лишь ее глаза, ее — непостижимо родственной поэту — многозначительно отвечали на его странные слова. Остальные слушатели считали сны поэта действительно глупыми и лишь из приличия прикрывали грустными улыбками жалость к безумцу. Мечты уводят за грани повседневности, а этого положительные люди не любят. Зато они требуют от автора сохранять в стихах и в прозе внешние признаки так называемой поэтичности. Фет таким требованиям уступал с излишней готовностью и все же сходил у «сериозных» читателей за существо не вполне уравновешенное. Что же сказать о Достоевском? Ведь его всё еще продолжают принимать за какого-то психопата-психолога, смакующего в своих явно ненормальных произведениях различные извращения. Тургенев, выражая весьма распространенное мнение о Достоевском, писал Страхову: «И что вы нашли в этом русском маркизе де Саде?» Тургенев умел снискать популярность, его суждения о Достоевском и в наше время не вышли из моды. Но к ним, с тех пор как широкая публика соблаговолила признать Достоевского пророком русской революции, прибавился еще и страх, испытываемый всеми международными буржуа, раздуваемый театральными постановками до неузнаваемости переделанных, исковерканных произведений великого писателя.

Романтикой и поэтическими красивостями Достоевского не попрекнешь. Он умел, как никто другой, в нужный момент «огорошить Шиллера» и дать всем богам по сапогам, сорвать маски с лицемерных лицедеев, выдававших себя на

протяжении целых столетий не за то, чем они на самом деле были. Достоевский творчески пребывает в мистическом мерцании будней, предоставляя поверхностным читателям принимать его романы за уголовные. Не всем дано чувствовать мистику повседневности, и для подавляющего большинства людей непосредственный переход от винных испарений и липких столиков к самому сокровенному в человеке кажется еще менее естественным, чем романтический рассказ о сродстве душ. В романтическом есть хотя бы заведомая условность, позволяющая позитивисту отделить ирреальную, по его мнению, фантастику от действительности. Но слияние воедино фантастического с будничным у Достоевского, когда исчезает и то и другое, уступая место небывалому синтезу, недоступно восприятию читателей, не желающих или не могущих расстаться с реалистическими методами Толстого, в которых, по меткому определению Ремизова, «без костей и мяса не мыслима сама мысль».

Будничным, низким, греховным Достоевский творчески дорожил, как никто другой. В них и через них он искал разгадки жизни. Он не устремлялся мечтательно, подобно романтику, к постижению небесных сущностей, закрыв глаза на грязь и тлен. На то он имел глубочайшие основания. Он мог бы безоговорчно приветствовать слова Иннокентия Анненского:

Зачем мне рай, которым грезят все?
А если грязь и низость — только мука
По где-то там сияющей красе.

Не оттого ли это так, что мировое зло, мучимое собственным уродством, есть лишь искажение первичной Божественной правды и красоты? В грязном и низком таится тоска по нездешнему сиянию. К такому предположению вплотную подходил Достоевский, и потому в прямом устремлении романтиков к Небу он видел вредную ересь преждевременности. В грезах рай никогда не перестает сиять с недостижимой высоты. Но чтобы реально его достичь, надо прежде

на опыте познать истоки зла в человеке; а для этого необходимо пройти самому через непосредственный опыт греха. Здесь мы подходим к самому глубокому и, одновременно, опасному в творениях Достоевского. Для него последний преступник ценнее и выше того, кого принято называть средним, вполне порядочным господином. Ведь такого рода господин являет собою законченный образец нейтральности, отказа разыграть на деле все, что бесплодно стынет в его душе. Жить — значит творить не только добро, но и зло. Человек — не Бог, действуя, он неминуемо приводит в движение смрадные залежи, накопившиеся в нем. Но лишь в действии, обнаруживая все свое внутреннее содержание, он может освободиться от них. Не проявления всего греховного страшился Достоевский, но духовной спячки, лукавой и лицемерной нейтральности, того, что в народных поговорках определяется как «я не я и лошадь не моя», — «моя хата с краю, ничего не знаю». Достоевский видел спасение в абсолютном бесстрашии мысли и действия. Греха и зла избежать невозможно, следовательно, надо через них пройти для того, чтобы раскаяться, смириться и получить возможность преображения. «Смирись, гордый человек!» Но в чем каяться и для чего смиряться и без того порядочному господину? Вопрос только в том — любит ли Бог безупречно порядочных господ или нет? Во всяком случае, нигде в Евангелии рая им не обещано, хотя при жизни и принимают их радушно в самых избранных салонах. Достоевский не терпел среднего человека, неподвижно застывшего на готовых правилах. Автор «Преступления и наказания» зовет нас к мышлению, действию и свободному выбору. Душа человека динамична, взрывчата, и лишь в бесстрашии постигается нами некое мерцание истины. Единственный непростительный грех, по Достоевскому, — гордыня, от нее все беды, все зло, и именно потому порок, присосавшийся к человеческому сердцу, спасителен: он пробуждает в нас чувство и сознание нашей беспомощности и приводит к смирению. Нет никаких неподвижных правил, они придуманы мертвыми душами взамен утраченной ими жизни живой; нет и самой морали, есть

только любовь и ненависть — они-то и побуждают нас свободно решить, с кем нам быть: с Богом или диаволом. Смирившийся в порочности Мармеладов беспомощно утопает, но хочет быть со Христом, а Раскольников вместо рассудка, изменившего ему в горделивых расчетах, избирает беса. Однако отвращение к самому себе — отвращение зла к собственному уродству — влечет Раскольникова вниз по лестнице в распивочную к усмирившейся человеческой гордыне, к винным испарениям и липким столикам — к Мармеладову. Здесь Достоевский начинает наводить нас издалека на мысль, что встреча двух живых противоположений провиденциальна и, одновременно, предопределена духовным ядром Раскольникова, отталкивающим от себя злой умысел.

«Бывают иные встречи совершенно даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде, чем скажем слово. Такое точно впечатление произвел на Раскольникова тот гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника. Конечно, и потому еще, что и сам тот упорно смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор».

Вот замечательный пример у Достоевского взаимопритяжения двух существ, до того никогда не встречавшихся и ничего друг о друге не знавших. Встреча Раскольникова с Мармеладовым никак не романтична, но по глубине и многозначительности не уступает встрече Фета с женщиной, внимавшей его странным словам. Такого рода встречи по духовному смыслу бездонны и до конца неопределимы никакими словами, даже *странными*. Это, выделенное мною слово, всегда выражает у Достоевского и у Фета нечто близко от нас находящееся, но земному миру уже не принадлежащее. Фет — на словах атеист — в творчестве своем стремился зачерпнуть хоть каплю «стихии чуждой, запредельной» и иногда колдовски проникал в неведомые области, для него запретные, в области, достигаемые Достоевским ценою сердечных судорог, каторгой и стоянием у смертного столба перед расстрелом. Все же было бы большой несправедливостью не заме-

тить, что и Фету были ведомы «тернии колючего венца». Творчество всегда сопряжено с тревогой, волнением, страданием.

Я не осмелюсь излагать своими словами всего, что рассказал Мармеладов о себе и о своей семье Раскольникову. Это — рассказ единственный, непередаваемый. И, как бы ни старались его раскритиковать враги творчества Достоевского, им никогда не удастся обратить в карикатуру того, что живет и дышит как откровение. Постигать сердцем некоторые страницы «Преступления и наказания» может лишь тот, кто как и Мармеладов, оказывался в жизни в таком положении, когда бывает уже некуда и не к кому пойти. «Ведь, надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь, да пойти».

Мармеладов уязвлен пороком до глубины своего совестливого сердца. Оттого-то и в силах он сразу угадать, почему судьба свела его с Раскольниковым, во всем ему противоположном, кроме одного, зато самого главного в человеке — страдания. Мармеладов не меньше опустошен пороком, чем Раскольников гордыней. Но порок, уничижая Мармеладова, награждает его великим даром смирения. Смиренный, страдая, ищет сострадания. В ком же он может его найти за исключением также страдающего? «Для того и пью, что в питии сем сострадания и чувства ищу... Пью, ибо сугубо страдать хочу. И он, как бы в отчаянии, склонил на стол голову.

— Молодой человек, — продолжал он, восклоняясь опять, — в лице вашем я читаю как бы некую скорбь. Как вошли, я прочел ее, а потому тотчас же и обратился к вам».

Если на лице человека запечатлелась скорбь, то, несмотря на его падение в гордыне, им не до конца завладел бес, будь это дух глухой и немой, искушавший, по Достоевскому, Раскольникова. Скорбь не дает Раскольникову окончательно упасть в глубины сатанинские, как безвозвратно падает в них Петр Верховенский, не испытывающий ни малейшей печали. Раскольников еще не нашел себя, он еще лишь испы-

тует жизнь, а Петр Верховенский совершенно утвердился во зле, не чувствуя к нему никакого отвращения. К самодовольному устроителю кровавой социальной революции Мармеладов не обратился бы «с разговором приличным».

Залог конечного спасения для Мармеладова в том, что больше всего на свете боится он одиночества, того страшного положения в жизни, когда уже воистину некуда и не к кому пойти. Он хочет, чтобы все его несчастное, пороком измыканное существование проходило не только на виду у людей, но заодно с людьми, даже с такими, как хозяин распивочной, наживший себе в погоне за преступной наживой вместо лица смазанный маслом замóк. Когда фыркают мальчишки за стойкой и улыбается сам кабатчик на пьяный, но горестный рассказ Мармеладова о том,как по его вине его «единородная» дочь Соня «по желтому билету пошла», то этот спившийся с кругу человек, умудренный пороком, отвечает: «— Ничего-с. Сим покиванием глав не смущаюсь, ибо уже всем все известно и все тайное становится явным; и не с презрением, а со смирением к сему отношусь. Пусть! Пусть!»

За что же судить его на страшном суде, если все тайное в нем уже здесь, на земле, стало явным, если все в нем порочное уже выставлено на позор и посмешище и сделалось достоянием самой низкой черни. Открывшаяся людям, истерзанная пороком душа Мармеладова противостоит Раскольникову, отпавшему от Жизни Живой в гробное одиночество. Беспутный пьяница, приведенный пороком к смирению, преградил злому и гордому моралисту прямую дорогу к духовной погибели. Да, Раскольников — моралист! Он хочет судить других и распоряжаться их животом и смертью. Этого-то и хотят моралисты, и при обстоятельствах, удобно для них сложившихся, приступают к чудовищному пролитию крови, исходя из человеческой, слишком человеческой, справедливости. Там, где любовь, там нет и не может быть морали. Ее нет в Евангелии, где в зависимости от каждого вновь возникшего жизненного положения отменяется неподвижное правило во имя любви к ближнему.

Мармеладов, как было уже упомянуто, проживал с женой Катериной Ивановной и с детьми в проходной комнате «в холодном угле», как он сам говорит Раскольникову. Это сквозное холодное жилище было для него еще здесь, на земле, подобием ада, карой за пьянство. Но соизволением Неба нет в земном существовании ничего прямолинейного, и каждое явление несет в себе свое отрицание и свое утверждение — *нет* и *да*. Проживание в проходной комнате на сквозном ветре было, одновременно с карой, спасительным пребыванием на людях для смирившегося Мармеладова, гордой Катерины Ивановны и детей. Все они противостояли уединившемуся гордецу Раскольникову, присвоившему себе Божественные права. «Он решительно ушел от всех, — замечает Достоевский, — как черепаха в свою скорлупу, и даже лицо служанки, обязанной ему прислуживать и заглядывавшей иногда в его комнату, возбуждало в нем желчь и конвульсию». Раскольников бежал от человеческого лица. И здесь, в распивочной, куда привело его только что им испытанное чувство отвращения к замышленному им преступлению, он лишь призрачно, на мгновение ощутил «какую-то жажду людей». Но мимолетная тяга к людям исчезла, как только Мармеладов заговорил с ним. «Он при первом, действительно обращенном к нему слове, вдруг ощутил свое обычное неприятное и раздражительное чувство отвращения ко всякому чужому лицу, касавшемуся или хотевшему только к нему прикоснуться». Однако, когда пьяный Мармеладов просит проводить его домой, Раскольников тотчас на это соглашается, «помочь ему он и сам думал», — добавляет Достоевский. Какая-то тайная нить изнутри крепко связала их и повела — человека, порешившего совершить убийство, в семейные недра усмиренного пороком и уверовавшего во Христа пропойного пьяницы. Физически поддерживал и вел домой Мармеладова Раскольников, но к трудному духовному обновлению, сам того не зная, увлекал за собою Раскольникова Мармеладов. Всего же удивительнее то, что в продолжении всей страдальческой «всенародной» исповеди Мармеладова чувствуется само собою, без авторских замечаний, особое бла-

городство Раскольникова — духовный аристократизм существа, уже замыслившего и уже пытавшегося оправдать перед совестью тяжкое преступление. Более того, Раскольников как бы самой жизнью, глубочайшей правдой существования, противопоставлен подлой черни с ее лицемерной моралью. Необъятного значения встречи со своим антиподом он, конечно, не понимает и еще не ведает, к кому и к чему она его приведет. Он даже не знает, как отнестись к рассказу Мармеладова. «Раскольникова, — замечает Достоевский, — сбивали с толку этот кабак, развращенный вид, пять ночей на сенных барках, а, вместе с тем, эта болезненная любовь к жене и семье». Да, бытие сложнее и загадочнее всякой морали уже потому одному, что оно глубоко парадоксально, и прежде чем приступить к исканию истины, надо сильно призадуматься, где и как ее найти, если не в ее беспредельности!

Раскольников слушал Мармеладова «напряженно, но с ощущением болезненным». Рассказу Мармеладова внимал еще и «народ» — страшная, самой жизнью подстроенная пародия на хор из древнегреческой трагедии. Это «народ» состоял из хозяина распивочной, двух прислуживающих мальчишек, сидевшего за пивом, по виду мещанина, его сильно захмелевшего товарища с седою бородою, в сибирке и, вошедшей с улицы «целой партии пьяниц уже и без того пьяных». Мармеладов смотрел на всех, за исключением Раскольникова, «с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей низшего положения и развития, с которыми ему нечего говорить». Такое высокомерие нисколько не противоречило неподдельному глубокому смирению Мармеладова. Не людей презирал он, но их духовное неведение, пустоту, образовавшуюся там, где подобает быть страданию. По мысли Иннокентия Анненского, Христос приходил на землю ради существ, духовно родственных Мармеладову. Не народное соборное начало, столь дорогое сердцу Достоевского, присутствовало в распивочной, но проявлял себя там безбожный коллектив. И вот человек, в его порочности отмеченный Богом, в свою очередь отмечает и приветствует лишь злоумышленника, сознательно преданного ду-

ховному бунту. Но ведь если Христос действительно приходил на землю ради мармеладовых, то для того и накопляется их мучительный опыт, чтобы стать живым посредником между Богом и отвергшим Голгофу самоутвердившимся злодеем.

Лицо Мармеладова было отекшее от постоянного пьянства, желтое, даже зеленоватое, «с припухшими веками, из-за которых сияли крошечные, как щелочки, но одушевленные красноватые глазки. Но что-то было в нем очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, — пожалуй, был и смысл и ум, — но, в то же время, мелькало как будто и безумие».

Я уже говорил, что слову «странный» Достоевский придавал порою особое значение, светлое или темное, но непременно духовное. Странным для Достоевского часто было то, что доходит до нас из миров иных, из областей нездешних. Наружность Мармеладова, как сам он ее определил, была от перепоя «образа звериного и печати его», но крошечные глазки сияли, во взгляде его светилась восторженность, а если и замечалось в нем безумие, то уж, во всяком случае, священное, недоступное пониманию хозяина распивочной и ее завсегдатаев. Людям, не предназначенным от рождения стать святыми, Христос открывается в их приниженности и уничиженности. Мармеладов — христианин, в слабости и беспомощности чающий спасения от Неба. Он сквозь мрак и копоть греха различил светоносное ядро Раскольникова. Это оно внимало мармеладовской исповеди, а злой дух, хоть и с краю, но прочно свивший себе гнездо в душе Раскольникова, упорствовал в немоте и неслышанье. Но откуда восторженность во взгляде Мармеладова? Что увидел, услышал, почувствовал этот пьяный человек, перед кем все существо его как бы застыло в восхищении?

Он «хитрым обманом, как тать в нощи, похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ, вынул, что осталось из принесенного жалованья», пошел и все пропил. «А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить!» И Соня вынесла ему свои последние тридцать копеек. Числа три и тридцать,

когда речь идет о деньгах, занимают в творениях Достоевского важное место. Вот и теперь, тридцать копеек вынесла Соня отцу, и он не мог в эту позорную для него минуту не ощутить себя Иудой. Но, одновременно с этим, он, беспомощный и слабый, погрязший в пороке, молниеносно постиг, что «Тот, Кто всех пожалел и Кто всех и вся понимал, Он единый, Он Судия» простит его Соню. Мармеладов обладал даром на мгновение отрешиться от своего повседневного греховного «я». Его измученное казнящей совестью внутреннее «я» как бы отделялось от тленной оболочки, уходило в незаслуженное, может быть, но от того не менее благодатное созерцание чуда, созерцание невозможного, невероятного, всепрощающего сияния. Это сияние и отражалось в крошечных глазках Мармеладова. Сущую правду сказал он кабатчику: «Думаешь ли ты, продавец, что этот полуштоф твой мне в сласть пошел? Скорби, скорби искал я на дне его, скорби и слез, и вкусил и обрел». Тут несомненная правда, но еще далеко не до конца высказанная. Чтобы выразить ее полноту, надо прежде найти первопричину, побуждавшую Мармеладова пить.

Дар, ниспосланный Небом, всегда велик и радостен, но по непостижимым расчетам и решениям Творца он дается людям духовно неподготовленным выносить в душевном равновесии его блеск и горение. Дар сжигает слабого человека своим небесным пламенем. Все одаренные люди уклоняются в том или ином от так называемой нормы. Вспомним эпилепсию Достоевского, пьянство Мусоргского, алкоголизм Баратынского, пившего втихомолку запоем, тягу к наркотикам Эдгара По и Бодлера. Все это примеры общеизвестные, а сколько людей одаренных, окончивших свой век в безвестности, сраженных еще при жизни не по силам им данными откровениями! Труднее всего живется родившемуся поэтом. Как человек он никогда не соответствует тому, что открывается его внутреннему зрению и слуху. Он видит и слышит все доступное восприятию святого, те же видения ада и рая, тот же услышанный Баратынским «арф небесных отголосок». Пушкин, по его собственному свидетельству, слышал боже-

ственный глагол, чуял, воспринимал вселенную во всех ее планах и вот — «внемлет арфе Серафима в священном ужасе поэт». Но гаснут видения и звуки, и снова рядом ежедневность и будни:

И даже глупости смешной
В тебе не встретишь, свет пустой!

При этом печальнее и губительнее всего для поэта, что погружается он в жизненный омут глубже кого бы то ни было:

И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Есть ли на свете кто-либо несчастнее такой особи двуногих? От постоянного созерцания непримиримых контрастов рождается в художниках склонность к карикатуре, к пародии, к изображению различных уродств. Душа человеческая не выдерживает нечеловеческого *юмора* таких контрастов. Пушкин был великим пародистом, а Достоевский, сверх того, гениальным пасквилянтом.

Мармеладов, хоть и не писал стихов, но родился поэтом, если разуметь под этим словом существо порочное и, одновременно, наделенное даром ви́денья высших реальностей. Оттого-то при первой встрече с Раскольниковым он и прочитал в лице его «некую скорбь». Эта скорбь потому была «некая», что шла она из предельной глубины, зараженной грехом, но все еще живой души Раскольникова.

Достоевский собственными дарами и качествами наделил Мармеладова. Только эпилепсия и пристрастие к азартной игре превратились у Мармеладова в пьянство, а жажда Достоевского смирить в себе гордыню перешла в его излюбленном герое в истинное смирение перед Богом. Не столько Алешей Карамазовым, сколько Мармеладовым пытался Достоевский побороть и вытеснить из себя Раскольникова, Сви-

дригайлова, Ставрогина и Ивана Карамазова. И дорого дал бы Достоевский, чтобы родной и близкий его душе Кириллов, соблазненный губительной идеей человекобожества, был побежден тем, на кого в духовной глубине своей он так походил — Мармеладовым, унаследовавшим от создателя «Преступления и наказания» дар сердцеведения и духовидения.

Конечно, своим непосредственным обликом, пьянством и развращенным видом Мармеладов не способен был бы кого-либо очаровать и, тем более, удержать от преступления, но, уловив на лице Раскольникова отпечаток скорби — верный знак неукротимых исканий и духовной бессонницы, — он привел его в свои семейные недра. Мармеладов предопределил знакомство Раскольникова с Соней, крестовой сестрой вскорости убитой Лизаветы. Предотвратить же своим поступком задуманного Раскольниковым преступления Мармеладов не мог: черт крепко держал свою жертву в повиновении и умел повернуть ее помыслы по своему усмотрению.

Что же почерпнул Раскольников себе во спасение из того, что увидел в семейных недрах Мармеладова? Он заметил только крайнюю нищету и, наверное, глубже всего проникла в него жалость при виде «старшей девочки лет девяти высокенькой и тоненькой, как спичка, в одной худенькой и разодранной всюду рубашке и накинутом на голые плечи ветхом драдедамовом бурнусике, сшитом ей, вероятно, два года назад, потому что он не доходил теперь и до колен»... Этого одного с избытком достаточно, чтобы сжалось сердце у всякого человека, еще не успевшего превратиться в бревно. А от природы был Раскольников, по словам Разумихина, «великодушен и добр», хотя, одновременно, по утверждению того же наблюдателя, «он никого не любит, может, и никогда не полюбит». Противоречива и непостижима человеческая душа, неустанно становящаяся и никогда не достигающая становления. Вот и постигай ее, помещай в графу, загоняй в гранки! И какая же нужна самоуверенность, лучше всего определяемая непереводимым французским словом suffisance, чтобы приступать с заведомо негодными средствами к «изучению души» и называть научными ни на чем

не основанные смутные догадки о том, что подвижнее и изменчивее бегущих облаков и неисследимее бездны.

Уходя от Мармеладовых, «Раскольников успел просунуть руку в карман, загреб сколько пришлось медных денег, доставшихся ему с размененного в распивочной рубля, и неприметно положил на окошко. Потом, уже на лестнице, он одумался и хотел было воротиться... Но, рассудив, что взять назад уже невозможно, и что все-таки он и без того бы не взял, он махнул рукой и пошел к себе на квартиру».

Но почему Раскольников, уже неудержимо влекомый злой силой к преступлению, совершает доброе дело, отдавая свои последние гроши чужим людям, ввергнутым в тяжкое испытание? Это можно объяснить только тем, что он восстает не на людей, а на Бога. Если Раскольников не верит Богу, то это нисколько не значит, что он действительно сомневается в Его существовании, хотя и высказывает такое сомнение на зло себе и Небу в разговоре с Соней. Однако, подлинные, настоящие атеисты не молятся и, замыслив злое дело, не просят Бога, подобно Раскольникову, избавить их от наваждения. Нет, не в существование Творца Небесного не верил Раскольников, но в Его милосердие и справедливость. Он возжелал подменить собственной справедливостью несовершенные для него решения Божественного Промысла и, самообожествившись, отошел от Бога. Поэтому его добрые поступки и жалость к людям не спасают его: они безблагодатны.

Выйдя от Мармеладовых, Раскольников воскликнул: «Ай да Соня! Какой колодезь однако ж сумели выкопать! И пользуются! Вот ведь пользуются же! Поплакали и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!»

Он задумался.

— Ну, а коли я соврал, — воскликнул он вдруг невольно, — коли действительно *не подлец* человек, весь вообще, весь род т. е. человеческий, то значит, что остальное все — предрассудки, одни только страхи напущенные и нет никаких преград и так тому и следует быть».

Итак, все, что пока вынес Раскольников из Мармела-

довских недр, стало для него лишним поводом к оправданию богоборческого лозунга: «Все позволено». Черт трудился недаром!

Ни одного слова нельзя пропустить у Достоевского. Он и тут роняет свое замечание, не придавая ему как будто особого значения. Раскольников, — говорит он, — «воскликнул вдруг невольно». Почему «невольно»? Да потому, в данном случае, что еще задолго до «пробы» Раскольников был одержим и вот теперь заговорил его устами дух глухой и немой, вселившийся в него.

Наблюдая жизнь и людей, нас окружающих, все мы обычно не видим в них главного и не пребываем ни сердцем, ни разумом в том, что сущно, в едином на потребу. Когда бы мог Раскольников отнестись с большей сердечностью к тому, что открылось его глазам, он должен был бы, увидев Катерину Ивановну Мармеладову, уловить в ней нечто для себя очень важное. Она была гордая и, вдобавок, «справедливая», как скажет о ней Соня. Катерина Ивановна почитала себя обиженной невыносимо тяжкими обстоятельствами и, опираясь на свою справедливость, от Бога автономную, не могла и не хотела смириться. И все же Соня не ошиблась: эту справедливость нельзя не назвать праведной. Счеты Катерины Ивановны с Богом были сложнее, чем у Раскольникова. Она хотела самого малого, но и в малом ей было отказано. Тут сами собою вспоминаются слова великого и святого праведника: «Христос приходил на землю не столько для того, чтобы защитить человека от гнева Бога, сколько для того, чтобы защитить Бога от справедливой ярости человека».

Так же подчас думал и Достоевский, изведавший безмерность страданий, отпущенных на долю каждого существа. В лице Катерины Ивановны он показал нам, что и гордость может стать праведной и священной, когда она прикрывает собою оскорбленное безобразной нищетою человеческое достоинство, понимаемое, конечно, не гуманистически, а по-христиански. Достоевский не терпел прямолинейных выводов, как Фет прямолинейной поэзии. Мир дер-

жится на противоречиях в духе, потому что живы и Бог, и мир, и человек.

Трудно возражать Достоевскому, не рискуя попасть впросак. Он всегда опрокидывает свою же мысль и заменяет ее другой, противоположной, с тем, чтобы найти третью. Это потому так, что мысль его находится на услужении у сердца, его творческая диалектика не подчиняется рассудочной логике и движется неотрывно от сердечных движений. Он творит и мыслит умом сердца. Как всякий подлинный христианин, по слову апостола Павла, «имеет ум Христов», так имеет его и Достоевский. Огненный ум Евангелия сжигает мертвенные правила и к каждому явлению жизни подходит по-новому. И не то страшно, что Раскольников бунтует, а страшно то, что его бунт происхождения неправедного, как дом, построенный разбойником на ограбленные деньги. Но с той только разницей, что Раскольников сначала превратил собственную душу в жилище нечистого духа, а потом уже убил и ограбил. Именно поэтому, и опять-таки в отличие от уголовного преступника, деньги и драгоценности, добытые кровавым путем, ему ни на что не пригодились: черный дом в его душе и без того был уже построен. Преступление, совершенное Раскольниковым, по существу своему абсолютно злодуховно и ни с какими материальными выгодами не связано. Метафизически оно, в конечном итоге, нелепо, как все деяния диавола. Встреча Раскольникова с Катериной Ивановной провиденциальна. Увидев эту женщину, он должен был бы почувствовать, насколько далеко и высоко отстоит от его мрачной гордыни ее праведная гордость. Но он остался глух к праведному зову, как темный дух, завладевший его вожделениями.

Придя домой от Мармеладовых, Раскольников лег спать и на следующий день утром проснулся довольно поздно. Настасья принесла ему письмо, полученное накануне, вероятно в тот самый час, когда он встречался с Мермеладовым. Оно пришло из провинции, от матери. «Он даже побледнел, принимая его. Давно уже не получал он писем; *но теперь и еще что-то другое вдруг сжало ему сердце*» (выде-

лено мною. — Г. М.). Это «другое» неумолимо напоминало ему, что существуют на свете не только его злые намерения, что еще есть у него и мать и воспоминания о прошлом, о своем, ничем не запятнанном, детстве. Письмо, как поданный Небом предупреждающий и уличающий знак, вторгалось ему в душу, показывая, что пока он лежал в полнейшем отъединении от мира в своей желтой каморке, похожей на шкаф, на сундук, на гроб, — жизнь шла своим чередом, завязывая и развязывая несчетные узлы, творя все новые и новые события. Из письма матери он узнал о существовании не только Лужина, успевшего стать женихом его сестры, но и Свидригайлова, человека развратного и преступного. Раскольников узнал, что Свидригайлов, будучи женатым, «осмелился сделать Дуне явное и гнусное предложение, обещая ей разные награды и сверх того, бросить все и уехать с нею в другую деревню или, пожалуй за границу». В конце письма Пульхерия Александровна сообщала сыну, что Лужин выехал в Петербург, и скоро, может быть через неделю, выедет туда же и она сама вместе с дочерью.

Мы пребываем не в безвоздушном пространстве, жизнь вершится по явным и скрытым от нас законам, протекая и развиваясь одновременно в трех взаимообщающихся планах. Каждое наше деяние, каждый наш самый ничтожный поступок, каждый шаг состоят на учете. Так выходит по Достоевскому. Первый, заметивший это в его творчестве и заговоривший об этом, был Вячеслав Иванов. Нельзя ступить туда или сюда, не вызвав тотчас же вселенских откликов природы, людей и духов света и мрака. Нельзя ни о чем помыслить, не вызвав и тут и там зарождения новых происшествий и встреч. Страшна ответственность за всякий помысел. Мысль действует на расстоянии, влияет на людей, на их поступки и решения. Совсем не важно, что Раскольников, этот, по словам Настасьи, «умник лежит, как мешок, и ничего от него не видать», но важно, что при этом он не спит, а думает, и мысли его навлекают зло на мир. В том, что к Дуне приблизились Лужин и Свидригайлов, виноваты она сама и особенно Раскольников. Его злые домыслы шли

из гробной комнатушки в далекую провинцию и там осуществляли себя во встречах Дуни с Лужиным и Свидригайловым. Есть ленивое, сравнительно невинное, лежанье и есть лежанье злостное, когда залегший на каком-нибудь чердаке бунтарь измышляет преступные теории и множит мстительные грезы. Такого рода лежание существа, возомнившего себя Наполеоном, разрушительней атомных бомб. Утверждение великого английского мыслителя было для Достоевского неопровержимой истиной: «Тело вселенной есть тело не физическое, а мистическое». Кроме материи имеются еще ее излучения; кроме существа, замыслившего сотворить злое, есть еще исходящие от него флюиды, никакими учеными не исследованные и ве́домые только святым и художникам-пневматологам.

Флюиды, исходившие от залегшего в своей клетушке Раскольникова, возвращались теперь к нему в письме, обещая скорую встречу с Лужиным. Сверх того, в письме говорилось о вполне реальном земном существовании Свидригайлова, вызванного из преисподней злой волей самого Раскольникова. О потусторонней сущности Свидригайлова речь будет впереди, здесь же скажу только, что, по замыслу Достоевского, он очутился возле Дуни как двойник Раскольникова и, одновременно, как ее собственный двойник, несущий в себе все, что было в ней греховного. У Дуни та же душевная суть, что и у Раскольникова, но только в женственном преломлении; оттого и главный двойник у них тот же.

По прочтении письма, «он прилег головой на свою тощую и затасканную подушку и думал, долго думал... Наконец, ему стало душно и тесно в этой желтой каморке... Он схватил шляпу и вышел... Путь же взял он по направлению к Васильевскому острову через В-ой проспект, *как будто торопясь туда за делом, но, по обыкновению своему, шел, не замечая дороги...*» (Подчеркнуто мною. — Г. М.)

Эта прогулка была переломным, внутренне все порешившим моментом. Оттого и шел Раскольников, не замечая дороги и в то же время куда-то торопясь, как будто **не бес-**

цельно. Он прислушивался к тому, что творилось в его глубине, к внутреннему спору голосов, к несогласованным душевным движениям, к неведомому глубинному брожению в душе, силящемуся что-то породить и вывести наружу — осуществить это «что-то» вовне, в мире конкретных явлений. Раскольников еще ни разу в жизни не видел Свидригайлова и ничего не знал о его существовании до получения письма от матери. А между тем, «Свидригайлов» был теперь тут в самом Раскольникове и пытался подать о себе весть в явленных признаках, в земных символах.

Адам расколот грехом, как и мы — первичные адамовы частицы. Раскольников — представитель Адама — так же расколот. Его живые частицы смутно, слепо, но упорно ищут воссоединения между собою и с ним, влекутся к нему — своему постоянно взрывающемуся средоточию, попеременно их притягивающему и снова отталкивающему от себя. Внутреннее «я» Раскольникова, подготовляющее и вызывающее события и встречи, знает, куда оно сейчас направляется и кого не дойдя до цели, встретит. Но ничего не ведает об этом внешнее рассудочное «я». Вызванный из жизненной бездны злыми умыслами самого Раскольникова, его двойник — Свидригайлов — крепко изнутри сцеплен теперь с ним. Раскольников увидит и встретит то, что его внутреннее знающее «я» определит единым словом. Это слово — ключ к тайному значению надвигающейся встречи. Она вот-вот сейчас неминуемо произойдет.

Раскольников шел и думал о полученном письме. Мать извещала его о Дунином решении выйти замужа за Лужина, вульгарного дельца, скрягу и пошляка, в довершение всяческой мерзости, «разделяющего убеждения новейших поколений наших». Цель такого решения была ясна: Дуня хотела помочь материально брату и матери. Гордость и самолюбие Раскольникова и кровная привязанность к сестре этого принять не могли. К тому же, он чувствовал, что жертвенный порыв Дуни порожден затаенной гордыней и, быть может, не сознанным ею самою скрытым презрением к людям. В намерении сестры Раскольников узнавал себя. Ведь

не все ли равно, на какой образец бросать надменный вызов Богу! И не все ли равно, каким путем овладевать ускользающей жизнью — убийством или самоубийством — узаконенной перед людьми проституцией? Раскольников понимал, что по выходе замуж за Лужина Дуне «чистоту наблюдать» придется, ту особую чистоту, какую, по горестному замечанию Мармеладова, приходится наблюдать Соне в ее ремесле, «а, может быть, даже и хуже, гаже, подлее, потому что у вас, Дунечка, все-таки на излишек комфорта расчет, а там просто-напросто о голодной смерти дело идет».

Давно уже мучили Раскольникова неразрешимые вопросы о жизни, о своей судьбе, о тяжкой бедности сестры и матери. «Теперь же письмо матери вдруг, как громом, в него ударило. Ясно, что теперь надо было не тосковать, не страдать пассивно, одними рассуждениями о том, что вопросы неразрешимы, а непремерннно что-нибудь сделать, и сейчас же и поскорей. Во что бы то ни стало, надо решиться хоть на что-нибудь, или...

— Или отказаться от жизни совсем! — вскричал он вдруг в исступлении, — послушно приняв судьбу, как она есть, раз навсегда и, задушив в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!

«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? — вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова. — Ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти...».

«Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не от того, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он *предчувствовал* (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.), что она непремерно «пронесется», и уже ждал ее; да и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад и даже вчера еще, она была только мечтой, а теперь... *теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам сознал это... Ему*

стукнуло в голову и потемнело в глазах» (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Вот переломное непоправимое мгновение! Убийство ростовщицы и Лизаветы окончательно предрешено, а внутренне, метафизически, оно уже совершилось. Раскольников знал и «предчувствовал», что его давнишняя мысль сейчас *пронесется*, и уже ждал ее. По Достоевскому, мысль можно почувствовать, но еще, — говорит он здесь, — можно заранее знать о ее появлении. Как будто мысль, если не самостоятельное существо, то особая сущность, живущая в глубине человека, не им порожденная, но им самим из иных, нездешних сфер, в себя притянутая. Мысль абсолютно духовна. Мысли бывают светлые и темные, добро-духовные и зло-духовные. Сто́ит их в себя вселить, как они завладевают нами, а ими, в свою очередь, владеют и их направляют в нас, — однако, только с согласия нашей внутренней, вполне свободной воли, — духи света и тьмы. Мысль, войдя в нас, становится неотделимой для наших чувств и сознания от духа светлого или темного, ее пославшего. Вот почему мысль может «пронестись» в человеке, и в минуту крайнего душевного напряжения он этого ждет.

Дух глухой и немой молниеносно и по-новому грозно пронесся в душевной бездне Раскольникова, ища проявить себя вовне, подать о себе весть явным знаком, сам будучи не в состоянии воплотиться. Властное желание духа тотчас передалось Раскольникову: «Он поспешно огляделся, он искал чего-то. Ему хотелось сесть и он искал скамейку; проходил же он тогда по К-му бульвару. Скамейка виднелась впереди, шагах во ста. Он пошел, сколько мог, поскорее...».

Отчего Раскольникову вдруг захотелось сесть? Устал ли он очень? Но вряд ли он мог ощутить свою усталость. Уж слишком он был поглощен тем, что творилось внутри его. Нет, не усталость вела Раскольникова к скамейке, но его направлял к ней неведомый толчок. Что-то непоколебимо решилось и утвердилось в глубине Раскольникова и требовало остановки: *цель прогулки терялась, дальше уже некуда, не к кому и не за чем было идти.*

«Выглядывая скамейку, он заметил впереди себя, шагах в двадцати, идущую женщину, но сначала не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших до сих пор перед ним предметах. Ему уже много раз случалось проходить, например, домой и совершенно не помнить дороги, по которой он шел, и он уже привык так ходить. Но в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого же взгляда, бросающееся в глаза, что мало-по-малу внимание его начало к ней приковываться, — сначала нехотя и как будто с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что́ именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она, должно быть, девушка и очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то смешно размахивая руками... К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но, дойдя до скамьи, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна...

...Раскольников не сел и уйти не хотел, а стоял перед нею в недоумении. Этот бульвар и всегда стоит пустынный, теперь же, во втором часу и в такой зной, никого почти не было. И однако ж в стороне, на краю бульвара, остановился один господин, которому, по всему видно было, очень бы хотелось тоже подойти к девочке с какими-то целями... Дело было понятное. Господин этот был лет тридцати, плотный, жирный, кровь с молоком, с розовыми губами и с усиками и очень щеголевато одетый. Раскольников ужасно разозлился; ему вдруг захотелось как-нибудь оскорбить этого жирного франта. Он на минуту оставил девочку и подошел к господину.

— Эй, вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злобы губами».

Здесь есть всё, на что самый убежденный позитивист, любитель реалистического искусства, мог бы обратить свое удовлетворенное внимание и на этом остановиться, совершенно не заметив того *что* сопутствует внешнему ходу сцены. Тут великое мастерство Достоевского достигает наивысшего совершенства. Для поверхностного взгляда это маленькое происшествие настолько просто объяснимо, что даже не сто́ит указывать на такую простоту. Но вот откуда взялся вдруг «Свидригайлов» и какое, наконец, значение надо придать выкрику Раскольникова? Но и выкрик легко объясним. Раскольников только что прочитал до того полученное от матери письмо и запомнил, возмущаясь, все сказанное там о Свидригайлове, обожателе «свежинки». Чего же проще — перенести свое возмущение с него на подвернувшегося франта, — жирного, кровь с молоком, — уставившегося на лакомый кусочек! Иннокентий Анненский дает этой сцене психологически очень верное толкование. Он говорит: «словом «Свидригайлов» осуществил Раскольников мечтательное обладание жизнью. Найден был разрешительный символ для этой мечты — загадки, которая мучила Раскольникова уже много дней подряд. Обладанье жизнью получило эмблему *жирного* и женоподобного франта на стойке около пухлого и уже пьяного ребенка». И дальше: «Теперь Раскольников станет, наконец, и сам той жизнью, которая всё уходит от него куда-то. А для этого он пойдет сейчас же к ней туда, в самую гущу, в самую грязь... Он сам станет грязью, если именно этим можно взять жизнь, слившись с нею. Он убьет эту мечту»...

Тут Иннокентий Анненский ставит точку, хотя отлично видит и знает всё, что было бы можно и должно сказать еще. Но он был осторожен и временами не договаривал многого, целомудренно прикрывая от пошлого интеллигентского скептицизма начала двадцатого века свою безмерную зоркость. Всё же его беглого, но весьма веского замечания о роли черта в «Преступлении и наказании» более, чем достаточно, чтобы понять, как глубоко умел он заглядывать в бездонность, называемую нами — «творчество Достоев-

ского». Место, отведенное черту в «Преступлении и наказании», Анненский считал центральным в романе, в чем, безусловно, не ошибался. И вот хочется спросить с настойчивостью самого Раскольникова и его же словами: почему, почему, почему происходит целый ряд совпадений, исключающих малейшую возможность объяснить происходящее случайностью? Всё, конечно, хорошо: Раскольников накануне того дня, когда совершил он задуманное убийство, получает письмо от матери, лишний раз напоминающее ему в каком безысходном положении находятся его родные; узнает о существовании Лужина и Свидригайлова, сделавшего «гнусное предложение» Дуне; под гнетом полученных известий выходит на улицу и идет, сам в точности не зная куда. Его мучают скорбные соображения о насущных нуждах и, одновременно, его окончательно дорабатывает крепко внедрившаяся в него идейка, хоть и не очень замысловатая, но опасная и злая. Лозунг «все позволено» рвется из теоретических выкладок наружу, в жизнь и, обратавшись в подобие злодуховного существа, ищет своего земного воплощения. Да, всё хорошо, и психология в полном разгаре! Но почему, немедленно после того, как *пронеслась* в Раскольникове «давняя мысль», в каком-то новом, *грозном* и совсем незнакомом ему *виде*, почему, спрашивается, тут же, сейчас же произошла многозначительная встреча с пьяной девочкой и женоподобным франтом? Почему встреча с таким совершенством совпала с мыслью именно явившейся и именно *принявшей вид?* Не потому ли, что мысль — существо, мысль — бес и есть «жирный франт на стойке около пухлого уже пьяного ребенка»? Чёрту не дано воплощаться, и он действует через своих проводников — посредников, из которых основной и главный в романе — Свидригайлов, что и выясняется из сновидения Раскольникова об убитой ростовщице и еще из многого другого. Но об этом поговорим после. А в происшествии с франтом и девочкой страшнее всего то, что Раскольников одержим и потому его выкрик — «Свидригайлов!» — полностью выражает волю и замысел истинного режиссера всей сцены — чёрта.

Итак, едва успела появиться весть о Свидригайлове в

письме, кек он уже делает первый шаг к сближению с Раскольниковым, являясь ему для начала в транспонированном виде. Своим невольным выкриком Раскольников признал и и утвердил в себе Свидригайлова, который впоследствии при *первом* же знакомсте, уже во плоти, обратится к нему, выражая *странную*, вполне потустороннюю мысль:

«— Ну не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?

— Никогда вы этого не говорили! — резко и с азартом ответил Раскольников.

— Не говорил?

— Нет!

— Мне показалось, что говорил. Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же и сказал себе: «это тот самый и есть!».

— Что это такое: тот самый? Про что вы это? — вскричал Раскольников.

— Про что? А право не знаю, про что... — чистосердечно и как-то сам запутавшись, пробормотал Свидригайлов.

С минуту они молчали. Оба глядели друг на друга во все глаза».

Действительно, что же это такое — «тот самый»? И почему Свидригайлов сам не знает, что хочет этим сказать? Он хоть и видит иногда наяву выходцев с того света, но находится в полном рассудке, и психиатрам с ним решительно нечего делать. Однако, именно потому, что Свидригайлов, как и все, чрезмерно рассудочен, он ничего не ведает о своем собственном внутреннем «я», зато это «я» знает о нем все и, зная, прорывается мгновеньями наружу. И кому из нас, хоть раз в своей жизни, не пришлось выразить внезапно и невольно нечто несоответствующее и неподвластное рассудку, но не лишенное вещего значения? И у Свидригайлова и у Раскольникова, еще до их знакомства, были основания думать друг о друге; все же, от таких дум слишком и слишком далеко как до странных слов — «тот самый», так и до странного восклицания — «Свидригайлов!». Здесь никакими трактатами о сознании и подсозна-

нии не отделаешься. Можно, пожалуй, заняться психологией самого Достоевского, но и тогда пришлось бы только признать, что ему часто открывались иные нездешние сферы бытия, неведомые многим мудрецам. Вот в этих-то внерассудочных и, в данном случае, темных сферах и повстречались Раскольников со Свидригайловым еще до их знакомства во плоти. А сцена с франтом и девочкой была всего-навсего отражением, в плане здешнем, земном, этой мистической встречи.

Неизвестно, чем кончилось бы столкновение Раскольникова с франтом, если бы не встал между ними блюститель порядка с бравым солдатским лицом и толковым взглядом. Раскольников в кратких словах разъяснил ему все дело и дал двадцать копеек на извозчика, чтобы отправить девочку домой. Тем временем, она «встала со скамейки... Пошла она скоро, но по-прежнему сильно шатаясь. Франт пошел за нею, но по другой аллее, не спуская с нее глаз». Городовой тронулся вслед за ними.

«В эту минутку как будто что-то ужалило Раскольникова; в один миг его как будто перевернуло.

— Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу.

Тот оборотился.

— Оставьте! Чего вам? Бросьте. Пусть ею позабавится (он указал на франта). Вам-то чего?

Городовой не понимал и смотрел во все глаза. Раскольников засмеялся.

— Э-эх, — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой...».

Крутой поворот от двадцати копеек, пожертвованных на доброе дело, к наглому оправданию зла есть всего лишь повторение того, что уже случилось с Раскольниковым, когда, оставив немного денег на подоконнике у Мармеладовых, он вышел на улицу и «вдруг невольно» воскликнул: «всё — предрассудки, одни только страхи напущенные и нет никаких преград, и так тому и следует быть». Превратный дух снова и снова притягивал к себе свою жертву цеп-

кими когтями. Борьба двух воинств, светлого с темным, в душе Раскольникова продолжалась.

«А куда ж я иду? — подумал он вдруг. Странно. Ведь я зачем-то пошел. Как письмо прочел, так и пошел... На Васильевский остров, к Разумихину я пошел, вот куда, теперь... помню. Да зачем, однако же? И каким образом мысль идти к Разумихину залетела мне теперь в голову? Это замечательно».

Разумихин по духу не родня Раскольникову и не его антипод, он инопланен ему. Ведь нам только кажется, что мы живем в едином мире. На самом же деле, что ни человек, то новый мир, и все эти человеческие миры или противоположны, или инопланны, или, наконец, родственны друг другу. Ничем не омрачаемое божественное ядро души вело одержимого Раскольникова в иной план, в спасительный мир Разумихина. Но прорваться в этот мир устойчивости, душевной ясности, простоты и мужественной силы было для Раскольникова *сейчас* невозможно. Чёрт работал мастерски, обрекая Раскольникова на прохождение через опыт кровавого зла.

— «Что ж, неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?» — спрашивал он себя с удивлением.

«Гм... к Разумихину, — проговорил он вдруг совершенно спокойно, как бы в смысле окончательного решения, — к Разумихину я пойду, это конечно... но — не теперь... Я к нему... на другой день после *того* пойду, когда уже *то* будет кончено и когда все по-новому пойдет».

И вдруг он опомнился.

«После *того*, — вскрикнул он, срываясь со скамейки, — да разве *то* будет? Неужели в самом деле будет?..

Он бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было поворотить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно: там-то, в углу, в этом-то ужасном шкафу и созревало все *это* (подчеркнуто здесь и выше Достоевским) вот уже более месяца, и он пошел, куда глаза глядят».

Возвращаясь потом домой и дойдя уже до Петровского острова, Раскольников «остановился в полном изнеможении, сошел с дороги, вошел в кусты, пал на траву и в ту же минуту заснул».

Тогда-то и приснился ему страшный провиденциальный сон о забитой насмерть лошади. Но это сновидение не могло удержать его над пропастью: оно было ниспослано ему Небом впрок, на будущее.

*

Благодаря письму Пульхерии Александровны мы уже достаточно познакомились и с ней и с Дуней, чтобы поговорить о них прежде, чем вводить их в наисложнейшую житейскую и метафизическую интригу, развиваемую в «Преступлении и наказании». Говоря о Пульхерии Александровне и Дуне, я должен буду, хотя бы очень скупо и сжато, коснуться идеи нетленной красоты в творчестве Достоевского и указать на ее первоисток в российской художественной литературе. Как в жизни, так и в искусстве нет изолированных явлений, и тут и там все между собой общается и все друг от друга зависит. Творчески нам на потребу не историко-литературная зависимость Достоевского от его наставников и предшественников, а его метафизическая и мистическая с ними связь. Религиозно-художественно он крепко связан с Пушкиным и Баратынским (положительно) и с Гоголем (отрицательно). Сейчас для нас важна духовно-родственная близость Достоевского — по-видимому, ему самому неизвестная — с его прямым предшественником Баратынским. Их объединяет идея телесной нетленности и духовный бунт, через который они прошли по-разному, но в выводах своих достигли единого. Они близки друг другу не абстрактно, а органически.

Раскольников поистине расколот. Создавая этот символ, Достоевский думал о сущности первородного греха, о взорванном грехом Адаме, первенце среди людей. Раскольников — первенец у своей матери Пульхерии Александровны, он родился у нее первым и через него она, как мать, познала

святую сущность рождения. Поэтому Раскольников — Родион. Это имя потому, должно быть, избрала Пульхерия Александровна, что звучание его казалось ей священным. Оно напоминало ей роды — муку и радость творения. А Пульхерия значит Красота, мать земля, еще неискаженная грехом. Рождение каждого нового человека есть попытка матери-земли и матери этого нового рождающегося существа исправить искажение и тем вернуть мир к утраченной красоте, иными словами, к пребыванию в Боге. Именно потому так настойчиво подчеркивает Достоевский красоту Раскольникова, унаследованную им от матери. Но только красота его падшая, обманная, это отблеск призрачной прелести Люцифера. Еще шаг по пути зла и лицо Раскольникова превратится в красивую маску, как у Свидригайлова и Ставрогина.

Красива и сестра Раскольникова, Дуня, очень похожая на него, а также и на мать. Но красота Пульхерии Александровны иная, чем у Раскольникова и Дуни. То красота нетленности, совсем девственная, как бы нетронутая грехом. Чтобы сохранить ее на старости лет, имеется у женщины, по замечанию Достоевского, единственное средство: «никогда не терять ясности духа, свежести впечатлений и чистого жара сердца».

В ходе и развитии художественных замыслов Достоевского — Пульхерия Александровна очень важное звено. Создавая ее духовный облик, он, вне всякого сомнения, думал о Пульхерии Ивановне из «Старосветских помещиков». Все творчество Достоевского есть скрытая, а иногда и открытая, полемика с Гоголем. Беспощадного высмеивания, умерщвления человека смехом, вот чего не прощал автор «Преступления и наказания» автору «Мертвых душ». Перед творческим взором Достоевского неотступно стояли два демона. Так в «Дневнике писателя» сам он назвал Лермонтова и Гоголя. Он упорно боролся с ними на протяжении всего своего творчества. Они преграждали ему спасительную дорогу, ведущую к Пушкину, которого, по словам Тютчева, «как первую любовь, России сердце не забудет». Достоев-

ский хотел вернуть Россию к Пушкину и тем спасти и себя и ее. Для этого ему надо было на примере Кириллова и Ставрогина показать несостоятельность духовного бунта Лермонтова и заново создать вторую часть «Мертвых душ», столь неудачно посвященную Гоголем попытке воскресить им же самим уничтоженного человека.

Как всеми персонажами Гоголя, Пульхерией Ивановной руководит привычка, согласно иронической обмолвке Пушкина, данная нам свыше в замену недостижимого счастья. Старосветская помещица, порабощенная бездушным обиходом чрезмерно отстоявшегося быта, обнаруживает свою убогую ограниченность и, умирая, уходит в сумерки, серые, как серая кошка, приходившая за своею госпожею, чтобы увести ее в безвестное. И в честь всего неживого сумеречного положили в гроб Пульхерию Ивановну в сереньком платье. Но Достоевский воскресил Пульхерию и, дав ей новое отчество, вдохнул в нее волю к существованию и желанию стать матерью. Достоевский показал на примере Пульхерии Александровны, что девственная мать-земля принижена не по ее вине состоявшимся падением, но она по-прежнему жива и прозорлива, как и мать Раскольникова, душевно оглушенная преступлением своего сына, но духовно по-прежнему все постигающая своим сердцем. Так же прозорлива и юродивая хромоножка из «Бесов», Марья Тимофеевна Лебядкина — символ матери-земли, искаженной первородным грехом, навязанным ей падшим Адамом. Говоря о Пульхерии Александровне, нельзя не вспомнить ясновидящую Марию Тимофеевну, обладательницу высшего сознания. Дурочка — по мнению премудрых и разумных рабов рассудка, она не примет, подобно им, личины за лицо и отличит истинного Жениха, грядущего в нощи, от самозванца, Его опередившего. Я говорил уже, что нет у Достоевского образов, но есть лишь сущность образов. Нет у его героев ни костей, ни мяса, столь излюбленных и, в конце концов, переоцененных Толстым как художником, но есть у них *личность*, в христианском значении этого слова, а, следовательно, имеется у каждого из них духовное тело. Это тело может быть светонос-

ным, как у князя Мышкина в «Идиоте», или потемневшим, как у Раскольникова, но оно непременно духовно.

В мучительных поисках сверхвысшей реальности, в поисках Бога, Достоевский временами терял веру, но, когда она возвращалась к нему, он снова и снова утверждал, что красота спасет мир. Он невольно сходился в этом с Константином Леонтьевым, всецело принадлежавшим по своему духовному складу к эпохе Возрождения, казалось бы, столь чуждой создателю романа-мистерии, уходящего корнями своими в средневековую мистику. Константин Леонтьев, — человек Ренессанса — созерцал красоту во всех ее ликах и обликах и не хотел замечать надвигающихся на нее со всех сторон искажений и извращений. Его дивный ум, опаленный огнем христианства, желал оставаться в искусстве язычником. А сердце и ум Достоевского, христианством пронизанные, страшились превращения идеала всего прекрасного в апокалиптическую блудницу, и малейшее смещение еле видимой черточки в созерцаемой красоте тотчас отмечалось у Достоевского как опасность, как приближение к чему-то гибельному. На вопрос, что́ вселяет в человека смертный грех во всех его видах и подразделениях, Достоевский ответил бы «гордость». Она же, придавая порою инфернальный оттенок женской прелести, силится взорвать ее изнутри. Красота сестры Раскольникова тревожна. «Авдотья Романовна была замечательно хороша собою, — высокая, удивительно стройная». Но вот, «нижняя губка, свежая и алая, чуть-чуть выдавалась вперед, вместе с подбородком, — единственная неправильность в этом прекрасном лице, но придававшая ему особую характерность и, между прочим, как будто надменность». Не желая излишне выделять эту надменность, Достоевский косвенно к ней возвращается, говоря о все еще прекрасном лице Пульхерии Александровны. «Это был портрет Дунечкинова лица, только двадцать лет спустя, да кроме еще выражения нижней губки, которая у нее не выдавалась вперед». А немногим далее: «горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный Разумихин», довершая портрет Дунечки и непосредственно обращаясь к

ней, прямо-таки «брякнул для самого себя неожиданно: «— А знаете, Авдотья Романовна, вы сами ужасно как похожи на вашего брата, даже во всем». И тотчас же, вспомнив о том, что говорил ей про брата, покраснел, как рак, и ужасно сконфузился».

Достоевский очень часто, и в художественном отношении всегда уместно, вкладывает собственные заветные мысли и определения в уста своих героев. По замыслу автора, Разумихин — надежный успокоительный островок в круговороте страстей, вражды, кровавой борьбы, гордыни и похоти. Разумихин простоват на вид, но, как и всякий живой человек, по существу сложен. Признаюсь, что при всем моем благоговении перед ни с чем для меня несравнимой проницательностью Иннокентия Анненского, я никогда не мог согласиться с одним, сказанным им вскользь, словечком о Разумихине. Он называет его «бестией» и не объяснил, почему. Правда, Разумихин не брезглив, но не потому, что он бестия, а потому, что не страшится никаких положений и превратностей и хочет погрузиться всем чувствилищем в жизненную гущу, чтобы на деле познать ее не разумом, — хотя он разумен не только по фамилии, а сердцем. Он открыто идет навстречу людям, пусть даже весьма спорной нравственности, вроде Заметова, — секретаря полицейской конторы, или Луизы Ивановны — содержательницы притона. Создавая Разумихина, Достоевский искал отдохновения от постоянной духовной тревоги и пытался задержаться на краю пропасти, зиявшей когда-то у ног Паскаля и открывавшейся внутреннему зрению Тютчева. Разумихин стал верным оплотом для Дуни и благодатной передышкой для Достоевского. Быть может, неожиданно для самого себя, автор «Преступления и наказания» подошел при посредстве Разумихина совсем близко к церковно-православному мировосприятию и мирочувствию. А ведь нельзя было бы назвать Достоевского того времени церковным человеком. Будучи пламенным христианином, он и впоследствии не мог остановиться окончательно на традиционно православных формах христианства. Его неохристианство в «Братьях Ка-

рамазовых» оставалось и все еще остается под сомнением не только для Константина Леонтьева.

Разумихин глубоко органичен и потому его простоте часто открывается тайный мир человеческой души, скрытый от умных и мудрых. Он молод, но уже опытен, подобно старому воробью, и отлично ведает цену вещей и людей. Такой продувной делец, как Лужин, не проведет его на мякине и не прельстит тупоумно самодовольными материалистическими теориями. Он видит и любит человека таким, каков он есть на самом деле, вне романтических прикрас и гуманистических лицемерных вывертов, развращавших наших отцов и дедов, людей противоречивого девятнадцатого века, завещавщего и нам свою ложь и иллюзии. Достоевский, несомненно, мечтал навсегда остановиться на Разумихине и научиться у него истинному отношению к жизни и ближним. Он поэтому именно устами Разумихина определяет сущность своего главного героя: «Полтора года я Родиона знаю: угрюм, мрачен, надменен и горд; в последнее время (а, может, гораздо прежде) мнителен и ипохондрик. Великодушен и добр. Чувств своих не любит высказывать, и скорей жестокость сделает, чем словами выскажет сердце. Иногда, впрочем, вовсе не ипохондрик, а просто холоден и бесчувствен до бесчеловечия, — право, точно в нем два характера поочередно сменяются... Ужасно высоко себя ценит и, кажется, не без некоторого права на то...».

И так-то определив Раскольникова, брякнул Разумихин прямо Дуне в лицо, что она похожа на своего брата, *даже во всем.* Кстати, нельзя не отметить, что когда в одной и той же душе два характера поочередно сменяются, то это уже не характер и не раздвоение характера, но что-то совсем другое, к чему ни с каким, ныне все еще модным, «психоанализом» не подъедешь. Если бы Достоевский, в данном случае, говорил о Раскольникове не от лица Разумихина, а от самого себя, не считаясь с художественной тканью романа, он назвал бы эти «два характера» их настоящими именами, напомнив нам свои знаменитые слова: «Душа человека — арена борьбы Бога и диавола». Он еще раз сказал бы,

что есть живая Психея, взрывчатая, в проявлениях внезапная, психологии не поддающаяся. Любой психолог, бесцеремонно тыкая психо-аналитической указкой в душу своего ближнего, неизменно попадает в пустоту. Впрочем, и церемонии психологу не помогли бы. В обширной литературе о Достоевском нередко было принято замалчивать его подлинное чисто средневековое мировосприятие. По Достоевскому, поскольку он творил, Бог и диавол существовали не иносказательно, а вполне реально. Тому, кто хотя бы на единый миг не ощутил этой реальности, доступ к творчеству Достоевского наглухо закрыт. Тут не только психиатры и психологи, фигурирующие на суде в «Братьях Карамазовых», ничему не помогут, но и Фрейд не выручит. Отрицать существование и Бога и диавола значит заодно, по пути, лишать малейшего смысла все творения Достоевского, за исключением, пожалуй, «Бедных людей» — его первой повести, приведшей в восхищение Белинского и о которой Иннокентий Анненский очень метко выразился, назвав ее «игрой на балалайке, да и то на одной струне». Не с характером в человеке, но с грозным иррациональным и сверрациональным началом творчески переведывался Достоевский, с началом, могущим погубить или же, напротив того, превратить сосуд скудельный в божественный фиал. Таким фиалом, по замыслу Достоевского, была красота Пульхерии Александровны. Это красота духовно-телесной нетленности, это тело духовное, проступающее сквозь тело душевное. От кого же впервые возникла в российской литературе идея телесной нетленности — увековеченной искусством духовной красоты? Прежде чем выразить эту идею, Достоевский прошел через мучительный опыт. Изображение красоты порою дается художнику как бы даром, но религиозно художественное постижение ее идеи добывается мышлением, а, следовательно, длительным страданием. На тернистую дорогу такого постижения Достоевский вступил у нас не первым. У него был предшественник, его предтеча, прошедший до него по всем путям и перепутьям в поисках

заветного слова, могущего отразить в себе идею телесной нетленности. То был Баратынский — один из величайших наших поэтов, до сих пор еще не оцененный по достоинству. В творчестве Достоевского идея телесной нетленности одна из основных, тогда как у Баратынского лишь она являет собою основу всего. Тема смерти, казалось бы столь важная в его поэзии, производна, но возникает непосредственно из основной идеи. Смерть, по Баратынскому, есть особый процесс в бытии, окончательно высвобождающий духовное тело из-под гнета тела душевного. Еще при жизни найти, увидеть и творчески запечатлеть в слове духовное тело человека — вот единственная цель поэзии Баратынского. Это невероятно, но это так. Впрочем, вероятное не порождает великого искусства и в художестве царствует Пневма, а Психея отодвинута в тень. Истинно великое, действительно гениальное, не душевное, но духовное творчество ликует свое торжество, свою победу над законом вероятия. Гением в древние времена называли чистого ангела искусства. Настоящее значение слова *гений* позднее было утрачено, и так стали называть всех больших служителей искусства. Но к художникам душевно-телесного склада, как бы ни были они велики, это слово относиться не может.

Идеи гениального поэта родятся вместе с ним. Они родятся, живут, воплощаются в творчестве, растут и созревают, подобные во всем своему пестуну — воплотителю. Первичная основа всех идей и замыслов поэта, обычно, раньше всего находит себе выражение. В сущности, все создания художника не что иное, как развитие и разрастание единого ростка, властно пробивающегося наружу в слово, в краски, в очертания и звуки.

Восемнадцатилетний Баратынский с готовым мадригалом в кармане прибыл в 1818 году из родного имения Баратынских в Петербург. Этот начальный стихотворный опыт появился, при содействии Жуковского, в 1819 году в февральской книжке журнала «Благонамеренный», и в окончательной редакции читается так:

Взгляните: Свежестью младой
И в осень лет она пленяет,
И у нее летун седой
Ланитных роз не похищает;
Сам побежденный красотой,
Глядит — и путь не продолжает.

Как в росинке чуть заметной отражается солнечный лик, так в мадригале Баратынского обретается живой зародыш всей его поэзии. Это шестистишие поэт посвятил своей тетке Панчулидзевой. Несколько позднее оно могло бы быть посвящено Пульхерии Александровне Раскольниковой. Здесь беспощадное время остановилось, здесь дух сказал телу: «Стой, я хочу быть тобой, а ты будь мною!».

Этот мадригал, этот нездешний луч надо было закрепить, отыскав первоисток его неугасимости, и обратить его, по выражению самого поэта, в «незакатный день» для себя и других. Так началось для Баратынского трудное, преисполненное страданий, восхождение к первоистоку телесной нетленности. На путях к ней поэт неизбежно должен был встретиться со смертью и творчески оправдать ее, разрешив для себя ее загадку.

Из всех писателей и поэтов, Достоевский прочнее всего связан с Пушкиным и Баратынским. Родство свое с Пушкиным он чувствовал и сознавал вполне, а о своей связи с Баратынским — и это любопытнее всего — совершенно ничего не знал. Он, как и все его сверстники, если и был знаком с поэзией Баратынского, то лишь очень поверхностно. Связь эта основана не на литературном влиянии, оказанном старшим на младшего, а на живой органичности русской культуры. Оба они, будучи детьми единого семейственного очага, приникали разновременно сердцем к тем же религиозно-национальным истокам. Оба прошли в ранней молодости через великий духовный бунт, проявившийся на социальной поверхности у Достоевского революционными действиями, у Баратынского нарушением общепринятых моральных устоев. Оба, расколотые духовным бунтом, испытали над

собой власть демонских сил: Достоевский — духа глухого и немого, высоко вознесшего на крыльях гордыни дерзнувшего убить и через то познать Раскольникова, а Баратынский — духа превратного, питавшего и раздувавшего в нем жар «восторгов несогласных», в бурю на море «ополчившего на творенье все силы, данные творенью», в бунтующем своем могуществе заслонившего небо огромными крылами. Но и обуреваемые демонами, они творчески жили одним: восстановлением ветхого Адама. Достоевскому грезится воскрешение Лазаря, — поэзия Баратынского предвосхищает и и предвещает преображение и одухотворение мировой плоти. Оба были детьми «и страсти и сомненья» и по-разному говорили об одном: о «благодати страстей», дарованных нам вышнею волей. Оба в зрелые годы пришли к одному религиозному выводу, выраженному Достоевским в кратком призыве — «смирись, гордый человек!» — Баратынским в стихотворной формуле — «в смиреньи сердца надо верить и терпеливо ждать конца». Оба изведали миры иные: Достоевский — в поисках оправдания жизни, Баратынский — в упорном стремлении ее осудить. Непостижимое значение жизни настолько поглощало все существо Достоевского, что он часто забывал о смерти, — загадка смерти так влекла к себе Баратынского, что временами уводила его далеко от жизни. И тем самым, дополняя друг друга, совершенно объединяясь в таинстве печали и страдания, они сообща раскрывают нам двойную бездну — жизни и смерти.

Оправдание смерти у Баратынского и жизни у Достоевского неразрывно связано с предварительным оправданием страдания. И тут опять Баратынский предстает перед нами как прямой предтеча Достоевского.

Говоря о «Преступлении и наказании» по существу, поневоле встаешь перед необходимостью нащупать и по возможности обнаружить сокровенную связь Достоевского с его старшими собратьями по творчеству, членами единой *духовной* семьи. По слову Пушкина, самостоянье человека и залог его величия основаны на любви к родному пепелищу и отеческим гробам. Дивное чувство преемственности

идей, тем и форм, возникающих из религиозных отечественных глубин, вот что утверждает и возвеличивает истинных художников. Только приникая сердцем к этой животворящей святыне, можно постичь художественное творение, пребывать в теме, а не около нее, не критиковать, а сопереживать — не подходить к созданию искусства со стороны, но вырастать из него наподобие дерева, питающего свои плоды родимыми соками.

В 1820 году двадцатилетний Баратынский, предвосхищая одно из основных положений Достоевского, тогда еще не родившегося, обращается в стихах к своему другу Коншину:

Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам,
Не испытав его, нельзя понять и счастья...
. . . . . .
Пусть мнимым счастием для света мы убоги,
Счастливцы нас бедней, и праведные боги
Им дали чувственность, а чувство дали нам.

Эти стихи являют собой очень раннюю завязь творчества поэта. Однако, самая мысль о страдании, как о главнейшем и благодатном двигателе существования, впервые выражена четырнадцатилетним Баратынским в письме к матери:

«Поверьте, милая маменька, что ко всему можно привыкнуть, кроме покоя и скуки. Я предпочел бы лучше быть совершенно несчастным, чем совершенно спокойным в свете. Живое и глубокое чувство заняло бы, по крайней мере, мою душу целиком, сознание моих несчастий напоминало бы мне, что я существую».

Итак, только через страдание дано человеку сознать, что он существует. Но подобное сознание и есть уже не мнимое, а истинное счастье, победа чувства над чувственностью, высокого ума над низменным рассудком. Четырнадцатилетний Баратынский воспринимает страдание как главный двигатель жизни и чувствует его таинственную основу, пре-

ображающую силу. Все же проходят шесть долгих лет, прежде чем бегло выраженная в детском письме идея-мысль начинает воплощаться в творчестве поэта, и проходят еще девять лет, пока, наконец, идея страдания дорастает в поэзии Баратынского до своего полного религиозного значения. Отныне, по Баратынскому, страданию присущи таинства, непрестанно свершающиеся в недрах самой жизни. Церковь утверждает эти таинства, осуществляющиеся через страдание в глубинах бытия. Жизнь в существе своем мистериальна, она оцерковлена болью и печалью, и христианское Богослужение в целом есть высший беспримесный синтез миру явленных таинств страдания.

Кажется, невозможно придать иного толкования скупым и сжатым изъявлениям Баратынского, но остановись он на них, они были бы неполными.

В 1841 году, через целых двенадцать лет, поэт возвращается к своей теме и пишет стихотворение «Ахилл», создавая потрясающий образ служителя искусства, духовного бойца, новозаветного Ахилла. Этот «сын купели новых дней», омовенный не влагой Стикса, а водою христианского крещения, доступен всем страданьям, он, в противоположность древнему Ахиллу, уязвим повсюду, за исключением одной пяты, и то, если ею встал на живую веру. И вот оказывается, недостаточно крещения и веры, чтобы содействовать восстановлению грехом раздробленного Адама, — новозаветный Ахилл, в поисках полноты и совершенства, будет жить надеждою полюбить и быть любимым, найти свое женственное дополнение, «свое второе бытие».

В 1844 году, в бытность свою в Париже, Баратынский пишет небольшое стихотворение и посвящает его жене, Настасье Львовне Баратынской. Эти стихи, написанные всего за пять месяцев до смерти поэта, завершают самый трудный и сложный путь его творческих исканий.

Когда, дитя и страсти и сомненья,
Поэт взглянул глубоко на тебя,
Решилась ты делить его волненья,

В нем таинство печали полюбя.
Ты, смелая и кроткая, со мною
В мой дикий ад сошла рука с рукою:
Рай зрела в нем чудесная любовь.
О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я приникал главой моей мятежной,
С тобой себе и Небу веря вновь.

Перенесенные страданья неминуемо порождают встречу поэта с другом его души, и, отразившись в глубине его взгляда, она, его суженая, не может не полюбить свершившегося в нем таинства печали. В полноте воссоединения новозаветный Ахилл обретет свое второе бытие, увидит самого себя преображенным. Тогда, воскрешенный, восстановленный, он, в подражание Христу, бестрепетно сойдет в свой дикий ад: чудесная любовь навсегда превратит его преисподнюю в рай. Надо только еще здесь, при жизни, научиться нездешнему, загробному языку: уловить небывалым сочетанием слов «арф небесных отголосок», сделать свои стихи обителью «неосязаемых властей» и, что всего насущнее, заново назвать свою любимую, дать ей тайно ото всех «своенравное прозванье», любовью рожденное и посвященное любви. Это прозванье станет символом тех чувств, для которых нет выражения в земных языках. Когда же по смерти поэта ему откроются врата, ведущие в заочный мир, где нет ни образов, ни чувственных примет, то этим прозванием он приветит бессмертие, воскликнет им к безднам, и навстречу новозаветному Ахиллу полетит душа его любимой для последнего лучезарного слияния.

Так приняла и оправдала страдание поэзия Баратынского.

Кто оправдал страдание, тот поклонился Голгофе, тот стал христианином. Для Баратынского сущность христианства была прежде всего в личном напряжении духа, в скрытом от всех духовном самосовершенствовании. Христианство в целом, по-видимому, представлялось Баратынскому как ряд аскетических подвигов, благих деяний, творимых из-

бранными людьми. Единоличными усилиями подвижников и творческими грезами поэтов — «сынов фантазии», познавших меру вышних сил ценою сердечных судорог, преобразится мир и одухотворятся люди. Подвижник и поэт должны искать уединения, ибо «не в людском шуму, — пророк в немотствующей пустыне обретает свет высок». Чтобы стяжать мир заново, надо добровольно забыть шумный свет и еще при жизни быть «как бы во гробе». Подобное восприятие христианства непосредственно связано у Баратынского с важнейшей для его творчества задачей — с совершенно особым оправданием смерти. И вот, несмотря на явные расхождения, многое здесь снова роднит Баратынского с Достоевским.

Желанье быть «как бы во гробе», первоначально имело для Баратынского совсем не христианское значение. Он исходил не от смирения, а от бунта и притом, абсолютного. Был молодой период в жизни и творчестве поэта, когда он, предваряя Лермонтова, в то время десятилетнего мальчика, наперекор судьбе и Богу, призывал на себя несчастья и бури. В 1824 году, в стихотворении «Буря», поэт пишет:

В покое раболепном я
Ждать не хочу моей кончины:
На яростных волнах, в борьбе со гневом их,
Она отраднее гордыне человека.

Опережая Пушкина, с его демоническим гимном в честь чумы, поэт приветствовал «геенны властелина» и обращался к океану, как к некоему могущественному демону:

Волнуйся, восставай на каменные грани;
Он веселит меня, твой *грозный дикий рев!*

(Курсив мой. — Г. М.)

Через шесть лет Пушкин подхватывает у Баратынского, — что делал он нередко, — эту тему вызова и бунта и, разви-

вая ее, окончательно предуготовляет пути дерзновенным героям Достоевского.

Есть упоение в бою
И бездны *мрачной* на краю,
И в разъяренном океане,
Средь *грозных* волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья . . .

(Курсив мой. — Г. М.)

Когда на следующий день по осуществлении своего страшного опыта, Раскольников, возвращаясь домой от Разумихина, останавливается на Николаевском мосту, смотрит вдаль по Неве и видит, сто раз до того и с того же места им виденную панораму — небо без единого облачка, почти голубую при солнце воду Невы, собор, сияющий сквозь чистый воздух — он вспоминает одно свое прежнее впечатление, всегда казавшееся ему неясным и неразрешимым. «Духом глухим и немым полна была для него эта картина». Но теперь «в какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему все это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и все, все... Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в глазах его».

Не однородное ли с Раскольниковым чувство *самовластного полета* испытали Баратынский и Пушкин, когда создавали один — свою «Бурю», овеянную черными крылами гордыни, другой — свой гимн в честь чумы, — небывалый вызов Небу? Ведь образ Раскольникова — не только прямое, органически вырастающее продолжение Германа из «Пиковой дамы», он еще глубже, еще интимнее связан с лирикой Пушкина и *особенно* Баратынского. Это неизменно чувствуется, а временами явно выходит наружу при внимательном чтении

«Преступления и наказания». Так, после разговора — поединка с Заметовым в «Хрустальном дворце» — в трактире, после вызывающей игры с собственной гибелью и добровольного стояния «бездны мрачной на краю», Раскольников «вышел, весь дрожа от какого-то *дикого* ощущения, в котором, между тем, была часть *нестерпимого наслаждения*, впрочем, мрачный, ужасно усталый». (Подчеркнуто везде мною. — Г. М.).

К творчеству Достоевского всецело применимы слова, справедливо сказанные Гоголем о поэзии Пушкина: «Не вошла в его поэзию растрепанная действительность. А, между тем, все там история его самого».

Растрепанная действительность, не преображенная искусством натура, несомненно, чужда любому истинному художнику, но кроме Пушкина и, конечно, Баратынского, именно о Достоевском следовало бы сказать, что все его творения и особенно «Преступление и наказание» — история его самого, духовно, *не душевно*, претворенная и заново миру показанная.

Хождение по мукам

Совершая злое дело, человек оскорбляет мать землю, нас всех породившую. Оттого-то, прежде чем каяться в преступлении перед людьми, прежде чем пойти и, хотя бы нераскаянно донести на себя официальным властям, надо преступнику просить прощение у нашей общей родительницы. Когда Раскольников признается Соне в убийстве и спрашивает «с безобразно искаженным от отчаяния лицом»: «Ну, что же теперь делать?», то она, обычно тихая, приниженная, вскакивает в ответ с места и, вдруг сверкнув глазами, призывает его, как власть имущая, встать на перекрестке, поклониться, поцеловать землю, которую он осквернил, и потом уже покаяться перед всеми. Да, Соня отвечает Раскольникову как власть имущая, опираясь на внутреннее священное право, ей данное. Злодеянием мы уродуем лицо земли, мы искажаем страданьем и ужасом ее Богом сотворенный лик. Такое искажение в первую очередь отражается на женщинах, нас окружающих. Они, как начало живородящее, крепче и непосредственнее нас связаны тайными нитями с матерью землей, они по замыслу Творца являют собою ее одухотворенное и, следовательно, увековеченное продолжение. Убивая своего ближнего, человек, вольно или невольно, надругивается этим над собственной матерью, сестрою, женою и дочерью и возлагает на их слабые плечи бремя своего смертного греха. Пролив кровь, к тому же еще женскую кровь, Раскольников роковым образом попадает в заклятый круг, он оказывается окруженным падшими женщинами, его обволакивает, как липкой паутиной, злая сущность проституции. Он злодеянием лишний раз помог ее проявлению в жизни. И зато перед ним, разбойно порвавшим круговую поруку любви и чести, предстает неумолимо в своих несчаст-

ных отражениях изуродованный лик матери земли. Один из этих мученических отражений — Соня Мармеладова. Она пала жертвенно, но все же пала, и в ее падении больше всех виноваты люди, подобные Раскольникову, рассылавшему, лежа в гробной каморке, злые флюиды по лицу земли. Еще и еще раз повторяю: мир для Достоевского не только трехмерен, но и трехпланен, и в силу того, что все три плана находятся между собою в непрестанном общении, они вполне реально раскрывают свои тайны создателю «Преступления и наказания». В вещих снах, в припадках эпилепсии, в стоянии у смертного столба, на каторжных нарах в бессоные ночи, в саване, надетом на него и Богом и людьми, познавал Достоевский мистическое тело вселенной. О смерти он говорил мало и вскользь, потому что она для него самого ничего не меняла. Да и что могла она поведать ему действительно вполне нового, ему, навсегда запомнившему ее, казалось бы, неминуемую угрозу? После незабываемого страшного опыта, он мог бы сказать нам о себе словами апостола Павла: «Я каждый день умираю». Не боясь преувеличения, следует спросить: не был ли Достоевский еще при жизни восхищен однажды своим гением до третьего неба? Во всяком случае, наш земной мир стал для него, как художника, прозрачной средой. В ней отразились, общаясь между собой, но не смешиваясь, три плана вселенной, и тогда за любым жизненным явлением обнаружилась его сущность, его первопричина. Жизнь шла и развивалась своим чередом, а с нею рядом и от нее неотрывно двигалась сфера ее истинных сущностей, подлинных реальностей зла и добра. Предаваться призрачным грезам не было смысла, когда и без того все обреталось рядом, тут же, и какая-нибудь сношенная ветошь могла в любое мгновение заговорить на вселенском языке, а сам замухрышка Голядкин мог поведать своим жалким беспомощным видом причину причин первого и второго Пришествий. Все несет в себе свою подлинную реальность, все, кроме романтических выкрутас и гуманистических выдумок. Вовсе не надо умереть, чтобы испытать на себе и рай, и ад, и чистилище. Тем более, что здешняя жизнь есть средоточие двух

сфер — бесовской и ангельской, преддверие, ведущее в чистилище.

В силу греха, опутавшего людей, жизнь здесь, на земле, может ежесекундно превратиться для любого из нас в хождение по мукам. Что же сказать о Раскольникове, сознательно предавшемся духовному бунту, кровавому злу ради зла? Стоило ему пролить кровь, и тотчас же начались для него мытарства. В первую же ночь после убийства, он очнулся в третьем часу у себя на диване, «еще остолбенелый от недавнего забытья». Было уже светло по-дневному. «Он вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана». Тут повторилось то, что уже случилось с ним, когда он еще только готовился к пролитию крови. И тогда «как будто кто-то его сорвал с дивана». Теперь же обнаруживалось, что этот «кто-то» попрежнему крепко держал Раскольникова в повиновении и своевольно заведывал его движениями и поступками. Бредовая одержимость продолжалась. С ужасом он вспомнил вчерашнее. «В первое мгновение он думал, что с ума сойдет. Страшный холод охватил его». К этому автор спешит добавить: «но холод был и от лихорадки, которая уже давно началась с ним во сне». У Достоевского метафизике неизменно сопутствует физика, земные явления для него лишь отражение всего совершающегося в духе. Внутреннему соответствует внешнее. Беспредельно углубляя то, что все мы зовем действительностью, он обнажает подспудные течения, основы бытия, предоставляя читателю, реалистически настроенному, оставаться на поверхности.

Не жар охватил Раскольникова, но страшный холод. Тела́ им убитых существ успели остыть к тому времени, и ледяное дыхание смерти доходило теперь до убийцы. Однако, надо было жить, укрываться, прятать награбленные вещи и деньги, осматривать на себе платье — не осталось ли где кровавых следов, стирать кровавые пятна, продолжая тем самым как бы уничтожать и без того уже уничтоженных. Каждое кровавое пятно было священной памятью об убитых. Но убийца отвергает священное, не хочет памяти и, стирая кровь своих жертв, лишний раз кощунственно поку-

шается на их бессмертие. А бессильным попыткам преступника, обреченного символически множить убийства, радуется ад всесмешливый. Убийца физически убивает своих ближних, ад духовно убивает убийцу. Это ли не торжество всеуничтожающей смерти! И как жить тому, кто ее добровольно и сознательно умножает. Преступивший запретную черту, обрывает тайные нити, соединяющие его с людьми, и погружается в гробное одиночество. Но жизнь по-прежнему продолжается и втягивает в свой круговорот живого мертвеца, крутя его, как водный поток бесчувственную щепку. Замкнувшемуся в себе убийце, если и дано что-либо чувствовать, то только собственную опустошенность.

Едва успел Раскольников оторвать от панталон окровавленную бахрому и пропитавшийся кровью карман, как луч взошедшего солнца осветил его прорванный сапог: «на носке, который выглядывал из сапога, как будто показались знаки. Он сбросил сапог: — «действительно, знаки! весь кончик носка пропитан кровью»... Он хотел пойти куда-нибудь и все выбросить, но, вместо того, сел на диван, голова его склонилась на подушку и он снова забылся. «Окончательно разбудил его сильный стук в дверь».

То была Настасья с дворником, принесшим повестку — вызов в полицейскую контору, не имевший никакого отношения к *вчерашнему*, и, как выяснилось уже в участке, касавшийся мелкого дела о неуплате за квартиру. Нужно же было полицейской повестке дойти до Раскольникова как раз теперь! Хождение по краю пропасти начиналось.

Настасья ушла вслед за дворником. «Тотчас же бросился он к свету осматривать носок и бахрому: — «Пятна есть, но не совсем приметно; всё загрязнилось, затерлось и уже выцвело... Настасья, стало быть, ничего издали не могла приметить, слава Богу!»

Он пошел в контору квартального надзирателя. «На улице опять жара стояла невыносимая». Эта жара странным образом соответствовала холоду, оледенившему душу и тело Раскольникова. Но не все ли равно, чем опаляет нас ад — холодом или зноем!

Полицейская контора была совсем недалеко и помещалась в четвертом этаже. «Войду, стану на колена и всё расскажу...» — подумал он, входя в четвертый этаж».

Ужасающая тяжесть давила, душила Раскольникова: непричастное греху, светоносное ядро его души отталкивало от себя злодеяние. А чистилище, принявшее облик унылой будничной повседневности, уже втягивало преступника в свое серое нутро. С какой правдивой беспощадностью описывает Достоевский это здешнее и, одновременно, нездешнее нутро — чистилищную утробу, приступающую к перевариванию человека, потерявшего первородную свободу, когда-то Богом ему данную. Чёрт, действительно, не соврал, говоря Ивану Карамазову: «Все, что есть у вас, есть и у *нас!*» Это легче всего ощутить, вглядываясь в будничное, в повседневное, в обыденное. Поэтому-то и говорит Случевский — ученик и прямой последователь Достоевского:

«...для обителей загробных
Не нужно вовсе сфер иных,
Таких, которым нет подобных
В подлунной, на путях земных».

«Лестница была узенькая, крутая и вся в помоях», — повествует Достоевский. «Все кухни всех квартир во всех четырех этажах отворялись на эту лестницу и стояли так почти целый день... Вверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками подмышкой, хожалые и разный люд обоего пола — посетители. Дверь в самую контору была тоже настежь отворена. Он вошел и остановился в прихожей. Тут все стояли и ждали какие-то мужики. Здесь тоже духота была чрезвычайная, и, кроме того, до тошноты било в нос свежею, еще не выстоявшеюся краской на тухлой олифе вновь покрашенных комнат. Переждав немного, он рассудил подвинуться еще вперед, в следующую комнату. Все крошечные и низенькие были комнаты. Страшное нетерпение тянуло его все дальше и дальше. Никто не замечал его. Во второй комнате сидели и писали какие-то писцы, одетые разве немного его получше, на вид все странный какой-то народ».

Не отрывок ли это из какой-нибудь легенды о мытарствах? Но нет, все это совершенно самостоятельно возникло в творческой душе самого Достоевского: и до ужаса всему и всем чуждые какие-то мужики, и странные писцы, и крошечные, низенькие комнаты, и духота чрезвычайная, тошнотная. Все здесь, как будто, знакомое, привычное. Но, Боже мой, откуда же такая тоска, такая бесовская скука? И до чего все равнодушны, безразличны друг к другу! Вот, хотя, бы, странный писец, к которому обратился Раскольников.

«— Чего тебе?

Он показал повестку из конторы.

— Вы студент? — спросил тот, взглянув на повестку.

— Да, бывший студент.

Писец оглядел его, впрочем, без всякого любопытства. Это был какой-то особенно взъерошенный человек с неподвижною идеей во взгляде.

«От этого ничего не узнаешь, потому что ему все равно». подумал Раскольников.

— Ступайте туда, к письмоводителю, — сказал писец и ткнул вперед пальцем, показывая на самую последнюю комнату».

С этого момента решительно усиливаются раздвоения, расщепления души Раскольникова, осуществляющиеся вовне в его встречах с людьми, совершенно реально живущими, вполне земными и, в то же время, являющими собою некие его эманации, отражения. По Достоевскому, мы встречаемся в жизни именно потому, что должны отражать друг друга. Каждая встреча человека с человеком обличает обоих и делает дотоле в них невидимое как бы видимым.

Самая последняя комната оказалась конторой квартального надзирателя, «битком набитая публикой».

«Между посетителями были две дамы. Одна в трауре, бедно одетая, сидела за столом против письмоводителя и что-то писала под его диктовку. Другая же дама, очень полная и багрово-красная, с пятнами, видная женщина, и что-то уж очень пышно одетая, с брошкой на груди величиной с чайное блюдечко, стояла в сторонке и чего-то ждала».

Вот отражение на жизненной поверхности того, что вершилось и уже свершилось в душевных недрах Раскольникова. И неспроста Достоевский так старательно выдвинул из публики, битком набившей комнату, даму в трауре и даму пышно одетую. Он никогда никаких бытовых картинок не зарисовывает и, когда появляется в его романе-трагедии, романе-мистерии новое лицо, хотя бы самое, как говорится, эпизодическое, оно *духовно-органически* вырастает из всего предшествующего в повествовании. Пусть это лицо через минуту исчезнет, чтобы никогда больше не появляться и никакой роли не играть. Все равно, оно уже сделало свое дело — вошло органической частицей в целое и отразило собой нечто чрезвычайно важное в главном персонаже, в разновидности взорванного грехом Адама.

Безыменная дама в трауре,пишущая под диктовку письмоводителя, существует сама по себе и вполне по-земному, но по отношению к Раскольникову она — отражение его несчастной совести, облекшейся в траур по убийце. И вот теперь, покончив с диктовкой, эта черная дама безмолвно уходит с тем, чтобы снова вернуться к преступнику в облике покушающейся на самоубийство Афросиньюшки, а потом под видом мещанина, похожего на бабу. Всё это клочки, обрывки, разорванные частицы совести тяжко согрешившего Раскольникова. Но кто-то должен был вселиться в него теперь взамен как бы покинувшей его совести. Перед Раскольниковым стояла пышно разодетая дама весьма сомнительного свойства. Письмоводитель мельком обратился к ней:

— «Луиза Ивановна, вы бы сели...

— Ich danke, сказала та и тихо, с шелковым шумом, опустилась на стул. Светло-голубое с белой кружевною отделкой платье ее, точно воздушный шар, распространилось вокруг стула и заняло чуть не полкомнаты. Понесло духами. Но дама очевидно робела того, что занимает полкомнаты, и что от нее так и несет духами, хотя и улыбалась трусливо и нахально вместе, но с явным беспокойством».

Казалось бы, что же может быть ощутимее такого образа. Но нет, это не образ, а лишь сущность его, и касаться

его бесполезно — рука скользнет по воздуху. Перед нами не призрак, а совершенно явная содержательница публичного дома. И все же, несмотря на свою полноту и багрово красные пятна, эта видная женщина подобна видению. Она бесплотна, как запах ее духов, как распространившееся на полкомнаты, точно воздушный шар, ее светло-голубое, с белыми кружевами платье — фальсификация небесных благоуханий и красоты. Будто вот-вот Луиза Ивановна растворится, испарится в воздухе вслед за своими духами. Она боится разноса за скандал, происшедший у нее в заведении прошлой ночью, но готова, при удобном случае, проявить и нахальство. Совсем, как Раскольников, до дрожи испугавшийся вызова в полицию и ободрившийся после того, как письмоводитель, взглянув на повестку, вежливо попросил его подождать. Теперь и Раскольников способен, при надобности, на наглый ответ и отпор. Но когда бы мог он почувствовать на мгновение темную сущность собственных эманаций, злых флюидов, от него исходящих, он тотчас постиг бы свою роковую неразрывную мистическую связь с подлейшей Луизой Ивановной. И напрасно было бы искать грань, отделяющую изуродованную, извратившуюся душу убийцы от ее символа, от ее инобытия — от хозяйки притона, деятельно поощряющей проституцию и тем попирающей мать землю! Прежде чем окружили Раскольникова несчастные отражения оскорбленной им матери земли, он встречается в полицейской конторе с существом, потворствующим духовной смерти и метафизически неразличимым от его преступной души. Но если бы постиг Раскольников свое безотрадное злодуховное сходство с Луизой Ивановной, разве захотел бы он тогда уничтожиться, не жить? О, жажда существования в человеке безмерно сильна, и слава за то Отцу Небесному! Позднее, идя по улице, Раскольников встретил группу проституток, и одна из них, по имени Дуклида, законфузившись, попросила у него шесть копеек на выпивку. Он «вынул, сколько вынулось: три пятака...

— Нет, уж это что́ же, — вдруг заметила одна из группы, качая головой на Дуклиду. — Это уж я и не знаю, как

это так просить! Я бы, кажется, от одной только совести провалилась...

Раскольников любопытно поглядел на говорившую. Это была рябая девка, лет тридцати, вся в синяках, с припухшею верхнею губой. Говорила и осуждала она спокойно и серьезно.

«Где это», подумал Раскольников, идя далее, «где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две ноги можно было поставить, — а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная буря, — и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, — то лучше так жить, чем сейчас умирать! только бы жить, жить и жить! Как бы ни жить, — только жить!.. Экая правда! Господи, какая правда! Подлец человек!.. И подлец тот, кто его за это подлецом называет», — прибавил он через минуту».

Дуклида, попросив шесть копеек, сконфузилась, а рябая девка попрекнула ее, сославшись на совесть. Да, человеческое достоинство обретается в нас глубже наших пороков. Это оно вселяет в нас неистребимое желание жить. Отстаивая наше достоинство, мы обнаруживаем в себе образ и подобие Бога и тем оправдываем жизнь, а она дает нам возможность спастись. Да здравствует жизнь! Чем ниже пал человек, тем упорнее надо ему цепляться за жизнь, хотя бы для того, да и главным образом для того, чтобы успеть искупить свое смертное прегрешение. А вечность придет сама собою, она уже здесь, с нами, ее можно почувствовать, как Раскольников, на аршине пространства.

Раскольников, стоя в полицейской конторе лицом к лицу с налетевшим на него беспричинно Ильей Петровичем, помощником квартального надзирателя, забывает на мгновение о своем преступлении и отвечает на дерзость дерзостью, как имеющий на то нравственное основание. Прав ли он, поступая так? В конечном итоге, да.

Преступления человека не могут затронуть его духов-

ной сердцевины, они остаются на периферии души, паразитарно ее разъедая. Но даже самый страшный злодей отстаивает в себе подобие Божье. Это значит, что он еще не окончательно добыча ада. Он лишь предан мытарствам, неотличимым для него от адских состояний. Только что дерзко возражавший Илье Петровичу Раскольников тут же утратит чувство нерушимо пребывающей в нем божественной искры и отпадет от людей и мира в свое ужасающее одиночество. «...Ему вдруг стало самому решительно всё равно до чьего бы то ни было мнения, и перемена эта произошла как-то в один миг, в одну минуту... теперь, если бы вдруг комната наполнилась не квартальными, а первейшими друзьями его, то и тогда, кажется, не нашлось бы для них у него ни одного человеческого слова, до того вдруг опустело его сердце».

Такая опустошенность для сердца непереносима. Преступнику не до угрызений совести, когда надо хоть как-нибудь зацепиться за жизнь, чтобы спастись от духовной смерти, от исчезновения в безыменной пропасти. «Странная мысль пришла ему вдруг: встать сейчас, подойти к Никодиму Фомичу и рассказать ему всё вчерашнее, всё до последней подробности... Позыв был до того силен, что он уже встал с места, для исполнения. — «Не обдумать ли хоть на минуту?» — пронеслось в его голове. — «Нет, лучше не думая, и с плеч долой!».

Тут дело уже не в морали, не в думах и расчетах, не в рассуждении о гибельности зла и спасительности добра, а просто-напросто в неутолимой, в священной жажде существовать, дарованной нам Творцом. Бытие, во всей своей первородной простоте, торжествует в нас, а это и есть главное, насущное, — остальное приложится или, говоря осмотрительнее, может приложиться. Эта первожизненная благословенная простота — жажда быть — совпадает в нас с образом и подобием Бога.

Поправ в себе божественный лик, не легко вернуться к существованию. У бытия своя последовательность, свои законы, несовместимые с желаньями убийцы. Раскольников

встал с места, чтобы подойти к Никодиму Фомичу и во всем сознаться. «Но вдруг он остановился как вкопанный: Никодим Фомич говорил с жаром Илье Петровичу, и до него долетели слова». Это были роковые для Раскольникова слова: речь шла об убийстве ростовщицы. Где же и было завязаться такому разговору, если не в полицейском участке на следующий день после обнаружения преступления! Но почему случилось это именно при Раскольникове и как раз в то самое мгновение, когда он и рот раскрыл, чтобы сложить с себя непосильное бремя злодейства?

— «...Дело ясное, дело ясное! — горячо повторил Никодим Фомич.

— Нет, дело очень неясное, — скрепил Илья Петрович.

Раскольников поднял свою шляпу и пошел к дверям. Но до дверей он не дошел...». Он упал без чувств. Жизнь оттолкнула его порыв. Из услышанного разговора глянула на преступника неумолимая явность им совершенного зла. Она придавила его и принудила к молчанию до срока.

«Когда он очнулся, то увидал, что сидит на стуле, что его поддерживает справа какой-то человек, что слева стоит другой человек, с желтым стаканом, наполненным желтой водой, и что Никодим Фомич стоит перед ним и пристально глядит на него».

Кому, как не полицейским чинам, полагается всех в чем-нибудь да подозревать. Все же и они недостаточно внимательны к окружающему. Конечно, приключившийся обморок не мог не возбудить подозрений, но крайне болезненный вид, но звание студента, но независимость, проявленная Раскольниковым в споре с Ильей Петровичем, все это сбивало с толку, и задержать преступника никто не догадался. Выйдя на улицу, Раскольников совсем очнулся.

«Обыск, обыск, сейчас обыск!» — повторял он про себя... — «разбойники! подозревают!». Он добежал до своей комнатушки и стал набивать карманы награбленными драгоценностями — коробками с серьгами, сафьяновыми футлярами. «Кошелек тоже взял заодно с вещами. Затем вышел из комнаты, на этот раз даже оставив ее совсем настежь».

Он сам не знал, куда теперь идти. Нелепость совершенного зла он почувствовал еще в ту минуту, когда сидел на корточках у сундука только что им убитой старухи. Ведь даже уголовный преступник, ни о каких злых или добрых идеях не помышляющий, не может не чувствовать безобразной нелепости им учиненного кровавого зла. Поэтому и спешит он отделаться от награбленных вещей и денег, разбросать, прокутить их, как можно скорей. Приобретенные честным трудом или полученные по наследству от родных вещи срастаются с человеком, становятся его органическим продолжением, освящаются пенатами, хранителями родового достояния. Присваивать себе чужое имущество даже не кровавым, а всего лишь воровским путем, уже значит покушаться на жизнь своего ближнего, на ее стройность и цельность. Награбленное, украденное никак не срастается с вором, отказываясь стать органической частицей его существования. Отсюда нелепость, гнетущее безобразие убийства и воровства.

Стремясь как-нибудь отделаться от пропитавшегося кровью кошелька и сафьяновых футляров, Раскольников попал в положение гоголевского цирюльника, Ивана Яковлевича, тщетно пытавшегося незаметно обронить на улице подброшенный ему чертом человеческий нос, еще за день до того безмятежно красовавшийся на лице майора Ковалева. Но что кажется по первому впечатлению смешным у Гоголя, превращается у Достоевского в страшное, трагическое. То, над чем Гоголь смеялся, Достоевский оплакивал, и неспроста в «Дневнике писателя» назвал он демоном автора «Носа» и «Мертвых душ». Борясь с «таинственным карлой» на протяжении всего своего творческого пути, Достоевский как бы не видел, не хотел видеть, что ничуть не меньше его самого знает Гоголь, к какому ужасу ведет всеобъемлющий смех. Что ад смешлив, познал Гоголь на собственном опыте задолго до Достоевского. Но он все надеялся человеческим смехом заворожить бесовский хохот.

Раскольников боялся погони и потому искал — «поскорее всё выбросить». Но выбросить оказалось очень трудно.

«Он бродил по набережной Екатерининского канала уже с полчаса, а может и более... Но и подумать нельзя было исполнить намерение: или плоты стояли у самых сходов и на них прачки мыли белье, или лодки были причалены, и везде люди так и кишат...». Неизвестно, какой выход из положения нашел бы Раскольников, не приди ему на помощь то, что принято называть услужливым случаем. Этот случай и тут любезно подвернулся сам собой, совсем как топор в дворницкой. Идя по улице, Раскольников «вдруг увидел налево вход во двор, обставленный совершенно глухими стенами». Там заметил он большой неотесанный камень. Приподняв его, он побросал в образовавшееся углубление все вещи, затем снова схватился за камень и навалил его на прежнее место. «Он подгреб земли и придавил по краям ногою. Ничего не было заметно... «Все кончено! нет улик!» и он засмеялся. Да, он помнил потом, что он засмеялся нервным, мелким, неслышным, долгим смехом, и всё смеялся, всё время, как проходил через площадь». Так от одержимости нередко смеются герои Достоевского.

Раскольников перестал смеяться, как только «ступил на К-ский бульвар, где третьего дня повстречался с тою девочкой...». Но почему его смех прекратился вдруг? Не оттого ли, что как раз на этом месте проявилось в нем доброе чувство, когда давал он городовому двадцать копеек на извозчика, чтобы увезти девочку домой и тем спасти ее от предприимчивого франта? Да, конечно. Но еще и потому, что сам он тогда насмеялся над собственным добрым намерением и этим бесповоротно предопределил дальнейшую целеустремленность событий. Внутренний, никогда не погасающий в человеке свет вел его к Разумихину помимо рассудка. Но вполне сознательно не захотел он расслышать зова собственной погибающей души. В тот день Раскольников понял, что к Размухину-то он пойдет, «но только после *того*». Зато не дошло, да и не могло дойти до его сознания, что тем самым совершенно неизбежно предрешалась его встреча с Свидригайловым. Но вот теперь, когда *то* уже состоялось, «показалось ему вдруг тоже, что ужасно ему те-

перь отвратительно проходить мимо той скамейки, на которой он тогда, по уходе девочки, сидел и раздумывал, и ужасно тоже будет тяжело встретить опять того усача, которому он тогда дал двугривенный... «А чёрт возьми это все!». Тут Раскольников вспомнил вдруг, что, ведь, не только дерзко отвечал он сегодня «сквернейшему» Илье Петровичу, но еще и «мерзко лебезил» перед ним. (Ну, совсем как Луиза Ивановна!). Однако мучительные воспоминания о проявленной им подлости в разговоре с квартальным поручиком, о встрече с девочкой и усачем-городовым на К-ском бульваре были «совсем не то! совсем не то!..». Главным и единственным для него «пунктом» оказывалось другое. «Вдруг он остановился; новый, совершенно неожиданный и чрезвычайно простой вопрос разом сбил его с толку и горько его изумил...». Его сознание внезепно поразила чудовищная абсурдность, бесцельность, ирреальность им содеянного зла. Ведь если сейчас хотел он бросить в воду кошелек, даже не заглянув в него, а вместе с ним и вещи, которых он также порядком не рассмотрел, то для чего же было сознательно идти «на такое подлое, гадкое, низкое дело?» Всего же ужаснее было ясно понимать теперь, что все это он и раньше уже знал и чуть ли не «в ту самую минуту, когда он над сундуком сидел и футляры из него таскал... А ведь так!..».

Какую здесь страшную противоречивую сложность человеческой души обнаруживает Достоевский! Выходит, что преступник в часы преступления, а, может быть, и раньше, *уже* знает, как оно бесцельно, нелепо, несостоятельно, и, зная это, совершает его. Кто же, в таком случае, заведует преступностью человека, кто наводит, толкает его на злодеяние? Для Достоевского, прошедшего через каторжный опыт и гражданскую смерть — символ смерти физической — ответ на этот вопрос был прост и ясен: дьявол. Да, ответ-то, конечно, прост, и для чрезмерно разумных и ученых, пожалуй, еще и простоват, но не просто проходить через испытания, ведущие к такому решению многосложной задачи. Достоевский, как истинный гений, в своих выводах

рудиментарен, и именно поэтому он никогда не бывает элементарен, подобно гуманистически настроенному прогрессисту. Когда Достоевский мыслил, то касался существования не слегка, как большинство людей, но внедрялся в него бесстрашно, всем своим чувствилищем и каждым помыслом погружался в его гущу. Ничего кроме основных, неразложимых и с первых дней творения непоколебимых реальностей из жизненной гущи не вынесешь, но миров иных доподлинно коснешься, и Достоевский коснулся их, будучи рудиментарен, как Данте.

*

Раскольников «шел не останавливаясь... Одно новое, непреодолимое ощущение овладевало им всё более и более почти с каждой минутой; это было какое-то бесконечное, почти физическое, отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему гадки были все встречные, — гадки были их лица, походка, движения. Просто наплевал бы на кого-нибудь, укусил бы, кажется, если бы кто-нибудь с ним заговорил...».

В далекие от нас «наивные» евангельские времена такое состояние человеческой души называлось одержимостью бесом. Язычники повели бы человека, охваченного нечистой силой, к колдунам, апостолы изгоняли из него бесов именем Христа, но в наши просвещенные дни многоученый представитель цивилизованного мира — доктор Зосимов будет пользовать Раскольникова порошками, веруя в химию пуще, чем темный мужик в Царя Небесного. Но нет никакого сомнения в том, что автор «Преступления и наказания», подобно мужику, возложил бы — да и возлагал! — все свои упования на Христа и Его апостолов. И, прийди к Достоевскому за советом Раскольников, он направил бы его к священнику на исповедь, а потом, следуя примеру Сони Мармеладовой, уговорил бы его сознаться во всем перед Никодимом Фомичем и Ильей Петровичем.

Одержимость, казалось, поглотила Раскольникова. Но

вот «он остановился вдруг, когда вышел на набережную Малой Невы, на Васильевском острове, подле моста. «Вот тут он живет, в этом доме», подумал он. «Что это, да никак я к Разумихину сам пришел! Опять та же история как тогда... А очень однако же любопытно: сам я пришел, или просто шел, да сюда зашел? Всё равно; сказал я... третьего дня... что к нему после *того* на другой день пойду, ну что ж, и пойду! Будто уж я и не могу теперь зайти...».

Кто и зачем привел Раскольникова к Разумихину? Прежде всего, конечно, его собственное внутреннее «я», знающее то, чего не ведает рассудок. Свет внутренний, глубокий, не померкает в нас, хотя, тяжко согрешая, мы и покушаемся на него. Неугасимый, неодолимый свет спасает нас от самих себя. Он-то и вел преступника к Разумихину — и не с практической целью, а за духовной опорой, в которой Раскольников так теперь нуждался, потому что никого нет в мире беспомощней убийцы.

Светоносное сердце даровано нам Творцом, оно — Бог — внутри нас, оно невообразимо вне Божества. Признать в каждом из нас реальность внутреннего «я», значит установить связь человека с Небом.

Вопрос, заданный себе Раскольниковым, поставлен им неверно, что сделано Достоевским вполне намеренно. «А очень однако же любопытно: сам я пришел или просто шел, да сюда зашел?». Но если бы он просто, иначе говоря, *случайно* зашел сюда, то, ведь, получилось бы это далеко не просто и совсем даже в громадном городе невероятно, немыслимо. Раскольников, несомненно, больше приблизился бы к истине, задав себе вопрос по другому: «сам ли я зашел сюда или привела меня к этому дому неведомая сила?». Но и так не все выходит ясно и точно. Что это за неведомая сила и как могла она привести Раскольникова куда-либо помимо участия его подспудной воли? Нет, к иному подводит нас Достевский, умышленно не договаривая самого важного. Внутреннее «я» Раскольникова направило его к Разумихину, а это «я» в человеке неотъемлемо, неотделимо от Божества. Оно в полном взаимодействии с не-

бесной волей осуществит сейчас встречу Раскольникова с тем, кому суждено стать проводником ангельских сил, пытающихся спасти погибающую душу убийцы.

Раскольников поднялся на пятый этаж к Разумихину. Когда он вошел в комнату и повалился на диван, Разумихин разглядел, что гость его болен. «Он стал щупать его пульс; Раскольников вырвал руку.

— Не надо, — сказал он, — я пришел... вот что́: у меня уроков никаких... я хотел было... впрочем мне совсем не надо уроков...

...Раскольников встал с дивана. Подымаясь к Разумихину, он не подумал о том, что с ним, стало быть, лицом к лицу сойтись должен. Теперь же, в одно мгновение, догадался он, уже на опыте, что всего менее расположен, в эту минуту, сходиться лицом к лицу с кем бы то ни было в целом свете. Вся желчь поднялась в нем. Он чуть не захлебнулся от злобы на себя самого, только что переступил порог Разумихина.

— Прощай, — сказал он вдруг, и пошел к двери».

Глубочайшая жизненность утверждения Достоевского, что душа человека — арена борьбы Бога и диавола, показана нам здесь с совершенною наглядностью.

Светоносное ядро всего существа Раскольникова влечет его к Разумихину. Но гробный кокон греха, наглухо сковавший душу убийцы, отъединил ее от всего живущего. Навязанное совести, сознательно оправданное и осуществленное злодеяние вселило в Раскольникова ненависть к живому человеческому лицу. Такое состояние и есть явный признак одержимости. Тот, кто *сознательно* оправдывает собственное зло, входит в общение с подлинным и абсолютным человеконенавистником и становится *как бы* подобным ему. Оправдание зла порождает отвращение не только к людям, но и ко всему реальному. Существо действительно злое не хочет истинного бытия, но призрачно живет фантасмагориями. Любящий людей стремится к ним, чтобы творить из них своих ближних, любовь же «вообще» к человечеству, любовь к дальним — обман и самообман, наигоршее зло.

Душевное состояние сознательного «идейного» убийцы ужасно именно потому, что в отличие от уголовных преступников, он сам сознает его и видит. Никогда не померкающий свет хочет выйти из заключения, разогнать надвинувшийся мрак, но черный покров греха тверд и непроницаем, как плотно пригнанная гробовая крышка. Состояние одержимости раздирательно. И все творения Достоевского это — мучительная повесть о человеческой совести, истерзанной, попираемой грехами и преступлениями самого же человека. «Идейный» преступник неизменно предан морали, а она сама по себе зла, потому что мертва, безлюбовна и любви не нужна. Раскольников настроен моралистически, и от всех его теорий и рассуждений до законченного моралиста Петра Верховенского — рукою подать. Однако его душа еще колеблется, и неведомо, куда она двинется бесповоротно — к Верховенскому или прочь от него.

Раскольников не вынес вблизи лица простого, честного, великодушного Разумихина. Он взял предложенные ему для перевода «немецкие листки статьи, взял три рубля и, не сказав ни слова, вышел. Разумихин с удивлением поглядел ему вслед. Но дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листы и три рубля, опять-таки ни слова не говоря, пошел вон.

— ...Не надо... переводов... — пробормотал Раскольников, уже спускаясь с лестницы.

— Так какого же тебе чёрта надо? — закричал сверху Разумихин. Тот молча продолжал спускаться.

— Эй, ты! где ты живешь?

Ответа не последовало.

— Ну так чёр-р-рт с тобой!..».

Не знал добрейший Разумихин, насколько верно, хотя и с запозданием, попадало в цель его досадливое пожелание!

Раскольникову пришлось вполне очнуться на Николаевском мосту: «Его плотно хлестнул кнутом по спине кучер одной коляски за то, что он чуть-чуть не попал под

лошадей, несмотря на то, что кучер раза три или четыре ему кричал. Удар кнута так разозлил его, что он, отскочив к перилам (неизвестно почему он шел по самой середине моста, где ездят, а не ходят), злобно заскрежетал и защелкал зубами. Кругом, разумеется, раздавался смех».

Случайно ли кучер хлестнул Раскольникова кнутом? По Достоевскому, ничего в жизни случайного не бывает, и он тотчас же это показывает:

«Но в ту минуту, как он (Раскольников. — Г. М.) стоял у перил и всё еще бессмысленно и злобно смотрел вслед удалявшейся коляске, потирая спину, вдруг он почувствовал, что кто-то сует ему в руки деньги. Он посмотрел: пожилая купчиха, в головке и козловых башмаках, и с нею девушка, в шляпке и с зеленым зонтиком, вероятно, дочь. «Прими, батюшка, ради Христа». Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, а подаче целого двугривенного он, наверное, обязан был удару кнута, который их разжалобил».

Конечно, нет ничего особенного в том, что жалостливая купчиха, представительница русского простонародья, столь ценимого и любимого Достоевским, раскошелилась при таких горьких обстоятельствах на целый двугривенный. Пушкинский Ленский совсем по пустякам, как и подобает романтику, над жизнью «голову ломал, и чудеса подозревал». И надо как раз не быть Ленским, чтобы ощутить действительное присутствие в мире начала таинственного и чудесного. В творчестве Достоевского всему происходящему в плане явном, обыденном, неизменно сопутствует и соответствует невидимое, хотя сердцем ощутимое, дыхание тайны. Все просто и по-земному вполне объяснимо. Добрые чувства, неокончательно заглохшие в Раскольникове, побуждают его пожертвовать двадцать копеек на спасение девочки от развратника. Но зло крепко загнездилось в душе Раскольникова, и он сам тут же, цинично и злобно высмеяв свой добрый порыв, отрекается от него. А передаваемые из рук в руки эти жертвенные двадцать копеек пошли гулять

по свету и вот теперь, собравшись в единый двугривенный, снова достались тому, кто их пожертвовал, вернулись к нему под видом милостыни, поданной купчихой от лица святой Руси, во имя Христа. Повторяю еще и еще: для Достоевского все происходящее в жизни есть лишь отражение того, что успело свершиться в наших душевных глубинах. Раскольников убил, он внутренне перед собственной совестью — оком Бога Живого, уже арестант, каторжник. Оттого кнут проезжего кучера как бы случайно шельмует его, а сердобольная купчиха, сама того не ведая, подает двугривенный каторжнику, иными словами, «несчастненькому», по понятию русских простолюдинов. Подспудный, мистериальный ход бытия снова и снова оказывается мудрее наших позитивных рассуждений. Дальше же случилось то, чего я под несколько иным углом зрения коснулся в предыдущей главе: произошла решительная страшная смычка идейного убийцы с духом глухим и немым. Здесь, прежде чем разбираться во всем последовавшем тотчас после удара кнута и поданной милостыни, необходимо привести слова самого Достоевского, на этот раз не пропуская ничего.

«Он (Раскольников. — Г. М.) зажал двугривенный в руку, прошел шагов десять и оборотился лицом к Неве, по направлению дворца. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что́ на Неве так редко бывает. Купол собора, который ни с какой точки не обрисовывается лучше, как смотря на него отсюда, с моста, не доходя шагов двадцать до часовни, так и сиял, и сквозь чистый воздух можно было отчетливо разглядеть даже каждое его украшение. Боль от кнута утихла, и Раскольников забыл про удар; одна беспокойная и не совсем ясная мысль занимала его теперь исключительно. Он стоял и смотрел вдаль долго и пристально; это место было ему особенно знакомо. Когда он ходил в университет, то обыкновенно, — чаще всего возвращаясь домой, — случалось ему, может быть, раз сто останавливаться именно на этом же самом месте, пристально взглядываться в эту действительно великолепную панораму и каждый раз почти удивляться одному неясному и неразре-

шимому своему впечатлению. Необъяснимым холодом веяло на него всегда от этой великолепной панорамы; духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина... Дивился он каждый раз своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его, не доверяя себе, в будущее. Теперь вдруг резко вспомнил он и про эти прежние свои вопросы и недоумения, и показалось ему, что не нечаянно он вспомнил теперь про них. Уже одно то показалось ему дико и чудно, что он на том же самом месте остановился как прежде, как будто и действительно вообразил, что может о том же самом мыслить теперь, как и прежде, и такими же прежними темами и картинами интересоваться, какими интересовался... еще так недавно. Даже чуть не смешно ему стало, и в то же время сдавило грудь до боли. В какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама, и он сам, и всё, всё... *Казалось, он улетал куда-то вверх, и все исчезало в галзах его...*» (Выделено мною. — Г. М.).

Я привел этот отрывок не для того, чтобы разобраться полностью в его многосмысленности и многосложности. Для такого разбора понадобилось бы написать целую книгу. Замечу лишь, что все сказанное здесь Достоевским обретается в самом центре его творчества, возникшего из глубочайших духовных недр имперского великодержавного Петербурга, во многом жуткого города, затаившего в себе роковую, гибелью грозящую двойственность. Тревожную двойственность великого города первым из всех ощутил Пушкин в «Медном всаднике», и тревога поэта о грядущих судьбах России раз и навсегда передалась Достоевскому. Очень сложна и почти невыразима мистическая связь стоящего на мосту Раскольникова с героем «Медного всадника», Евгением, но эта связь ощутима неотступно, мучительно. Только у Пушкина действие развивается ночью, тотчас после наводнения, символически предвещающего в поэме неведомо откуда надвигающуюся всероссийскую катастрофу. Ночная угроза в пуш-

кинской поэме выходит в «Преступлении и наказании» наружу, на столь редкий для Петербурга солнечный свет. В «Медном всаднике» противопоставлены друг другу две силы, одна из них демоническая, разрушительная, другая — державно созидательная. Но, несмотря на противопоставленность, они в своем единоборстве еще не разделимы.

То, что казалось Раскольникову загадочным, Достоевским было разгадано. Не сразу, конечно. Невольно представляешь себе молодого юнкера Достоевского, гуляющего в праздники по улицам столицы. Ему также часто доводилось задерживаться на Н-ском мосту, на том самом месте, где позднее «раз сто» останавливался Раскольников. Постигал ли юный юнкер истинное значение встававшей перед ним «великолепной панорамы»? Бесспорно, нет. Ведь он еще только вынашивал в себе тогда своего героя и в какой-то мере, пусть всего лишь мечтательно, был подобен ему. Для молодого Достоевского, как для Раскольникова, «духом немым и глухим полна была для него эта пышная картина» и «*необъяснимым* холодом веяло» от нее. Но купол собора сиял в солнечном блеске и жил собственной сокровенной жизнью, никакому греху — ни тайному, ни явному — непричастный. Кто же победит — воссиявшая над Россией христианская церковь или дух немой и глухой, в наши дни заговоривший во всеуслышание? Казалось, неразъединимые в «Медном всаднике» силы расступились, разошлись, чтобы снова сойтись для последней всерешающей схватки. И не диво, что молодой Достоевский, как Раскольников, учуял в «пышной картине» одну ее демоничность: в те годы вселялся в него великий соблазн, приведший его к нечаевщине, к подпольным заговорщикам, к разливанному морю атеистических разглагольствований Белинского и лишь потом, милостью Божьей, к спасительному стоянию у смертного столба. Только после каторги и солдатчины, после благодатного погружения в народную российскую гущу исцелился Достоевский — победил в себе бесовский раскол. С помощью Неба, он *духовно* воссоздал, преобразил плотскую пуповину, соединявшую его при рождении с материнской

утробой. Эта одухотворенная, плотскими глазами невидимая, нерушимая нить соединила его с матерью землей, с русской землей и, наконец, с Российской Нацией — с отбором лучших в государстве людей. А под словом *Нация* надо разуметь не народное биологическое варево, попеременно шовинистическое и мятежное, но соборное Содружество избранных людей, творчески осуществляющих в жизни Богом ниспосланную мистическую идею.

Преображенную страданием одухотворенную нить, соединившую его с родиной и отечеством, а через них с миром и вселенной, Достоевский охранял до последнего своего вздоха. Он чувствовал и сознавал ее небесную ценность.

Жертвованные двадцать копеек вернулись к Раскольникову ввиде двупривенного, всунутого ему — «несчастненькому» — в руку ради Христа сердобольной купчихой: бытие из тайников своих протягивало убийце, под видом двугривенного, спасительную нить. Но уже чувствовал Раскольников, что «улетал куда-то вверх, и всё исчезло в глазах его...» То было черное обманное вознесение. Свое невольное движение принял Раскольников за полет и «вдруг ощутил в кулаке своем зажатый двугривенный». Эта маленькая серебряная монетка стала теперь намного тяжелее Раскольникова и мешала его злому вознесению. А сам он был уже взвешен на нездешних весах и найден очень легким. «Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем повернулся и пошел домой. *Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту*». (Выделено мною. — Г. М.).

Раскольников добровольно повернулся спиною к сияющему куполу собора и встал лицом к духу немому и глухому.

Вещи, предметы, нас окружающие, принято считать неодушевленными. Но я уже говорил, что в творчестве Достоевского они живут, пронизанные духовными и злодуховными токами, исходящими от людей и невидимых духов. Вещи суть символы: они отражают в своих инобытий-

ственных ликах наши внутренние светлые и темные стремления. Вещи неизменно обличают нас.

Когда Раскольников пристально глядел на монетку, он злостно прощался с людьми и миром, уходя в свой гробный кокон; он сам вполне сознательно обрезáл духовную нить, протянутую ему Богом и матерью землей. Бросая в воду двугривенный, он как бы топил самого себя. Иногда какой-нибудь жест, движения руки, поворот головы человека разверзали перед Достоевским никем до него неизведанные глубины. Вспомним, например, как падала убитая Раскольниковым ростовщица. Под ударом топора, обухом проломившего ей череп, «она, — говорит Достоевский, — ...вдруг вся осела к полу, хотя и успела еще поднять обе руки к голове. В одной руке еще продолжала держать «заклад». Этот *заклад* был всего-навсего обернутой в бумагу деревянной дощечкой с приложенной к ней тоненькой железной пластинкой. Весь свой век собирать деньги, драгоценности, обездоливая бедных, видеть в этом единственную цель существования, и умереть, сжимая в протянутой к небу руке, вместо обоготворенного золота, дрянную деревяшку — призрачный символ собственных греховных вожделений. Какая дьявольская ирония, самим чёртом подстроенная каверза!

Раскольников вернулся домой уже к вечеру. «Где и как шел обратно, ничего он этого не помнил. Раздевшись и весь дрожа *как загнанная лошадь* (выделено мною. — Г. М.), он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся...».

Снововидение о замученной лошади раскрывало теперь свою страшную символику. Раскольников не внял предупреждению свыше и, став убийцей, затерзал собственную душу, сам превратился в загнанную лошадь. Дух глухой и немой обманул свою жертву и вознес ее лишь для того, чтобы сбросить с высоты и обречь на распад и мытарства. Забытье не принесло с собой успокоения Раскольникову. Тогда-то и померещилось убийце, что избивают на лестнице его квартирную хозяйку, что бьет ее Илья Петрович, помощник квартального надзирателя, что все жильцы со

всех этажей сбегаются на вопли и крики и что вот, сейчас, преступник будет изобличен. Но, как было уже мною упомянуто, не квартирную хозяйку избивали на лестнице, а немедленно вслед за черным полетом разлагалась, распадалась душа самого Раскольникова; бесовские силы, казалось, одолевали его окончательно. Но в наступившей темноте вдруг открылась дверь, и с тарелкой супа и горящей свечой в руках появилась Настасья. Она вошла одновременно и в комнату и в душу погибающего человека: борьба Бога и дьявола разгоралась. А в Раскольникове все померкало, уходило, падало куда-то. В бреду и лихорадке он лишился сознания.

*

Беспамятство временами сменялось для Раскольникова бредом и полусознаньем. «Многое он потом припомнил. Настасью он часто помнил возле себя», — говорит Достоевский.

Замечательно, что как раз присутствие Настасьи ощущал в полусознании Раскольников. Он и в бредовом хождении по мукам чувствовал, что его связь с матерью землей, с первичной основой существования, продолжается, что чья-то благословенная рука пытается восстановить духовную пуповину, злостно и беспощадно, как ножницами, разрезанную им в тот самый миг, когда, стоя на мосту, он с размаха бросил в воду спасительный двугривенный. Сердцем чуял Раскольников, что близость к Настасье — символ и залог его еще возможного спасения. Другого человека, бывшего в комнате, «очень будто бы ему знакомого», он, хотя и различал в полусознанье, но никак не мог догадаться, кто же это именно «и тосковал об этом, даже и плакал». Он не мог узнать его, потому что не послушался зова собственного внутреннего «я» в тот день, когда встретился с пьяной девочкой на К-ском бульваре. Влекомый тайной волей к Разумихину, он не дошел до него тогда, не захотел дойти. Раскольников «знал бессознательно», что его злые умыслы и решения не выдержат встречи с мужественной силой, что свет рассеет тьму, и задуманное желанное преступление не совершится.

Все же, хотя и поздно, пришлось Раскольникову искать опоры у простоты и прямодушия. Однако, укрывая от людей свое злодеяние, он не мог ни на кого духовно опереться, потому что как деньги и вещи, так и чужую доброту и вниманье воровать нельзя. Зато любовь и добрая сила сами приходят на помощь падшему, они слепо и властно ищут себе применения в жизни. Таков Божественный закон, ниспосланный на землю. Разумихин заметил, что приятель его болен, и когда тот ушел от него, пустился тотчас разыскивать этого «странного сумасброда», навел справку в адресном столе и теперь ухаживал за больным. Загнанное, придавленное преступлением сердце Раскольникова, погруженного в бред, стремилось к Разумихину, но утвердившееся во зле сознание убийцы отказывалось признать благодетеля. А сердце тосковало и плакало. Раскольников хотел обмануть, опутать его злыми теориями, но оно по-прежнему своим неодолимым светом отгоняло от себя надвигавшийся мрак и оставалось непричастным к темным умыслам. И когда было бы дано Раскольникову, покаявшись, постичь собственное душевное состояние, для него прозвучали бы откровением жалобные слова поэта: «Я сердце свое захотел обмануть, а сердце меня обмануло». Сердце первородно в нас и старше нашего сознания, в конечном же итоге, оно разоблачает любые хитросплетения ума, только для этого ему надобен длительный срок. Подобно Богу, сердце правду видит, да не скоро скажет, добывая истину не пустыми абстрактными рассуждениями, не мертвой готовой моралью, но непосредственным жизненным опытом.

Лежа в бреду, Раскольников чувствовал присутствие Настасьи и даже узнавал ее, чувствовал, не узнавая, и Разумихина. «Но об *том*, — об *том* он совершенно забыл; зато ежеминутно помнил, что об чем-то забыл, чего нельзя забывать, — терзался, мучился припоминая, стонал, впадал в бешенство или в ужасный, невыносимый страх».

То единственное, страшное *то* проникало в недосягаемую рассудком глубину его существа, перемалывало, перерабатывало его на неведомый нечеловеческий лад. Убивший

физически кого-либо, покушается духовно на самого себя. И вот теперь ужасное *то* подвергало бредящего Раскольникова репетиции инфернального перерождения, кощунственного «крещения» во вторую, окончательную смерть.

Замечательнее всего, что и впоследствии, уже в трезвом состоянии ума, Раскольников как бы не помнил о Лизавете; свою кровавую расправу с ростовщицей припоминал постоянно, а о Лизавете забывал. Почему? Основная причина такого *кажущегося* забвения кроется в провиденциальной встрече Раскольникова с Соней Мармеладовой, в его общении с нею и в ее миссии по отношению к нему. Соня — крестовая сестра Лизаветы, избранная в посредницы смиренной жертвой. Соня — живой проводник на земле благотворных лучей всепрощения, исходящих от безвинно казненной к палачу. Соня заслоняет собой от преступника его ужасающее преступление, память о котором испепелила бы Раскольникова до времени. Небесная правда, осуждающая или благословляющая нас, равно дается нам по каплям. Так постепенно преображает она сосуд скудельный, предохраняя его от внезапного разрушения, от нежданных и губительных вспышек нездешнего пламени. Земное существование убитой Лизаветы продолжается для Раскольникова в образе Сони. Признавшись Соне в своем преступлении, он может, пусть намного позднее, покаяться в нем и тем восстановить в себе уже *просветленную* память о Лизавете. Человеческая память чудодейственна, она увековечивает умерших.

Соня по отношению к Раскольникову есть инобытие, живой символ разбойно умерщвленной Лизаветы. В своем месте я надеюсь показать это с неопровержимой ясностью, пока же приведу только позитивному уму непонятные, странные слова, с которыми обратился Раскольников к Соне, обещая сказать ей, кто убил Лизавету.

«— Да разве вы знаете, кто убил? — спросила она, леденея от ужаса и дико смотря на него.

— Знаю и скажу... Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил, и когда Лизавета была жива, я это подумал».

Что значат такие слова? Как мог он знать, что убьет Лизавету, по внешнему ходу событий лишь *случайно* подвернувшуюся под лезвие топора? Но ведь охватило Раскольникова, при встрече с Лизаветой на Сенной площади, глубочайшее изумление, хотя, по видимости, ничего необычайного не было в этой встрече. Ведь открылся же ему тогда на мгновение нуменальный лик его будущей жертвы.

Я неоднократно упоминал о том, что для Достоевского подлинно реальное совершается внутри нас и лишь потом, часто через годы, проектируется в мире явлений. Все происходящее в душевной глубине ведомо нашему внутреннему «я», но смутно доходит до наших внешних чувств и сознания, пока не осуществится вовне.

Еще до роковой встречи на Сенной, сидя в распивочной и слушая горестный рассказ Мармеладова о том, как «единородная дочь» этого несчастного пьяницы, ради прокормления голодной семьи, по желтому билету пошла, Раскольников уже «*знал бессознательно*», что убьет не только старуху, но и Лизавету, и что возложит потом бремя своего смертного греха на слабые Сонины плечи. Беспомощный перед внутренними свершениями внешний рассудок воспринимает жизнь по частям, в раздроблении. Для внутреннего «я» нет никаких «прежде» и «после», но есть одно недробимое во времени «сейчас». Все порешенное в душевных глубинах человека встает перед его тайным, внерассудочным сознанием как нечто цельное, сразу и неразрывно со всеми своими предпосылками, выводами и последствиями. Мы в собственных глубинах заранее знаем, чего хотим, чего захотим и к чему то или иное хотение нас приведет. Что это именно так, Достоевский знал отлично. А для того, кто не хочет этого знать, ничего не остается на свете кроме, по его убеждению, случайно возникающих и случайно между собой сцепляющихся случайностей.

Все в Раскольнкове было натянуто до крайних пределов, когда признавался он Соне в своем злодеянии. В такие мгновения человек становится сам себе равен, иначе говоря, внешнее совпадает в нем с внутренним, и тогда его сознанию

открывается то, что он знал всего лишь бессознательно. Но мы сами всегда отгоняем от себя духовные зовы, в душе возникающие. Они смутно доходят до нас, и мы тому рады, хотя и знаем, что в них, выражаясь словами Тютчева, «Что-то стонет, что-то бьется, как в узах заключенный дух». Эти узы — наши чисто психические душевные состояния и наше физическое тело. В плену у них неизменно обретаются все художники душевно-телесного склада, да и все мы, поскольку не хотим или не можем поверить в существование нашего собственного *духовного* тела.

Все герои Достоевского духовны. Даже самые ничтожные из них не душевно-телесны, а злодуховны, как, например, Лужин, разъедаемый себялюбием и похотью власти. Раскольников одержим идеей, пусть злой и низкой, убийственно похожей на лужинскую. Преданность идее или одержимость ею, по Достоевскому, — верный признак духовности или злодуховности. Но не следует смешивать того, кто поглощен идеей, с идеалистом, с бледным мечтателем, живущим призраками идеализма. Для Достоевского, идеализм всегда ирреален и неизбежно ведет ко злу. Идеалист не ведает ни высших, ни низших реальностей. Он не видит зла, и потому оно рано или поздно порабощает его. Герои Достоевского, прошедшие в ранней юности через идеализм, с годами становятся носителями злых идей, как Раскольников, Петр Верховенский, Ставрогин, Иван Карамазов. Но бывает, что человек, с юных лет охваченный идеализмом, навсегда застывает в этом призрачном состоянии, продолжает в зрелом возрасте жить в иллюзорном мире. У Достоевского лучшим примером такого духовного недоросля служит Степан Трофимович Верховенский. Непосредственно он никому не причиняет вреда, но своей, ни к чему не приуроченной отвлеченно-либеральной, гуманной болтовней содействует злу. Кратко говоря, идеализм пренаивнейшим и преневиннейшим образом помогает водворению большевизма. От либерала-идеалиста Степана Трофимовича Верховенского — комической жизненной помеси Герцена с Грановским — родится

его сын Петр, прототип законченного большевика. Поразительна по глубине оговорка, сделанная при этом Достоевским: Петр Верховенский не то действительно сын своего отца — идеалиста, не то он родился всего-навсего от жены Степана Трофимовича и какого-то кстати подвернувшегося, приблудного полячка. Словом, невозможно в точности определить, каким образом туманный идеализм порождает зло: непосредственно ли из себя, так сказать, закономерно и на брачном ложе, или же только преступным попустительством, презренным слабоволием и жалким слабосилием. Во всяком случае, Достоевский ясно видел, что чистый идеализм во всех своих проявлениях, будь то в философии, литературе, науке или в личной, семейной и, наконец, в государственной жизни, неминуемо приводит ко злу. Поразительнее же всего что и тут делает оговорку Достоевский. Оказывается, юношеский идеализм не всегда только иллюзорен, ранние, от жизни отрешенные мечты не всегда только бледны и призрачны. Бывает и в них что-то нездешнее, приносимое с собою младенцем из иных миров, и навсегда сохраняемое сердцем как ангельская песня, услышанная душою Лермонтова еще до его земного рождения.

В разговоре с сестрою и матерью Раскольников упоминает мельком о своей ранней юношеской любви к хозяйкиной дочери, «к дурнушке, к девочке совсем хворой» и, как бы отмахиваясь от призрака, добавляет: «Так какой-то бред весенний был...» Да, бледная мечта, невоплотившаяся греза... Но Дуня с одушевлением возражает: «Нет, тут не один бред весенний...»

Достоевский нередко высказывает собственные заветные мысли и думы устами своих героев, и Дуниному возражению он несомненно сочувствует. Конечно, Шиллера необходимо от времени до времени «огорашивать» и в себе и в других; нельзя позволять ему чрезмерно идеальничать и безраздельно царить в человеческих душах. И все же, Достоевский хорошо знал, что Шиллер живуч, а порою и жизненен. Ведь вырос же из идеалистического Вертера не кто иной, как Гете, и питался же в молодости сам автор «Пре-

ступления и наказания» сентиментами Жорж Занд и утопиями Руссо. Достоевский знал, что любая, хотя бы самая глубокая мысль должна быть опрокинута во имя неизменно ускользающей истины. Он никогда не забывал, что по неизмерным пространствам несутся сонмы звезд, что Бог всегда уходит, и что мы должны за Ним идти. Достоевский весь в движении, в порыве, в стремлении. Он живет не установившейся формой, а безостановочной переформацией. И враждебны ему далеко не художественные советы Толстого вернуться вспять к пещерным временам, и призывы Тургенева к несуществующему прогрессу. Не по внешним, но по внутренним свободным путям проносятся мысли и чувствования Достоевского и, как дух, одновременно возникают и тут и там. Для Достоевского жизнь — неисчерпаемое чудо, она невероятна, как дыхание, дарованное каждому из нас Творцом. Бытие в целом мудрее нас, в нем непрестанно вершится то, что кажется человеческому уму невозможным, несбыточным, немыслимым. И вот склоняются над Евангелием, над чудом воскрешения Лазаря убийца и блудница, по вышнему соизволению и сверхразумным усилием собственной тайной воли повстречавшиеся друг с другом в бездонном море бытия.

Раскольников порвал живительную нить, соединявшую его с людьми и миром, и духовно омертвел. Но мир и люди с ним порывать не хотят. Они добрее, мудрее и глубже его. Жизненные итоги подводит не злое или доброе решение отдельного человека и не бессмысленный людской коллектив, но накопившая в себе силу любви соборная всечеловеческая и всемирная воля. Она живит зараженного смертным грехом человека, возвращает его в существование и терпеливо ждет того часа, когда он, наконец, покается.

Лишь на четвертый день пришел в себя Раскольников. Кого же и что прежде всего увидел он, очнувшись после своего злого вознесения и падения в пропасть беспамятства? «Произошло это утром, в десять часов. В этот час утра, в ясные дни, солнце всегда длинною полосой проходило по его правой стене и освещало угол подле двери. У постели его

стояла Настасья и еще один человек, очень любопытно его разглядывавший и совершенно ему незнакомый. Это был молодой парень в кафтане, с бородкой, и с виду походил на артельщика».

Убийцу, пробудившегося для новых хождений по искупительным мукам, милостиво встречала первичная основа существования: луч солнца, деревенская баба и парень-артельщик от некоего купца Вахрушина. Через деловую контору этого купца Пульхерия Александровна пересылала своему блудному сыну тридцать пять рублей, заработанных ею тяжким трудом. Первичное, первородное, благодатное снова протягивало Раскольникову им оборванную нить.

«Из полуотворенной двери выглядывала хозяйка. Раскольников приподнялся.

— Это кто, Настасья? — спросил он, указывая на парня.

— Ишь ведь, очнулся! — сказала она.

— Очнулись, — отозвался артельщик. Догадавшись, что он очнулся, хозяйка, подглядывавшая из дверей, тотчас же притворила их и спряталась. Она и всегда была застенчива... Но в эту минуту опять отворилась дверь настежь и, немного наклонившись, потому что был высок, вошел Разумихин.

— Экая морская каюта, — закричал он входя, — всегда лбом стукаюсь; тоже ведь квартирой называется! А ты, брат, очнулся?»

Если отнестись к этой сцене поверхностно, можно, пожалуй, принять ее за бытовую. Но нет! Есть в ней внутренний порыв и движение, первобытное, бессмертное ликование жизни, великодушно идущей навстречу тому, кто ее только что злодейски попрал. Она снова принимала преступника в свои нежные и суровые, жестокие и милосердные объятья. Начинались для Раскольникова новые, еще неиспытанные мытарства, лишь изредка, внезапно и мимолетно, прерываемые веяньем ангельских крыл.

Теперь не Раскольников шел к жизни, в жажде своевольно овладеть ею, но сама жизнь негаданно и непрошенно шла к нему, напирая со всех сторон. Он хотел быть один, уйти

куда-нибудь от людей, уйти *неведомо* куда, потому что не оставалось у него никакого прибежища, кроме собственной опустошенной души, уходить же в нее, погружаться в себя, значило падать в пустоту. Убивающий себе подобных, своевольно умножающий смерть, казним призраками небытия. Ему нет места ни в жизни, ни в смерти, он превращен в ходячий, лежачий, сидячий, ни живой ни мертвый абсурд. А жизнь кругом растет, развивается, чередует события и — что всего мучительнее для убийцы — предлагает ему по-прежнему свои дары: любовь и внимание родных и друзей, солнечный свет и хлеб насущный, все то, чем не должен, не может он пользоваться, не сознавая себя ежеминутно грабителем и вором незаслуженных благ. Таким образом, тот, кто убил и украл, продолжает уже безостановочно *духовно*, — а это всего страшнее, — грабить и воровать. Остановить такое метафизическое разрастание греха может только чистосердечное раскаяние преступника. Близкие люди безотчетно чувствуют отчужденность убийцы от всего и всех, и, общаясь с ним, испытывают невольный страх. Родная мать Раскольникова боится его. И он видит это. Когда Пульхерия Александровна, Дуня и Разумихин навестили его: «А ведь точно они боятся меня», — думал сам про себя Раскольников...

— ... Да что вы, боитесь, что ль, меня все? — сказал он с искривившеюся улыбкой.

— Это, действительно, правда, — сказала Дуня, прямо и строго смотря на брата. — Маменька, входя на лестницу, даже крестилась от страху.

Лицо его перекосилось как бы от судороги».

Эта как бы судорога, пробежавшая по лицу преступника, выдает присутствие в нем того, кто боится крестного знамени. А сам одержимый бесом на минуту приходит в себя и хочет утешить мать. — «Полноте, маменька, — со смущением пробормотал он, не глядя на нее и сжав ее руку, — успеем наговориться!» Но вот, «Сказав это, он вдруг смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его; опять ему вдруг ста-

ло совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь *говорить* (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.). Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он, на мгновение, почти совсем забылся, встал с места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты».

Куда же хотел он уйти? Уж не в собственную ли греховную пустоту? Но жизнь, великодушная и суровая, не хочет отпустить его и в лице Разумихина берет за руку и возвращает обратно. Надо существовать, а существование невыносимо. Однако, так ли это? Действительно ли хотел бы Раскольников уйти в небытие? Да и правда ли, что человек, даже твердо решивший покончить с собою, ищет абсолютного ничтожества? Нельзя искать и желать того, что немыслимо, непредставимо, невообразимо. Не только Раскольников, но и любой самоубийца добивается не уничтожения, а коренного изменения в своем существовании, хотя бы загробном, добытом нагло, насильственно. По мысли большого русского мыслителя, отрицать Бога невозможно. Мнящий себя атеистом, отрицает, сам того не понимая, не Бога, но всего лишь Его искажения, ложные и ошибочные человеческие представления о Нем. Атеист своими отрицаниями способствует выяснению Божественной правды и становлению Бога на земле. Богоборцы должны были бы учитывать это. Нельзя отрицать и того, что исходит от Бога и, прежде всего, невозможно отказаться от бытия, всем нам дарованного Небом. Желать уничтожения — призрачно. Ведь это желание исходит от живого человека, от его живой воли, оно входит — пусть отрицательно — в существование. Где же, в таком случае, небытие и как, выражаясь по-детски, но верно, найти, ну, хотя бы, полфунта того, чего на свете не бывает? Можно жить положительной или отрицательной жизнью, но и то и другое — жизнь.

Мука Раскольникова в том, что он всем нутром, всей натурою, чувствует, что он не имеет *права* принимать ни от кого и ни от чего жизненных даров; не имеет *права* общения

ни с кем и, в особенности, с родными и друзьями. Тут, во всем своем грозном величии, встает идея Права, единому Богу присущего и от Него исходящего. Поистине гениально краткостью, простотой и ясностью определение Баратынского: «Велик Господь! Он милосерд, но прав». И уже по одному тому близок Достоевский к Баратынскому, по одному тому он его духовный сын, что весь вырастает из этих выстраданных слов великого поэта.

Идею права, неотрывную от религии, Римская Империя завещала urbi et orbi, Риму и миру. Западноевропейские страны, унаследовав эту идею от римлян, до сих пор держатся ею, хотя сильно пошатнулись за последние два столетия, после многократных попыток основаться на голом юридизме, автономном от церкви. Право вне религии — бездушно. Все же, в сниженном, искаженном виде, оно отражает небесную справедливость. Как низко ни стояло бы право, но, восставая на него, мы покушаемся на его вышние истоки. Абсурдное, внежизненное, непереносимое для самого Раскольникова, положение, может улучшиться лишь в том случае, если он признает над собою людьми установленные законы, добровольно подчинится решениям человеческого суда, в свою очередь, подчиненного сознательно или бессознательно, вольно или невольно, Праву Божественному. Чтобы снова приобщиться к жизни, убийца должен восстановить для себя первичную, им нарушенную, иерархию духовных ценностей, — иными словами, отказаться от разбойно себе присвоенных чужих прав и войти в свои, теперь уже тюремные, арестантские бесправные «права». Надо в жизни каждому занять свое не призрачное, а реальное место. Только с этого начинается путь, ведущий преступника к восстановлению его духовных прав на общение с ближними.

Раскольников очнулся от беспамятства окруженным жизненною благодатью: солнечным светом и друзьями, готовыми ему служить и за ним ухаживать. Но все в нем превратилось в сплошную язву. Малейшее постороннее прикосновение, легчайшее дыхание жизни вызывали в душе его боль, отчаяние, отвращение и ненависть. Совершенная от-

чужденность от всех порождала зачатки мании преследования, ему казалось временами, что люди, общаясь с ним, лишь играют роль внимательных и добрых, на самом же деле поджидают удобной минуты, чтобы уличить его в преступлении.

Живой человек несет в себе свой новый неповторимый мир, но у преступника, самоуправно пролившего кровь, нет своего мира, нет личности, и серые острожные халаты, на всех арестантах одинаковые, лишь отражают собою безличие преступных душ. Убийца *как бы* лишается внутреннего «я»; убивая другого, он сам себя превращает в некое подобие *о-безь-я-ны:* становится существом без «я». Глубинное значение слов вернее отражает истину, чем самое точное научное изыскание. И, быть может, вопреки всем научным теориям, не человек произошел от обезьяны, но тяжко согрешившие и злостно в своем грехе утвердившиеся, падшие люди обратились некогда в обезьян. Такая догадка не была бы чужда Достоевскому. В «Бесах» его герой, Кириллов, съеденный идеей, демоном искусителем ему подсказанной, кончает жизнь самоубийством с единственной целью победить в себе страх перед смертью и тем обрести для себя новый высший вид существования, стать сверхчеловеком — *человекобогом,* чем-то вроде античного бога, однажды приснившегося Ницше. Но восстание на Бога, но такое покушение на Богочеловека оборачивает Кириллова за минуту до самоубийства в ревущее, кусающееся звероподобное существо. Предположение бегло высказанное собеседником Кириллова, оказывается верным: человек на путях духовного бунта преображается не в человека-бога, а в гориллу.

Очнувшись, Раскольников сразу же попал в круговорот нарастающих, нагромождающихся друг на друга событий. Не размеренный ход, но стремительный бег, прерываемый внезапными перебоями, столкновениями, взрывами, — вот жизнь, по Достоевскому, не только его собственная, преисполненная тревог и превратностей, но всякая жизнь.

Достоевский мог бы и тут повторить от себя утверждение своего предшественника — Баратынского:

Нам, из ничтожества вызванным творчества словом тревожным
Жизнь для волненья дана, жизнь и волненье — одно.

. . . . . .

Мира невежда, младенец, как будто закон его чуя,
Первым стенаньем качать нудит свою колыбель.

Жизнь в движении, в кружении. И, очевидно, желая особо отметить это, Баратынский заменяет первый из приведенных мною стихов другим:

Нам, изволеньем Небес, брошенным в мир коловратный...

Покой обманчив, призрачен, он всего лишь иллюзорное затишье перед новыми треволнениями, грозящими ежесекундно перейти в катастрофу. До такого понимания самой сущности бытия и Баратынский и Достоевский дошли не путем теоретических отвлеченных рассуждений, но опытно, встречаясь лицом к лицу со всеми ветрами и непогодами. Хождение, вернее же кружение по мукам поджидает каждого из нас. Нельзя повернуться, нельзя ни к чему прикоснуться, не опасаясь привести в движение какие-то неизведанные энергии, не вызвать над собою, вблизи и вдали от себя безостановочного перемещения монад. Стоит шевельнуть пальцем, как немедленно столкнутся между собою бесчисленные невидимые частицы бытия, вовлекая в круговорот все новые и новые монады. И потому решиться творить — значит ворваться в неведомое, навлечь на себя и других почти наверное губительные силы.

Музы, Камены, богини пения обольстительны, «но их чарующий наход» — «сладкий трепет вдохновенья» служит «предтечей жизненных невзгод». Творчество ведет к тревогам, понуждает к действию «вражду фортуны», пробуждает дотоле спавшую в Перунах судьбу, древний рок, которому мы все подвержены вследствие первородного греха и нашей общей, все возростающей греховности. Однако творчество и есть истинная жизнь, вне его она переходит в прозя-

бание. Творить, в какой бы то ни было области, — это жить, по завету Ницше, — опасно. Надо не только безбоязненно действовать, но, — что еще неизмеримо труднее, — бесстрашно мыслить. Подлинный художник мышления и воин, бестрепетно глядящий смерти в глаза, равны по героизму. Ведь мыслить — значит умирать. Доводя мысль до ее завершения, человек переходит за пределы возможного, переступает за грани земные, ему предназначенные. Мышление, по существу своему, беспредельно. Но все беспредельное становится запредельным; оттого, между прочим, для Баратынского, в острых лучах поэзии и мысли, «бледнеет жизнь земная». Мы рождены, чтобы жить опасно и все вокруг себя заострять, проявляя и любовь и ненависть. Лучше ненавидеть кого-нибудь и что-нибудь, чем оставаться ко всему равнодушным. К ничтожеству приводит не горячая любовь и не холодная ненависть, но тепловатое безразличие, боязнь не быть, как все, не походить на приличного во всех отношениях международного буржуа, существующего богатым запасом прописных истин и готовых правил. Здесь мы снова приближаемся в творчестве Достоевского к головокружительной пропасти, называемой соблазнительным словом *свобода*. Однако, редко кто отваживается на деле испытать ее соблазн. Я уже говорил, что, согласно Достоевскому, люди страшатся свободы и заранее готовы бессознательно, инстинктивно связать себя путами мертвой морали, спрятаться за веками накопленную предками пошлую житейскую мудрость, руководствоваться чужим обезличенным рассудком, лишь бы сложить с себя ответственность, лишь бы не мыслить самостоятельно. Лицемерно восхваляя свободу, мы предпочитаем ей рабство, духовному бодрствованию — душевную спячку. Именно над этой спячкой, над снулыми людьми так жестоко издевался Гоголь, высмеивая наши чрезмерно частые «заезды к Сонникову и Храповицкому, мертвецкий сон на боку, на спине и во всех иных положениях, с захрапами, носовыми свистами и прочими принадлежностями». Спящие равны друг другу, спать непробудно — единственное средство отделаться от собственной личности, от груза неудобо-

носимого. Но не грозит ли спящему внезапное пробуждение, нежданный переход от мертвенного сна к крушению? Жизнь — в неустанном стремлении, и нарушающий ее вселенскую волю должен тяжко за это расплачиваться.

Высмеивания Гоголя почитал Достоевский кощунственными и, силясь *заблаговременно* пробудить спящих, был готов, вслед за Баратынским, видеть благодать в страстях, плодотворящих людские сердца, «как пажити Эол бурнопогодный». В преступных дерзаниях усматривал Достоевский желание человека очнуться от еще более греховного сна. Отсюда и возникало в Достоевском *как бы* пристрастие к преступным, к падшим. И он творчески показал нам духовный аристократизм убийцы, христианское смирение пропойного пьяницы и пламенную веру в Бога, в Его милосердие, блудницы, отвергаемой «порядочными господами».

Жизнь вырастает из противоречий в духе и питается парадоксами. Для автора «Преступления и наказания» тот еще не начинал мыслить, кто не понял этого. В напряженном и зорком внимании к преступно дерзающим и падшим, в желании их оправдать, Достоевский у нас не одинок. И тут Баратынский его прямой предшественник. Тягу Баратынского к оправданию людей, нарушающих в поисках истины общепринятые устои нравственности, первым отметил Брюсов. «Характерно, — говорит он, — что герои Баратынского почти исключительно люди падшие. Найти искру живой души в падших, показать, что они способны на благородные чувства, такова задача, которую ставил себе Баратынский». И разве не крайне важно установить в творчестве великих художников преемственность идей и настойчивую повторяемость тем? В особенности важно обнаруживать бессознательную, вполне органическую преемственность, проникая тем самым не только в замыслы художников, но и в тайники нации, духовными частицами которой они состоят. Наблюдать за переходом художественных идей от одного российского творца к другому и улавливать то, что из этого рождается, образовывается, значит приближаться к разгадке всего тайно теперь назревающего в нашем отечестве, решаю-

щем в своих духовных недрах судьбы мира на много столетий вперед. Сытые земными благами обитатели Западной Европы не хотят, да и не могут этого понять. Справедливо заметил Тютчев, что даже самые умные из них, как только дело касается России, ничего, кроме глупостей, не говорят и не делают. Ныне пресыщенность всевозможными богатствами привела западных людей к душевному омертвению, и все современные виды спорта — жалкая и смешная попытка выдать непробудно уснувших за бодрствующих.

Пресыщения и спячки пуще всего страшился Достоевский, он знал, что вслед за ними приходит гибель. Вот почему предпочитал он преступного, зато бессонного Раскольникова порядочному, но сонному Зосимову. В ходе нарастающих событий они встречаются друг с другом в силу жизненной противопоставленности: Раскольникову предстоит спасительная каторга, доктору Зосимову — гибельная перина, пуховая постель, с которой, рано или поздно, он перестанет вставать по ночам к больным.

В неосознанной жажде успокоения, вздыбленная, взвихренная душа Раскольникова вóлила встретиться с погруженной в сон душой Зосимова, так же неосознанно искавшей во сне этой встречи. При всем видимом различии есть между ними внутреннее сходство: преступное действие сходится с не менее преступным душевным бездействием; нельзя во имя греха двигаться или пребывать в неподвижности.

Разумихин по существу определяет Зосимова, обращаясь прямо к нему: «Ты нервная, слабая дрянь, ты блажной, ты зажирел и ни в чем себе отказать не можешь, — а это уж я называю грязью, потому что прямо доводит до грязи... На перине спит (доктор-то!), а по ночам встает для больного! Года через три ты уже не будешь вставать для больного...»

Здесь невольно возникает ставшее для нас навязчивым сопоставление современного Востока с современным Западом, когда обосновавшиеся в России Раскольниковы возжелали встретиться с проживающими за границей Зосимовыми. Успеют ли российские Раскольниковы ко дню этой, теперь неминуемой, встречи покаяться, преобразиться и про-

будить неправедным сном уснувших Зосимовых? Неведомо! Но одно несомненно: скорее придет покаяние к Раскольникову, чем сам собою проснется Зосимов. Покаявшемуся извергу дано возвращать умирающих к жизни, но для излечения одержимых у доктора Зосимова ничего, кроме химии в голове и порошков в кармане, не имеется.

Усыпительная сфера (некоего рода зосимовщина — символ нынешней Европы) находилась совсем близко от Раскольникова в лице его, по определению Разумихина, «преавенантненькой» квартирной хозяйки с ее безмятежным пристанищем. Но человеку, одержимому злой идеей, требующей своего осуществления, нет дела до таких сфер. Они притягивают к себе засыпающих — и Разумихин понимает это. Оттого не только ради иронии советует он Зосимову заблаговременно причалить к замачивому приюту, к умиротворительной хозяюшке: — «Эх, не могу я тебе разъяснить никак! Видишь: вы оба совершенно друг к другу подходите! Я и прежде о тебе думал... Ведь ты кончишь же этим! Так не все ли тебе равно — раньше иль позже? Тут, брат, этакое перинное начало лежит, — эх! да и не одно перинное! Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основание мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежанок, — ну, вот *точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом!*» (подчеркнуто мною. — Г. М.).

Если изъять отсюда некоторую экзотику в виде блинов, кулебяк и самовара, то чем это не идеал современного западноевропейского рантье — мещанина, произрастающего с небольшого капитальца, предусмотрительно накопленного. Лишь одни аферисты, парвеню и аривисты создают еще иллюзию *волнения*, самим Небом предназначенного человеку. Но и они устремляют все свои мечты и помыслы к тому же трехрыбному основанию мира, торопятся приобрести «обе выгоды разом», словом, стать живыми мертвецами — гражданами цивилизованного мира.

Живи Зосимов в начале двадцатого века, он непремен-

но записался бы в кадетскую партию, конституционно-монархического направления, с уклоном к республиканству. Разумихин справедливо причисляет его к «прогрессивным тупицам», единственное желание которых нейтрализовать всякую идею, всякое вольное и невольное проявление не безликого индивидуума, а живой человеческой личности. Зосимов упрекает Разумихина за знакомство с берущим взятки секретарем полицейской конторы, Заметовым. Он удивляется, как можно не брезговать такими людьми. Однако Разумихин нисколько не стыдится своей небрезгливости, потому что хочет жить и быть не только органической, живой, но еще и познающей частицей бытия. Он не боится жизненной гущи, весь целиком пребывая в ней, и ответ его Зосимову звучит изобличительно: «— Ох, уж эти брезгливые? Принципы!.. И весь-то ты на принципах, как на пружинах; повернуться по своей воле не смеет... Тем, что оттолкнешь человека — не исправишь, тем паче мальчишку. С мальчишкой вдвое осторожнее надо. Эх вы, тупицы прогрессивные, ничего-то не понимаете!».

В этих словах уже не абстрактные рассуждения на социальные темы непрошенных устроителей всечеловеческого счастья, но подлинное христианство, проникающее во все поры существования, во все щели и закоулки. Приличных господ Достоевский не жаловал, для него «порядочный человек, — говорит Ремизов, — трус и раб, а добрый, пока не попросишь денег». Обладатель картезианского рассудка неизменно логичен, морален и собою доволен, но Достоевский опрокидывает его логику, а заодно и моральные устои, грозя показать ему внезапно сокрушительный фокус-покус, как штабс-капитан Снегирев Алеше Карамазову.

Для чего же было встречаться Раскольникову с Зосимовым или, вернее, из каких подспудных глубин возникла эта встреча? На точке пересечения их, по виду столь различных существований, сказался юмор самой жизни, даже, может быть, нездешний, высший юмор, в конечном итоге, живительный для них обоих. Ведь успокоение когда-нибудь да понадобится бессонному, и духовная тревога, из злой и

темной превратившись в покаянную, когда-нибудь да разбудит уснувшего, призывая его к одухотворению и подвигу... Ну, а что если никакого покаяния так никогда и не состоится и все же придут Раскольниковы в гости к почивающим Зосимовым? Не осуществится ли тогда пророческий сон Раскольникова, привидившийся ему однажды на каторге? «Ему грезилось в болезни, будто всеь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. *Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми... Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные...* Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, *но никто и нигде не видел этих людей, никто не слыхал их слова и голоса*» (подчеркнуто везде мною. — Г. М.).

В описании этого видения меня больше всего поражают заключительные слова. Я чую сердцем и сознаю умом, что там, в далеком моем отечестве, истерзанном небывалыми терзаниями, есть подобные подвижники, есть теперь и немногие, услыхавшие их голоса, но только услыхавшим некому поведать этого, ибо живут они и при людях на безлюдьи.

Мы не знаем, возможно ли преображение Раскольникова. Во всяком случае, *творчески* Достоевский нам этого не показал. Но всем, не окончательно глухим и слепым, стало ясно, что моральные методы западноевропейских Зосимовых безнадежно провалились — ими одержимых не излечить.

*

«Очнувшись, Раскольников еще не вставал с дивана, а душа его уже пошла по мукам. На деньги, только что полученные от Пульхерии Александровны, расторопный Разумихин успел купить ему белье, одежду и обувь. Одежда была поношенная, все же немного приличнее лохмотьев, в которых ходил до того Раскольников. Но даже грязное белье пришлось переменить на нем чуть ли не насильно: он не хотел, он не мог принять от жизни предлагаемых даров; ему казалось, что они надвигаются на него, как рок, как возмездие. Все, окружавшие теперь Раскольникова, каждым словом и поступком, одним своим видом невольно как бы уличали его в преступлении. Стóит занозить себе палец и будет казаться, что за всё кругом, как нарочно, задеваешь занозой. Что же должна чувствовать уязвленная преступлением совесть? «Если в ней, — говорит Пушкин, — единое пятно, единое случайно завелося, тогда беда... И рад бежать, да некуда... ужасно! Да, жалок тот, в ком совесть нечиста».

Угрызения совести страшны своей безысходностью, лишь полное покаяние на исповеди может избавить от них. Но не одна вера в существование Бога приводит к исповеди и покаянию, надо еще ощутить и принять божественное Право, признать его выше собственной лукавой и лицемерной справедливости. В то, что Бог существует, Раскольников верил и, мы знаем, молился Ему. Это противоречиво и парадоксально. Но чувства, мысли и поступки любого живого существа всегда противоречивы и парадоксальны. Логичны лишь философские системы, но внутренний мир человека — бездонный океан. Оседлавший логику, далеко не уедет. «С нею, — сказал однажды умнейший и одареннейший чудак, — иной раз до одного места добежать не успеешь».

Рассудок Достоевский, как художник, презирал и творчески показывал нам благословенную непоследовательность бытия. Всеми своими творениями он как бы говорит человеку: если хочешь жить и не понимать, но *постигать* жизнь, то приспособь свой рассудок к практическому ежедневному

обиходу, а истинный ум, как бы ни был он сам по себе силен и высок, держи всегда на поводу у сердца. Ум, оторвавшийся от сердца, приводит нас, согласно Достоевскому, к роковым ошибкам, к греху, к преступлению.

Личность человека — одно, а его убеждения, порождаемые рассудком, совсем другое. В «Бесах» Шатов, порвав с революционерами, возненавидел их. Но вот к нему возвращается уходившая от него любимая жена, и на радостях он чувствует возликовавшей душой, что любит людей. И вдруг в голове его сверкнула мысль, что ведь и все эти Лямшины, Эркели, Шигалевы и Толкачевы, словом, все эти революционеры-безбожники, за исключением Петра Верховенского, несут в себе образ Божий, и что их убеждения лишь наносная тина на душе, некий суррогат веры. О, если бы только могли они понять, что человек в глубине своей не похож на свои убеждения!

Как всякое обобщение есть искажение, так всякое убеждение — заблуждение. Каждый может иметь свои мнения — плод духовных познаний, но страдать убеждениями — значит себя ограничивать и застывать на месте. Достоевский призывал нас к безостановочным исканиям всегда ускользающей истины. Обрести ее невозможно, но самый процесс искания, неусыпное стремление ее найти — единственное оправдание человека.

Раскольников сложен и глубок. Свидригайлов правильно определяет его: «Сознавать много можете, много... ну, да вы и делать-то много можете». Раскольникова погубила гордыня: в поисках оправдания жизни, ответственность за все зло, свершающееся в мире, он сложил с себя на Бога. Вины, над всеми нами тяготеющей, он за собой не признал и, уединившись в своей каморке, в своем шкапу, належал себе злую теорийку, une théorie comme une autre, не более и не менее, потому что любое теоретизирование, возникающее не как вывод из жизненного непосредственного опыта, а само по себе, непременно злое и ведет к злому деянию. По утверждению Достоевского, недостаточно быть умным и даже чрезвычайно умным, чтобы поступать умно. И надо прямо

сказать, что как раз очень умные люди часто поступают в жизни глупее глупых. Достоевский познал это на собственном жестоком опыте.

Создавая свою теорию, Раскольников постепенно *убеждался* в ее правильности и справедливости, утверждался в ней умом, автономным от сердца. Совершив преступление, он тотчас увидел на практике его чудовищную нелепость, но от своей идейки отказаться не мог: она вселилась в него наподобие микроскопических существ, приснившихся ему впоследствие на каторге. Как и они, была она мала до ничтожества, жива, злодуховна и наделена умом и волей. Словом, она оказалась духом глухим и немым, свившим себе гнездо в душе Раскольникова. На поверку вышло, что, несмотря на свое ничтожество, идейка завладела умным от природы человеком. На первый взгляд, это непонятно. Но если отказаться от романтических прикрас, от изображений демона в виде Мефистофеля, Люцифера, неописуемого красавца нездешней прелести и научиться судить зло по делам его, то бес предстанет в своем истинном облике, его потусторонняя реальность отожествится с земной реальностью зла — с низостью, смрадом, душевным уродством — с «бессмертной пошлостью людской», отмеченной Тютчевым и выставленной напоказ Гоголем. Известно, какую власть над нами имеют эти бесы.

Достоевский только к концу своей жизни, в «Братьях Карамазовых», наглядно показал нам чёрта в подобающем ему облике пошляка и приживальщика. Но в «Преступлении и наказании» присутствие невидимого беса дает о себе знать лишь в зловещих приметах и признаках. Вспомним, хотя бы, красные отвороты на сапогах кабатчика, его лицо, похожее на смазанный маслом замóк, злые, сверкнувшие из темноты, глазки ростовщицы, ее тонкую длинную шею, похожую, как у ведьмы, на куриную ногу.

Но кто из нас придает хоть какое-нибудь значение таким отражениям потустороннего зла? Раскольников, несмотря на свое суеверие, не понимал, подобно нам, их темного языка. Положение, в какое завели Раскольникова собствен-

ные абстрактные измышления, получилось даже хуже, чем у Ивана Карамазова, увидевшего чёрта в полубреду, но воочию. Иван Карамазов понял, по крайней мере, что никогда не был таким лакеем, как вызванная им из бездны злая нежить, принявшая облик пошлейшего приживальщика. Поняв это, он все же сошел с ума. Но сумасшествие стало для него залогом спасения, возвращения к жизни сердца, исцеляющего заболевший разум. А Раскольников остался при своих абстракциях, предрасположивших его к одержимости. Любая абстракция небытийствует, как бес, упиваясь своим ничтожеством.

По Достоевскому, ум, оторвавшийся от сердца и возомнивший себя самостоятельным, обречен на порочную отвлеченность. Но и взбунтовавшийся, возгордившийся, он зависит от сердца, оставаясь при нем уже не в качестве верного слуги, а наподобие обезьяны, паразитарного имитатора. Такого слугу-имитатора, в образе Смердякова, порождает себе в обличение преданный беспощадным умственным теориям Иван Карамазов. Автономный ум ожесточает человека и неминуемо влечет его к преступлению, к убийству — в лице Раскольникова, и к самоубийству — в лице Свидригайлова. Так убийственна упразднением свободы и, следовательно живой человеческой личности, неподвижная, мертвая мораль Канта — плод его отвлеченных рассуждений, и самоубийственно самообжествление Гегеля — роковой итог его крайних абстракций. Именно умные чаще всего склонны к отвлеченным выкладкам и подсчетам, иссушающим сердце.

Ныне мы, русские, прошедшие и все еще проходящие через непосредственный коллективный опыт зла, хорошо знаем, как легко порабощаются люди пустой и ничтожной идейкой, превращающей их в бесноватых, как начинают они считать себя небывало умными, непоколебимыми в истине, совсем как те, зараженные трихинами, приснившиеся Раскольникову. В сущности, Раскольников сам себе приснился в окончательно расколотом, раздробленном состоянии. Носитель духовного бунта, он и есть взорванный грехом Адам, пророческий прообраз русской революции. Подлинные, во

многом уже сбывшиеся пророчества Достоевского обретаются в его художественных творениях, но не в «Дневнике писателя», слишком часто пристрастном, не чуждым шовинизма и славянофильских верований, давно переставших прельщать кого-либо. Великий ум Достоевского проявлял себя полностью в художественном творчестве, а вне художества терял свою силу и спотыкался, как длиннокрылый альбатрос, попавший на плоское место.

Раскольников не заметил, как надуманная им идея, привела его в тупик. Лишь убив и ограбив старуху, он понял, что ни за что на свете не воспользуется награбленным, что не помогут ему решиться на это никакие ссылки на Наполеона, готового, ради власти над людьми, переступить через все препятствия. Непосредственное глубочайшее отвращение к содеянному злу опрокидывало все решения, обличало их полнейшую несостоятельность. Человек не в силах предвидеть бесчисленных многообразных последствий даже самого ничтожного своего поступка. Расправляясь по-свойски с ростовщицей, Раскольников полагал оправдать себя тем, что уничтожает всего только вредного паразита, поправляет неправедную природу. Но деньги и драгоценности, им награбленные, принадлежали, в сущности, не старухе, а обобранным ею беднякам. Заложенная за бесценок вещь пропадала теперь для несчастного закладчика безвозвратно, что, возможно, ставило его в совершенно безвыходное положение. Зло неудержимо разрасталось, и Раскольников выходил на деле прямым союзником старой ведьмы. Так, заранее заготовляемые нами теории падают перед лицом жизни, как подкошенные. Всякий темный умысел содействует планетарному, вселенскому разрастанию зла. К счастью для человека, измышленные им теории не совпадают с его духовной сущностью, не покрывают собою его незаменимой вечной ценности. Примененные к жизни, абстрактные идейные построения изобличают нас самыми различными способами. Совершив кровавое преступление, Раскольников встречается с Лужиным и Зосимовым и по их повадкам, мнениям и наклонностям может судить о достоинстве собственной идейки.

Эти честолюбивые граждане цивилизованного мира, порождения современного всеевропейского мещанства, направляли свои вожделения к единой цели — к комфорту.

Лужин — аферист и парвеню — готов на какие угодно извороты, конечно, с соблюдением видимой законности и с оглядкой на «молодое поколение наше», модные, столичные воззрения которого ему, провинциалу, еще не совсем ясны, а, между тем, подделаться под них необходимо для процветания задуманных афер. Но за упорным стремлением приобрести движимое и недвижимое имущество, за скопидомством и сутяжничеством чувствуется в Лужине затаенная похоть власти, разъедающая душу всякого честолюбца, будь то хоть сам Наполеон. Эта похоть происхождения духовного. Владея Лужиным, она намного усложняет его личность.

По глубоко верному замечанию С. Франка, «зло в человеке, для Достоевского, не есть свидетельство бездушия, а, напротив, имеет *духовное* происхождение, есть признак какой-то особой напряженности духовной жизни». Лужин — микроскопический Наполеон — по духовным качествам своим ничем не отличается от того, кого так жестоко собою пародирует. Ведь если сорвать с Наполеона романтический плащ и не менее романтическую шпагу и рассмотреть этого исторического героя по существу, то увидишь, что он, во имя своих честолюбивых замыслов, в случае крайней необходимости, преспокойно кокнул бы старушонку по темени обухом топора и полез бы к ней под кровать доставать укладку. Так, *как-будто*, выходит по Достоевскому. Но понять и принять это не легко — и прежде всего потому, что очень трудно отделаться от векового романтизма. Уж на что реалист судебный следователь Порфирий Петрович, а и он, по мнению Раскольникова, не примет такой метаморфозы героя, представшего перед нами некогда в громе и молнии войны и революции. Зато лишь с одной оговоркою принимает ее Раскольников, для которого «на этаких людях (как Наполеон. — Г. М.) видно не тело, а бронза». Тем только они и отличаются от бедного студента, замыслившего в одинокой каморке «переступить через принцип». «Я не человека убил,

я принцип убил. Принцип-то я убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался»... А вот Наполеон переступил не через один принцип, а через многое, в том числе, через множество старушечьих укладок. Не романтика, окружающая для нас Наполеона, смущает Раскольникова, но бронза, вместо тела, способность глазом не сморгнув, все на себе перетащить, даже не заметив тяжести.

«Наполеон, пирамиды, Ватерлоо, — и тощая, гаденькая регистраторша, старушонка-процентщица, с красной укладкой под кроватью, — ну, каково это переварить, хотя бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: «полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к старушонке». Эх, дрянь!».

Навсегда останутся верными слова Наполеона, сказанные им о самом себе, а, кстати, и о революции: «Что сделало революцию? Честолюбие. Что положило ей конец? Тоже честолюбие. И каким прекрасным предлогом дурачить толпу была для нас для всех — свобода!»

Честолюбие порождает в человеке жажду самоутверждения, похоть власти. Каждый честолюбец, если он не глуп и достаточно хитер, рубит дерево по себе. Наполеон добивался власти, по возможности, над целым миром. Лужин — безмерно сниженный, карикатурный Наполеон — мечтает стать домашним деспотом, жениться и помыкать женою, взятой непременно из бедных, чтобы чувствовала в нем своего благодетеля. Когда же задуманные аферы разовьются удачно, можно будет повластвовать над прислугой, и в своей деловой конторе — над служащими. Тело на Лужине не из бронзы, зато шкура у него толстая — не скоро прошибешь и до совести не достучишься. Он тоже готов переступить через многое: подсунуть, например, украдкой в карман бедной Соне Мармеладовой сторублевую ассигнацию и потом с хитроумной целью обвинить ее в воровстве. Наполеон и Лужин принцип убили и через вековые запреты, не в пример Раскольникову, переступили. Наполеон, за недостатком во времени, никаких теорий не создавал, он действовал, а Лужин и на практике преуспевал и теорию удо-

сужился выкроить, да такую, что статейку еще неоперившегося Роди с одного удара прихлопнул. Явившись в качестве Дунинова жениха к Раскольникову, только что очнувшемуся после болезни, Лужин застал у него Разумихина с Зосимовым и тотчас вознамерился блеснуть передовыми взглядами, эффектно возвести перед «молодыми поколениями нашими» свою (здесь уместно выразиться по-марксистски) идеологическую надстройку над экономическим базисом.

Лужинская надстройка была беззастенчивым оправданием личной наживы, повторяемым ежедневно и на все лады, западноевропейскими крупными и мелкими буржуа. Словом, не идеология, а стертое клише, однако весьма ядовитое. Успевший в достаточной мере разжиреть, ко всем, кроме собственной персоны, равнодушный Зосимов поддакивает Лужину; честный, прямой Разумихин возмущается, а уязвленный живой на себя пародией Раскольников слушает.

Внешний вид у Петра Петровича Лужина был франтовской, вполне жениховский. Как и во что он был одет, описано Достоевским крайне старательно и подробно. Не потому, что уже сам по себе Лужин играет крупную роль в ходе и развитии повествования, но потому, что очень важно подчеркнуть, кого именно он хочет собой изобразить и, действительно, изображает. Лицемерной моралью и наружным благоприличием прикрывает международный мещанин свою пустоту, жадность к деньгам и подлость. Достоевский видел, с какой быстротой проникает в Россию западноевропейское мещанство — «все та же революция», по определению Константина Леонтьева.

От лозунга Раскольникова — «сильному все позволено» — до лужинского призыва к бесстыдной наживе — рукою подать. О Ницше Достоевский ничего не знал и идею о сверхчеловеке породил, изжил и отбросил за непригодностью вполне самостоятельно. Более того, он обнаружил прямую связь сверхчеловека, иначе, человекобога, с недоучившимся безбожным семинаристом, ставшим в девятнадцатом веке всесильным «гражданином цивилизованного мира». Не все

ли равно, по какому образцу самоутверждаться — убивая или обдирая других. Важны не средства — цель дорога.

Штампованный буржуа и аривист Лужин, обращаясь, главным образом, к Разумихину, разглагольствовал — хотел показать себя «молодым поколениям нашим» и лишний раз нащупать, чем оно живет и дышет.

«Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби» и я возлюблял, то что́ из этого выходило?.. выходило то, что я рвал кафтан пополам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами разом, и ни одного не достигнешь». Наука же говорит: возлюби, прежде всех, одного себя, ибо всё на свете на личном интересе основано. Возлюбишь одного себя, то и дела свои сделаешь как следует, и кафтан твой останется цел. Экономическая же правда прибавляет, что чем более в обществе устроенных частных дел и, так сказать, целых кафтанов, тем более для него твердых оснований, и тем более устраивается в нем и общее дело. Стало быть, приобретая единственно и исключительно себе, я именно тем самым приобретаю как бы и всем и веду к тому, чтобы ближний получил несколько более рваного кафтана, и уже не от частных, единичных щедрот, а вследствие всеобщего преуспеяния. Мысль простая, но, к несчастию, слишком долго не приходившая, заслоненная восторженностью и мечтательностью, а, казалось бы, немного надо остроумия, чтобы догадаться...».

Но Разумихин, исповедуя бессознательно христианскую истину, «экономической правды» не принимает; он, с лужинской точки зрения, не остроумен, а, если о чем-то и догадывается, то совсем о другом: «— Извините, я тоже неостроумен, а потому перестанемте... Я же хотел только узнать, теперь, кто вы такой, потому что, видите ли, к общему-то делу в последнее время прицепилось столько разных промышленников, и до того исказили они всё, к чему ни прикоснулись, в свой интерес, что решительно всё дело испакостили. Ну-с, и довольно!».

Ныне от общего дела, о котором говорит Разумихин, и

звания не осталось. Утвердились, до поры до времени, лишь промышленники и появившиеся нежданно-негаданно враги этих самых промышленников, проповедники иной, откровенно кровавой «экономической правды».

По словам Разумихина, в его столь далекие от нас времена, иногда еще высказывалось «желание добра, хоть и детское», честность даже находилась, «несмотря на то, что тут, видимо-невидимо привалило мошенников». Какое же место занимала тогда посреди промышленных вожделений и добрых желаний теория Раскольникова, насиженная и належанная в одинокой конуре? В плане чисто умозрительном она была проявлением «русского нищеанства до Ницше», предсказанного Пушкиным в «Пиковой даме» и впервые давшего себя знать, по верному замечанию Владимира Соловьева, в творчестве Лермонтова; в русле общественно-историческом эта злая теория явила собою одновременно зачатки того, что на современном языке принято называть фашизмом и большевизмом, а в области религиозной оно преуготовляла путь, ведущий к абсолютному атеизму.

Злополучную идейку Раскольникова — «сильному все позволено» — беспощадно пародировал Лужин одним своим наружным видом и непрошенной проповедью экономической правды европейского образца, наскоро пересаженной на русскую почву. Глядя на Лужина, Раскольников, как в кривом зеркале, узнавал когда не самого себя, так свою теорию, принявшую для него неожиданно облик пошляка и мошенника. Метафизическая связь Раскольникова с Лужиным та же, что у Ивана Карамазова со Смердяковым. Лужин — бес из самых нечиновных — безвозвратно уходит после того, как ему на смену является к Раскольникову Свидригайлов — бес, чином повыше. Чёрт, под видом пошлого приживальщика представший перед Иваном Карамазовым, исчезает в то самое мгновение, когда постучавшийся в окно Алеша объявляет брату, что Смердяков повесился. Но, испаряясь, исчадие ада погружает Ивана в безумие. Свидригайлов, сменивший Лужина, одним своим присутствием крепко держит Раскольникова в состоянии злой нераскаянности. Ранним утром, по-

сле летней, но бурной петербургской ночи. Свидригайлов кончает с собой, и в тот же день, вечером, освобожденный от наваждения Раскольников идет в полицейский участок признаться в своем преступлении. Но еще далеко не перемолотая, цепкая идейка остается при своем господине как некое его безумие, не лишенное убийственной логики.

По мнению Раскольникова, высказанному в присутствии Разумихина и Зосимова прямо Лужину в лицо, сто́ит только развить до конца лужинскую проповедь «экономической правды», как и выйдет, что людей можно резать. Таким образом, будучи весьма не глупым от природы, Раскольников, подобно дураку пушкинской эпиграммы, сам расписался в получении оплеухи и окончательно возненавидел Лужина. Осторожный, рассчетливый Лужин никогда не мог бы, хотя бы из одной трусости, кого-нибудь убить. Он даже вполне искренно не понимает, почему его экономическая правда в конечном итоге приводит к оправданию убийства. Ведь не он первый провозгласил царство всесовершенного эгоизма, а сделали это до него почтенные, всеми признанные европейские ученые экономисты.

Да, круговая порука всякого зла велика и обширна, и не так опасны Лужины, как страшны засевшие по ученым кабинетам теоретики. Ведь Лужин всего лишь мелкий ходок по темным делам, ничтожный винтик в инфернальной машине, не им изобретенной. Однако, этот дряннейший винтик уже одним своим видом изобличает Раскольникова, вызывая в нем злобу, желчь и презрение. Злой фарс, разыгранный жизнью, не исчерпывается пародией на провалившуюся идейку, нет, Лужин интимнейшим образом успел внедриться в душу Раскольникову, явившись к нему в качестве Дунинова жениха. Воплощенная пошлость навязывалась, и не совсем бесправно, в родню к неудавшемуся Наполеону. Этого Раскольников перенести не мог и выгнал вон своего *пробного* двойника. Я говорю «пробного», потому что подлая, трусливая лужинская сущность связана изнутри лишь с предварительной «пробой» преступления, задуманного новоявленным Наполеоном, ницшеанцем до Ницше.

Подлинный двойник Раскольникова — Свидригайлов: он вызван из бездны своеволием идейного убийцы, он послан ему навстречу злой волей мстительной ростовщицы. Постепенно, по этапам, назревает в душе Раскольникова злой умысел и, наконец, осуществляется. Так же постепенно, по этапам, в прямой зависимости и от злого умысла и от его конечного осуществления, происходят жизненные встречи преступника с людьми, родственными ему по своей греховной сути. Что же касается Наполеона, то, если принять его в толковании Раскольникова, вряд ли можно будет позавидовать наполеоновскому «телу из бронзы». Несчастье Раскольникова в том, что он не понимает, насколько строй его собственной души сложнее *такого* Наполеона. В действительности, герой, пресекший, пусть всего лишь на время и в одной Франции, кровавое шествие революции, никогда не исходил от предварительно им сочиненных теорий. Перед ним стояла задача совершенно реальная: надо было во что бы то ни стало пресечь или, по крайней мере, остановить на время развитие чудовищного дела, затеянного Маратами и Робеспьерами. Надо было опрокинуть ту самую мясорубку, о которой наш русский теоретический «робеспьер» — Белинский — вещал, потирая потные ручки: «Нет, что ни говорите, а мать пресвятая гильотина великая вещь».

Трагедия Наполеона в том, что был он личностью роковой в глубочайшем значении этого слова. Он двулик. И никто не подходил так близко к разгадке Наполеона, как Тютчев.

Сын революции! Ты с матерью ужасной
Отважно в бой вступил и изнемог в борьбе:
Не одолел ее твой гений самовластный!
Бой невозможный, труд напрасный:
Ты всю ее носил в самом себе.

Да, Наполеон — сын революции, тут вся его трагедия. А Раскольников, будучи сыном великой страны, сам добровольно заложил в душе своей начало революции, зачаток

всех ужасов, творящихся ныне в России. И все-таки он был неизмеримо выше и сложнее надуманного им «Наполеона». Тело на Раскольникове оказалось не из бронзы: уйти от угрызений совести он не мог. В этом залог его возможного спасения. Искусственного Наполеона надумал злой бунтарь, и вышло нечто неживое, самого бунтаря создавал великий художник мышления и получился человеческий лик, наделенный искрой Божьей.

Тот, кто сознательно объявляет духовный бунт, должен быть готов к хождению по мукам, должен предвидеть угрызения совести, его ожидающие. Раскольников, как он сам потом признается себе, заранее знал, что не выдержит. И в этом его отличие от робеспьеров, маратов и всех наших красных кремлевских убийц. Раскольников не слился воедино, не отожествился окончательно с искушавшим его духом глухим и немым, тогда как они, кровавые самозванные властители, ничем не отличаются от бесов, вошедших в них. Достоевский хорошо знал, что делал, когда озаглавливал свой роман, посвященный подлинным приверженцам и носителям духовного бунта: не «Одержимые», но «Бесы». Раскольников по отношению к этим бесам занимает положение, какое занимал молодой бунтующий Достоевский по отношению к петрашевцам. «Преступление и наказание» повествует о страшном духовном заболевании, приведшем Достоевского к стоянию у смертного столба и потом на каторгу, где долго, подобно Раскольникову, не мог он опомниться от наваждения и признать Христа не «симпатичной личностью», не пошлым гуманистом, а воистину Сыном Бога Живого. Но грозило Достоевскому, как и Раскольникову, выпадение из человеческого лика. Для гуманиста человек сам себе царь, нечто уже готовое, тогда как для христианина человек пневматологичен, он устремляется или вверх, к искуплению вины, к святости, к тому, чтобы стать истиным сверхчеловеком, или вниз — к утрате личности, к слиянию с безликой бесовщиной. Все это было так для Достоевского, прошедшего через каторжный опыт. Так ли все это стало для Раскольникова, мы не знаем. Во всяком

случае, в эпилоге «Преступления и наказания» говорится, что именно к искуплению вины шел на каторге Раскольников. Перед творческим взором автора «Преступления и наказания» вставал, как некая высшая реальность, образ кающегося идейного убийцы. Но немыслимо было бы поверить в возможность такого покаяния, не будь перед нами живого примера в лице самого Достоевского. Его деятельное идейное участие в заговоре петрашевцев — не безумие забав, прощаемое Богом, а настоящий пир злоумышления. И все же свершилось невероятное: Достоевский исцелился от тяжкого духовного заболевания и вернулся с каторги преображенным.

После изгнания Лужина ушли, не желая раздражать больного, и Зосимов с Разумихиным. В комнате с Раскольниковым оставалась одна Настасья, но он и ее попросил уйти. Тотчас вслед затем он встал и начал одеваться в платье, купленное для него Размухиным на толкучем рынке. «Странное дело: — замечает Достоевский, — казалось, он вдруг стал совершенно спокоен; не было ни полоумного бреда, как давеча, ни панического страха, как во всё последнее время. Это была первая минута какого-то странного, внезапного спокойствия. Движения его были точны и ясны, в них проглядывало твердое намерение. «Сегодня же, сегодня же!.. — бормотал он про себя».

Достоевский не говорит, откуда взялось «странное спокойствие», но из дальнейших событий выясняется, что в эту первую минуту Раскольников внутри себя безотчетно порешил «сегодня же» пойти в полицейский участок и сознаться во всем. И вот достаточно одного несознанного внутреннего намерения раскрыть перед людьми свое преступление, как уже Бог идет навстречу согрешившему, и взорванный грехом Адам начинает собирать воедино свои растерянные частицы. Однако вслед за первой минутой не скоро в таких случаях приходит вторая. Все тайное, поистине бытийственное, назревает в человеке вне его рассудка, с мучительной постепенностью, с перерывами и остановками, как травный росток под действием возвратного холода.

Одевшись, Раскольников взглянул на деньги, лежавшие

на столе, и положил их в карман. Денег было двадцать пять рублей, с медными пятаками в придачу, оставшимися от десяти рублей, истраченных на покупку платья. Потом он открыл дверь, спустился по лестнице и очутился на улице. Не то, чтобы сознательно хотел Раскольников пойти в полицейский участок и все рассказать. Нет, «он знал одно, что все *это* надо кончить сегодня же, за один раз, сейчас же; что домой он иначе не воротится, потому что *не хочет так жить*» (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.). «Как кончить? чем кончить? об этом он не имел и понятия, да и думать не хотел. Он отгонял мысль: мысль терзала его. Он только чувствовал и знал, что надо, чтобы всё переменилось, так или этак, «хоть как бы то ни было», повторял он с отчаянною, неподвижною самоуверенностью и решимостью».

Вот именно эта внерассудочная отчаянная решимость ускоряла теперь осуществление встреч и событий, давно назревших в душевных глубинах Раскольникова. Все, что свершилось внутри, проступало теперь наружу, воплощалось в мире явлений. Его снова как будто потянуло к людям. Но не все из тех, с кем заговаривал он на улице, принимали его. Очевидно, было в нем что-то самозамкнутое, герметически закрытое, недоступное общению. «Не доходя Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял молодой, черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати...

— Любите вы уличное пение? — обратился вдруг Раскольников к одному уже немолодому прохожему, стоявшему рядом с ним у шарманки и имевшему вид фланера. Тот дико посмотрел и удивился. — Я люблю, — продолжал Раскольников, но с таким видом, как будто вовсе не об уличном пении говорил, — я люблю, как поют под шарманку в холодный, темный и сырой осенний вечер, непременно в сырой, когда у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица; или, еще лучше, когда снег мокрый падает, совсем прямо, без ветру, знаете? а сквозь него фонари с газом блистают.

— Не знаю-с... Извините... — пробормотал господин,

испуганный и вопросом и странным видом Раскольникова, и перешел на другую сторону улицы».

Разгадка этого краткого, действительно, в высшей степени странного разговора таится в замечании, брошенном Достоевским мимоходом: «с таким видом, будто вовсе не об уличном пении говорил». О, да, совсем не об этом давал знать Раскольников стоявшему рядом с ним незнакомцу. Он пытался, всего лишь на одну минуту, приоткрыть дверцу, ведущую в бездну души, показать своему ближнему (не все ли равно какому — знакомому или незнакомому) на то, как все там застыло, оцепенело, стало мертвенно-зеленым, как затонувший труп. Нутро убийцы — могила убитых. Надо покаянно открыть ближним свой смертный грех, чтобы снова душа зазеленела по-весеннему. Но Раскольникову далеко до этого. Он убил и тем взял на себя неискупленные грехи своих жертв. Души убитых ушли в неведомую обитель, а их грехи остались на убийце и теперь разъедали, умерщвляли его.

Но что ответил бы незнакомый господин на вопрос, почему он испугался и даже перешел от Раскольникова на другую сторону улицы? Он, конечно, ничем не мог бы объяснить своего поступка. Он действовал бессознательно, повинуясь благословенному инстинкту самосохранения. Так же бессознательно поступал и Раскольников, когда в игре шарманки, в уличном пении, в бледно-зеленых больных лицах мучительно подыскивал нужный символ для того, чтобы выразить иносказательно первому попавшемуся прохожему отчаяние своей погибающей души. И как она изнемогала под тяжестью греха! Ни бури, ни ветра, один, падающий прямо, мокрый снег при мертвенном блистании газового фонаря, Раскольникова снова тянуло к людям: он искал сложить с себя черную ношу, не постигая сердцем, что сделать это можно лишь предварительно смирившись. Он все еще хотел бороться, воевать и с судьбой и с Небом, а если уж признаваться в преступлении, так с вызовом. Так, зайдя с улицы в трактир под громким названием «Хрустальный дворец», он повстречал там секретаря полицейской конторы Заметова и тотчас при-

ступил к игре, заскользил над бездной, наводя ищейку намеками на догадку. «И в один миг припомнилось ему до чрезвычайной ясности ощущения одно недавнее мгновение, когда он стоял за дверью, с топором, запор прыгал, они за дверью ругались и ломились, а ему вдруг захотелось закричать им, ругаться с ними, высунуть им язык, дразнить их, смеяться, хохотать, хохотать, хохотать!». Да, есть в такой игре греховное предвкушение вечности, пусть всего лишь на аршине пространства, и прав Пушкин: воистину, всё, что грозит гибелью, «для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья — бессмертья, может быть, залог». Но *такими* предвкушениями вечности разрушается душа дерзающего. Совершенно опустошенным вышел Раскольников из «Хрустального дворца». Он мог бы повторить теперь слова Вальсингама, безумного председателя из Пушкинского «Пира во время чумы»: «Я здесь удержан отчаянием, воспоминанием страшным, сознаньем беззаконья моего и ужасом той мертвой пустоты, которую в моем дому встречаю».

По выходе из трактира, Раскольников натолкнулся на встревоженного, всюду искавшего его Разумихина и, грубо отделавшись от непрошенных добрых забот приятеля, «прошел прямо на Н-ский мост, стал на середине, у перил, облокотился на них обоими локтями и принялся глядеть вдаль».

Всё, что в дальнейшем произошло с Раскольниковым в этот знаменательный для него день, развивалось с неукоснительной последовательностью, как нечто заранее подготовленное в духовных глубинах и теперь отражающееся вовне, в мире явлений. Такой подход к свершающемуся в жизни чужд и недоступен людям душевно-телесного склада, вроде Флобера, Тургенева, Льва Толстого, Чехова, Бунина. Читатели двадцатого века, развращенные реалистическим искусством, должны перестроиться на иной лад, чтобы идти вслед за Шекспиром, Сервантесом, Бальзаком, Гоголем, Достоевским, вслед за великой российской поэзией, от Державина до наших дней. Недаром у нас так мало настоящих ценителей поэзии. Ведь, ох! как нелегко переходить от костей и мяса, от душевных настроений и задушевного нытья, от какой-

нибудь Купринской «Ямы», картин Шишкина и Айвазовского к чему-то подлинно реальному, не только трехмерному, но и трехпланному. Понадобилось величайшее крушение, поныне все еще продолжающееся, чтобы очнуться от усыпительных описаний житья-бытья тех времен, когда мы не жили, а поживали, да добра наживали. Мудрено прийти в себя «от перенюха роз и оперного пенья», как сказал по поводу произведений Тургенева один одаренный шутник. Но стояние у смертного столба и щи с тараканами на каторге далеко отстоят от bel canto. Перед Достоевским раскрывались пропасти человеческой души. И, прежде всего, он увидел, что нет в жизни изолированной, отдельной личности, что все мы отражаем и дополняем друг друга. Нет человечества, есть грехом раздробленный Адам, а мы — его частицы, неустанно ищущие воссоединения, стремящиеся один к другому с тем, чтобы снова взорваться под напором греха и снова, в тоске и надрыве, искать воссоединения. Здесь замечу, что я никогда не мог понять, почему Вячеслав Иванов, тончайший знаток творчества Достоевского, так грубо однажды ошибся. По его мнению, персонажи Достоевского не всегда житейски обснованно собираются вместе тут или там, что такие внезапные сборища нужны и удобны автору, но ходом событий не оправданы. Пиши Достоевский реалистические романы, утверждение Вячеслава Иванова было бы справедливо. Но, ведь, сам он первый заметил, и в этом его большая заслуга, что романы Достоевского мистериальны. При развитии мистерии автор не всегда может, без нарушения художественной меры, задерживаться на житейских причинностях. И жизнь и искусство, в данном случае, — на стороне Достоевского. Он на собственном опыте познал, что́ такое неожиданность, необъяснимость и чудесность событий. Он заработал право отвечать на наши требования естественности: у меня это так, потому что это так. Всех причин не соберешь, а фантастичности ежедневных будничных происшествий все равно не перещеголяешь.

*

«Простившись с Разумихиным, он (Раскольников. — Г. М.) до того ослабел, что едва добрался сюда. Ему захотелось где-нибудь сесть или лечь на улице. Склонившись над водою, машинально смотрел он на последний розовый отблеск заката, на ряд домов, темневших в сгущавшихся сумерках, на одно отдаленное окошко, где-то на мансарде, по левой набережной, блиставшее точно в пламени от последнего солнечного луча, ударившего в него на мгновение, на темневшую воду канавы, и, казалось, со вниманием всматривался в эту воду. Наконец, в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, — все это завертелось и заплясало кругом. Вдруг он вздрогнул, может быть спасенный вновь от обморока одним диким и безобразным видением. Он почувствовал, что кто-то стал подле него, справа, рядом; он взглянул — и увидел женщину, высокую, с платком на голове, с желтым, продолговатым, испитым лицом и с красноватыми, впавшими глазами. Она глядела на него прямо, но, очевидно, ничего не видала и никого не различала. Вдруг она облокотилась правою рукой о перила, подняла правую ногу и замахнула ее за решетку, затем левую, и бросилась в канаву. Грязная вода раздалась, поглотила на мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла и ее тихо понесло по течению, головой и ногами в воде, спиной поверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой.»

Баратынский, по рассказам близких ему людей, определял поэзию как «полное ощущение известного мгновения». Это верно. Но еще точнее было бы сказать, что поэзия есть исчерпывающее *выражение* мгновения, когда удалось поэту уловить и закрепить в слове мимолетный миг, выразить, оформить по-своему его метафизическое содержание, вывести наружу то, что пребывало внутри в немоте. Тогда как бы останавливается время, и выраженное поэтом мгновение «свое ликует торжество». Ряд таких мгновений полновесного творчества имеется в только что приведенном мною от-

рывке из «Преступления и наказания». Все, происходящее в душе Раскольникова, нерасторжимо сцеплено там с явью, нашло себе выражение в ней, а то, что принято называть действительностью, явью, — запрокинулось внутрь, стало символом, вещим выражением, инобытием свершившегося в духовных глубинах. Великое искусство всегда сопоставляет внешнее с внутренним и раскрывает их тождественность. С каждым из нас происходит в жизни только то, что мы сами себе подготовили в собственной глубине, обращенной и к Небу и к аду. Можно по внешним признакам, происшествиям, встречам угадать с абсолютной точностью духовные состояния каждого из нас. Вот именно такие угадывания и выражения их в слове, красках, звуках, осуществляемые лишь в предельном напряжении всех сил, следует называть высшей стадией искусства.

Разговор в трактире с Заметовым, игра с гибелью, стояние «бездны мрачной на краю» утомили Раскольникова, и он — на этом Достоевский настаивает — так ослабел, что едва добрался до перил моста. Крайняя усталость, истощение сил телесных и душевных дают ощутить приближение конца, умирания и, одновременно, обостряют внутреннюю зоркость; человек двоится, троится в себе и начинает видеть свою таинственную связь со всем происходящим вокруг него. Все, им видимое, живет своей отдельной жизнью, но, в то же время, он воспринимает это как прямое продолжение самого себя. Подобное состояние охватывает человека, когда он стоит на грани погасания, чему вполне соответствуют сумерки. Растворяясь в них, можно лишь повторить сказанное Тютчевым: «Все во мне и я во всем». Но это ощущение слияния с миром, с точки зрения христианской, греховно: оно порождено не цельной, а раздробленной, потерявшей себя личностью.

Склонившись над водою, Раскольников смотрел на последний отблеск заката, на отдаленное окошко мансарды, блиставшее, точно в пламени, от последнего солнечного луча, и всматривался в темневшую воду канала. Смотря на все это, он как бы наблюдал за собою и видел пламенный очаг

своей души, видел собственную душу такой, какой она вышла из рук Творца, повелевшего ей быть. И вот теперь близился ее закат, ее отход: никогда не умирающее сердце уходило в неведомую область сердец, а самого Раскольникова поджидала чернеющая вода канала, вода! — то, что течет, уходит и может бесследно поглотить любого из нас. Ее поток, по слову того же Тютчева, «неодолим, неудержим и не вернется вспять». Тут вдруг воочию увидел Раскольников распадение мира, раздробление согрешившего Адама: «в глазах его завертелись какие-то красные круги, дома заходили, прохожие, набережные, экипажи, — все это завертелось и заплясало кругом». Раскольников, возможно, упал бы в обморок, но от такого подобия смерти спасло его «одно дикое и безобразное видение». Замечательнее и многозначительнее всего, что он прежде *почувствовал*, что кто-то встал подле него, и только потом явилось видение, неслышно подошедшее к нему совсем близко. Как будто оно пришло не откуда-нибудь со стороны, но выделилось из самого Раскольникова и было до того неотъемлемой частью его внутреннего «я», его совестью, им самим угнетенной, изуродованной, изгнанной. Оттого и сделалось ему дурно, что отделялось от него в эту минуту нечто самое в нем сущное. Но несомненное видение оказалось столь же несомненной женщиной, совершенно реально существующей в трехмерном мире.

По Достоевскому, мы творим из себя наши встречи с другими, нет изолированной человеческой личности, все мы взаимно вызываем, отражаем и продолжаем друг друга, и каждый из нас содержит в себе другого, задолго до встречи с ним.

Женщина, представшая на миг перед Раскольниковым, была высокая, с желтым испитым лицом и с красноватыми впавшими глазами. Такие лица бывают у горьких пьяниц, чего же реалистичнее! Однако Достоевский тотчас спешит прибавить, что женщина глядела на Раскольникова прямо, «но очевидно ничего не видала и никого не различала». Так смотрят призраки или же существа, решившие покончить счеты с земной жизнью и как бы уже ставшие призрачными.

Эта женщина связана с Раскольниковым изнутри круговою порукой греха, и потому как раз в тот миг скрестились их существования, когда опустошенному кровавым преступлением человеку уже некуда и не к кому было пойти, когда он остался наедине с духом глухим и немым, а она, «допившись до чертиков», искала спасения от них в грязной воде канала, — в сумерки, когда все грани стираются, и все вот-вот исчезнет в темноте.

Человек предполагает, Бог располагает. Женщине, глядевшей невидящими глазами, не суждено было в тот день утопиться, а перед Раскольниковым открывались пути, им не предвиденные.

— «Утопилась! утопилась! — кричали десятки голосов...

— ... Батюшки, да ведь это наша Афросиньюшка! — послышался где-то недалеко плачевный женский крик. — Батюшки, спасите! отцы родные, вытащите!»

Здесь толпа была совсем не та, что тогда в распивочной, во время всенародной исповеди Мармеладова. Теперь проявлял себя не бездушный коллектив, но действовала живая соборность. Один Раскольников оставался в постылом одиночестве, и недаром люди напирали на него сзади, не замечая, силясь как будто столкнуть его через перила в воду.

— «Лодку! лодку! — кричали в толпе.

Но лодки было уже не надо: городовой сбежал по ступенькам схода к канаве, сбросил с себя шинель, сапоги, и кинулся в воду...

— ...До чертиков допилась, батюшки, до чертиков, — выл тот же женский голос уже подле Афросиньюшки, — анамнясь удавиться тоже хотела, с веревки сняли...

— ...Народ расходился, полицейские возились еще с утопленницей, *кто-то крикнул про контору*». (Выделено мною — Г. М.).

Упоминание о полицейской конторе звучит при таких обстоятельствах вполне естественно; не случайно расслышал его и Раскольников. Ведь когда еще только собирался он убивать ростовщицу, донесся со двора в его гробную комнатушку чей-то возглас: «Семой час давно!» То прокричал,

обращаясь к кому-то один из жильцов густо населенного дома. Но для Раскольникова эти слова прозвучали тогда, как нечто роковое, неведомое существо предупреждало его, что надо торопиться с убийством, пока старуха сидит у себя в квартире одна. Теперь же, услышанное им упоминание о конторе донеслось не из злых областей, а шло от самой жизни, от ее тайной, нескудеющей силы, всегда в глубине своей благодатной.

Напоминание не есть повеление. Раскольникову предстояло пройти по многим путям и перепутьям, прежде чем добраться до спасительных полицейских властей.

«Ну так что ж! и пожалуй! — проговорил он решительно, двинулся с моста и направился в ту сторону, где была контора. Сердце его было пусто и глухо». Ведь он только что видел на отдаленном окне мансарды последний пламенный отблеск покидающей его дневной жизни. Теперь стал Раскольников совсем темным, ночным, бездушным.

«Что ж, и это исход!» — думал он, тихо и вяло, идя по набережной канавы. «Все-таки кончу, потому что хочу... Исход ли, однако? А все равно! Аршин пространства будет, — хе!»

Он уже знал, что жизнь отпускает ему всего один аршин земли, не больше, не три аршина на могилу, но один для существования на искупительной каторге.

«В контору надо было идти все прямо и при втором повороте взять влево: она была тут в двух шагах. Но дойдя до первого поворота, он остановился, подумал, поворотил в переулок и пошел обходом, через две улицы, — может быть безо всякой цели, а, может быть, чтобы хоть минуту еще протянуть и выиграть время. Он шел и смотрел в землю. Вдруг как будто кто шепнул ему что-то на ухо. Он поднял голову и увидал, что стоит у *того* дома, у самых ворот. С *того* вечера он здесь не был и мимо не проходил.

Неотразимое и необъяснимое желание привлекало его. Он вошел в дом». (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.).

Итак, не то, что зовется подсознанием, привело его сюда, и уж, конечно, не случай. Автор настойчиво подчерки-

вает, что Раскольников шел и смотрел в землю, когда кто-то как будто шепнул ему что-то на ухо. Все это ясно и точно сказано, и поклонникам психоанализа остается только пожать плечами и развести руками. Есть, впрочем, положения, при которых Достоевский сам ссылается на нечто близкое к «подсознанию», но он всегда оговаривает их с не меньшей ясностью.

Можно допустить, что, говоря о том, как и при каких обстоятельствах Раскольников подошел к дому, Достоевский отдаленно имел в виду правило, почти не знающее исключений и давным-давно известное полиции всех стран: какая-то воля действительно влечет преступника к месту его преступления. Что же это за воля?

Трудясь над «Преступлением и наказанием», Достоевский ни на минуту не забывал о «Пиковой даме» Пушкина. Герман услышал однажды рассказ Томского о старой графине, владеющей тайной трех безошибочно выигрывающих карт, и на следующий день вечером, бродя без цели по Петербургу, очутился в одной из главных улиц перед домом старинной архитектуры. «Чей это дом? — спросил он у углового будочника. — Графини .... — Герман затрепетал». Что привело или, вернее, кто привел его к незнакомому дому? Никакого преступления Герман еще не совершил, а вот кто-то уже подтолкнул его к роковому дому, в котором и решится его страшная судьба. Все стихотворные и прозаические произведения Пушкина можно, за редчайшими исключениями, подвести под единую формулу: вторжение в существование человека сверхъестественных сил и многосложное рассмотрение того, что из этого получается. Об этом основном в произведениях Пушкина положении первым заговорил Ходасевич. Оно перешло по наследству к Гоголю и Достоевскому и так же стало в их творчестве основным.

Неведомая сила, овладевшая Германом, владела и Раскольниковым, она привела его, куда хотела, «что-то шепнула ему на ухо» и втолкнула в дом. Почему же, все-таки, на тот или иной лад, но влечет убийцу вернуться к месту

преступления? Потерянную вещь ищут там, где ее потеряли. Не всуе зовут тяжкого преступника потерянным человеком — в языке есть веками накопившаяся мудрость. Впадая в смертный грех, мы теряем свою личность; тогда нас тянет к тому месту, на каком мы ее утратили. Тяга страшная, потому что бесполезная. Можно отыскать вещь, но возможно ли найти невидимое, невесомое, духовное? И все же, — говорит поэт, — «Сам потерял, теперь ищи!»

Раскольников поднялся по лестнице до четвертого этажа. Дверь, ведущая в квартиру убитой ростовщицы, была настежь открыта. Слышались чьи-то голоса. «Недоумение взяло его...» Он вошел в квартиру. «Ему представлялось почему-то, что он всё встретит точно так же, как оставил тогда, даже, может быть, трупы на тех же местах на полу. А теперь: голые стены, никакой мебели; странно как-то! Он прошел к окну и сел на подоконник». В комнатах было двое работников. Они оклеивали стены новыми обоями. Да, жизнь торопилась вперед, не останавливаясь, стремилась куда-то к незнаемой цели. Зато в убийце все остановилось, застыло. А кругом него все изменилось. «Вам чего-с?» — спросил старший рабочий. «Вместо ответа, Раскольников встал, вышел в сени, взялся за колокольчик и дернул. Тот же колокольчик, тот же жестяной звук!» Один колокольчик не изменил живому мертвецу. «Прежнее, мучительно-страшное, безобразное ощущение начинало всё ярче и живее припоминаться ему, он вздрагивал с каждым ударом, и ему всё приятнее и приятнее становилось». Почему? Не потому ли, что когда он только шел убивать старуху, тянулась для него жизни нить, пусть страшной, безобразной, но всё же еще живой. Да, бесспорно. Но было в этом ужасном «приятнее и приятнее», что-то действительно демоническое, чувствовалась в нем какая-то черная радость греха. Сложен человек, не одолеть его глубины никакими «психоанализами».

По-видимому, Раскольников уже порешил про себя пойти в полицейский участок и во всем сознаться. На второй окрик работника — ...«Кто таков?» — он прямо и просто ответил вопросом: — «Пол-то вымыли; красить будут? Крови-

то нет?» И когда удивленный работник снова крикнул ему в беспокойстве: «— Да что́ ты за человек?» — он ответил: «— Пойдем в контору, там скажу».

Раскольников стал медленно сходить по лестнице. Рабочие шли за ним. «Несколько людей стояло при самом входе в дом с улицы, глазея на прохожих: оба дворника, баба, мещанин в халате и еще кое-кто. Раскольников пошел прямо к ним».

Он чувствовал, что всё умирает в нем, что нет больше сил переносить одиночество, что надо подать весть о себе при ком-нибудь и хоть как-нибудь. Но весть у него была лишь одна: «Я убил!» Но как сказать это прямо? Ему казалось, что духовные нити, соединявшие его с людьми, были порваны все до единой. В этом он, может быть, не совсем ошибался.

«— Чего вам? — отозвался один из дворников.

— В контору ходил?

— Сейчас был. Вам чего?

...Раскольников не отвечал и стал с ними рядом, задумавшись». Его необычный вид, странный вопрос о конторе уже сами по себе могли возбудить смутные подозрения. Но когда, подошедшие вслед за Раскольниковым, работники рассказали, как приходил он смотреть квартиру и заговаривал о крови, дворник нахмурился.

«— Да вы зачем в фатеру-то приходили?

— Смотреть.

— Чего там смотреть?

— А вот взять, да свести в контору! — ввязался вдруг мещанин и замолчал.

Раскольников через плечо скосил на него глаза, посмотрел внимательно и сказал так же тихо и лениво: — Пойдем!

— Да и свести! — подхватил ободрившийся мещанин. — Зачем он об *том* доходил, у него что́ на уме, а?» (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.).

Ни мещанин, ни Раскольников не знали тогда, при ка-

ких обстоятельствах доведется им скоро встретиться. Оба они даже отдаленно не подозревали, какие тайные духовные нити соединяют их существования. Нет, заблуждался Раскольников, не все между ним и людьми было порвано!

Странный разговор с дворником и мещанином кончился тем, что второй дворник, огромный мужик в армяке нараспашку и с ключом за поясом, схватил Раскольникова за плечо и бросил на улицу.

«— Нечего связываться, — решил большой дворник. — Как есть выжига! Сам на то лезет, известно, а свяжись, не развяжешься... Знаем!»

Для Раскольникова наступила минута страшного душевного опустошения, как будто все и всё в мире *безвозвратно* покинули его. Такой пустоты и такой темноты не в силах выдержать никто. Теперь на деле познал Раскольников всю правду слов Мармеладова: «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти. Ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь да пойти!»

«Так идти, что ль, или нет?» — думал Раскольников, остановясь посреди мостовой на перекрестке и осматриваясь кругом, как будто ожидая от кого-то последнего слова. Но ничто не отозвалось ниоткуда: *всё было глухо и мертво, как камни, по которым он ступал, для него мертво, для него одного...*» (выделено мною. — Г. М.).

На этом кончается воля самого Раскольникова; она неспособна больше привести его куда-нибудь, кроме полицейской конторы, да и то лишь по инерции, бессмысленно и бесчувственно. Казалось, дух глухой и немой восторжествовал над ним всецело. Но не одна природа не терпит пустоты — ее не терпит Бог. И когда кто-нибудь впадает в черное, мертвое, неподвижное отчаяние, тогда-то и вспыхивает для него неожиданно чудо бытия. Это знал наш великий поэт Тютчев, сам испытавший неоднократно весь ужас духовной опустошености, отчаяния, неверия и завещавший нам поистине бессмертные слова:

Чему бы жизнь нас ни учила,
Но сердце верит в чудеса.
Есть нескудеющая сила,
Есть и нетленная краса.

Чудо всегда совершается неожиданно и внезапно. Так случилось и с Раскольниковым. К тому, чтобы сознаться в преступлении, он в глубине своей не был готов. Его душе предстояло еще испытать предварительно вторжение ангельских сил и пройти при содействии потусторонней злой воли через соблазн запирательства.

Бытие трехпланно, и веяния из иных областей доходят до нас через посредников, через нас же самих, несущих друг другу нездешние вести и повеления. Их также доносит до нас безостановочный поток жизненных событий. На помощь Раскольникову спешила чья-то отходящая душа. «Вдруг, далеко, шагов за двести от него, в конце улицы, в сгущавшейся темноте, различил он толпу, говор, крики... Среди толпы стоял какой-то экипаж... *Замелькал среди улицы огонек* (выделено мною. — Г. М.). «Что такое?» Раскольников поворотил вправо и пошел на толпу. Он точно цеплялся за всё и холодно усмехнулся, подумав это, потому что уж наверное решил про контору и твердо знал, что сейчас всё кончится».

Но жизнь не считалась с мертворожденными решениями Раскольникова и поворачивала его к иному. Перед ним снова были люди и снова мерцал для него огонек в ночи. Последний пламенный отблеск уходящего солнца на окне отдаленной мансарды не унес с собой сердца несчастного убийцы, оно еще билось в нем, и он хотел жить. За черным хождением по мукам мерещился просвет, маячила какая-то искра и звала к себе.

Свет в ночи

Раскольников подошел к толпе. «Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей; седоков не было, и сам кучер, слезши с козел, стоял подле; лошадей держали под уздцы. Кругом теснилось множество народу, впереди всех полицейские. У одного из них был в руках зажженный фонарик, которым он, нагибаясь, освещал что-то на мостовой, у самых колес».

Свет в ночи́, еще издали завиденный Раскольниковым, исходил как раз от фонарика в руках у полицейского, и уже одно это было знаменательно. Но ведь в жизни все знаменательно, только никто из нас не замечает этого. Мы не привыкли налету ловить и разгадывать вещие сигналы и знаки, и даже избранный, творческий человек, кому «звездная книга ясна», лишь изредка, в особые минуты душевного просветления различает внутренний тайный смысл того, что происходит вблизи и у него самого под ногами. Да и возможно ли дышать в постоянном напряжении духовного внимания? Мы живем лишь проблесками постижения. В древние времена люди верили приметам и лучше нас угадывали подлинное значение событий. Вера в приметы неотъемлемо входила в сложную демонологию язычества. В сущности, то была не вера, но магическое, вполне позитивное, знание. Духи, окружавшие мага, общались с ним через приметы, говорили с ним на языке вещей. Ныне такой язык никому не внятен, и тайное может раскрываться нам только в свободе христианского мировосприятия. Но мы страшимся истинной свободы, — нас сразила болезнь, из всех болезней наихудшая: мы страдаем *науковерием*. Современный человек, по слову поэта, «вдался в суету изысканий». Древний язык примет нам теперь недоступен, а новозаветного языка мы при-

нять не захотели. Нами владеет пошлый картезианский скептицизм, низкая рассудочность, любовь к дешевой ясности. Знамений мы просто не различаем и все знаменательное почитаем случайностью. Но Достоевский как художник, как творец ведал, что ни один волос с головы человека не падает случайно и что всё, принимаемое нами за внешнее, есть живое отражение внутреннего.

Прежде, чем подходить к творениям Достоевского, надо отказаться от плоских рассуждений Декарта, отучиться от них и вернуться к великому Паскалю. Сделать это нам, русским, все же легче, чем французам. Французская революция, иными словами система безбожия, удалась, породив самодовольного пореволюционного буржуа, а наша революция провалилась, поравняв всех одинаково в пустоте, нищете и несчастье. В скорби и немощи познаются высшие реальности, как познавал их Достоевский. В его судьбе, в преодолении им духовного бунта искупительной каторгой, должны мы искать преображения. Достоевский своим художеством, своим искусством мышления заново обнаружил для нас взаимную зависимость друг от друга людей и вещей. Он показал нам, что в запредельной своей глубине мир по-прежнему целен, нераздробим и неделим, что все во вселенной взаимопроницаемо, что разъединения, расщепления призрачны и возникают в нас как кошмар от греха. Не мир распадается, а человеческий ум, отвернувшись от жизни сердца, заблуждается, превращая для себя цельную, Богом благословенную глыбу бытия в рассыпающуюся дробь. Для того, чтобы снова открылось нам прорицающее сердце природы и могли бы сердца человеческие, как встарь, вступить в духовное взаимообщение, надо соборно отказаться от дурной отвлеченности, от бесплодных, якобы научных, теорий, прильнуть душою к живым существам и вещам и возродить древнюю связь с родными пенатами. В общении с ними, духами, населяющими отчий дом, проходит наше детство и укрепляется самостоянье человека. Надо во многом возвратиться к детским восприятиям жизни. Тогда откроются нам потаенные ходы бытия и обнаружатся дотоле скрытые неразрывные сра-

щения между собой всех явлений и вещей, всего живущего. Тогда мы увидим, наконец, что каждый шаг, каждое движение и положение возникают в жизни, порождая друг друга изнутри. Достоевский всё это знал и видел, и воспринимать его творения значит приобщаться к непрерывному религиозному процессу существования, исключающему какую бы то ни было случайность. Читать Достоевского — не шутки шутить, но самого себя до глубины корней переделывать, возвращаясь вместе с ним к средневековому мирочувствию и устремляясь в будущее душою души — духом, свободным от рассудочной скверны.

Фонарик в руках полицейского указывал Раскольникову на единственную тропу, по которой должен был следовать теперь убийца в поисках выхода из душевного мрака, наглухо отъединившего его от солнца живых. Тут опять необходимо вспомнить слова Раскольникова, сказанные им впоследствии Соне и уже приведенные мною однажды. Он обещает сказать ей, кто убил Лизавету, и на вопрос Сони «— Да разве вы знаете, кто убил?», — отвечает: — «Знаю и скажу... Тебе, одной тебе. ...Я тебя давно выбрал, чтоб это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил, и *когда Лизавета была жива, я это подумал*». (Подчеркнуто здесь и ниже мною. — Г. М.)

В минуты духовного напряжения нашему сознанию открывается то, что мы заблаговременно только предчувствуем. Но ведь предчувствие есть *знание сердца*, предугадывающего события. Внимая исповеди Мармеладова, сердцем ведал Раскольников, что неминуемо встретится с Соней. Более того, сердце его уже знало тогда, что он убьет Лизавету, хоть он никогда и не помышлял об этом, да и не мог помышлять. Во всерешающем разговоре с Соней предварительное *знание сердца* принимает Раскольников *за сознание*. По утверждению Достоевского, «можно многое знать бессознательно». Иными словами, человек всей натурой, всем нутром ведает о том, что *уже* совершилось в глубинах его души и готово поступить наружу, осуществиться вовне. Когда решается судьба человека, стираются в нем грани между пред-

чувствием и сознанием, он сам перед собою предстает целиком, как бы вне времени, олицетворяя поистине всем своим существом не рассудочное, но подлинное о себе знание.

На следующий день, после «пробы» и беседы с Мармеладовым в распивочной, Раскольников повстречал Лизавету на Сенной площади. «Когда Раскольников, — пишет Достоевский, — вдруг увидел ее, какое-то странное ощущение, похожее на глубочайшее изумление, охватило его, хотя во встрече этой не было ничего изумительного». Вот именно это «*какое-то странное*» ощущение и было вестью, исходящей от сердца, уже «знавшего бессознательно», что он убьет Лизавету. Но рассудок молчал и ничего не понимал. Оттого и возникает в Раскольникове глубочайшее изумление перед самой казалось бы обычной встречей, о роковом значении которой сердцу ведомо всё, а рассудку ничего. Рассудок в неведении своем изумляется, а сердце еще таит все созревшее и готовое поступить наружу — воплотиться в мире явлений. Вещие сновидения, предсказывающие то, что потом происходит наяву, возможны только потому, что внутренние свершения опережают явленные события. Сердцу человека открывается иногда в сноведении подлинная реальность еще до того, как успеет она отразиться в земной трехмерной действительности. Достоевский хорошо это знал, и сны в его творениях преисполнены реального значения. Он зорко следил за ежедневной печатью, ловя в немудреных газетных заметках потаенный смысл происшествия. Биение мирового пульса яснее всего различал Достоевский в злободневности. Поэтому позволю себе сейчас и я привести, в подтверждение моей мысли, пример, взятый мною из вчерашней французской газеты. Думается, это нисколько не нарушит стиля и ритма, присущих автору «Преступления и наказания».

Мелкий почтовый служащий, по имени Амедей Леру, человек пожилой, совершенно не пьющий, весьма положительный и всеми уважаемый за неизменную сдержанность и молчаливость, рассказал, смеясь, своим сослуживцам содержание странного сна, только что до того приснившегося

ему ночью. «Мне снилось, — говорит Леру, — что меня убили. Я шел по улице и внезапно кто-то стал стрелять в меня из ручного пулемета. Я упал на мостовую, но тотчас поднялся на ноги с удивительной, никогда до того не испытанной мною легкостью и отряхнул с себя пыль. Я был невредим. Странно это, не правда ли?»

Через три недели после этого рассказа Леру действительно убили на улице из пулемета алжирские террористы, по ошибке приняв его за другого. «На этот раз, — наивно добавляет от себя газетный хроникер, — Леру уже не встал с мостовой, как ни в чем не бывало, а действительно был убит». Да, тело Леру лежало на мостовой, но дух, но бессмертное сердце убитого испытывали теперь удивительную легкость в движениях, предугаданную им во сне.

Могла ли бы присниться Леру собственная судьба, если не была она подготовлена заранее им самим в недрах его души к осуществлению в трехмерной действительности. Нельзя не испытать некоторой печали при мысли о том, что никто в ежедневной столичной сутолке не обратил, по-видимому, внимания на непостижимую трагическую судьбу одинокого, никому не нужного мелкого почтового служащего. А Достоевский несомненно сосредоточил бы все свои творческие силы на такой, как принято говорить, случайности. Он нашел бы в ней великую опору для всего своего миропостижения. И вот, в память творца «Преступления и наказания», я делаю то, что сделал бы он — отмечаю бездонное значение простого уличного происшествия. Ведь тайна творчества, быть может, очень проста; существа, подобные Достоевскому, идя по улице, видят и подбирают себе и другим на потребу то, что люди не замечают или принимают за сор и на ходу отталкивают ногами. Так же точно не замечал и не понимал Раскольников важного для него значения огонька, призывавшего его в ночи́. Мир, по Достоевскому, в глубине своей нерушимо целен. Зло гнездится на поверхности человеческой души и лишь в редчайших случаях поражает ее средоточие. Тогда остается человеку единственное прибежище: чудо.

Прежде чем увидеть в толпе огонек фонаря, Раскольников почувствовал на мгновение свое совершенное ничтожество, отчаяние от покинутости на самого себя, мерзость душевного запустения. Он испытал на себе жалкую человеческую беспомощность, чтобы тотчас же вслед за тем несознанно ощутить «меру вышних сил», идущих к нему на помощь.

*

Раскольников протеснился через толпу, кричащую и ахающую. «На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек, без чувств, по-видимому, очень худо одетый, но в «благородном» платье, весь в крови. С лица, с головы текла кровь; лицо было всё избито, ободрано, исковеркано». Кучер, причитая, оправдывался. Свидетельские отзывы из толпы подтверждали его правоту: шел пьяный человек и по собственной вине попал под лошадей. Раскольников нагнулся над лежащим. Вдруг фонарик ярко осветил лицо несчастного: он узнал его — это был Мармеладов.

Странное дело! Только что до того опустошенный собственным тяжким преступлением убийца мгновенно ожил и захлопотал. Забыв о себе, он устремился навстречу людям, как будто возможность спасения таилась для него в изувеченном лошадиными копытами окровавленном теле Мармеладова. По настоянию Раскольникова, обещавшего заплатить за труды и даже успевшего сунуть в руку кому надо, решили перенести бесчувственное тело Мармеладова в его квартиру, находившуюся совсем близко, шагах в тридцати. «Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу». Так поступал человек еще совсем, совсем недавно размозживший обухом топора голову старухе и разрубивший острием лицо и череп Лизавете, глядевшей на него с неизъяснимым ужасом в кротких глазах. Как совместить все это? А вот жизнь и душа человеческая совмещают, и никакой меркой не измерить их бездонности. Можно только еще и еще раз повторить: это так, потому что это

так. Через земную жизнь и наши души проходят божественные и инфернальные токи, длится борьба светлых воинств с бесовскими легионами и, по слову поэта, каждый из нас «связь миров повсюду сущих», точка пересечения всех вселенских сил, между собою сочетающихся или враждующих. «Раскольников был в удивительном волнении», — добавляет Достоевский, не объясняя, откуда оно могло возникнуть и лишь подчеркивая его непостижимость.

«— Сюда, сюда! На лестницу надо вверх головой вносить; оборачивайте... вот так! Я заплачу, я поблагодарю, — бормотал он» (Раскольников. — Г. М.) Невидимая рука вела его снова в семейные недра Мармеладова. Только теперь он не вел под руку пьяного хозяина этих недр, а помогал нести его еще живое, окровавленное тело. Кровавые пятна снова обагрили Раскольникова, но уже совсем при других, провиденциальных обстоятельствах. Кровь Мармеладова благодатно отмечала убийцу, предуготовляла его к встрече с единородной дочерью умирающего и вела к Евангелию, подаренному когда-то Соне ее крестовой сестрой, Лизаветой. Благодатный круг замыкался наперекор золотому колечку с тремя красными камешками, полученному Раскольниковым от Дуни, и связавшему его с ростовщицей, а потом, через Дуню же, с Свидригайловым. Теперь Раскольников был весь в крови своих ближних и сам это видел и чувствовал. Когда, позднее, «он быстро вышел из комнаты, поскорей протесняясь через толпу на лестницу», то «в толпе вдруг столкнулся с Никодимом Фомичом (полицейским надзирателем. — Г. М.), узнавшем о несчастии и пожелавшим распорядиться лично...

— А как вы, однако ж, кровью замочились, — заметил Никодим Фомич, разглядев при свете фонаря несколько свежих пятен на жилете Раскольникова.

— Да, замочился... я весь в крови! — проговорил с каким-то особенным видом Раскольников, затем улыбнулся, кивнул головой и пошел вниз по лестнице». Кто-то невидимый, как нарочно, устраивал его встречи с полицией. Закон и право упорно напоминали о себе. Но когда Раскольников входил, возглавляя страшное шествие, в проходную комнату

Мармеладовых, он не замечал кровавых пятен на своей одежде, он стремился всем сердцем к умирающему человеку, к своему ближнему, забрасывая в собственную душу, сам того не сознавая, некое спасительное семя.

«Катерина Ивановна, как и всегда, чуть только выпадала свободная минута, тотчас же принималась ходить взад и вперед по своей маленькой комнате, от окна до печки и обратно, плотно скрестив руки на груди, говоря сама с собой и кашляя». Она мечтала и жила мечтою, своевольно разукрашивая свое далекое прошлое, в ее воображении вставшее райским видением. «В последнее время, — замечает Достоевский, — она стала всё чаще и больше разговаривать со своей старшею девочкой, десятилетней Поленькой, которая, хотя и многого еще не понимала, но зато очень хорошо поняла, что нужна матери, и потому всегда следила за ней своими большими умными глазками и всеми силами хитрила, чтобы представиться всё понимающею.»

Никто не умел подойти так близко к детской душе и так глубоко в нее проникнуть, как опаленный инфернальным огнем Достоевский. Чехов, например, очень любил детей, говорил о них с ласковым юмором взрослого, чрезмерно, быть может, трезвого человека и лишь слегка, словно кончиками пальцев, касался их мира. А Достоевскому детская душа открывалась полностью потому, что как художнику ему дано было приникать к первоистокам бытия, уходить в первожизнь, а за нею в иножизнь. Там, в запредельной глубине, сиял для него Христос и улыбались дети. Вот и Катерина Ивановна, измученная судьбою, духовно ничуть не старше Поленьки, оттого и могла беседовать с десятилетней дочерью, как с равной себе по уму и по опыту. Но нельзя говорить своими словами о том, что высказано Достоевским словами единственными, незаменимыми. Он один в состоянии не только воспроизвести своим искусством страшные лики нищеты и несчастья, но еще и раскрыть тайное значение свершающегося, показать, что в конце всех концов нет древнего рока, побежденного Голгофой, а есть один суд Божий и мистериальное нарастание неотвратимых событий, порож-

денных нами самими и обрушенных нами же на себя и близких.

«Катерина Ивановна как будто еще больше похудела в эту неделю, и красные пятна на щеках ее горели еще ярче, чем прежде... — Что это? — вскрикнула она, взглянув на толпу в сенях и на людей, протеснявшихся с какою-то ношей в ее комнату. — Что это? Что это несут? Господи!..

— На диван! кладите прямо на диван, вот сюда головой, — наказывал Раскольников.

— Раздавили на улице! пьяного! — крикнул кто-то из сеней».

Поражает у Достоевского это, всегда внезапное, вторжение в действительность *чьих-то* безвестных голосов, точно кто-то чужой всему происходящему вокруг напоминает о себе, бесстрастно отмечая неукоснительный ход жизни.

Раскольников был поглощен заботами об умирающем и о Катерине Ивановне.

«— Ради Бога, успокойтесь, не пугайтесь! — говорил он скороговоркой; — он переходил улицу, его раздавила коляска, не беспокойтесь, он очнется, я велел сюда нести... я у вас был, помните... Он очнется, я заплачу».

Что-то живое слышалось в этих поспешных, отрывистых словах. Злостного одиночества в гробной каморке как не бывало. Падший Адам собирал свои растерянные частицы, приобщаясь к соборной жизни.

«— Добился! — отчаянно вскрикнула Катерина Ивановна и бросилась к мужу.

Раскольников скоро заметил, что эта женщина не из тех, которые тотчас же падают в обмороки». Забывши себя, она вся ушла в заботы о раненом. Послали за доктором. Поленька, по распоряжению матери, побежала за Соней.

«Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде». Сбежались чуть ли не все жильцы Амалии Людвиговны — взбалмошной немки — мещанки. Прослышав о несчастии, она явилась сама наводить порядок, требовать у Катерины Ивановны, чтобы раненого увезли с глаз долой. «Ваш муж пьян лошадь истопталь. В больниц его! Я

хозяйка!» Загорался скандал. Но умирающий очнулся, и Катерина Ивановна бросилась к нему.

Жизнь несчастного Мармеладова вся целиком протекала у всех на виду. Было в нем что-то льнущее к людям, никогда не порывавшее с соборностью и круговою порукой греха. Этот пропойный пьяница, с совестью, изъязвленной неисправимым пороком, терзаемый собственной немощью, веровал во Христа. И Небо, в ответ на смирение, милосердно готовило его еще здесь, на земле, к грядущему Страшному Суду, раскрывало перед ним ужасные наглядные последствия его порочного существования и, тем самым, заранее смягчало для него муку последнего позорного изобличения, всех нас ожидающего за гробом. Но в чем уличать существ, подобных Мармеладову, когда о них и без того уже все и всем известно? В часы кончины достаточно провести перед ними по их вине искаженные, жалкие лики родных. Мармеладов пришел в себя. «Катерина Ивановна смотрела на него грустным, но строгим взглядом, а из глаз ее текли слезы... Мармеладов узнал ее. — Священника! — проговорил он хриплым голосом... Скоро глаза его остановились на маленькой Лидочке (его любимице), дрожавшей в углу, как в припадке, и смотревшей на него своими удивленными, детски-пристальными глазами.

— А... а... — указывал он на нее с беспокойством. Ему что-то хотелось сказать.

— Чего еще? — кринула Катерина Ивановна.

— Босенькая! босенькая! — бормотал он, полоумным взглядом указывая на босые ножки девочки.

— Молчи-и-и! — раздражительно крикнула Катерина Ивановна, — сам знаешь почему босенькая!»

Вошел доктор. Но помочь он уже нечем не мог — умирающий был при последнем издыхании. «В это время послышались еще шаги, толпа в сенях раздвинулась, и на пороге появился священник с запасными дарами, седой старичок». Исповедь длилась недолго... «Умирающий вряд ли хорошо понимал что-нибудь». Но отходил он, как и жил, на людях, при скопившемся народе, соборная душа которого столь дорога

Достоевскому. Умирая, испытал, хотя бы на миг, Мармеладов светлую правду народной поговорки: «На людях и смерть красна». А люди снова напирали отовсюду, «двери из внутренних комнат стали опять отворяться любопытными. В сенях же все плотнее и плотнее стеснялись зрители, жильцы со всей лестницы...» К этому Достоевский многозначительно добавляет: «Один только огарок освещал всю сцену».

Да, кругом и внутри нас мрак нашей неправедности, но тусклый огонек все же горит, освещает темную утробу человеческого жилища, и теплится в сердцах надежда на конечное спасение. Однако напрасно было бы искать у Достоевского утешающих сентиментов. В народе живет святая тяга к соборности, к духовному воссоединению, но тот же народ — злой коллектив, механическое сцепление отдельных, то скрытно, то явно между собой враждующих индивидуумов. И Достоевский спешит неприглядной истиной огорошить Шиллера, разделаться с розовыми идиллиями. Пусть себе утешаются какие-нибудь Лебезятниковы социалистическими бреднями и «верой» в общественность, — для Достоевского, для автора романов-трагедий, человеку без Бога ломаный грош цена. Люди, поскольку они поддаются коллективным инстинктам, теряют образ Божий и, в лучшем случае, превращаются в злых животных. Как бы мимоходом бросает Достоевский беспощадное замечание: «жильцы, один за другим, протеснились обратно к двери с тем странным внутренним чувством довольства, которое всегда замечается даже в самых близких людях при внезапном несчастии с их ближними и от которого не избавлен ни один человек без исключения, несмотря даже на самое искреннее чувство сожаления и участия». Но автор «Преступления и наказания» любит людей и любовно прозревает в них всеоправдывающее начало: глубоко затаенное в душевной бездонности первичное неизбывное страдание, почти никогда ясно не сознаваемое, страдание бытия, боль, испуг, присущие всему живому. Это страдание, разуму не подлежащее, с нами рождающееся, не что иное, как предвкушение Голгофы, Христос вну-

три нас, наше Оправдание. Надо не только не страшиться мыслить, надо еще доводить свою мысль до конца, творчески воплощать ее, как это делает художник мышления. Тогда не абстрактная, не мертвая, но живая мысль сольется с существованием, бытийственно отразит его в себе и обелит человека. Все же, откуда берется в людях это довольство при виде чужой беды? Частично его можно объяснить чисто животным торжеством: несчастье произошло не со мною — с другим. Но Достоевский далек от простодушия, и такой зоологический ответ на вопрос не удовлетворил бы его. Нет, он знает, что не только Христос, но и бес внутри нас. Зло в человеке такая же точно *норма*, как и добро, и никакое клиническое безумие не слагает с нас ответственности. Напротив того, сумасшествие есть одержимость, победа зла, состоявшегося по вине самого человека. Чем больше мы грешим, тем ближе подходим к одержимости, тем сильнее подпадаем под власть беса, крепко засевшего в нас. Но огарок, ниспосланный Богом, все еще светит, и навстречу ему надо затеплить лампаду в красном углу.

Вернулась бегавшая за Соней Поленька. Вслед за нею «Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и отчаяния». Я уже говорил, что словом *странно* Достоевский обозначает в человеке нечто не только необычное, но непременно духовное или злодуховное. Появление Сони в нищенской комнате умирающего Мармеладова походило на видение. Она, с тех пор как «пошла по желтому билету», жила отдельно от семьи. «Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью». Цветное платье с длиннейшим и смешным хвостом, необъятный кринолин, а из-под соломенной круглой шляпки, с ярким, огненного цвета пером, тоже смешной, выглядывало худое, бледное личико, с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами.

Священник обратился к Катерине Ивановне со словами

утешения: «Бог милостив; надейтесь на помощь Всевышнего», но она перебила его: — «Э-эх! Милостив, да не до нас!» Справедливость Бога Катерина Ивановна не постигала и не принимала. Но на слова священника, напоминавшего ей, «Что умирающего простить бы надо», она ответила: «И то простила!» Когда Мармеладова исповедывали и причащали, она стояла на коленях и молилась. Кому же? Очевидно, Творцу несправедливому, но все же милостивому. Счеты Катерины Ивановны с Богом сложны и запутанны, людям в них не разобраться. Недаром в ответ на ее мятежные слова «священник поник головою и не сказал ничего». Ничего не говорит и Достоевский. Бунт, восстание на Небо в защиту угнетенных всегда готовы вспыхнуть в его душе. Но он молчит, он не знает. И чуется Достоевскому, что должны мы смириться, и вину за свершающееся в мире зло каждый из нас должен взять на себя.

«Мармеладов был в последней агонии; он не отводил своих глаз от лица Катерины Ивановны, склонившейся снова над ним. Ему все хотелось что-то ей сказать; ... но Катерина Ивановна, понявшая, что он хочет просить у нее прощения, тотчас же повелительно крикнула на него. — Молчи-и-и! Не надо!.. знаю, что хочешь сказать!.. — И больной умолк; но в ту же минуту блуждающий взгляд его упал на дверь, и он увидал Соню...»

Не случайно назвал Достоевский появление Сони *странным*. Она предстала перед умирающим как некое, для него одного, потустороннее видение. Этого автор не выделяет, не подчеркивает и лишь говорит от себя: «До сих пор он не замечал ее: она стояла в углу и в тени». Слова простые, оброненные мимоходом, но после них внимательный читатель ощущает на мгновение нечто особенное в появлении Сони. В старинных романах нередко говорилось о привидениях, стоящих именно «в углу и в тени».

«— Кто это? кто это? — проговорил он вдруг хриплым задыхающимся голосом, весь в тревоге, с ужасом указывая глазами на дверь, где стояла дочь, и усиливаясь приподняться».

Мармеладов никогда до того не видел Сони в скоморошеском костюме уличной проститутки. Он не узнал дочери, и в этом карикатурно нелепом маскараде почудилось ему что-то жуткое. Перед ним еще при жизни вставало видение Страшного Суда. «Он дико и неподвижно смотрел некоторое время на дочь, как бы не узнавая ее... Вдруг он узнал ее, приниженную, убитую, расфранченную и стыдящуюся, смиренно ожидающую своей очереди проститься с умирающим отцом. Бесконечное страдание изобразилось в лице его.

— Соня! дочь! прости! — крикнул он и хотел было протянуть к ней руку, но, потеряв опору, сорвался и грохнулся с дивана прямо лицом наземь; бросились поднимать его, положили, но он уже отходил. Соня слабо вскрикнула, подбежала, обняла его и так и замерла в этом объятии. Он умер у нее в руках».

Тут, в предельном напряжении свершающегося, раскрывается, как всегда в такие минуты у Достоевского, внутреннее мистериальное значение каждого сказанного слова, каждого движения, поворота и положения, и обнаруживается, что жизнь человека и всего мира — грозный и страшный религиозный процесс, решающий нашу судьбу. Нездешняя власть столкнула Мармеладова с дивана. Но то была не злая власть, а всего лишь карающая: суровый ангел сбросил умирающего наземь, показывая ему, что нет у тяжко согрешившего человеческого существа ни собственной воли, ни сил. Мармеладова подняли и снова положили на диван. Помогал поднимать его, конечно, и Раскольников, приобщаясь этим, хотя бы на единый миг, к соборной воле людей, любящих своего ближнего. Поступая так, убийца, пусть на мгновение, побеждал в себе духа глухого и немого, до того дважды — до убийства и после убийства — срывавшего его с дивана.

Умер Мармеладов в объятиях у Сони. Она была ему дочерью по плоти, но теперь обнимала его, провожая в вечность как духовная мать и как мать земля, простившая своего блудного сына. Есть ли еще в мировом искусстве символ, подобный этому!

Я только что сказал, что вся эта сцена, нет, все это жи-

вотрепещущее действо вершится в предельном напряжении. Но вот, немедленно вслед за тем, и не отрываясь от беспощадной действительности, сумел вдохнуть Достоевский в земные лики нечто запредельное и беспредельное.

Раскольников несомненно заметил выглядывавшее из-под соломенной шляпки личико, такое еще девственное, нетронутое пороками. О том, что почувствовал он, вглядываясь в неподвижные от ужаса Сонины глаза, мы не знаем. Взволнованный, подошел он к Катерине Ивановне и прерывающимся голосом просил ее принять от него посильную помощь. Он дал ей все, что имел, все деньги, присланные ему матерью, оставшиеся после покупки платья, и быстро вышел из комнаты. На лестнице повстречал он Никодима Фомича, заметившего при свете фонаря свежие пятна крови на его жилете. Теперь кровь, вторично обагрившая, но на этот раз благодатно освятившая недавнего убийцу, вела его к небывалому, к чудесному. Раскольников пошел вниз по лестнице.

«Он сходил тихо, не торопясь, весь в лихорадке, и не сознавая того, полный одного, нового, необъятного ощущения вдруг прихлынувшей полной и могучей жизни. Это ощущение могло походить на ощущение приговоренного к смертной казни, которому вдруг и неожиданно объявляют прощение. На половине лестницы нагнал его возвращавшийся домой священник; Раскольников молча пропустил его вперед, разменявшись с ним безмолвным поклоном. Но уже сходя последние ступени, он услышал вдруг поспешные шаги за собою. Кто-то догонял его. Это была Поленька; она бежала за ним и звала его: «— Послушайте! Послушайте!»

Удивительно здесь сравнение того, что ощущал Раскольников, с ощущением, испытанным некогда самим Достоевским, приговоренным к смертной казни и внезапно узнавшим, что он прощен. Не случайно упоминается здесь и священник, догнавший и обогнавший Раскольникова на лестнице. Так же точно догонял на плацу другой священник только что помилованных политических преступников, уводимых стражей прочь от смертного столба. Уж наверное в тот памятный день поклонился Достоевский обогнавшему его,

облеченному в сан представителю церкви. Какой прилив торжествующих жизненных сил почувствовал тогда подпольный заговорщик, пропагандист кровавой революции, требовавший в разговорах с Ап. Майковым и другими не менее ста тысяч голов! Ведь важно тут не то, что Достоевский фактически никого не убил, а то, что он, подобно Раскольникову, *по совести* разрешил себе проповедь убийства. Всего же важнее, всего насущнее заметить, что хоть и не бежала по плацу Поленька вслед за уводимым Достоевским, хоть и не звала она его, но ангел-хранитель неслышно и невидимо сопровождал помилованного преступника. Этот ангел, в ту минуту учуянный сердцем Достоевского, теперь в лице Поленьки догонял Раскольникова.

Стоит повернуться лицом к свету, к людям, к их страданиям и радостям, как тотчас спадает, даже с самого закоренелого злодея, невыносимая тяжесть греха, и хлынувший в открытую душу поток жизненных сил затопляет рассудок. В эти бездумные, ликующие мгновения человек всем существом своим живет — и только! Однако жить — значит действовать, значит снова и снова решать, с кем быть — с Богом или с дьяволом. Но это потом, может быть, через минуту, а сейчас ликовать и дышать!

На зов Поленьки Раскольников повернулся к ней. «Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшейся ему и весело, по-детски, на него смотревшее, Она прибежала с поручением, которое видимо ей самой очень нравилось.

— Послушайте, как вас зовут?.. а еще: где вы живете? — спросила она торопясь, задыхающимся голоском».

Ее прислала «сестрица Соня» и Катерина Ивановна. Раскольников безошибочно знал, сердцем знал, что прибежала к нему Поленька с поручением от Сони. Почему знал? Да потому, что в такие редчайшие минуты человек сам себе равен и многое о себе и других открывается ему. «Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее».

Откуда же зародилось в нем счастье? При тусклом свете, доходившем со двора, сияло перед ним улыбкой невинное детское личико, и было в этом что-то ангельское, нездешнее. Небесное сияние и тусклый свет земли! Но и он нам дорог во мраке греха, он сулит нам свет неодолимый.

«— Любите вы сестрицу Соню?

— Я ее больше всех люблю! — с какой-то особенною твердостию проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.

— А меня любить будете?

Вместо ответа, он увидел приближающееся к нему личико девочки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спички, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плечу, и девочка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.

— Папочку жалко! — проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы...

— ... Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду об вас молиться — горячо проговорила девочка и вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его».

Почему засмеялась Поленька тотчас после того, как заплакала? Обычно, такой детский смех принято называть беспричинным, да и на самом деле, ни под какие земные причинности его не подведешь. Он выше их, в нем отзвук утраченного рая. Нет, неверно было бы утверждать, что Раскольникову закрыты все пути к раскаянию. Искра Божья теплится в нем неугасимо. Он молится и просит ангела-хранителя, ниспосланного к нему с Неба, молиться за него. Так же в молодости молился сам Достоевский, разрешавший тогда и себе и другим — пусть всего лишь теоретически — пролитие крови по совести. Но вот мы знаем, что он воскрес на каторге к новой жизни. Разумихин, упрекавший Раскольникова, мог бы с не меньшим основанием обратиться с тем же упреком к молодому Достоевскому, еще не прошедшему че-

рез катастрофу всех своих преступных понятий и «убеждений». «Ведь это разрешение крови *по совести*», — говорит Разумихин, обращаясь к Раскольникову, — «это... это, по-моему, страшнее, чем официальное разрешение кровь проливать, законное...

— ...Совершенно справедливо, — страшнее-с, — отозвался Порфирий». На слова простосердечного Разумихина откликается устами судебного следователя, верующего в Бога Порфирия Петровича, не только право, установленное людьми на земле, но и Право Небесное. Именно в том, что страшнее всего, был повинен Достоевский ничуть не менее Раскольникова. Достоевский преобразился, может преобразиться и Раскольников. Совсем иное Петр Верховенский. Он не только оправдывает пролитие крови, но творит еще зло ради зла. Такое существо раскаяться не может. Это изверг, большевик, солома, подлежащая сожжению.

Уходя, Раскольников дал свой адрес Поленьке. «Девочка ушла в совершенном от него восторге. Был час одиннадцатый, когда он вышел на улицу. Через пять минут он стоял на мосту, *ровно на том самом, месте, с которого давеча бросилась женщина*».

Что опять привело его сюда? Здесь отделялась от него замученная, скорбная совесть, здесь, еще так недавно, судьба его как бы сливалась с судьбою впавшей в отчаяние, покушавшейся на самоубийство женщины. Стоя тогда на мосту, он смотрел на отблеск заката. То его собственное сердце, Богом созданное, уходило от него в вечную обитель сердец. Бросившаяся с моста в грязную воду канала бедная Афросиньюшка своим жалким наглядным примером спасла Раскольникова от самоубийства. Эта женщина, олицетворявшая собою истерзанную совесть преступника, не утонула. Она была спасена соборным усилием, любовной волей людей. Все это показывало Раскольникову путь к спасению в общении с ближними. Но его духовные силы были уже на грани

погасания. Спасти его могло только чудо — вмешательство светлой сверхъестественной воли. Она-то и привела его к умирающему, раздавленному пороком и возвеличенному смирением Мармеладову, к праведно бунтующей Катерине Ивановне, к ангелу — Поленьке, к падшей в жертвенном смирении Соне. Пути к спасению милосердно предуказывались Раскольникову свыше. Ведь если собрать и слить воедино всё *духовно* творившееся в семье Мармеладовых, то увидишь, что именно этого был лишен замкнувшийся в себе Раскольников. Единый, заранее оправданный перед Богом дух Мармеладовых стучался теперь в душу убийцы, преданного злостному бунту.

Был час одиннадцатый, когда Раскольников вышел от Мармеладовых на улицу, отмечает, как бы между прочим, Достоевский. Но ничего «между прочего» в «Преступлении и наказании» не имеется и, упоминая о часе одиннадцатом, автор не забывал Евангельских слов о том, что «Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой». Выходил он нанимать работников в третьем, и в шестом, и в девятом часу и, наконец, вышел в одиннадцатом. А вечером, при расплате, все работники одинаково получили по динарию. Управляющий, по распоряжению хозяина, заплатил всем поровну, начав с пришедших в одиннадцатом часу. И последние стали первыми во исполнение непонятной человеческому рассудку высшей справедливости.

Шел час одиннадцатый, и не утренний, а ночной, но Раскольникову все еще не поздно сбросить с себя наваждение. Внутренняя воля Раскольникова, принявшая — пусть на мгновение — благодать, исходившую от Поленьки, снова привела его к тому месту, где грозила ему гибель. Там, где люди спасли Афросиньюшку, обрекался он искать и найти для себя спасение и стать из последнего первым. Кто по собственному соизволению сознательно падает, тот должен сам научиться вставать. Но как встать, лишившись духовной свободы? Раскольников был не один, к нему крепко прирос некто другой, овладевший его помыслами. Этот некто торо-

пился перевести в свое русло силу, только что чудесно дарованную ангелом отпавшему от Бога и людей идейному убийце. Злая потусторонняя воля тотчас передалась Раскольникову, что-то внезапно как бы перевернуло его. «Довольно!», — произнес он решительно и торжественно, — прочь миражи, прочь напускные страхи, прочь привидения!.. Есть жизнь! Разве я сейчас не жил? Не умерла еще моя жизнь вместе со старою старухой! Царство ей небесное и, — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь и... воли, и силы... и посмотрим теперь! померяемся теперь!» — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. «А ведь я уже соглашался жить на аршине пространства!».

Здесь, что ни слово, то подмена и ложь, вплоть до упоминания о Царстве Небесном. Но кто из смертных не тешил себя в уединении подобными подменами, пытаясь обмануть свою совесть. И как знаменательно звучит в наши дни это упоминание о «царстве рассудка и света» — источнике всех бед и крови, проливаемой самозванными властителями на благо человечеству. Самая же замечательная из всех подмен, совершенных Раскольниковым, это его вызывающее обращение к Богу как к темной силе. Идейный убийца снова собирался богоборствовать, паразитарно опираясь на Поленьку — посредницу вышних велений. А об убитой Лизавете, Сониной крестовой сестре, Раскольников как бы совсем позабыл: помнить ее значило бы для него сокрушаться и каяться. Зато, обращая Божий рай в карикатуру, он кощунственно выражает пожелание Царства Небесного злой старухе, им же самим умерщвленной. Нет, не только «папочку» оплакивала Поленька, когда так доверчиво обнимала Раскольникова!

«...сила, сила нужна: без силы ничего не возьмешь; а силу надо добывать силой же, вот этого-то они и не знают», — прибавил он гордо и самоуверенно и пошел, едва переводя ноги, с моста. Гордость и самоуверенность нарастали в нем каждую минуту; уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую. Что же, однако, случилось такого особенного, что так перевернуло его?

Да он и сам не знал; ему, как хватавшемуся за соломинку, вдруг показалось, что и ему «можно жить, что есть еще жизнь, что не умерла его жизнь вместе со старою старухой». Может быть, он слишком поспешил заключением, но он об этом не думал».

В самом деле, не слишком ли поспешно — едва переводя ноги — хвастаться силой самоуверенно и гордо? Какое нелепое сочетание надменной кичливости со слабостью! В этом не только весь Раскольников, но и всякий человек, кроме, разве, истинно святых. Кто действительно отдает себе полный отчет в своих побуждениях, и кто не хватался за соломинку, принимая ее за надежное бревно? Говоря о Раскольникове, Достоевский говорит о человеке и не о русском по преимуществу, как принято почему-то думать, но о человеке вообще. По воле автора «Преступления и наказания», Раскольников отличался предельной заостренностью чувств, дум и желаний. Он явно одержим. Но кто не одержим в той или иной степени? Исследуя самого себя, Достоевский умел доводить свои мысли до завершения, и как творец, как художник никогда не кривил душою перед совестью. В собственной душевной глубине нашел он Раскольникова и вывел его из темноты на свет. Одним умением находить и видеть себя отличался от всех Достоевский. Но Раскольников действует в каждом из нас. Он, как и все, живет духовно за счет своих ближних, но далеко не как все, пользуется своевольно и злостно флюидами, исходящими от других. Он сам не знал, что так внезапно его «перевернуло», когда снова с прежней силой сказалась в нем одержимость, столь развеселившая его. «А раба-то Родиона попросил однако помянуть», — мелькнуло вдруг в его голове, — «ну да это... на всякий случай!» — прибавил он, и сам тут же засмеялся над своею мальчишеской выходкой. Он был в превосходнейшем расположении духа».

Зло не имеет самостоятельного бытия, существуя паразитарно за счет добра. Черт воспользовался силой, полученной Раскольниковым от Поленьки, и светлую радость обратил в черное ликование греха.

Когда каких-нибудь три часа тому назад, выходя из «Хрустального Дворца», Раскольников повстречал всюду его искавшего Разумихина, он на слова приятеля, приглашавшего его к себе на вечеринку, ответил отказом и пошел прочь. — «Об заклад, что придешь! — крикнул ему вдогонку Разумихин». И оказался прав. Теперь, несмотря на слабость во всем теле, Раскольникова снова потянуло к людям, к Разумихину. Уж очень ему хотелось, чтобы кто-нибудь увидел на лице его отпечаток одержанной им победы над совестью и «предрассудками». Он не понимал и не чувствовал, что совершенная им сейчас подмена небесной благодати торжеством гордыни и самоутверждения горше и страшнее его кровавого преступления. Пролив человеческую кровь, он стал Каином. Отрекаясь от чистых объятий детских, как спички, тоненьких рук, он предавал Христа и превращался в Иуду.

Раскольников легко отыскал Разумихина, недавно переехавшего на новую квартиру: «в доме Починкова нового жильца уже знали, и дворник тотчас указал ему дорогу». У Разумихина шел пир горой. Гостей собралось человек пятнадцать, среди них находились: доктор Зосимов, секретарь полицейской конторы Заметов и судебный следователь Порфирий Петрович — дальний родственник гостеприимного хозяина.

Раскольников остановился в прихожей и послал служанку, хлопотавшую около самовара, за Разумихиным. «Тот прибежал в восторге. С первого взгляда заметно было, что он необыкновенно много выпил...

— ...Слушай, — поспешил Раскольников, — я пришел только сказать, что ты заклад выиграл и что, действительно, никто не знает, что с ним может случиться. Войти же я не могу: я так слаб, что сейчас упаду. И потому здравствуй и прощай! А завтра ко мне приходи...»

Разумихин решил проводить приятеля, но предварительно вызвал к нему Зосимова. Заботливый врач, немедля, попотчевал своего пациента порошком.

Провожая Раскольникова, изрядно подвыпивший Разумихин говорил лишнее. Из его болтовни выяснилось, между

прочим, что Заметов, после памятного разговора с Раскольниковым в трактире, отказался от подозрений и раскаивается в них. — «А только как этот мальчишка теперь убит, так ты себе представить не можешь! «Мизинца, говорит, этого человека не стою!» Твоего то-есть». Стыдно стало и Илье Петровичу, заподозрившему Раскольникова в убийстве. Из слов Разумихина выяснилось также, что Зосимов склонен считать Раскольникова если и не прямо сумасшедшим, то все же не совсем нормальным. «Раскольников жадно слушал». Такое дальновидное состояние догадливых умов было для него весьма выгодным после того, как мысли о явке с повинной он окончательно отбросил. — «Слушай, Разумихин, — заговорил Раскольников, — я тебе хочу сказать прямо: я сейчас у мертвого был, один чиновник умер... я там все мои деньги отдал... и, кроме того, меня целовало сейчас одно существо, которое, если б я и убил кого-нибудь, тоже бы... одним словом, я там видел еще одно существо... с огненным пером... а, впрочем, я завираюсь, я очень слаб, поддержи меня... сейчас ведь и лестница...»

Чего в этой прерывистой речи не договаривал Раскольников? Одно — несомненно: в нем укрепилась уверенность, сердцем ему подсказанная, что Поленька не перестала бы любить его своей детской любовью, если бы и узнала, что он — убийца. Всего же замечательнее здесь — это неожиданное упоминание о существе с огненным пером, о Соне. Ведь с нею он даже не успел познакомиться, стоя близ умирающего Мармеладова! Вот прямое подтверждение того, что, еще выслушивая в распивочной исповедь Мармеладова, уже действительно «знал бессознательно» Раскольников, на кого он будет опираться и к кому пойдет, когда надо будет «хоть к кому-нибудь да пойти». Отсюда, как неизбежное следствие, рождалось «бессознательное знание» Раскольникова о том, что он убьет Лизавету. Соня с Лизаветой мистически неразлучимы, они духовно отражают друг друга.

«— Что с тобой? Что с тобой? — спрашивал встревоженный Разумихин.

— Голова немного кружится, только не в том дело, а

в том, что мне так грустно, так грустно! точно женщине... право! Смотри, что это? смотри! смотри!

— Что такое?

— Разве не видишь?»

Раскольников увидел свет в окне своей комнаты. Но еще за мгновение до того ему вдруг стало грустно, точно женщине. До него дошло некое веяние, исходившее от существ, поджидавших его в комнате. И было в этом веянии что-то тоскующее и нежно женственное. Тотчас вслед за тем он увидел испугавший его свет. У него мелькнула мысль, что пришла полиция с обыском. Глубина души Раскольникова попрежнему продолжала жить своей жизнью, непричастной греху, и всё воспринимать шестым чувством, а извращенный преступлением разум обманывал убийцу.

Взобравшись на лестницу и подойдя к двери, они вдруг услышали в комнате голоса. «Раскольников первый взялся за дверь и отворил ее настежь, отворил и стал на пороге, как вкопанный.

Мать и сестра его сидели у него на диване и ждали уже полтора часа. *Почему же он всего менее их ожидал и всего менее о них думал, несмотря на повторившееся даже сегодня известие, что они выезжают, едут, сейчас прибудут?»*

Лужин в тот же день утром сказал Раскольникову, что с часу на час ожидает приезда Пульхерии Александровны и Дуни. Но Раскольников об этом совершенно забыл. Почему?

Надо быть особенно внимательным, когда Достоевский задает свое очередное «почему». Он часто многого не договаривает, боясь нарушить художественную ткань повествования и, одновременно, вызывая читателя на сотворчество. Раскольников забывал о сестре и матери и как бы совсем не помнил Лизаветы потому, что память о них, инстинктивно им заглушаемая, с невыносимой остротой пробудила бы в нем совесть. Его зараженное грехом сознание не слушалось сердца. Оттого полоску света, извещавшую его о прибытии сестры и матери, его заблуждающийся рассудок истолковывал превратно.

Пульхерия Александровна и Дуня успели обо всем расспросить Настасью, стоявшую и теперь перед ними.

«Радостный, восторженный крик встретил появление Раскольникова. Обе бросились к нему. Но он стоял, как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него, как громом. Да и руки его не поднимались обнять их: не могли. Мать и сестра сжимали его в объятиях, целовали его, смеялись, плакали... Он ступил шаг, покачнулся и рухнулся на пол в обмороке».

Наступил час Разумихина. Он «схватил больного в свои мощные руки, и тот мигом очутился на диване».

С этого мгновения Разумихин раз навсегда вошел в семью Раскольниковых и крепко к ней прирос. Бог не покидал ни Дуни, ни Пульхерии Александровны, ни самого преступного Раскольникова. Благодатным посредником между ними и высшей волей становился «горячий, откровенный, простоватый, честный, сильный Разумихин».

Ведь и Достоевскому хотелось подчас на ком-нибудь остановиться и отдохнуть или хотя бы передохнуть. Но личность Разумихина — не каприз и не слабость автора, она входит неотъемлемой органической частью в мистериальный ход всего повествования. На вмешательстве Разумихиных в земную жизнь держится в мире всё, начиная с булочных и сапожных мастерских и кончая высшими государственными и научными учреждениями. Разумихины — основа семьи и человеческого общества.

Раскольников скоро пришел в себя. Разумихин схватил за руку Дуню и «пригнул ее посмотреть на то, что «вот уж он и очнулся». К этому, раскрывая свой замысел, Достоевский добавляет: «И мать и сестра смотрели на Разумихина как на Провидение...»

Свет, исходивший от Пульхерии Александровны и Дуни, ослепил Раскольникова. Но события снова втягивали его в свой круговорот, властно напоминая ему, что «жизнь и волненье — одно».

В тот же вечер Разумихин успел вниманием и заботами окончательно обрести доверие и Дуни и Пульхерии Алексан-

дровны. Встревоженные рассказами Настасьи и обмороком Раскольникова, они рады были найти опору в расторопном и простодушном молодом человеке. А Лужин, сославшись на неотложные дела, не явился даже к приходу поезда на вокзал, чтобы встретить свою невесту с ее матерью. Он только заблаговременно приискал для них, по его словам, «две весьма и весьма чистенькие комнатки» в нумерах. Однако Разумихин отозвался об этих нумерах несколько в ином духе: «Скверность ужаснейшая: грязь, вонь, да и подозрительное место; штуки случались; да и чёрт знает, кто не живет!.. Я и сам-то заходил по скандальному случаю. Дешево, впрочем».

Делец и скряга Лужин, как видно, с дамами не стеснялся. Он письменно известил Пульхерию Александровну, что придет повидать ее и Дуню на следующий день по их приезде, в восемь часов вечера, причем настоятельно требовал, чтобы «при общем свидании нашем Родион Романович уже не присутствовал». К этому он бесцеремонно добавлял своим канцелярским слогом: «Имею честь при сем заранее предуведомить, что если, вопреки просьбе, встречу Родиона Романовича, то принужден буду немедленно удалиться, и тогда пеняйте уже на себя». Лужин не сознавал, что сам же разрушает свои расчеты и намерения. Дуня, с ее красотою, была нужна ему для представительства в делах. Но как истинный парвеню он не понимал, что рубит дерево не по себе, и потому за изысканными выражениями не гонялся. Не понял он этого и после разрыва с Дуней, приписывая такую неудачу своей неуместно проявленной скупости. «И с чего, чёрт возьми, я так ожидовел?» — сетовал он про себя. — «Тут даже и расчета никакого не было! Я думал их в черном теле попридержать и довести их, чтоб они на меня как на Провидение смотрели, а они вон!.. Тьфу!..»

Жениховские мечтания Лужина не сбылись, рушились все его комбинации, и он ушел, как выразился про него однажды Разумихин, «хвост поджав». Это беглое замечание о поджатом хвосте, сделанное будто невзначай, обнаруживает в Лужине, казалось бы столь плотно осевшем на земле,

причастность к злой мистике. В лице этого мещанина, скопившего деньжата, отступает от Дуни некое подобие хвостатого исчадия, порожденное ее непомерной гордыней. Можно было бы, конечно, принять Лужина, со всеми его потрохами, лишь за преуспевшего дельца-самодура, почуявшего свою подлую буржуазную силу. Но Достоевский недаром противопоставляет его социалистически настроенному Лебезятникову. От такого противопоставления душевно-телесная фигура Лужина дорастает до злодуховности, превращается в символ греховной идеи капитализма, неминуемо выдвигающей из себя свое противоположение — не менее греховную идею социализма в облике бледного мечтателя Лебезятникова, глуповатого и подслеповатого, как и полагается русскому социалисту, не догадавшемуся стать большевиком.

Пребывая во взаимном отрицании, противоположности соприкасаются друг с другом. Именно поэтому Лебезятников оказывается в прошлом воспитанником Лужина, а жизненные обстоятельства слагаются так, что представитель капиталистической идеи временно поселяется у представителя идеи социалистической. Оба они питомцы невежественных и весьма напористых русских шестидесятых годов прошлого века. С тревогой следил Достоевский за неуклонным ростом мещанства, тогда еще только пересаженного в Россию с Запада,с помощью наших разночинцев. В это непроясненное, смутное время наносные идеи и идейки всяческого рода так и кишели наподобие червей в загноившейся ране. А по столичным чердакам и подпольям назревали в головах уединившихся óсобей злостные теории и кровавые замыслы. Зоркие глаза Достоевского различали еле обозначившиеся зачатки того, что на суконном жаргоне наших дней именуется фашизмом и большевизмом. Русское ницшеанство до Ницше заранее обрекалось на полнейшее опошление. Статейка Раскольникова, разрешающая проливать кровь по совести, становилась, вопреки намерениям ее автора, оправданием лужиных. Раскольникову, хоть и поздно, но дано было понять, куда ведет и к чему в итоге причалит его несчастная теория.

Оттого и говорит он Лужину прямо в лицо, что сто́ит только довести до конца лужинские приобретательские рассуждения, как и выйдет, что людей можно резать. Идея и кровавая практика Раскольникова целиком вырастают из его времени, когда только что вылупившиеся из змеиного яичка передовые нигилисты еще начерно разыгрывали репетицию лихого праздничка, которым полвека спустя с таким самоупоением потешили себя русские люди. Ныне легко установить прямую зависимость того, что творится в России, от писаний и деяний чернышевских и добролюбовых, от тогдашних зашифрованных и явных богохульств и кощунств, варварских гонений на искусство и «идейных» покушений на чужое достояние. Преступные грезы существ, ушедших в подполье и уединившихся на чердаках, проникали сквозь стены на улицу, причудливо и нелепо сочетались там с повседневными обывательскими вожделениями и плодили в печати лакейские диссертации. Не царская цензура, бессмысленная и беспомощная, распоряжалась «в сие комическое время», но свирепствовала властная цензура — интеллигентская и нигилистическая. И если прав поэт, утверждая, что «страшна условий жизни сила, стеной обычаи стоят», то стократ ужаснее подтачивающая эти условия и обычаи безбожная и беспощадная крамола. Достоевский искал и для себя и для других спасение в искусстве и религии, освящающих и смягчающих давление на человеческую личность патриархальной государственной власти. А истинную роль государства лучше всех определил Владимир Соловьев, сказав, что оно существует вовсе не для того, чтобы приводить людей в рай, но лишь для того, чтобы *насильственно* удержать их от преждевременного ада. Глубочайшую правду этих слов мы, русские, познали на себе после того, как уничтожили наше государство и попали при жизни в ад на земле.

С конца пятидесятых годов прошлого века подпольные герои перешли в наступление, и царское правительство сразу же показало свою неспособность вступить с ними в разумную борьбу. Достоевский, сам в свое время пройдя через подполье, знал его законы и видел бессилие слепой госу-

дарственной власти, «машущей дубинкой в темноте и бьющей по своим».

Спешу заметить, что я высказываю здесь не мои соображения, в данном случае никому не интересные, но говорю крайне сжато как бы от лица самого Достоевского. Он вернулся из ссылки в 1859 году и тотчас постиг изнутри всё происходившее тогда в недрах российской столицы. Давно задуманная им книга о человеке, совершающим, ради собственной теории, кровавое преступление, могла теперь осуществиться, опираясь на действительность и беспредельно ее углубляя. Тогда же назревали в творческой душе Достоевского основы романа «Бесы».

Теории и практке Раскольникова было на что́ опереться. Его преступление определяет собою сущность так называемого «освободительного движения», приведшего русский народ к невиданному и неслыханному рабству. Под «освободительным движением» я разумею, конечно, не благотворные реформы, проводимые сверху правительством императора Александра II, но настроения и деяния общественные, их подспудную суть, о которой говорит в «Преступлении и наказании» следователь Порфирий Петрович, обращаясь к Раскольникову и характеризуя его преступление: «Нет, батюшка, Родион Романович, тут не Миколка! Тут дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь «освежает»; когда вся жизнь проповедывается в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце».

Тут, прибавлю от себя, весь Раскольников, весь Лужин, весь недалекий сонный Зосимов, в добротном костюме, с готовыми чужими мнениями в голове и порошками в кармане, исцеляющими от всех духовных бед; тут подпольная злоба чернышевских и, еще Белинским благоговейно упоминавшаяся, — «мать пресвятая гильотина». Тут русский большевизм и мещанское измельчание Европы. Чего сто́ит упоминание о книжных мечтах и теоретически раздраженных сердцах! Разве в этом не вся история русских образованных

людей из разночинцев, «русских мальчиков», по определению Достоевского, непременно прогрессивно настроенных? Идейное преступление Раскольникова Достоевский называет фантастическим, мрачным, в пророческом предвидении идей и деяний нынешних кремлевских властителей.

Писания французских энциклопедистов, в преломлении русского «освободительного движения», порождают теорию и практику Раскольникова — малое зерно, из которого вырос черный российский Анчар. О мистическом зле, помрачившем умы и сердца, говорится в «Преступлении и наказании». Мистика зла управляет помыслами Раскольникова, и злой дух невидимо стоит за плечами идейного убийцы. Сам Раскольников постоянно чувствует близкое присутствие кого-то потустороннего и, ища уединения, всегда ощущает, что он не один.

«Если б возможно было уйти куда-нибудь, — говорит Достоевский, — и остаться совсем одному, хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым. Но дело в том, что он в последнее время хоть и всегда был один, никак не мог почувствовать, что он один. Случалось ему уходить за город, выходить на большую дорогу, даже раз он вышел в какую-то рощу; но чем уединеннее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие, не то что бы страшное, а как-то уж очень досаждающее, так что поскорее возвращался в город, смешивался с толпою, входил в трактиры, в распивочные, шел на Толкучий, на Сенную. Здесь было как будто бы легче и уединеннее».

Итак, чем дальше от людей, тем ближе к темной силе. Лишь пребывание среди людей пробуждает в преступнике какую-то надежду, хотя бы на отдаленную возможность избавиться от одержимости, снова найти свое утраченное «Я». Злой дух не является в «Преступлении и наказании» в каком-либо определенном облике, как являлся он Ставрогину и Ивану Карамазову, но его как-то уж очень досаждающее присутствие чувствует Раскольников во всем. Тень «Люциферова крыла» ложится не только на Раскольникова, но и на

всю его эпоху, подготовившую то, что теперь предстало перед нами воочию.

О чем мечтали современники Раскольникова и чего они требовали? Об этом говорит Достоевский устами Разумихина: «Ну, верите ли: полной безличности требуют, и в этом самый смак находят! Как бы только самим собой не быть, как бы всего менее на себя походить! это-то у них самым высочайшим прогрессом и считается... И хоть бы врали-то они по-своему, а то... Ты мне ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему ведь это почти лучше, чем правда по-одному по-чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! Правда не уйдет, *а жизнь-то заколотить можно*; примеры были... Понравилось чужим умом пробавляться, — въелись!»

Мы теперь знаем, как можно заколотить жизнь и обезличить миллионы человеческих существ не только кровавым насилием, но и под прикрытием формальных «свобод», проповедуя равенство и братство в царстве всеобщего мещанства. Закон равенства есть закон смерти, физической и духовной. Так думал не один Достоевский, но и Константин Леонтьев — величайший провидец и мыслитель. «Преступление и наказание» создавалось в те тревожные годы, когда все сходило с основ и двигалось в неведомое. Истинно великое произведение искусства всегда отражает метафизику своего времени, и за пролитие крови по совести, разрешенное себе Раскольниковым, отвечают все его современники.

Пульхерия Александровна и Дуня, на следующий день по прибытии в Петербург, с утра, в сопровождении Разумихина, снова отправились к Раскольникову. У него уже сидел Зосимов. «Комната разом наполнилась, но Настасья все-таки успела пройти вслед за посетителями». Эта любопытная деревенская баба, невинная в своей первобытности, была необходимой частицей первичных проявлений бытия, попранного Раскольниковым, но от него не отступившего.

Раскольников, по сравнению со вчерашним, был почти здоров, только очень бледен, рассеян и угрюм. «Впрочем, и это бледное и угрюмое лицо озарилось на мгновение как бы светом, когда вошли мать и сестра, но это прибавило только к выражению его, вместо прежней тоскливой рассеянности, как бы более сосредоточенной муки. Свет померк скоро, но мука осталась...»

Мгновенный свет и неизбывная мука как раз и отличают Раскольникова от Петра Верховенского, погруженного безвозвратно в кромешный мрак. Мне думается, что в своей книге о Достоевском Мочульский чрезмерно поторопился приговорить Раскольникова к погибели. Ведь автор «Преступления и наказания» опирался на нечто весьма существенное, когда заговорил в эпилоге романа о возможном преображении своего героя. Пройдя через все соблазны духовного бунта, каторгой искупил Достоевский свое смертное прегрешение. Грех Достоевского есть грех Раскольникова. Свет и мука — залог спасения падших. Но разве могла бы просветлеть, хотя бы на мгновенье, физиономия Петра Верховенского, надругавшегося над собственным отцом и предавшего свое отечество? Этот идейный убийца, творящий зло ради зла, не ведает горькой муки. Он ничуть не задумываясь, убивает беззащитного Шатова и толкает на самоубийство несчастного Кириллова, в припадке предсмертного безумия укусившего его за палец. С зловещей повязкой на пальце Верховенский преспокойно разгуливает, смеется, играет в карты. А вот Раскольников, когда пришли к нему мать и сестра, хоть и выглядел немного лучше вчерашнего, но терзался попрежнему, и ему — замечает Достоевский, — «Не доставало какой-нибудь повязки на руке или чехла из тафты на пальце для полного сходства с человеком, у которого, например, очень больно нарывает палец, или ушиблена рука или что-нибудь в этом роде».

Раскольников испытывает боль от угрызений совести, боль, пусть до срока бесплодную, все же духовную. Никакими вещественными знаками погибели он непосредственно не отмечен. В творчестве Достоевского материальные при-

меты всегда соответствуют в человеке чему-то внутреннему, имматериальному. Так черная повязка Петра Верховенского бесповоротно шельмует этого кровавого революционного изверга, эту солому, предуготовленную к сожжению в вечности.

Отторгнутый от людей Раскольников пребывает как бы вне жизни, в страшной нерешенности. Теперь он сам единолично должен решить усилием внутренней воли, к чему склониться и к кому пойти — к Богу или дьяволу. Однако ясно: стыть в ужасающей пустоте непереносимо, немыслимо. Близкие стали далекими, и нет с ними общего языка. Слова органичны, в разговоре мы направляем эти живые организмы к собеседнику, и от него возвращаются к нам ответные волны слов — живых существ, объединяющих нас друг с другом. Но если нет общего языка, то и слова мертвы. Идейный убийца без немоты, уже нем духовно. Внешне общаясь с другими, когда-то близкими, родными, ему остается только признать свое заклятое одиночество, отторженность от всего живущего. Раскольников сам заговорил с сестрою и матерью о своей прежней влюбленности в хозяйскую дочку, девочку больную, «совсем хворую»; но тут же назвав собственное чувство бредом, добавил: «— Вот и вас... точно я из-за тысячи верст на вас смотрю... Да и чёрт знает, зачем мы об этом говорим!» Злой полет, совершенный при содействии духа глухого и немого, даром не прошел! Странно и знаменательно отвечает на это заявление Раскольникова его мать: «— Какая у тебя дурная квартира, Родя, точно гроб, — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание; — я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.

— Квартира? — отвечал он рассеянно. — Да, квартира много способствовала... я об этом тоже думал. *А если б вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька, — прибавил он вдруг, странно усмехнувшись*». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Иные из персонажей Достоевского если и не постигают вполне, то все же чувствуют роковую мистику вещей, зда-

ний, комнат. Конечно, не квартира, похожая на гроб, привела Раскольникова к преступным замыслам, но давняя гордыня, предуготовившая эти замыслы, вселила будущего убийцу в комнату, отражающую собою его злодуховное состояние и сущность его злодеяния. До конца ли понимал Раскольников то, что хотел высказать, или нет, но его *странная* усмешка полностью соответствовала *странной* мысли Пульхерии Александровны. От таких усмешек и мыслей у чрезмерно впечатлительного человека волосы на голове зашевелиться могут.

Раскольникову казалось, что он совсем проваливается в собственную опустошенность. «Еще немного, — говорит Достоевский, — и это общество, эти родные, после трехлетней разлуки, этот родственный тон разговора при полной невозможности хоть об чем-нибудь говорить, — стали бы наконец ему решительно невыносимы. Было однако ж одно неотлагательное дело, которое так или этак, а надо было решить сегодня, — так решил он еще давеча, когда проснулся. Теперь он обрадовался *делу*, как выходу». (Подчеркнуто Достоевским. — Г. М.).

Он хотел настоять на своем и немедленно добиться от Дуни согласия на ее разрыв с Лужиным. Почему Раскольников желал этого? Прежде всего потому, что смутно чувствовал свою метафизическую вину перед сестрою: не было бы его давнишних злых помыслов и его духовного бунта, не повстречалась бы тогда Дуня ни с Лужиным, ни со Свидригайловым. Ведь недаром заветная идейка Раскольникова убийственно совпадала в чем-то весьма существенном с приобретательскими рассуждениями Лужина. А Свидригайлов сам, при первой же встрече с Раскольниковым, говорит ему: «ну, не правду ли я сказал, что мы одного поля ягоды!» И еще: «ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?»

В центре развивающихся событий находится Раскольников — взорванный грехом Адам, все же остальные персонажи — его осколки, его эманации, метафизически хоть от него и зависящие, однако имеющие вполне самостоятельное зем-

ное бытие, за исключением следователя Порфирия Петровича, о котором речь будет впереди.

Я уже говорил, что Лужин и Свидригайлов — двойники Раскольникова; первый — по части совершенно наглядного опошления и без того коротенькой Родиной идейки, а второй — по неизмеримо более глубоким причинам. Свидригайлов — это распадное существо, каким может стать Раскольников, если не покается и не примет добровольно искупительного страдания. Раскольников, при видимом оттолкновении от Свидригайлова, на самом деле к нему влечется в надежде найти в нем оправдание своему злодеянию.

Поколебать Дуню в ее решении выйти замуж за Лужина оказалось не трудно: грубого письма своего жениха она не забыла, но самолюбие побуждало ее защищаться от нападок брата. Произошло столкновение двух глубоко родственных, одинаково гордых характеров. Брат хорошо понимал сестру и думал: «Гордячка! Сознаться не хочет, что хочет благодетельствовать!.. Высокомерие! О, низкие характеры! Они и любят точно ненавидят... О, как я... ненавижу их всех!»

Любовь как ненависть — вот что владеет стремлениями непомерно гордых существ. Раскольников разгадал сестру, совсем не замечая, что тем самым невольно определял себя. Но Дуню изобличал он с жестокой ясностью: «Ты лжешь, сестра... Ты не можешь уважать Лужина: я видел его и говорил с ним. Стало быть, продаешь себя за деньги и, стало быть, во всяком случае поступаешь низко...» Возможный брак Дуни с Лужиным он справедливо рассматривал как особый вид проституции, несравненно более греховный, чем уличное ремесло несчастной, жертвенной Сони. Он знал, что сестра продает себя отчасти, если не главным образом, ради него, и что в глубине глубин он сам привел ее к этому. Теперь же, совершив свое преступление, он утратил всякое право что-либо от нее требовать. Но обычно нами незамечаемая тайная последовательность жизни внезапно напомнила ему об этом. В пылу столкновения и спора Дуня невольно задела лютую занозу, она крикнула ему, защищаясь:

«Если я погублю кого, так только себя одну... Я еще никого не зарезала!»

Она никогда не могла бы объяснить себе, как и почему произнесла эти страшные для Раскольникова слова. Пренебрегаемая нами мудрость жизни движется по своим законам, и тайное часто становится явным не потому, что кто-либо из нас того захотел, а так, само собою, в силу божественной правды, присущей глубинам бытия.

Дуня тотчас заметила, какое впечатление произвели ее слова на брата. «Что ты так смотришь на меня? Что ты так побледнел?.. Родя, милый!» — воскликнула она. Но уже иная боль проникала в него: он снова почувствовал свою оторванность от всего происходящего вокруг, свою непричастность к жизни: «— ...да из чего я так хлопочу? Из чего весь крик? Да выходи за кого хочешь!» — сказал он вдруг. Однако письмо Лужина, боязливо переданное ему по требованию Дуни Пульхерией Александровной, он развернул, внимательно прочел два раза и отметил там выражение, по его словам, знаменательное: «пеняйте на себя». Кроме угрозы покинуть Дуню с Пульхерией Александровной на произвол судьбы, письмо Лужина содержало еще и клевету на Раскольникова, якобы выдавшего вчера до двадцати пяти рублей денег не Катерине Ивановне, как то происходило на самом деле, а девице «отъявленного поведения», дочери разбитого лошадьми пьяницы». Цель такой «довольно подленькой» клеветы была ясна: надо было подмарать Раскольникова в глазах его сестры и матери. Участь жениха определилась, и семейное совещание постановило, что Раскольников будет присутствовать вечером при свидании Лужина с Дуней и Пульхерией Александровной.

«В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка... Это была Софья Семеновна Мармеладова». Раскольников не узнал ее. Вчера он видел ее в другой обстановке, и в таком костюме, что в памяти его отразился образ совсем другого лица. Теперь на ней было

очень простенькое домашнее платьице. Раскольников смутился. Он вспомнил, что еще ничего не успел возразить на слова Лужина о «девице отъявленного поведения». «Он еще за минуту до того сказал, что видел ее вчера в первый раз, и вдруг она входит сама». Но когда он пристальнее взглянул на Соню, то увидел, что перед ним приниженно стоит существо и без того уже приниженное. «Когда же она сделала было движение убежать от страху, — в нем что-то как бы перевернулось».

Здесь невольно рождается мысль: так ли безнадежно гибельны для человека его преступления, как кажется нам со стороны при безразличном, безлюбовном отношении к нему? Ничего не прощая ближнему, мы склонны преуменьшать тяжесть наших собственных прегрешений, и это потому, прежде всего, что очень мы себялюбивы, но еще и потому, что каждый из нас все же лучше разбирается в себе, чем в другом. Заглядывая в собственную глубь, я вижу черноту моих грехов, но за их смрадом и мраком различаю в себе Образ Божий. Он ли не в силах розогнать греховные призраки, если сохранилась во мне сердечная способность пожалеть удрученного несчастием человека?

Что же такое перевернулось в Раскольникове, когда пронзила его жалость к Соне? То неподвижный дотоле страшный груз его кровавого преступления зашевелился в нем. Внезапное шевеление мертвой тяжести могло бы напомнить убийце, что всех пожалевший Христос Сам воскрес и воскресил умершего Лазаря. Но тогда не подумал об этом Раскольников, и лишь позднее привело его Провидение в комнату Сони и склонило его голову над Евангелием Лизаветы. Нет, не совсем еще надвинулся неумолимый рок на преданного духовному бунту безумца!

Соня пришла поблагодарить Раскольникова за те двадцать пять рублей, которые он дал вчера Катерине Ивановне, и пригласить его в церковь на панихиду, а потом на поминки. Адрес его она получила от Поленьки. «Между разговором Раскольников пристально ее разглядывал... Ее даже нельзя было назвать и хорошенькою, но зато голубые глаза ее бы-

ли такие ясные, и, когда оживлялись они, выражение лица ее становилось такое доброе и простодушное...». К этому Достоевский добавляет: «В лице ее, да и во всей фигуре, была сверх того одна особенная характерная черта: несмотря на свои восемнадцать лет, она казалась почти еще девочкой, гораздо моложе своих лет, совсем почти ребенком, и это иногда даже смешно проявлялось в некоторых ее движениях». Потому она выглядела почти девочкой, что порочное начало не успело, да и не могло бы проникнуть в нее глубоко.

На вопрос Раскольникова, как обошлась Катерина Ивановна с такими малыми средствами, Соня ответила, что «Гроб ведь простой будет, и все будет просто, так что не дорого...». И вот тотчас вслед за этим ответом произошло неожиданно нечто потрясающе значительное, выраженное Достоевским мельком, на ходу, что так для него характерно, и что всегда заставляет внимательного читателя напряженно выслеживать каждое его слово, каждый вопрос и ответ, с виду кажущиеся неважными. Упоминание Сони о гробе Мармеладова пробудило в Раскольникове особое ощущение: он вспомнил слова матери, только что до того сказанные о его комнате, и, для самого себя неожиданно спросил Соню: — «Что это вы мою комнату разглядываете? Вот маменька говорит тоже, что на гроб похожа.

— Вы нам всё вчера отдали! — проговорила вдруг в ответ Сонечка, каким-то сильным и скорым шопотом, вдруг опять сильно потупившись. Губы и подбородок ее опять запрыгали. Она давно уже поражена была бедною обстановкой Раскольникова, и теперь слова эти вдруг вырвались сами собой. Последовало молчание. Глаза Дунечки как-то прояснели, а Пульхерия Александровна даже приветливо посмотрела на Соню».

Наружный смысл всей этой маленькой сцены вполне ясен. Но одному Достоевскому дано как художнику замечать мимолетное событие сразу же во всей его многопланности. Да, конечно, Соню поразило, как мог человек, проживая в такой каморке, отдать все свои деньги совершенно чужой семье. А горячо выраженная Соней благодарность не могла не тро-

нуть Дуни и Пульхерии Александровны. И в наступившем молчании пролетел тихий ангел. Но всегда ли до конца постигаем мы смысл наших собственных слов? Не имеют ли они часто, очень часто ни нами, ни другими незамечаемого значения? По Тютчеву, «земная жизнь кругом объята снами», и мы сами говорим и действуем будто во сне, не чуя как проходят через нас некие силы, идущие от инопланных нам существ. Вот и в ответе Сони содержится, по крайней мере, два значения, из которых одно, самое глубокое, ни до кого не дошло и дойти не могло. Устами ничего не сознававшей Сони ответила Раскольникову мудрость бытия: да, твоя комната похожа на гроб, она отражает твой смертный грех, но ты все же пришел на помощь чужим тебе людям в беде. В этом залог твоего возможного спасения. Быть может, от всего этого пахнет прописною истиной, но у Достоевского прописное чудом превращается в живое, как сама жизнь, как одиннадцатая заповедь, завещанная нам Евангелием.

Пульхерия Александровна с Дуней собрались уходить, приглашая Раскольникова и Разумихина придти позднее к обеду. Зосимов, простившись со всеми, уже давно ушел. Когда Дуня, повторяя приглашение матери, попросила Разумихина «пожалуйста» придти к ним обедать, он «весь засиял».

«На одно мгновение все как-то странно вдруг законфузились». По Достоевскому, каждый из нас определяет свою собственную судьбу. Она подготовляется человеком в тайных недрах его души и лишь в очень малой доле сознательно. От сложнейших пересечений и сочетаний наших мечтаний, вожделений, стремлений образуются многоразличные токи, излучения, отражения, и, когда мы повстречавшись друг с другом, сообща доходим до чего-то тайно в нас назревшего, готового проступить наружу, стать событием, происшествием, то на минуту мы как бы теряемся, не сознавая, но чувствуя важность приближающегося перелома. Оброненное Дуней «пожалуйста» невидимо навсегда связало ее с Разумихиным. В семью Раскольниковых окончательно вошла мужественная спасительная сила.

Дуня, проходя мимо Сони, «откланялась ей внимательно

ным, вежливым и полным поклоном. Сонечка смутилась... и какое-то даже болезненное ощущение отразилось в лице ее, как будто вежливость и внимание Авдотьи Романовны были ей тягостны и мучительны». Соня преувеличенно чувствовала свою недостойность, что очень редко случается со всеми нами. А Раскольников, с неожиданной лаской проводивший мать и сестру, «был отчего-то счастлив». Дуня ушла за матерью «тоже почему-то вся счастливая». Почему же? Все «бессознательно знали» сердцем, что с приходом Сони готовится в их жизни нечто безмерно важное и благодатное. Пульхерия Александровна первая, материнским чутьем, каким-то наитием, смутно выразила это в беспомощных словах. Идя с Дуней по улице, она вдруг сказала: «—...Этой девицы я тоже очень боюсь... — Какой девицы маменька? — Да вот этой, Софьи-то Семеновны, что сейчас была... — Чего же? — Предчувствие у меня такое, Дуня. Ну, веришь иль нет, как вошла она, я в ту же минуту и подумала, что тут-то вот и главное-то и сидит... — А я уверена, что она... прекрасная»... — сказала Дуня. — «Дай ей Бог!» — ответила мать. — «А Петр Петрович негодный сплетник, — вдруг отрезала Дунечка».

Один из бесов, правда, не чиновных, выпадал из игры. Между тем Раскольников, проводив мать и сестру, возвратился к себе. «— Ну вот и слевно! — сказал он Соне, ясно посмотрев на нее, — упокой Господь мертвых, а живым еще жить! так ли? так ли? ведь так?»

В эту светлую минуту он несомненно подумал о Мармеладове, но не мог не вспомнить и убитой им ростовщицы. Он и ей пожелал загробного покоя, уже не злобно насмешливо, как прошлой ночью, стоя на мосту. От доброго порыва, порожденного в нем присутствием Сони, вспыхнул луч, озарил покойного Мармеладова и скользнул отраженным светом по убитой старухе. «Соня даже с удивлением смотрела на внезапно просветлевшее лицо его; он несколько мгновений молча и пристально в нее вглядывался: весь рассказ о ней покойника отца ее пронесся в эту минуту вдруг в его памяти...» Так вспыхнувший луч, осветив на мгновение некую загробную область, снова вернулся к Соне, возжегшей его в

сердце Раскольникова. Теперь Соня духовно навсегда входила в семью Раскольниковых, становясь тем самым сестрой во Христе Разумихина. Борьба светлого воинства с бесовским полчищем с новой силой разгоралась в душе идейного убийцы. Дух глухой и немой, в лице своего посредника, поджидал Раскольникова у дома на улице.

Соня заторопилась, откланиваясь и обещая передать Катерине Ивановне, что приглашение на поминки принято. Но Раскольников попросил Соню подождать и поспешно обратился к Разумихину. Он решил сам явиться к судебному следователю как закладчик, не дожидаясь официального приглашения, и хотел предложить Разумихину присутствовать при разговоре с Порфирием Петровичем. Раскольников, стараясь обосновать свою просьбу как можно естественнее, сказал, что хотя заклады его «так, дрянцо», всё же это отцовские серебряные часы и сестрино колечко, которыми мать и сестра чрезвычайно дорожат как семейными реликвиями. Разумихин очень обрадовался просьбе. Он давно сердился на Порфирия Петровича, почти явно подозревавшего Раскольникова, и досадовал, что даже Заметов, одумавшись, снова вернулся к своим подозрениям.

Раскольников обещал Соне сегодня же к ней зайти и спросил, где она живет. «А я об вас еще от покойника тогда же слышала»... — вдруг сказала Соня. Итак, Мармеладов успел рассказать ей о своей встрече с Раскольниковым в распивочной. Жизнь, как всегда, невидимо порождала завязи будущих событий, подготовляла к проявлению вовне всё, уже свершившееся в душевных глубинах. Внутренний свиток развертывался, поступая наружу. Состоявшиеся внутри отпечатки обращались в явь. А она настанет лишь тогда, когда есть чему проявиться.

Выйдя на улицу, Раскольников и Разумихин простились с Соней и направились прямо к судебному следователю. Соня «пошла потупясь, торопясь, чтобы поскорей как-нибудь уйти у них из виду»... Слишком во многом надо было ей теперь разобраться, и она стремилась «остаться наконец одной, и там, идя, спеша, ни на кого не глядя, ничего не замечая, ду-

мать, вспоминать, соображать каждое слово, каждое обстоятельство. Никогда, никогда она не ощущала ничего подобного. Целый новый мир неведомо и смутно сошел в ее душу».

Она была влюблена, и уже беспредельное всеохватывающее чувство любви проникало в нее.

Не легко было Пушкину создавать свою Мадонну — «чистейшей прелести чистейший образец», в глуши степных селений возросший цветок — влюбленную Татьяну, девушку, с самого рождения огражденную от тлетворного дыхания городов полями и лесами, наивным патриархальным бытом. Но стократ было труднее Достоевскому, сокрушая лицемерные устои общепринятой морали, творить духовный лик влюбленной и любящей проститутки. Что влекло Достоевского к таким задачам четвертого измерения, постигаемым только шестым чувством? Влекло его к этому то, что испытал и увидел он, стоя у смертного столба. Тогда, под барабанный бой и чтение смертного приговора, родился в мир небывалый младенец, возросший потом духовным своим телом на каторге, познавший на себе, что подлинная, истинная свобода возможна и в цепях, что в самом страшном злодее горит, не погасая, искра Божья, способная разгореться внезапно. С того навеки для него памятного дня только то и делал ветхий во грехах Достоевский, что прислушивался в себе к новому человеку, к движениям и порывам его духовного тела. Этот новый человек в Достоевском был христианином. Христос принял Марию Магдалину и отверг фарисеев. В подражание Ему, Достоевский превознес Соню Мармеладову и отвернулся от «порядочных господ», не отличимых для него от лужиных. Он показал нам чудо в глубине души человека, ждущее от нас своего осуществления наяву.

Соня шла, глубоко погрузившись в себя. «Она припомнила вдруг, что Раскольников сам хотел к ней сегодня зайти, может, еще утром, может, сейчас!»

— Только уж не сегодня, пожалуйста не сегодня! — бормотала она с замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге. — Господи! Ко мне... в эту комнату... он увидит... о, Господи!».

Она не знала и не могла знать, что ее комната *уже* есть неотъемлемая от Раскольникова, священная часть его души. И не только потому, что там лежало на комоде Евангелие Лизаветы, ожидающее его прихода, но и потому еще, что там жил Богом ему ниспосланный ангел Хранитель — полюбившая идейного убийцу проститутка Соня. Неукротимое разрастание древа жизни невероятно и чудесно. Оно никак не считается с придуманной людьми моралью. Не моральными правилами созидается жизнь, но великим запасом любви и милосердия в сердцах людей, в природе и во вселенной. Тигрица, готовая пожертвовать собою ради своих детенышей, движима не моралью, она их любит, и это все! А Дух дышит, где хочет.

Соня снимала комнату у некого портного Капернаумова, косноязычного и хромого; его жена также была косноязычна. У них было семь человек детей. Старший, по словам Сони, заикался, а другие — просто больные...

Это смиренное убожество, эта евангельская фамилия щемят сердце и отражают собою жалкую приниженность и затаенное смирение Сони. Она не могла не очутиться в тесном соседстве с Капернаумовыми и именно в такой комнате, в какой она теперь жила.

Когда Достоевский сосредотачивает всё свое внимание на вещах, домах и квартирах, старательно и точно отражая их сущность, надо следить за малейшей деталью в описаниях, столь у него редких и скупых. Жилище Сони Достоевский описывает подробно потому, что оно не только снимок ее греховности, ее искаженного существования и душевных страданий, но еще и часть души Раскольникова, судьба которого теперь в Сониных руках. Правильно сказано у Бердяева, что женщины в творчестве Достоевского не имеют собственной судьбы, но зато определяют собою судьбу мужчин и в ней, замечу от себя, как бы растворяются.

Комната Сони, говорит Достоевский, «была большая.., но чрезвычайно низкая, единственная, отдававшаяся от Капернаумовых, запертая дверь к которым находилась в стене слева. На противоположной стороне, в стене справа, была еще

другая дверь, всегда запертая наглухо. Там уже была другая, соседняя квартира, под другим нумером. Сонина комната походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного четырехугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена с тремя окнами, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол был слишком безобразно тупой... поблизости от острого угла, стоял небольшой простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте... Желтоватые, обшмыганные и истасканные обои почернели по всем углам; дожно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой».

Какая печаль, какая мерзость запустенья! И этот комод, стоящий как бы на грани небытия вблизи от ужасного острого угла, убегающего куда-то вглубь! Кажется, вот еще один шаг и попадешь в мир потусторонних теней; отшатнись назад и очутишься в другом безобразно тупом углу, в его безысходности, отражающей Сонину душу, зашедшую в тупик. Но там, где Соня, там и Раскольников — ему также нет выхода. Соню привела в это серое жилище ее греховная жертвенность. Такая жертвенность неминуемо порождает встречу Сони с преступной гордыней, с носителем темной надменности — Раскольниковым.

Погружаясь в глубину всех вещей, положений и состояний, начинаешь постигать нечто совершенно поразительное, картезианскому рассудку недоступное: то, что Соня живет в своем сером углу, и есть ее метафизически уже состоявшаяся задолго до осуществления наяву встреча с Раскольниковым. Поселившись здесь, Соня, тем самым, проникла в душу идейного убийцы и навсегда осталась в ней. Сонина комната это отразившаяся вовне часть души Раскольникова. Другая часть его расколотой души находилась справа за дверью, всегда запертой наглухо. Стол и кровать Сони стояли у стены близко от этой двери. За стеною располагалась квартира некоей мадам Реслих, Гертруды Карловны, весьма почтенной сводни. Комната этой квартиры, находив-

шаяся непосредственно за Сониной стеною, оставалась обычно нежилою.

Многое сказанное мною сейчас, с точки зрения «здравого рассудка», есть сплошное безумие и, вдобавок, коллективное: ведь еще до меня некоторые исследователи творчества Достоевского (назову хотя бы Мочульского, Евдокимова и французского писателя Жака Мадоля) отметили прямую связь души Раскольникова с вещным миром, его окружающим. Трудно плыть против течения и бороться с позитивным девятнадцатым веком, внушившим нам, что нет никакого иного подхода к искусству, кроме реалистического. Ни французские так называемые «проклятые поэты», ни французские художники — импрессионисты, ни русские символисты далеко еще не достигли цели — пробить брешь в бетонной стене и показать, что на свете существуют не одни лишь реалистические методы Льва Толстого и натуралистические романы Золя. Будем же углубляться вслед за Достоевским в дебри священного безумия! Я уже сказал, что живя в своей комнате, Соня тем самым жила в душе Раскольникова задолго до своего личного знакомства с ним. Оттого так просто звучит совсем не простое и не обычное обещание Раскольникова сказать Соне, кто убил Лизавету. По словам Раскольникова, он тогда выбрал Соню, чтобы сказать ей это, когда еще не убивал Лизавету, да и самой Сони не знал, а только слышал о ней пьяный рассказ Мармеладова. Достоевский открывал новые миры и новые не изведанные никем законы бытия. Приобщая нас к этим мирам и законам, он показывает, что всё, долженствующее произойти наяву, уже свершилось в наших душевных глубинах при содействии нашей же собственной внутренней воли, и что наши стремления, мечтания и вожделения, неведомо для нашего сознания, принимая различные формы и виды, материализуются в мире явлений. Таким образом, и прямо и косвенно, Достоевский утверждает мысль великого Оригена: «материя есть уплотненная человеческим грехом духовность».

При свете творческих открытий Достоевского нам скоро станет понятным, почему при первом своем знакомстве с

Раскольниковым, Свидригайлов скажет ему: «Ну, не сказал ли я, что между нами есть какая-то точка общая, а?». И далее... «Давеча, как я вошел и увидел, что вы с закрытыми глазами лежите, а сами делаете вид, — тут же я и сказал себе: «это тот самый и есть».

Свидригайлов сам не понимает, почему сказал это, и на вопрос взволнованного Раскольникова: «Чтó это такое: тот самый? Про чтó вы это?» — отвечает: «Про чтó? А право, не знаю про что...»

Я уже приводил эти слова Свидригайлова в связи с происшествием на Конногвардейском бульваре, когда Раскольников повстречался с пьяной девочкой и предприимчивым франтом. Привожу эти слова опять с тем, чтобы рассмотреть под иным углом зрения их загадочное значение. Но прежде вернемся к Соне, идущей к себе домой по улице. Она шла погруженная в воспоминания о своей только что состоявшейся встрече с Раскольниковым. «И уж, конечно, она не могла заметить в эту минуту одного незнакомого ей господина, прилежно следившего за ней и провожавшего ее по пятам. Он провожал ее с самого выхода из ворот».

Соня, Раскольников и Разумихин, выйдя на улицу, остановились на минуту и не заметили, разговаривая, как «этот прохожий, обходя их, вдруг как бы вздрогнул, нечаянно налету поймав слова Сони: «и спросила: господин Раскольников где живет?». Он быстро, но внимательно оглядел всех троих, в особенности же Раскольникова, к которому обращалась Соня; потом посмотрел на дом и заметил его». Теперь этот прохожий шел за Соней по пятам. «...Видел где-то это лицо, — думал он, припоминая лицо Сони... — надо узнать».

Наружность этого человека описана у Достоевского подробно. Это был господин лет пятидесяти. Он «смотрел осанистым барином». Одет был щегольски и имел несколько сутуловатый вид. «Широкое, скуластое лицо его было довольно приятно... Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые.., а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных волос. Глаза его были

голубые и смотрели холодно... губы алые». Словом, всё могло бы сойти за приятное, но вот холодные голубые глаза, совсем светлые, льняные волосы, и это при алых губах! Сочетание не совсем обычное и несколько жутковатое. Было что-то в этом красногубом господине лунное, астральное. Недаром это *странное* существо, в тот же день познакомясь с Раскольниковым, скажет ему, что видит иногда привидения.

«— Наяву?

— Совершенно.

— ...Отчего я так и думал, что с вами непременно что́-нибудь в этом роде случается! — проговорил вдруг Раскольников, и в ту же минуту удивился, что это сказал. Он был в сильном волнении».

Странный господин шел за Соней. «Дойдя до своего дома, Соня повернула в ворота, он за ней и как бы несколько удивившись. Войдя во двор, она взяла вправо, в угол, где была лестница в ее квартиру. «Ба!» пробормотал незнакомый барин и начал взбираться вслед за ней по ступеням. Тут только Соня заметила его. Она прошла в третий этаж, повернула в галерею и позвонила в 9 нумер, на дверях которого было написано мелом: *Капернаумов, портной.* «Ба!» повторил опять незнакомец, удивленный странным совпадением, и позвонил рядом в 8 нумер. Обе двери были шагах в шести одна от другой.

— Вы у Капернаумова стоите! — сказал он, смотря на Соню и смеясь. — Он мне жилет вчера перешивал. А я здесь, рядом с вами, у мадам Реслих, Гертруды Карловны. *Как пришлось-то!* (Подчеркнуто мною. — Г. М.)

Соня посмотрела на него внимательно.

— ...Я ведь всего третий день в городе. Ну-с, пока до свидания.

Соня не ответила; дверь отворили, и она проскользнула к себе. Ей стало отчего-то стыдно, и как будто она оробела...»

То был Свидригайлов. Он, по приезде в Петербург, остановился, как и в прежние годы, у своей приятельницы Рес-

лих, доставлявшей ему за приличное вознаграждение разного рода развлечения, главным образом, с малолетними. В те годы «разврат косился боязливо», ютясь по темным закоулкам; тогда еще не додумались до «розовых балетов», нередко состоящих ныне под высоким покровительством государственных особ.

Теперь попытаемся сделать некоторые сопоставления, выясняющие кое-что немаловажное в игре переплетающихся положений и назревающих событий.

Комната Сони отделена наглухо запертой дверью от пустой комнаты, в которой, на принесенном предусмотрительно стуле, будет сидеть Свидригайлов и подслушивать разговор Раскольникова с Соней.

Миссия Сони, свыше ей данная, — спасти Раскольникова от духовной погибели; предназначение Свидригайлова утвердить идейного убийцу в нераскаянности. Если комната Сони действительно есть поступившая наружу материализовавшаяся часть души Раскольникова, то становится постижимым, почему, слушая Мармеладова, он уже «знает бессознательно», кого убьет и к кому придет признаваться в убийстве. Если пустая комната в притоне Реслих есть символ метафизической пустоты, давно овладевшей душою идейного убийцы, то можно духовно ощутить, почему при первом же свидании Свидригайлова с Раскольниковым, оба они мгновенно и по существу узнают друг друга. Для Свидригайлова Раскольников «это тот самый и есть», а Раскольникову стоило, только очнувшись от страшного сна, увидеть входящего в комнату незнакомого господина, чтобы тотчас же узнать в нем Свидригайлова и, снова закрыв глаза, прикинуться спящим из желания отсрочить хоть на секунду роковую встречу.

Исследователям творчества Достоевского часто задается довольно наивный вопрос: «Неужели Достоевский знал всё то, что вы теперь у него находите?» Но ведь всякий подлинно великий художник мышления видит в себе и своих творениях такие глубины, какие и не снились его исследователям и читателям. Все мы вместе взятые улавливаем лишь

малую долю того, что знал Достоевский о себе и о своих творческих прозрениях. Но надо верить собственному чутью, поверяя его умом — верным слугою сердечных наитий.

Что-то начинало осаждаться в душе Раскольникова — на арене борьбы Бога и дьявола заново располагались ангельские и бесовские силы. Отражением в трехмерном мире этого внутреннего положения были — Соня, поджидающая прихода Раскольникова, и темное присутствие Свидригайлова за стеною, рядом, в притоне госпожи Реслих.

Раскольников и Разумихин спешили к судебному следователю.

Сон и его воплощение

В творчестве Достоевского бывают такие минуты, когда смысл произносимых самим автором или его персонажами слов двоится, троится, становится одновременно двупланным, трехпланным. Тогда развивающееся действие, происходящая сцена, разговор-поединок двух лиц перерастают душевное и отражают уже нечто духовное, вселенское, и потому не условное, но абсолютное, категорически императивное. Такова беседа Ивана Карамазова с чертом и Смердяковым; таков последний предсмертный разговор Кириллова не то с человеком, не то с бесом, точнее же сказать, с человекобесом — Петром Верховенским; такова первая беседа Раскольникова с Свидригайловым, когда их слова, преисполненные многосмысленности, вдруг обнаруживают связь и того и другого с областями потусторонними, откуда проникают к нам в трехмерный мир существа, подчиненные законам иным, нам неведомым. И напрасно Раскольников на вопрос Свидригайлова, верит ли он, что есть привидения, отвечает с какою-то даже злобою: «— Нет, ни за что не поверю!» Однако Свидригайлов, видевший выходцев с того света, прав, настаивая на том, что Раскольников одного с ним поля ягода, и если еще не видит привидений, то может их увидеть и удостовериться в их подлинном существовании. Ведь недаром чувствует Раскольников присутствие рядом с собою кого-то нездешнего, вот-вот готового стать видимым. «Физиономия ваша, — говорит Свидригайлов, — еще давеча утром меня поразила». «Где вы меня давеча утром видели? — с беспокойством спросил Раскольников. — Случайно-с... Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее.»

«Нет на земле ничтожного мгновения» или, что то же,

случайного. При внимательном чтении творений Достоевского это становится совершенно очевидным. Жизнь только то и делает непрестанно, что нарушает все земные вероятия, опрокидывает все наши позитивные расчеты, обнаруживая свою особую последовательность, обнажая роковой ход событий и происшествий. Именно поэтому увидел Свидригайлов Раскольникова еще до знакомства с ним, что не мог не столкнуться со своим подобием. Жизнь заблаговременно рождает в нас и для нас, при внутреннем нашем содействии, те или иные возможности, обстоятельства. Я уже говорил, что, по Достоевскому, люди задолго до того как предстоит им встретиться, несут друг друга в собственной душевной глубине, и, прежде чем неразрывно переплетутся их существования, кто-нибудь из них, мельком, как бы совсем случайно заметит и невольно запомнит другого: сеется чуть видное семя, а потом из него вырастает дерево, дающее плоды. В душевной глубине Свидригайлова и Раскольникова нарастала и наконец назрела неизбежность их встречи. Часто персонажи Достоевского «знают бессознательно» то, что должно с ними произойти, и тогда их слова звучат многосмысленно. Так Свидригайлов, повстречавшись «случайно» с Соней на лестнице дома, узнаёт, что живут они рядом в смежных квартирах, и, сам не понимая глубочайшего смысла оброненного им замечания, удивленно восклицает: «Как пришлось-то!» Или тот же Свидригайлов, уходя от Раскольникова, говорит между прочим, совсем не думая о тайном, мистическом значении собственных слов: «Ну-с, ваш слуга! Я ведь от вас очень недалеко стою». Необходимо постоянно помнить, что Свидригайлов рождается во плоти для Раскольникова из сновидения этого идейного убийцы о умерщвленной им ростовщице. Как Мефистофель приставлен к Фаусту, так Свидригайлов будет до поры до времени состоять при Раскольникове, преграждая ему пути, ведущие не только к раскаянию, но даже к чисто официальной явке с повинной. Поэтому и стоит Свидригайлов, как он сам замечает, от Раскольникова очень недалеко. Говоря прямее, он живет в душе Раскольникова, рядом с Соней, отделённый от

нее там невидимой перегородкой, превращающейся в мире явлений в стену и наглухо запертую дверь.

Раскольников — расколотый грехом Адам, а все остальные персонажи его окружающие, — его частицы, ищущие с ним воссоединиться. Каждая из этих частиц имеет здесь на земле свое самостоятельное бытие, но ищет себе дополнения в других, и все вместе устремляются к своему средоточию — к Раскольникову. Совершенно особое положение среди всех персонажей «Преступления и наказания» занимает судебный следователь Порфирий Петрович. В отличие от других, он как бы никогда не отрывался от всеобщего средоточия, от Раскольникова. Идея права, которую Порфирий Петрович собою воплощает, неотделема от совершившего преступление Раскольникова, она неотъемлемо пребывает в преступнике и ежеминутно его перед самим же собою изобличает. Не потому ли тянет Раскольникова к судебному следователю какая-то непреодолимая сила, что влечется убийца в свою собственную глубину, порываясь хоть как-нибудь отклонить надвигающуюся там угрозу Божьего Суда? Однако тщетны усилия человека избежать этого Суда: Бог милосерд, но прав, и Пра́ва Его никак из себя не изгнать. Оно, как резиновый мяч, отскакивает от стенок души и в ней остается нерушимо. Пра́во, людьми установленное, отражает — пусть сниженно и тускло — Пра́во Божественное, отражает его в беседе с Раскольниковым и бегающий туда и сюда по комнате судебный следователь Порфирий Петрович. «Чрезвычайно странною казалась при этом, — замечает Достоевский, — его маленькая, толстенькая и круглая фигурка, как будто мячик, катавшийся в разные стороны и тотчас отскакивающий от всех стенок и углов». Пристально приглядываясь к Раскольникову и Порфирию, внимательно прислушиваясь ко всем оттенкам их разговора, вдруг начинаешь ощущать, что находишься не в квартире судебного следователя, но в само́м преступнике, и что нет ничего и никого, кроме пораженной грехом его самоистязающейся души. Снова и снова все внешнее оказывается у Достоевского лишь отражением внутреннего, и нет ни людей, ни вещей, нет никакого чело-

вечества, а есть раздробленный Адам и нависшее над ним и в него проникшее вышнее Пра́во. В деловом кабинете Порфирия Петровича, «в углу, в задней стене, или лучше сказать в перегородке, была запертая дверь: там далее, за перегородкой, должны были, стало быть, находиться еще какие-то комнаты». Да, Бог один знает, что содержит в себе глубина человека. Для нас же всех, начиная с психиатров и психологов, своя и чужая душа — потемки. Но вот умный и хитрый Порфирий Петрович, перед второй своей встречей с Раскольниковым, заготовил для него, как сам выражается, «сюрпризик»: посадил у себя за запертой перегородкой мещанинишку, что стоял с дворниками и бабой у ворот *того* дома, когда приходил убийца к месту совершенного им преступления. Этот мещанин, одетый во что-то вроде халата и похожий на бабу, надумал-таки явиться к судебному следователю и поведать ему свои подозрения. Но еще до явки к Порфирию, он вдруг, как из-под земли, вырос перед Раскольниковым, олицетворяя собою грозную совесть преступника. Понимал ли судебный следователь, какого рода страшный символ в лице ничтожного мещанина припрятывал он у себя с целью выпустить его неожиданно на перепуганного таким появлением преступника? Нет, конечно! Но жизнь взяла свое, а пьяница-мещанин и Порфирий были, сами того не ведая, важнейшими частицами растерявшего себя Раскольникова. Один — уязвленная совесть, другой — низвергнутое право в душе идейного убийцы. Это органически так. Достоевскому нет дела до аллегорий и психологии, когда он заглядывает в глубь человека. Все же для любителей психоаналитических тонкостей закатил он пир горой из расставленных судебным следователем ловушек, из его намеков, подвохов и лукавых хихиканий, предназначенных поймать преступника на слове.

Многие читатели «Преступления и наказания» восхищались и все еще восхищаются психологическими изощренностями, щедро расточаемыми Порфирием Петровичем, забывая при этом, что сам-то он не придает никакого значения психологии, хорошо зная, что она о двух концах и во

всех отношениях скользкая. Увериться в том, что убийца не кто иной как Раскольников, было не трудно. Ведь даже помощник полицейского надзирателя — вздорный Илья Петрович, легковесный мальчишка Заметов и пьяница-мещанин — и те не ошиблись. Нет, заслуга Порфирия Петровича в другом и в весьма основательном: он один до глубины постиг причину, толкнувшую Раскольникова на преступление; он понял, что дело тут вовсе не в психологии убийцы, но в злой метафизике его времени, он учуял, что стержень духовной вины не в Раскольникове, но в сердце России. За плечами Порфирия Петровича стоял подпольный опыт самого Достоевского — «политического заговорщика», с его яростным требованием ста тысяч голов во имя водворения на земле человеческой справедливости, автономной от Бога.

В словах и действиях Порфирия Петровича чувствуется отечески суровая забота о Раскольникове и страх за судьбы России, в которой, по его ироническому замечанию, «кто ж себя Наполеоном теперь не считает». Итак он знал отлично, что в те роковые для России годы не одного Раскольникова тревожил образ Наполеона. Между тем, Профирий Петрович лишь повторял проверенные им на жизненном опыте слова, задолго до него сказанные Пушкиным. И непостижимым остается, как мог Пушкин во дни краткого, но блистательного российского Ренессанса, в расцвете солнечных дней, предвидеть именно то, что привело нас всех к непоправимому крушению:

Все предрассудки истребя,
Мы почитаем всех нулями,
А единицами себя.
Мы все глядим в Наполеоны;
Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно;
Нам чувство дико и смешно.

Ну, чем не коллективно, общими усилиями подготовленный и порожденный нами Раскольников?

Судебный следователь Порфирий Петрович неотделим от Достоевского и уже по одному этому неотделим он от Раскольникова. В разговорах Порфирия с идейным убийцей важна не выставленная напоказ, обильно разукрашенная психология, служащая для сути дела всего лишь необходимой декорацией, но первостепенно в них то, что обретается за нею: уходящее в глубь веков духовное знание России и мучительная тревога за ее будущее, за всех нас, ныне попавших на неизбывную каторгу. Через посредство судебного следователя говорит сам с собою Раскольников, совсем как теперь каждый из нас в одиночестве обращается к собственной совести, чуя в себе неистребимое присутствие вышнего Пра́ва, нами всеми попранного.

В «Преступлении и наказании» действие перерастает всё душевно-телесное и развивается в плане духовном. От этого вещи и тело человека становятся как бы сквозными, отражая и продолжая друг друга. В творениях Достоевского живут и действуют вещи-символы, мысли-герои.

В девятнадцатом веке еще не было точных терминов, определяющих по существу различные области искусства. В «Дневнике писателя» Достоевский говорит о литературных типах и характерах, не подозревая даже, что ни тех, ни других в его творчестве не имеется. Глубочайшую разницу в искусстве между типом, характером и личностью стали ясно понимать и отмечать только в начале двадцатого века. Первым у нас в России детально заговорил об этом молодой автор Аскольдов (вскоре затем расстрелянный большевиками). Он справедливо причислил Достоевского к художникам, творчески отражающим *личность* человека, всегда незаменимую, единственную, но повторяющую собою, непременно на свой лад, всё, в иных сочетаниях присущее людям. Душа Раскольникова показана нам как бы в разрезе и по ней каждый может, в той или иной степени, в тех или иных соотношениях, судить о состоянии собственного внутреннего мира. Надо научиться любить ближнего и беспощадно видеть себя в его грехах и пороках. В этом, по Досто-

евскому, единственный путь, ведущий к восстановлению падшего Адама.

*

В деле об убийстве ростовщицы не имелось у судебного следователя никаких вещественных данных, неопровержимо уличающих Раскольникова, была лишь одна, «всегда о двух концах проклятая психология». Но вот имелась еще и Родина статейка, появившаяся за два месяца до того в журнале и попавшаяся на глаза Порфирию Петровичу. В ней острый взор человека, от природы умного и многое в жизни испытавшего, мог найти кое-что посущественнее психологии. Эта статейка, как некий радиоприемник, была напитана злыми токами, уже тогда пробегавшими по судорожному телу тяжко заболевшей России. «Книжные мечты и раздраженные сердца», о которых, в связи с убийством ростовщицы, говорит Порфирий Петрович, принадлежали не просто грешным, как всегда себялюбивым и завистливым людям, но одержимым российским умникам из образованных, признавшим себя за особых существ, находящихся вне быта, вне сословных подразделений, вне вековых традиций и обычаев, вне государства, истории и религии, словом, вне всяких «предрассудков». При таком вполне беспочвенном положении им оставалось только из принципа переступить через все принципы, что и попытался сделать Раскольников. Для этого надо было ему, по примеру умников, «съехать на вековые вопросы и парить на воздусех», как выражается Порфирий Петрович, иначе говоря, очутиться вне истинного бытия. А всем известно, *кто* именно дух небытия.

К нигилистам и социалистам Раскольников не принадлежал уже потому, что действовал в порядке индивидуальном. Но у Достоевского всё органично и связано изнутри, достаточно взяться за любую нить в его повествовании, как тотчас отзовется все творение в целом. Раскольников совсем не социалист, но умственно вырастает из одной с социалистами теоретической закваски, что не мешает ему отзываться о них крайне презрительно: «Трудолюбивый народ и

торговый, «общим счастьем» занимаются. Нет, мне жизнь однажды дается и никогда ее больше не будет: я не хочу дожидаться «всеобщего счастья». «Несу, дескать, кирпичик на всеобщее счастье и оттого ощущаю спокойствие сердца». Ха-ха! Зачем же вы меня-то не пропустили? Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу».

На такие заявления ничего возразить нельзя тем более, что Раскольников тут же сам, со своей кровавой практикой, признает себя за вошь и «сквернее и гаже, чем за убитую вошь» — ростовщицу. Потому называет себя вошью Раскольников, что, идя убивать старуху, он точь-в-точь подобно социалистам, «возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, все и меру и арифметику, из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую, и убив ее, положил взять у ней ровно столько, сколько мне надо для первого шагу, и ни больше, ни меньше».

Ну, чем не революционер с принципом, покушающийся на принципы! «Не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имея в виду великолепную и приятную цель — ха-ха!» Но в самом главном Раскольников и сам молодой Достоевский не были похожи на безбожных исправителей природы и человечества, на устроителей «всеобщего счастья»: оба они всегда — Бога молитвами беспокоили и всеблагое Провидение призывали. Раскольников на прямой вопрос Порфирия Петровича, верует ли он в Бога, отвечает: «верую». — «И-и воскресение Лазаря веруете? — Верую. — Буквально веруете? — Буквально». В этом и состоит коренное отличие Раскольникова от русских социалистов и нигилистов. Всё же, хоть и побочно, он связан с ними через злую метафизику шестидесятых годов, через преступность замыслов. Причем ни Раскольников, действующий в одиночку, ни революционеры по профессии, действующие скопом, не считают себя преступниками, но существами, преданными идее.

Раскольников, излагая свою теорию перед Порфирием Петровичем и Разумихиным, утверждает, что «человек, призванный сказать новое слово, «необыкновенный» человек...

сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть... через иные препятствия и единственно в том только случае, если исполнение его идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». «По-моему, — продолжает Раскольников, — если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия, вследствие каких-нибудь комбинаций, никаким образом не могли бы стать известными людям иначе как с пожертвованием жизни одного, десяти, ста, и так далее человек, мешавших бы этому открытию, или ставших на пути, как препятствие, то Ньютон имел бы право и даже был бы обязан... *устранить* этих десять или сто человек, чтобы сделать известными свои открытия всему человечеству. Из этого, впрочем, восве не следует, чтобы Ньютон имел право убивать кого вздумается, или воровать каждый день на базаре».

От такого рассуждения легко перекинуть мост к идеям и деяниям профессиональных революционеров, начиная с Робеспьера, включительно до российских кровавых подрывателей основ. Конечно, эти подрыватели никогда бы не приняли опыта, проделанного Раскольниковым, действовавшим самотеком и уже тем одним нарушившим «священные права законодательного коллектива», но все же их собственные рассуждения удивительно совпадают с доводами нашего ницшеанца до Ницше — героя «Преступления и наказания». Прямой путь, не только от теорийки Раскольникова, но от центральной идеи самого Ницше, ведет к тому, что теперь называется нелепыми словами «фашизм» и «нацизм». Нужды нет, что Ницше, вне всякого сомнения, отрекся бы с отвращением и от нацизма и от фашизма, тем не менее центральная идея именно этого мыслителя, выношенная им в уединении, проникнув на улицу, вульгаризировалась, охамела и породила то, что всем нам довелось увидеть в действительности. Но трудно было бы не заметить поразительного сходства того, что так недавно творилось в Германии с тем, что все еще происходит в России.

В молодости Достоевский прошел через подполье в одиночестве, потом через подполье коллективное и лишь после разразившейся грозы, попав на каторгу, познал, пребывая на аршине пространства, отпущенном ему судьбою, что пиры злоумышления хоть и блистают «разнообразием брашен, но вкус один во всех».

Повторяю, предвидения Достоевского обретаются в его художественных творениях, но не в «Дневнике писателя», во многом немощном. Свои заветные предчувствия и мысли Достоевский часто выражает устами своих персонажей, положительных и отрицательных. Всё, что говорит Разумихин, обращаясь к Порфирию Петровичу и Раскольникову, о русских социалистах, революционерах по профессии, отражает мнения самого автора «Преступления и наказания» и ныне звучит как пророчество. Идеи, витавшие тогда в воздухе российской столицы, блистали разнообразием оттенков, но по существу являли собою всё ту же единую и неделимую революцию, зародившуюся во Франции и перекинувшуюся в Россию в начале девятнадцатого столетия.

Хотели ли русские ницшеанцы до Ницше или не хотели, но объявленный ими бунт был ответвлением той же, все той же революции. Восстание на Бога, как бы оно ни называлось, ослепляет человека и ведет к преступлению.

Разумихин, обращаясь к Раскольникову и Порфирию Петровичу, заговорил о «воззрениях социалистов». «Известно воззрение: «преступление есть протест против ненормальности социального устройства», — и только и ничего больше, и никаких причин больше не допускается, — и ничего!.. Всё у них потому что среда заела — и ничего больше. Любимая фраза! Отсюда прямо, что если общество устроить нормально, то разом и всé преступления исчезнут, так как не для чего будет протестовать и всé в один миг станут праведными. Натура не берется в расчет, натура изгоняется, натуры не полагается! У них не человечество, развившись историческим *живым* путем до конца, само собою обратится, наконец, в нормальное общество, а напротив, социальная система, выйдя из какой-нибудь математической головы, тот-

час же и устроит все человечество и в один миг сделает его праведным и безгрешным, раньше всякого живого процесса, без всякого исторического и живого пути! Оттого-то они так инстинктивно и не любят историю. Оттого так и не любят *живого* процесса жизни: не надо *живой души!* Живая душа жизни потребует, живая душа не послушается механики, живая душа подозрительна, живая душа ретроградна! А тут хоть и мертвечинкой припахивает, из каучука сделать можно, — зато не живая, зато без воли, зато рабская, не взбунтуется! И выходит в результате, что всё на одну только кладку кирпичиков да на расположение коридоров и комнат в фаланстере свели! Фаланстера-то и готова, да натура-то у вас для фаланстеры еще не готова, жизни хочет, рано на кладбище! С одной логикой нельзя через натуру перескочить! Логика предугадает три случая, а их миллион! Отрезать весь миллион и всё на один вопрос о комфорте свести. Самое легкое разрешение задачи! Соблазнительно ясно, и думать не надо... Вся жизненная тайна на двух печатных листках умещается!».

Но если всё на один вопрос о комфорте сводить, то для чего и хлопотать — ведь Лужин и Зосимов и без того уже готовы. Вот разве всех до единого в Лужиных обратить. Но тогда как эти Лужины будут свои приобретательские вожделения насыщать? Так или иначе, а ясно: на двух листках умещается не жизненная тайна, но всего на всего высосанная из пальца теорийка, причем совершенно безразлично кто именно эту теорийку предварительно належал и высосал — Фурье или Раскольников, Маркс или Сталин с Гитлером. За неимением ничего лучшего, можно такую теорийку повторять изо дня в день, из года в год и исписать, повторяя одно и то же, не два листика, но миллионы миллионов листков; дело от этого не изменится и неизбежно приведет к самоуправному пролитию крови. И не все ли равно в каком количестве ее проливать: перед совестью, еще не запятнанной порочными рассуждениями, жизнь одной глупой, ничтожной и злой старухи не менее ценна, чем жизнь тысячи праведников. Важнее же всего отметить один пункт, обычный для всех подоб-

ного рода теорий: *деление людей на «обыкновенных» и «необыкновенных»*. В статейке Раскольникова, излагаемой Порфирием Петровичем, так и говорилось: «необыкновенные имеют право делать всякие преступления и всячески преступать закон, собственно, потому, что они необыкновенные». Раскольников вполне согласен с таким изложением своей мысли. Устроители всечеловеческого счастья, социалисты, конечно, от этой теории на словах откажутся, несмотря на то, что социалистический российский опыт неопровержимо теперь их уличает. Он показал, что без чудовищного кровавого насилия над живой человеческой душою и живым процессом жизни никакой фаланстеры не составишь и никого в общее стойло не загонишь. А для того чтобы загонять живых людей в кирпичники, по одному образцу сооруженные, нужны избранные, «необыкновенные», которым все позволено. Хочешь, не хочешь, но деление Раскольникова принимай, а чтобы не было обидно, лучше всего правоверным устроителям всемирного счастья, как можно скорее, признать самих себя за избранных, и от теории перейти к делу, присоединившись к засевшим в Кремле необыкновенным устроителям всечеловеческого блаженства.

Пересуды, затеянные Разумихиным, не занимали Раскольникова, слишком его беспокоили словечки, намеки, подмигивания Порфирия Петровича; в них сквозило недоброе. Тревожило также присутствие секретаря полицейской конторы Заметова, успевшего, по-видимому, еще до прихода друзей, кое о чем переговорить с судебным следователем. Чувствовалось нависание какой-то опасности. Когда же, при обсуждении статейки Раскольникова, речь зашла о Наполеоне, и Заметов вдруг брякнул из угла: «Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну топором укокошил», то стало ясно, к чему клонились намеки. Однако от предположений и подозрений до вещественных улик далеко, и Раскольников понимал это. Еще можно было не признаваться, бороть-

ся, но к чему? Возможно ли в постылом одиночестве перетащить на себе тяжесть смертного греха? Кроме разумных выводов и решений, человеком руководят животные инстинкты, а травимый зверь, ни о чем не рассуждая, ищет как ему лучше укрыться от преследований. Выйдя с Разумихиным от судебного следователя на улицу, Раскольников глубоко вздохнул. Опасность пока как будто миновала. «Они подходили к нумерам Бакалеева, где Пульхерия Александровна и Дуня поджидали их. Разумихин поминутно останавливался в жару разговора, смущенный и взволнованный уже тем одним, что они в первый раз заговорили об этом ясно» Он был глубоко возмущен неделикатным, по его мнению, поведением Порфирия Петровича и выходкой Заметова. Раскольникову такое настроение приятеля было на руку. И он довольно искусно повел беседу так, чтобы подбить Разумихина в ближайшее же время снова завернуть к Порфирию Петровичу и, по возможности, выведать его истинные намерения. Повлиять на Разумихина оказалось не трудно: «Черт возьми! Пойду сам к Порфирию! И уж приму ж я его по-родственному: пусть выложит мне все до корней! А уж Заметова...»

Обрабатывая простодушного Разумихина, Раскольников «как-то вдруг стал беспокоен, как будто неожиданная и тревожная мысль поразила его. Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до входа в нумера Бакалеева. — Ступай один, — сказал вдруг Раскольников, — я сейчас ворочусь» — и быстро направился к себе домой.

Поспешно поднялся он по лестнице, вошел в незапертую квартиру свою и тотчас же заперся на крюк. Затем, испуганно и безумно, бросился к углу, к той самой дыре в обоях, в которой тогда лежали вещи, засунул в нее руку и несколько минут тщательно обшаривал дыру, перебирая все закоулки и складки обой. Не найдя ничего, он встал и глубоко перевел дыхание. Подходя давеча уже к крыльцу Бакалеева, ему вдруг вообразилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бумажка, в которую они были завернуты, с отметкою старухиною рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в какой-нибудь ще-

лочке, а потом *вдруг выступить перед ним неожиданною и неотразимою уликой*» (подчеркнуто мною. — Г. М.).

Здесь напомню, что он уже обшаривал раз эту дыру в обоях, когда, боясь обыска, прибежал домой, очнувшись от обморока в полицейской конторе. Теперь же не то, совсем не то, принудило его вернуться к себе, хоть он и вообразил, что именно с обыском могут нагрянуть к нему сейчас по распоряжению судебного следователя. Но что безошибочно знала глубина всего его существа, то превратно истолковывал рассудок. Опустошенная душа Раскольникова страшилась иной «неожиданной и неотразимой улики». Дыра в обоях, с затерявшейся, быть может, в ней запонкой или цепочкой, являлась лишь символом его преступной души; в собственной глубине надо было искать и найти неотразимую улику — изъязвленную совесть, уже дважды покидавшую его: в полицейской конторе в облике уходившей траурной дамы и на мосту в облике несчастной утопленницы — Афросиньюшки. Где же теперь таилась совесть убийцы? «Он стоял, как бы в задумчивости и странная, приниженная, полубессмысленная улыбка бродила на губах его. Он взял, наконец, фуражку и тихо вышел из комнаты. Мысли его путались. Задумчиво сошел он под ворота».

Почему путались его мысли, почему шел он машинально, как бы потеряв самого себя? Что-то снова, как тогда на мосту, невидимо отделялось от него, обретало самостоятельность и уже надвигалось, как рок.

«— Да вот они сами! — крикнул громкий голос».

Опять и опять неожиданный, как бы в чем-то уличающий и о чем-то предупреждающий голос! Будто кто-то невидимый неотступно следит за нами, бесстрастно отмечая свершившееся. А между тем, в плане бытия, называемом нами действительностью, все объясняется просто, вполне обыденно.

Раскольников поднял голову. «Дворник стоял у дверей своей каморки и указывал прямо на него какому-то невысокому человеку, с виду похожему на мещанина, одетому в чем-то вроде халата, в жилетке и очень походившему издали на бабу. Голова его, в засаленной фуражке свешивалась вниз,

да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое, морщинистое лицо его показывало за пятьдесят; маленькие, заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с недовольством». Он чутьем знал кто убийца, а убийца *бессознательно знал кто он* — этот человек с заплывшими глазками привычного пьяницы. Действительность все еще продолжалась, неощутимо переходя для Раскольникова в сон, вернее же сказать, в какое-то предсонье. Но можно ли отделить твердой гранью явное от снящегося не условно, как все мы делаем это, но безусловно, по существу, метафизически? Что жизнь есть сон, было ведомо Достоевскому не меньше, чем Кальдерону. Он знал также, что сон часто порождает действительность, никогда полностью не отделяясь от нее. Самые зоркие, напряженно мыслящие люди и те живут в полусне.

«— Что такое? — спросил Раскольников, подходя к дворнику.

Мещанин скосил на него глаза исподлобья и оглядел его пристально и внимательно, не спеша; потом медленно повернулся, и, ни слова не сказав, вышел из ворот на улицу.

— Да что такое? — вскричал Раскольников».

Дворник сам был в недоуменьи и мог ответить только, что «вот какой-то спрашивал, здесь ли студент живет, вас называл... Вы тут сошли, я показал, а он и пошел. Вишь ведь!»

Раскольников выбежал из ворот вслед за мещанином и увидел его уже идущим по другой стороне улицы. Таким образом, мгновение, когда этот человек переходил через улицу, для Раскольникова выпадало, нарушалась как бы последовательность событий, действительность соскальзывала в сон наяву. Как шел мещанин, уткнув глаза в землю, как догонял его Раскольников, как поравнялся с ним и заглянул ему в лицо, чтобы угадать намерения странного незнакомца, — все это скорее кошмар, чем явь, хотя бы самая необычная и страшная. Мещанин на ходу быстро оглядел Раскольникова и снова опустил глаза, «так шли они с минуту, один подле другого и не говоря ни слова». Да и о чем было говорить? Незнакомец чутьем, по-видимому, разгадал Раскольникова, а тот уже знал это нюхом травимого зверя. Однако

заговорить было надо: нельзя же идти молча рядом с незнакомым человеком и заглядывать ему в лицо.

«— Вы меня спрашивали... у дворника? — проговорил, наконец, Раскольников, но как-то очень негромко.

Мещанин не дал никакого ответа и даже не поглядел. Опять помолчали.

— Да что вы... приходите спрашивать... и молчите... да что же это такое?

Голос Раскольникова прерывался и слова как-то не хотели ясно выговариваться.

Мещанин на этот раз поднял глаза и зловещим, мрачным взглядом посмотрел на Раскольникова.

— Убивец! — проговорил он вдруг тихим, но ясным и отчетливым голосом.

Раскольников шел подле него. Ноги его ужасно вдруг ослабели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло: потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось. Так прошли они шагов сотню, рядом и опять совсем молча.

Мещанин не гладел на него.

— Да что вы... что... кто убийца? — пробормотал Раскольников едва слышно.

— *Ты* убивец, — произнес тот еще раздельнее и внушительнее и как бы с улыбкою какого-то ненавистного торжества, и он опять прямо глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза.

Оба подошли тогда к перекрестку. Мещанин поворотил в улицу налево и пошел не оглядываясь. Раскольников остался на месте и долго глядел ему вслед. Он видел, как тот, пройдя уже шагов с пятьдесят, обернулся и посмотрел на него, все еще стоящего неподвижно на том же месте. Разглядеть нельзя было, но Раскольникову показалось, что тот и в этот раз улыбнулся своей холодно-ненавистною и торжествующею улыбкой».

И было в этом торжестве неумолимое, беспощадное *знание*, не нуждающееся ни в каких вещественных доказательствах, знание простолюдина, прямого непосредственного

представителя матери земли, поруганной идейным убийцей из образованных. Но с кем, и с такой невольной откровенностью, так зловеще интимно, один на один, мог говорить Раскольников, если не с собственной совестью им же самим смертельно уязвленной, изгнанной? Совесть тяжко согрешившего человека покидает его и потом приходит к нему, по слову Пушкинского скупого рыцаря, как «незванный гость, докучный собеседник, заимодавец жадный; эта ведьма, от коей меркнет месяц и могилы смущаются и мертвых высылают».

Достоевский неизменно помнил «Пиковую даму» и «Скупого рыцаря» и, когда творил, перед ним, как ранее перед Пушкиным, властно вставала загадка человеческой совести. Достоевский знал, вслед за Пушкиным, что совесть может покинуть человека, а он ее *потерять*, как все мы обычно говорим, не понимая даже отдаленно глубочайшего значения этих слов.

Посетивший так неожиданно Раскольникова мещанин-изобличитель как раз и был заимодавцем жадным, беспощадным и грубым, *по праву* требующим возмездия от имени матери земли и милых сердцу Достоевского простолюдинов — малых сих, не развращенных просвещением.

Для Раскольникова наступила пора расплаты, но платить было нечем: его опустошенную душу терзали угрызения совести, незваного гостя, но раскаяния идейный убийца не испытывал.

«Тихим ослабевшим шагом, с дрожащими коленями и как бы ужасно озябший воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку. Он снял и положил фуражку на стол и минут десять стоял подле, неподвижно. Затем в бессилии лег на диван... Так пролежал он с полчаса».

Он ни о чем не думал, только чувствовал, как распадается все его существо. «Перед ним проходили какие-то представления без порядка и связи... Предметы сменялись и крутились, как вихрь».

Повторялось то, что уже случилось с ним, когда, всматриваясь в темнеющую воду канала, стоял он на мосту, и вдруг всё завертелось и заплясало кругом. Спасло его тогда

от обморока внезапное появление призрака, вставшего рядом с ним и обернувшегося несчастной Афросиньюшкой.

«Раскольников открыл глаза и вскинулся опять навзничь, заломив руки за голову.

— Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек? Где был он и что видел? Он видел всё, это несомненно. Где ж он тогда стоял и откуда смотрел? Почему он только теперь выходит из-под полу? И как мог он видеть, — разве это возможно? Гм!.. — продолжал Раскольников, холодея и вздрагивая, — а футляр, который нашел Николай за дверью: разве это тоже возможно? Улики! Стотысячную черточку просмотришь — вот и улика с пирамиду египетскую. *Муха летала, она видела! Разве этак возможно?*» (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

*

Раскольников не узнал в таинственном посетителе мещанина в халате, стоявшего вместе с дворниками и бабой у ворот *того* дома в тот вечер, когда, влекомый непреодолимой силой, приходил убийца осматривать квартиру им убитой старухи. Ничего достоверного не знал этот мещанин о преступлении Раскольникова и ничему, по словам судебного следователя, не могло бы послужить свидетельство «мещанинишки», «потому что в его показании одна психология — что его рылу даже и неприлично», и «пьет мерзавец горькую и слишком даже известен». Но вот почему-то именно этот пропойца учуял правду, тогда как здоровенный дворник и разговаривать не стал с Раскольниковым, а просто, не желая связываться с «выжигой», швырнул его на мостовую. По-видимому, углубляет человека не общепринятая душевно-телесная норма, но то или иное от нее отклонение.

Нам не дано знать кто и кому соответствует духовно, кто и кому приходится сродни по замыслу самого Творца. Никаких сведений о жизни мещанина, кроме того, что он пьяница, мы не имеем. Но ведь какой-то душевный надрыв должен был привести его к пьянству. Порок всегда возникает из глубины и свидетельствует о напряженной духовной

жизни человека. Скрытый внутренний опыт, приобретенный в порочности, помог мещанину уловить подспудно, для себя одного страшную правду о Раскольникове. Но, конечно, не психология была бы в силах явно подтвердить эту правду. Что-то родственное объединяло мещанина с Раскольниковым. Быть может совесть обоих, еще в пору их отрочества, одинаково поразил бес гордыни и самоутверждения. Каждый из нас, встречаясь с другим, означает метафизически нечто чрезвычайно важное для того, с кем встретился. Но только мы-то никакого чрезвычайного значения не замечаем и не хотим замечать. Всевидящим и всезнающим вышел из-под земли, по словам Раскольникова, загадочный посетитель и встал перед убийцей уличающей совестью. Так оно несомненно и было в плане высших реальностей, а в мире явлений дело, как всегда, объяснялось просто. Вид и поведение Раскольникова, приходившего осматривать квартиру, показались халатнику не внушающими доверия и он решил явиться к «студенту», чтобы поближе его разглядеть. Очевидно этот простолюдин не очень-то уважал «господские науки», полагая, что они далеко не всегда доводят людей до добра. Поистине из-под земли выросла фигура халатника и от его появления всё внешнее запрокинулось для Раскольникова внутрь, в глубину и обнаружило там грозное, мистериальное шествие жизни. Лишь теперь, лежа в бессилии на продранном диване, оценил Раскольников всю несостоятельность своего кровавого предприятия. «И как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать... Э, да ведь я же заранее и знал! — прошептал он в отчаянии».

Здесь снова напоминает Достоевский, что кроме рассудка, которому мы все привыкли доверяться, есть еще у нас нерушимая цельность натуры, заранее все предчувствующей и все бессознательно знающей. Именно эта натура обусловливает нашу совершеннейшую ответственность за каждый помысел и поступок. Под «натурой» Достоевский разумел не только душевно-телесный состав, но и внутреннее духовное «я» человека, его совесть — безошибочное мерило в нем доб-

ра и зла. Там, в глубине человеческой натуры решается судьба земного мира, с кем ему быть в конечном итоге — с Богом или дьяволом.

Раскольников, как и все русские интеллигенты-теоретики, шел за рассудком, и натура ему мстила за себя. Он и теперь не раскаивался, оставаясь верен своей «идее», крепко в него вселившейся. Опираясь на свою теорию, он хотел бы растоптать натуру, помешавшую ему стать «сверхчеловеком», подобным «Наполеону», преданному холодным расчетам и не удостоившему даже подумать о жизни сердца и души. И надо прямо сказать, что история Раскольникова не что иное, как история всей русской интеллигенции, если справедливо разуметь под этим словом не просто образованных людей, но так называемых прогрессистов, неисправимых теоретиков, седовласых русских мальчиков.

Раскольников винил себя за то, что не выдержал и заранее знал, что не выдержит. И как же он ненавидел теперь старушонку, и не ее одну, а себя презирал. «Волосы его были смочены пóтом, вздрагивающие губы запеклись, неподвижный взгляд был устремлен в потолок».

«Мать, сестра, — как я любил их!.. отчего теперь я их ненавижу? Да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить. Давеча я подошел и поцеловал мать, я помню... Обнимать и думать, что если б она узнала, что... разве сказать ей тогда? От меня это станется... Гм *она* (подчеркнуто Достоевским. — Г. М.) должно быть такая же, как и я, — прибавил он, думая с усилием, как будто борясь с охватывающим его бредом. — О, как я ненавижу теперь старушонку! Кажется бы другой раз убил, если б очнулась! Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась! Странно, однако ж, почему я о ней почти и не думаю, точно и не убивал! Лизавета! Соня! Бедные, кроткие, с глазами кроткими... Милые... Зачем они не плачут, зачем не стонут? Они все отдают... Глядят кротко и тихо... Соня, Соня! Тихая Соня!»

Тут в отрывистых, заглушенных восклицаниях Раскольникова кроется весь замысел «Преступления и наказания». Кого же разумел Раскольников под словом *она?* Бесспорно

ростовщицу. Но это слово поставлено так, что можно, по первому впечатлению, отнести его и к матери Раскольникова, на которую он, по настойчивому замечанию автора, очень похож лицом. Но для Достоевского внешнее сходство, как и все внешнее вообще, непременно соответствует чему-то внутреннему, отражая собою духовные категории. Духовно Раскольников похож на мать, поскольку смертный грех не достиг глубины его сердца и не отравил его окончательно. А что старуха, убитая Раскольниковым, такая же как и он сам, в этом сомнения нет. Он убил ростовщицу, заранее положив взять у нее ровно столько денег, сколько надо было ему для первого шага, «ни больше, ни меньше». Точно так же сама ростовщица обирала своих ближних, чтобы накопить такое количество золота, какое, по ее расчету, следовало оставить по завещанию монастырю, на вечный помин души. Конечные цели у Раскольникова и старухи разные, но способы добывать средства для достижения задуманного дела мало чем отличались у них друг от друга. Во всяком случае за замыслы и предприятия обоих заплатили сообща ими ограбленные, бедные люди. Все же, хотя это и звучит несколько странно, Раскольников и ростовщица — мечтатели. Обсчитывать и обирать других, грабить и убивать с тем, чтобы стать сверхчеловеком, или с тем, чтобы возвеличить себя за гробом, завещав награбленное монастырю, разве тут не греза, не мечта, нелепая и неосуществимая! И не потому ли кажется Раскольникову, что и в другой раз убил бы он старушонку, если б очнулась, что, после совершенного им преступления, в душе у него зародилась тяга к самоубийству, до поры до времени бессознательная? Ведь убить себя значило бы для Раскольникова убить вторично своего злого двойника — старую ведьму. Тот, кто убил, навсегда связан с убитым. Умерщвленный «здесь» живет «там» и влияет оттуда на судьбу своего палача. К запоздалой попытке Раскольникова покончить с собою я еще вернусь, а сейчас замечу только, что между ним и «старой старухой» стоит роковой знак тождества. Оба они совершенно одинаково не уступают в жизни, но берут и самоутверждаются, оба существуют паразитарно

за счет других, причем ростовщица, обирая людей, пользуется безвозмездно услугами безответной Лизаветы, а Раскольников ищет духовной опоры в Соне, ничего не давая ей взамен. В «Преступлении и наказании» противопоставлены друг другу добровольно свое отдающие и чужое берущие, смиренно ожидающие от Неба спасительного чуда и вступающие с Богом в борьбу во имя самообожествления. Но тех и других объединяет страдальческий лик Катерины Ивановны Мармеладовой, праведно бунтующей, справедливо требующей от Бога оправдаться перед нею за то, что Он с такой непостижимой суровостью на нее ополчился. Всем существом своим Катерина Ивановна приоткрывает нам тайный смысл борьбы хромого Иакова с Богом. Не так страшен бунт и восстание на Небо, как стремление оправдать перед совестью свое злодеяние. А в предсмертных словах Катерины Ивановны есть, хоть и бедная, несчастная, но великая правда: «— Что? Священника? Не надо... Где у вас лишний целковый?.. На мне нет грехов!.. Бог и без того должен простить... Сам знает, как я страдала... А не простит, так и не надо!..»

Конечно, если нет грехов, то и прощать не надо, но вот — «Бог должен простить». За что же? О, беспомощная, потерявшаяся в дебрях, измученная человеческая душа, сетующая на Отца своего Небесного!

*

Не о Катерине Ивановне подумал Раскольников, сраженный встречей с загадочным незнакомцем, нет, ему неожиданно вспомнилась Лизавета, к его удивлению, им совсем забытая. Однако он тут же бессознательно обнаруживает причину такого, лишь кажущегося забвения. Для Раскольникова Соня заслонила собою Лизавету. Духовно, по воле самой убитой, заменила ее. Именно поэтому Раскольников, вспомнив Лизавету, тотчас подумал о Соне. Обе они неразлучно живут в его душе, и он не мог не ощутить их близости в страшный миг своего нисхождения к предверию, ведущему

в ад. «Они все отдают... глядят кротко и тихо... Соня, Соня! Тихая Соня! — Он забылся».

Как Данте, нисходя вслед за Вергилием в Ад, хранил в своем сердце сияющий лик Беатриче, так Раскольников, погружаясь в вещий сон, вспомнил кроткую Лизавету — тихую Соню. Но не Виргилий повел его при свете полного месяца в тот дом, в квартиру ростовщицы, превратившуюся в жуткий бесовский притон. Нет, душу убийцы повлекла туда душа неумолимого изобличителя, мещанина в халате. Явь отошла от Раскольникова, и он не помнил, как мог очутиться на улице. С ним повторилось во сне то, что произошло наяву, когда выбежав из ворот, чтобы догнать мещанина, он увидел его идущим уже по другой стороне улицы. То было как бы предсонье, теперь же сон вывел душу из тела, не порывая нити, их между собой связующей. На этой нити, на этой *звучащей* струне могла бы свободно витать душа уснувшего, но смертный грех тянул ее книзу и подчинял чьей-то чужой и враждебной воле. Эта воля была совестью Раскольникова, покинувшей его, ушедшей от него к другому. «Он очень хорошо помнил, что вышел из дому с каким-то намерением, что надо было что-то сделать и поспешить, но что именно — он позабыл». Он не владел собою и забывал о самом главном, насущном. Зато помнил всё его смертельный враг — его совесть. Она таилась тут, совсем близко, он чувствовал ее угнетающее присутствие. Так и есть! «Вдруг он остановился и увидел, что на другой стороне улицы, на тротуаре стоит человек и машет ему рукою. Он пошел к нему через улицу, но вдруг этот человек повернулся и пошел как ни в чем не бывало, опустив голову, не оборачиваясь и не подавая виду, что звал его». «Да полно, звал ли он?..» — подумал Раскольников, однако же стал догонять».

Здесь уже ни в чем не чувствуешь плоти, материи, здесь идет по призрачной, вернее же сказать, по сверхреальной улице не человек за человеком, но душа за душою, и это бесплотное шествие душ стократ реальнее всех наших реальностей. Не растрепанная действительность и не трезвый рассудок, а лишенная всякой логики особая последовательность

сонных видений раскрывает человеку его судьбу и показывает, кто он такой по существу, в глубине, на самом деле.

Не доходя шагов десяти до идущего впереди человека, Раскольников вдруг узнал его и, — говорит Достоевский, — испугался. «Это был давешний мещанин в таком же халате и так же сгорбленный. Раскольников шел издали; сердце его стукало; повернули в переулок, — тот все не оборачивался».

Лишь войдя в ворота одного большого дома, мещанин обернулся «и опять точно как будто махнул ему. Раскольников прошел в подворотню, но на дворе мещанина уже не было. Стало быть он вошел тут сейчас на первую лестницу. Раскольников бросился за ним. «Странно, лестница была как будто знакомая... Ба, это та самая квартира, в которой работники мазали... Как же он не узнал тотчас? Шаги впереди идущего человека затихли; стало быть, он остановился, или где-нибудь спрятался. Вот и третий этаж; идти ли дальше?.. Мещанин верно тут где-нибудь притаился в углу. А! квартира отворена настежь на лестницу; он подумал и вошел».

Что за неведомая сила влечет князя в пушкинской «Русалке» — «невольно к этим грустным берегам?» В центре всего творчества Пушкина стоит человеческая совесть. Она и привела князя к месту содеянного им зла. Так же точно в «Преступлении и наказании» приводит она Раскольникова, и наяву и во сне, туда, где он сам себя потерял. Совесть — заимодавец жадный, куда более беспощадный, чем злая старуха, дающая деньги взаймы под залог. Но вот убей ростовщицу, и душа твоя, искаженная грехом, обратится в подобие этой старой ведьмы. Спастись можно только через раскаяние. Но как придти к нему? Ведь то, что обычно называют угрызениями совести, есть не что иное, как неутолимая тоска по потерянной совести, мучительное пребывание в бессовестности, в преддверии ада. В это преддверие и вступала сейчас душа уснувшего Раскольникова, а совесть убийцы, принявшая облик мещанина в халате, снова стала невидимой и притаилась в ожидании где-то на лестнице. «В передней было очень темно и пусто, ни души, как будто всё вынесли; тихонько, на цыпочках, прошел он в гостинную: вся комна-

та была ярко облита лунным светом; всё тут по-прежнему: стулья, зеркало, желтый диван и картинки в рамках. Огромный, круглый, медно-красный месяц глядел прямо в окна. «Это от месяца такая тишина», — подумал Раскольников, — он верно теперь загадку загадывает». Он стоял и ждал, долго ждал и чем тише был месяц, тем сильнее стукало его сердце, даже больно становилось. И все тишина».

Когда Раскольников приходил сюда еще только на *пробу*, вся комната была ярко освещена заходящим солнцем, и он безотчетно почувствовал вдруг, что и в день убийства здесь «так же будет солнце светить». Теперь же мертвенным светом светил кровавый месяц и стояла непереносимая всепоглощающая тишина смерти. Но недаром оцепенела и долго ждала чего-то душа Раскольникова, и в длительности этого ожидания было что-то колдовское, магическое. Возможно, что от иных миров отделяет нас всего лишь тонкая и хрупкая плёнка. В груди умирающего человека она порывается, и он начинает видеть невидимое и слышать неслышимое. Уход из земного мира через порвавшуюся пленку может быть светлым и темным и, если на небе обителей много, то много и лжеобителей в преисподней. Умерший видит их. Но Раскольников не умирал, он только грезил. Его физическое тело лежало в каморке, а душа пришла к месту, на котором поджидал ее провал, вернее же *проба* провала, прямое следствие самим Раскольниковым проделанной пробы. И вот настала тишина и всё тишина. «Вдруг послышался мгновенный сухой треск, как будто сломали лучинку, и все опять замерло. Проснувшаяся муха вдруг с налета ударилась о стекло и жалобно зажужжала». По воле духа глухого и немого свершился некий обряд черной магии, с сухим треском сломилась хрупкая препона и пропустила душу убийцы в зыбкий, страшный мир загробных теней и призраков. Но жалобное жужжание мухи показывало, что еще не все в земной жизни кончено для Раскольникова. Это живое жужжание было нитью, звучащей струною, не позволявшей душе порвать во сне окончательно с телом. Не случайно, перед тем как заснуть, он, думая о непредвиденных уликах, вспомнил о мухе.

«Стотысячную черточку просмотришь — вот и улика в пирамиду египетскую. Муха летала, она видела!»

Теперь она снилась ему, как живая улика в мертвом царстве нечисти и злого колдовства. И как только, вслед за послышавшимся Раскольникову мгновенным треском сломавшейся лучинки, зажужжала и забилась муха, «в самую эту минуту, в углу, между маленьким шкафом и окном он разглядел как будто висящий салоп». «Зачем тут салоп?», — подумал он, — ведь его прежде не было!..» — он подошел потихоньку и догадался, что за салопом как будто кто-то прячется».

Этот призрачный салоп олицетворял собою усиленную, безнадежную попытку Раскольникова забыть о своем злодеянии, вытеснить его из памяти в самые темные закоулки души. Такими завесами все мы нередко пытаемся прикрыть докучные упреки совести. Но что возможно, в какой-то мере, наяву, того не удается проделать во сне, когда рассудок спит, а сердце бодрствует. Так было и с Раскольниковым: память его сбросила с себя принудительные путы. «Осторожно отвел он рукою салоп и увидел, что тут стоит стул, а на стуле в уголку сидит старушонка, вся скрючившись и наклонив голову, так что он никак не мог разглядеть лица, но это была *она*».

Когда Раскольников убивал ростовщицу, он стоял у нее за спиною, от удара обухом топора по темени, она так и осела книзу. В таком положении старуха и привиделась ему во сне. С той только разницей, что теперь она, непонятным образом, успела устроиться на стуле. Старая ведьма была жива!

«Он постоял над ней: «боится!» подумал он, тихонько высвободил из петли топор и ударил старуху по темени, раз и другой».

Не говорит ли это повторное покушение Раскольникова на убйство во сне о том, что все наши поступки запечатлеваются в вечности и, умерев, мы снова увидим их нескончаемую вереницу и будем вынуждены повторить все наши преступные жесты, как имитирует преступник всé свои движения на судебном следствии?

Но сколько бы ни ударял Раскольников старушонку по темени, «она даже и не шевельнулась от ударов, точно деревянная. Он испугался, нагнулся ближе и стал ее разглядывать; но и она еще ниже нагнула голову. Он пригнулся тогда совсем к полу и заглянул ей снизу в лицо, заглянул и помертвел: старушонка сидела и смеялась, — так и заливалась тихим, неслышным смехом, из всех сил крепясь, чтоб он ее не услышал». Уж от этого одного можно было помертветь от страха. «Вдруг ему показалось, что дверь из спальни чуть-чуть притворилась, и что там тоже как будто засмеялись и шепчутся».

Кто же там смеялся и шептался, кто приоткрыл дверь и казалось вот-вот выглянет оттуда? Уж не приспешники ли духа глухого и немого, крепко державшего в повиновении душу Раскольникова? А старуха ликовала, что так ловко провела своего палача. «Бешенство одолело его: изо всей силы начал он бить старуху по голове, но с каждым ударом топора смех и шопот из спальни раздавались все сильнее и слышнее, а старушонка так вся и колыхалась от хохота».

В неравной схватке убийцы с бесами победила злая потусторонняя сила. И сто́ило ли дробить обухом череп ростовщицы лишь для того, чтобы увидеть ее полную власть над ним!

Бывают сны психологические, глубоко субъективные, по-своему чисто душевному характеру ничего существенного не выражающие. Но бывают сны духовные, вещие, нечто открывающие в судьбе человека. Таков сон Раскольникова о старухе. Содержание духовного сна всегда, в той ил иной форме, воплощается в плане нашей жизни и всё метафизическое имеет свое вполне конкретное отражение на земле. Кстати заметить, только поэтому может существовать истинно великое художественное творчество.

Сны духовные приводят «к переходу сокровенному», за которым открываются обители иных миров. Побывав в них во сне, мы возвращаемся обратно и приносим с собою зарождения наших новых неизбежных встреч с людьми, нам родственными, овеянными дыханием снов, до того нам при-

снившихся. Так непосредственно из сна о старухе рождается встреча Раскольникова с Свидригайловым.

Инфернального хохота старой ведьмы Раскольников не выдержал и бросился бежать, «но вся прихожая уже полна людей, двери на лестницу отворены настежь, и на площадке, на лестнице и туда вниз — всё люди, голова с головой, всé смотрят, — но всé притаились и ждут, молчат. Сердце его стеснилось, ноги не движутся, приросли... он хотел вскрикнуть и проснулся».

В скоплении людей, голова с головою, и в том, что они смотрят, ждут и молчат — прообраз Страшного Суда. Не так ли каждый из нас станет обнаженный перед Судьей поистине нелицемерным, а кругом будут люди смотреть, ждать и молчать, потому что все тайное выйдет наружу и настанет конец людским пересудам.

Раскольников проснулся. «Он тяжело перевел дыхание, но странно, сон как будто все еще продолжался: дверь его была отворена настежь и на пороге стоял человек и пристально его разглядывал.

Раскольников не успел еще совсем раскрыть глаза и мигом закрыл их опять. Он лежал навзничь и не шевельнулся».

Но почему сон как будто все еще продолжался Да потому единственно, что стоявший на пороге человек был непосредственным прямым воплощением этого сна. Сознанием Раскольников этого человека не знал, но сердцем ведал, кто он, и оттого мигом закрыл глаза, что безошибочно учуял, откуда именно пожаловал к нему гость.

Приснившийся сон может уйти в душевную глубину и его можно до времени забыть, но как спастись от сна воплотившегося, когда он тут, рядом, в облике человека?

Раскольников лежал с закрытыми глазами. «Сон это продолжается или нет?» — подумал он, и чуть-чуть, неприметно опять приподнял ресницы поглядеть: незнакомый стоял на том же месте и продолжал в него вглядываться... Вид-

но было, что он приготовился долго ждать. Сколько можно было разглядеть сквозь мигавшие ресницы, человек этот был уже немолодой, плотный, и с густою, светлою, почти белою бородой. Прошло минут с десять. Было еще светло, но уже вечерело. В комнате была совершенная тишина. Даже с лестницы не приносилось ни звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, ударяяясь с налета о стекло».

Пока Раскольников спал, ее жужжание скрепляло его душу с плотью и теперь разбудило его. Эта муха была тут в каморке, когда он засыпал, она не покидала его и во сне, и видела его бегство от старой ведьмы, в смерти не умершей, но утвердившейся в бесовской обители. Эта муха была той самой стотысячной черточкой, которую просмотрел Раскольников. Она олицетворяла собою *всякое дыхание* твари, неустанно хвалящее Бога, по слову Церкви, но попранное убийцей. Она — посредница всех дышащих земных существ — стала теперь уликой с пирамиду египетскую, уликою внутренней, духовной в ответ на восклицание всё еще сомневающегося преступника: «да разве это возможно»? И вот не только такая фантастика оказалась возможной, но осуществлялось уже совсем для рассудка невероятное: сон, приснившийся Раскольникову, последовал за ним, пробудившимся, внедрился в явь и воплотился, превратившись в Свидригайлова.

Тишина, нарушаемая лишь жужжанием мухи, продолжалась. Незнакомец ждал терпеливо. «Наконец это стало невыносимо: Раскольников вдруг приподнялся и сел на диване.

— Ну, говорите, чего вам надо?

— А ведь я так и знал, что вы не спите, а только вид показываете, — *странно* (подчеркнуто мною. — Г. М.) ответил незнакомый, спокойно рассмеявшись. — Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться».

Странным был не только ответ Свидригайлова, странными казались его наружность и поведение. Я уже неоднократно говорил, что словом «странный» Достоевский почти всегда обозначал некую причастность своего персонажа к

мирам иным, потусторонним. Чрезвычайная странность Свидригайлова вводила в заблуждение некоторых исследователей творчества Достоевского. Один из них, П. С. Попов, прямо говорит: «Свидригайлов не обладает самостоятельной реальностью. Это — какая-то фантазия Раскольникова».

На подобные замечания Достоевский отвечал еще в 1868 году в письме к А. Н. Майкову: «Совершенно я другие понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики... Пересказать толково, что всé мы, русские, пережили в последние десять лет в нашем духовном развитии! — да разве не закричат реалисты, что это фантазия! Между тем, это исконный настоящий реализм! Это-то и есть реализм, только глубже, а у них мелко плавает».

Что же сказал бы Достоевский о последнем пятидесятилетии, пережитом нами, русскими? Ведь на правдивые рассказы о том, что мы видели и перенесли, иностранцы отвечают неловким молчанием, самое для нас обычное кажется им фантастическим, придуманным. А мы невольно смотрим на них как на малых детей. Так, вероятно, смотрел Достоевский на своих современников и в особенности на реалистических писателей и критиков. Их замечания о фантастичности, ирреальности Свидригайлова он предвидел, создавая «Преступление и наказание». Желанием Достоевского особым образом подчеркнуть абсолютную реальность Свидригайлова объясняется один беглый, но многозначительный разговор. Выходя от Раскольникова, Свидригайлов столкнулся в дверях с Разумихиным, шедшим к приятелю, чтобы вместе с ним отправиться в нумера Бакалеева. — «Ну, кто это был? — спросил Разумихин, только что вышли на улицу. — Это был Свидригайлов... Не знаю почему, я этого человека очень боюсь. Он приехал тотчас после похорон жены. Он очень странный и на что-то решился... Он как будто что-то знает. От него надо Дуню оберегать, слышишь?..

— Ты его видел? — спросил Раскольников после некоторого молчания.

— Ну, да, заметил; твердо заметил.

— Ты его точно видел? Ясно видел? — настаивал Раскольников.

— Ну, да, ясно помню. Из тысячи узнаю, я памятлив на лица.

Опять помолчали.

— Гм!.. То-то... — пробормотал Раскольников. — А то, знаешь... мне подумалось... мне все кажется... что это может быть и фантазия.

— Да про что ты? Я тебя не совсем хорошо понимаю.

— Вот вы все говорите, — продолжал Раскольников, — что я помешанный; мне и показалось теперь, что, может быть, я в самом деле помешанный и только призрак видел?

— Да что ты это?

— А ведь кто знает! Может, я и впрямь помешанный, и всё, что во всé эти дни было, всё, может быть, так только, в воображении...»

Раскольников нисколько не помешанный, но его норма совсем другая, чем у средних людей, которых обыкновенно принято почитать за здоровых, нормальных. Злое дерзание, как и всякий духовный опыт, приводит к познанию иных, чрезвычайных реальностей. Разумихин, встретив Свидригайлова, хотел бы всего-навсего узнать, что это за человек, живущий, подобно всем, в быту. Для Разумихина мир трехмерен, для Раскольникова, испытавшего на себе всю правду слов апостола Павла — «всё мне позволено, но не все назидает» — мир еще и трехпланен. Раскольников, сам не понимая почему, боится Свидригайлова и чувствует, что тот «что-то знает». Но ведь и Свидригайлов также чувствует, что Раскольников «что-то знает». Именно это общее им обоим подспудное знание роднит их. Оба они побывали в темной обители зла и принесли на себе оттуда какие-то инфернальные осадки, черные радиации смертного греха. И уж если утверждать, что Свидригайлов всего только фантазия Раскольникова, то следует допустить и обратное — признать, что Раскольников всего лишь фантазия Свидригайлова. Но как отнестись тогда к остальным персонажам «Преступления и

наказания»? Не придется ли принять и их за шаткую фантазию самого автора?

Н. Н. Страхов — мыслитель, не лишенный подчас проникновенности, отметил в своих воспоминаниях, что, по его мнению, Достоевский иногда не отличал в разговорах фантастического от реального. Всепоглощающих позитивизма и рационализма второй половины девятнадцатого века Страхов преодолеть не мог, и потому в своих суждениях о художественной литературе следовал заветам реалистической школы, лишь смутно ощущая, что искусству присуще еще и нечто более духовное, но на общепринятом языке того времени невыразимое. Вера в незыблемость реалистических заветов привела Страхова к весьма наивному суждению о Достоевском: «Часто мне приходило в голову, — писал Страхов, — что если бы он сам ясно видел, как сильно окрашивает субъективность его картины, то это помешало бы ему писать; если бы он замечал недостаток своего творчества, он не мог бы творить».

Не сразу можно понять, что разумел Страхов под крайне неточной и безвкусной «субъективностью», окрашивающей «картины», кстати заметить, не существующей у Достоевского. Так, по-видимому, определял Страхов, с его точки зрения, безответственную, ни для кого не обязательную фантазию. На самом же деле, основное и важное в творчестве Достоевского часто от него ускользало и он принимал за «субъективную окраску» наиреальнейшую суть романов-мистерий. Касание к мирам иным, раскрытие в творчестве Достоевского новых, дотоле никому неведомых, законов бытия Страхов называл недостатком. Особые микробы позитивизма и материализма проникали в те годы повсюду. Наши деды вдыхали их с воздухом, глотали с пищей и водой. Только самые крепкие в духовном отношении люди избежали тогда всеобщей заразы, зато и очутились в изгнании у себя же на родине. Некоторые из них, по примеру престарелого князя П. А. Вяземского, уезжали периодически за границу, другие отсиживались в деревне по своим имениям, а наиболее из них сильный и умный — Константин Леонтьев — уединился в Оп-

тиной Пустыне, ища последней опоры в монашестве. Что же касается Достоевского, то его закалила благодатная каторга. Пребывая в столице, в самой гуще разнузданной писаревщины, он сумел, как никто, заклеймить и вывести наружу ее злую метафизику, бесовскую мистику. На травлю и брань в журналах Достоевский мог бы ответить стихами Некрасова: «Не придумать им казни мучительней той, которую в сердце ношу». Он казнил самого себя Раскольниковым и, создавая своего героя — грозный символ русского ницшеанства до Ницше — предсказывал страшную судьбу России. Необходимо заметить, что в данном случае Страхов понял замысел Достоевского по существу и потому неожиданно оказался пророком. Когда первого марта 1881 года подпольные заговорщики убили императора Александра II, Страхов писал Льву Толстому: «Бесчеловечно убили старика, который мечтал быть либеральнейшим и благодетельнейшим царем в мире. Теоретическое убийство, не по злобе, не по реальной необходимости, а потому, что в идее это очень хорошо... Нет, мы не опомнимся; ведь не опомнились же французы! Гюго в последней поэме уверяет, что все идет к лучшему; поэма называется «Осел». Нужны ужасные бедствия, опустошения целых областей, пожары, взрывы целых городов, избиение миллионов, чтобы опомнились люди. А теперь только цветочки».

Слова Страхова — «теоретическое убийство» — показывают, насколько хорошо усвоил он урок, данный нам всем автором «Преступления и наказания». Там устами своего двойника — метафизического сыщика Порфирия Петровича, первым заговорил Достоевский о «теоретически раздраженных сердцах». Такого рода раздражение, или выражаясь иначе идейный зуд, доводит до потери человеческого лика, до исчезновения в глубинах сатанинских. Горе Раскольникова в том, что, отшатнувшись от людей, он весь ушел в теоретические выкладки и стал злою тенью самого себя. Страшнее всего то, что не сам Раскольников, но его тень совершает преступление. Убивая ростовщицу, он не чувствует собственного тела, потому что превращается на миг в подобие злого духа. Посредством теоретического, идейного преступления,

Раскольников проник из душевного в духовное и встретился с Свидригайловым, которого давно перестал по-настоящему тешить плотский разврат. Падший Эрос открыл Свидригайлову подспудные истоки сладострастия, дающие духовное наслаждение грехом. Раскольников и Свидригайлов делами своими угодили «геенны властелину», и он даровал им в награду знание того, что стоит за страстями и разрушением. Свидригайлов подслушал, сидя у запертой двери, как признавался Раскольников Соне в убийстве. Потом он скажет об этом Раскольникову. Немногим же позднее, при встрече в трактире, когда Свидригайлов начнет с видимым удовольствием посвящать Раскольникова в подробности своих развратных похождений, тот вдруг оборвет его: «— Оставьте, оставьте, ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек!

— Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то! Où va-t-elle la vertu se nicher? А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикивания. Наслаждение!

— Еще бы вам-то не ощущать наслаждения! — вскрикнул Раскольников... — Разве для исшаркавшегося развратника рассказывать о таких похождениях, — имея в виду какое-нибудь чудовищное намерение в этом же роде, — не наслаждение, да еще при таких обстоятельствах и такому человеку, как я... Разжигает!

— Ну, если так, — даже с некоторым удивлением ответил Свидригайлов, — то вы и сами порядочный циник. Материал, по крайней мере, заключаете в себе огромный. Сознавать много можете... Ну, да вы и делать-то многое можете»...

В дополнение к этим словам Свидригайлова, необходимо вспомнить, как приходил Раскольников в пустую квартиру убитой им ростовщицы, как выходил оттуда в сени и дергал за звонок, прислушиваясь к его жутко знакомому жестяному звуку, как «прежнее, мучительно страшное, безобразное ощущение начинало все ярче и живее припоминаться ему», как он «вздрагивал с каждым ударом, и ему все приятнее и приятнее становилось». Почему?

Я уже неоднократно говорил, что, когда Достоевский

создавал «Преступление и наказание», то ни на минуту не забывал «Пиковой дамы» и «Скупого рыцаря» Пушкина. Скупой рыцарь, влагая ключ в замок своего сундука с червонцами, сравнивает ощущение, которое он при этом испытывает, с тем, что чувствует иной убийца, вонзая в жертву нож:

...Есть люди,
В убийстве находящие приятность.
Когда я ключ в замок влагаю, то же
Я чувствую, что чувствовать должны
Они, вонзая в жертву нож: приятно
И страшно вместе.

Вот четыре различные стадии зла изнутри родственные друг другу. Причем злодей, с наслаждением вонзающий нож в свою жертву, находится всего лишь на исходной точке *нечеловеческого зла.* Он еще не порвал с земным животным миром, он еще прикасается к плоти и подобен дикому зверю. Ведь тигру также приятно, играючи, запускать когти в свою жертву.

На второй ступени лестницы, ведущей в преисподнюю, обретается Раскольников, испытывающий уже не животную, но духовную сладость в надрыве, в намеренном припоминании содеянного им кровавого преступления. Здесь зарождается радость греха, нечто демоническое.

Впереди Раскольникова движется вниз по роковой лестнице Свидригайлов, утративший способность предаваться чисто животным утехам. Он сознательно выращивает и умножает в себе сладострастные ощущения. Ему доставляет наивысшее удовольствие посвящать в детали своего разврата убийцу, вынашивая в душе какое-то новое чудовищно развратное намерение. Такое зло в кубе *духовно* и потому демонично, оно внушено духом небытия и влечет человека к самоубийству. Одержимый этим злом, Свидригайлов как бы заживо умер и оттого лицо его похоже на маску. В наружности Свидригайлова есть что-то от оборотня. Достоевский дважды описывает ее именно потому, что она отражает сущ-

ность *нечеловеческого* зла. Это было лицо « белое, румяное, с румяными алыми губами... глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен. Что-то было ужасно неприятное в этом красивом и чрезвычайно моложавом, судя по летам, лице».

Красивость призрачная, люциферическая, и чрезвычайная моложавость — какая-то жуткая нетленность вампира. Таков Свидригайлов. Но, по Достоевскому, он еще не погиб для вечности потому, что сам, подобно Ставрогину в «Бесах», приговаривает себя к смерти за свое окаянство.

Из четырех грешников один лишь скупой рыцарь проходит по всем ступеням нечеловеческого зла и безвозвратно исчезает в преисподней. Им всецело владеет дьявольская гордыня, порождающая ненасытную похоть власти. Страшнее всего то, что он нисколько не стремится к земному осуществлению своей похоти. Он не действует, но созерцает, и только подражает злодею с его ножом, влагая ключ в заветный замок, охраняющий золото, могущее в любое мгновение даровать власть над людьми. «С меня довольно сего сознания», восклицает скупой рыцарь — законченный злодей. Для него ключи от сундука с червонцами — символ *духовно* уже обретенного владычества. Оттого, умирая, он хотел бы унести их с собою в смерть.

Образ Пушкинского скупого рыцаря неотступно стоял перед Достоевским, как идеал величайшего грешника. А самому Достоевскому так и не удалось воссоздать вполне великого грешника. Петр Верховенский из «Бесов», хоть и законченный, но ничтожный злодей, в нем нет величия зла. Срывая со всех явлений жизни накинутый романтиками «златотканный покров», Достоевский обнажал серую неприглядность зла, обнаруживал его позорно смешное начало.

Соблазняющий своею красотою Люцифер неизменно превращался в творчестве Достоевского в беса из самых нечиновных и свое очередное пребывание на земле кончал весьма прозаически, как красавец Ставрогин, в намыленной петле, или, как красивый Свидригайлов, на грязной мостовой выстрелом из револьвера в висок. В красоте Раскольникова также

было что-то люциферическое, под этой внешней призрачной красивостью таилось его внутреннее сходство с ростовщицей, о котором сам он догадывался: «*она* должна быть такая же, как и я». Не только Раскольников, но и Свидригайлов из одного гнезда с ростовщицею. Достоевский дает это почувствовать, бросая на ходу, как он это часто делает, беглое замечание. Свидригайлов, «*с видом какого-то подмигивающего* веселого плутовства», повторяя слова, сказанные Раскольниковым Соне, дает понять ему, что отлично знает, кто именно убил ростовщицу с Лизаветою. «Раскольников побледнел и похолодел, слыша свои собственные выражения»...

— По-почему... вы знаете? — прошептал он, едва переводя дыхание.

— Да ведь я здесь, через стенку, у мадам Ресслих стою. Здесь Капернаумов, а там мадам Ресслих, старинная и преданнейшая приятельница. Сосед-с.

— Вы?

— Я, — продолжал Свидригайлов, колыхаясь от смеха, — и могу вас честью уверить, милейший Родион Романович, что удивительно вы меня заинтересовали. Ведь я сказал, что мы сойдемся, предсказал вам это, — ну, вот и сошлись. И увидите, какой я складнóй человек. Увидите, что со мною можно еще жить».

Здесь в словах Свидригайлова, кроме внешнего, имеется еще и внутренний *чрезвычайный* смысл, метафизически подводящий итог создавшемуся положению. Свидригайлов, совершенно бессознательно, начертил как бы схему души Раскольникова и обозначил в ней свое собственное место. Но почему с таким веселым плутовством подмигивал он? О, не только потому, что так удачно подслушал он признания Раскольникова, но еще и потому, что нашел, наконец, *свое* призвание, став посредником старой ведьмы. За всё время своего существования впервые определился ни к чему не прикаянный Свидригайлов. Оттого-то он и торжествует, *колыхаясь от смеха*, совсем как его верная союзница, утвердившаяся в бесовской обители. Ведь она точно так же *колыхалась от хохота*, торжествуя над своим палачом.

Человек из-под земли

(Опыт медленного чтения)

Свидригайлов непосредственно связан с убитой ростовщицей и частично зависит от нее. Но эта зависимость лишь обманно спасает его от роковой неприкаянности и бесовской скуки, от пребывания в страшной пустоте, и он все еще надеется «хоть к кому-нибудь да пойти». Духовно он еще не совсем погиб и его стремление к Дуне одним сладострастием не исчерпывается. Нет, он отчаянно ищет в ней жизненной опоры и, лишь не найдя, кончает самоубийством. Связь свою с ростовщицей Свидригайлов бессознательно чувствует и оттого, при первой же беседе с Раскольниковым, улавливает свое метафизическое с ним родство. Если можно сказать о Раскольникове, только что видившем вещий сон, что он прибыл, проснувшись, с *иных* берегов, то и Свидригайлов пришел к нему побуждаемый потусторонней силой. Поскольку Свидригайлов есть воплотившееся сновидение Раскольникова, постольку он замечает нечто странное в своем собрате по пребыванию в злых заочных областях. Но длинен путь от сновидений к яви и, очнувшись, мы только смутно ощущаем, что случилось с нами во сне что-то необычное.

Воплотившийся сон уже не сон, а явь, поэтому Свидригайлов лишь бессознательно догадывается о душевном состоянии Раскольникова и говорит: «Не рассердитесь, Родион Романович, но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то в вас есть; именно теперь, то-есть не собственно в эту минуту, а вообще теперь».

При первой же встрече, почти тотчас замечает Свидригайлов странность Раскольникова, как будто еще не успели исчезнуть с лица идейного убийцы инфернальные осадки, принесенные им с собою *оттуда*. Но и Свидригайлов также

оттуда и потому возможно ли было бы им не узнать друг друга вблизи, когда даже рыбак рыбака видит издалека. И Свидригайлов и Раскольников оба находятся на самой грани, отделяющей наш трехмерный мир от запредельных сущностей. Раскольников душой догадывается, что кто-то нездешний невидимо присутствует с ним рядом и сопровождает его повсюду, а Свидригайлов прямо-таки видит выходцев с того света и, на вопрос Раскольникова каковы они, отвечает просто: «обыкновенные привидения, какие!»

Стоит только человеку мысленно довести до конца и потом осуществить свои добрые, подвижнические или, напротив, сознательно злые намерения, как исчезает препона, отделяющая то, что *здесь*, от того, что *там*. Тогда к подлинно одержимому существу могут приходить привидения, как нечто для него самое обыкновенное, будничное. Свидригайлова, как он сам признается, «Марфа Петровна посещать изволит». Говорит он это «скривя рот в какую-то странную улыбку и странно посмотрев на Расскольникова».

Марфу Петровну неодолимо тянет с того света к тому, кто был ее страстью на земле. По верному замечанию Иннокентия Анненского, Марфа Петровна — «символ страдания, в котором нет Бога.» Любовь ее к Свидригайлову безблагодатна. Марфа Петровна выкупила его из тюремного долгового отделения «за тридцать тысяч сребренников». Такого рода приобретение, конечно, нисколько приобретательницы не одухотворило, а ее ничем духовно не просветленное желание принять страдание было всего-навсего проявлением в ней падшего Эроса. Тень Марфы Петровны тоскует по Свидригайлову и возвращается к нему по самым ничтожным поводам. Умерший в страстях присуждает себя к безысходному кружению, к постоянным возвратам к предмету своей недостойной привязанности. Человек, даже в последнюю минуту перед смертью, не отрекшийся от страстей, обречен испытывать за гробом уже не просто земную серую тоску, но всеобъемлющую опустошающую скуку, ведущую, в конце концов, к небытию. Душа от страданий не очищенная, в поисках духовного равновесия, цепляется за свое земное прошлое,

принятое ею когда-то за единственную реальность. Но какова теперь для Марфы Петровны эта реальность! На вопрос Раскольникова «что-ж она вам говорит, когда приходит?» Свидригайлов отвечает: «— она-то? Вообразите себе, о самых ничтожных пустяках, и подивитесь человеку: меня ведь это-то и сердит. В первый раз вошла (я, знаете, устал: похоронная служба, со святыми упокой, потом лития, закуска; наконец-то в кабинете один остался, закурил сигару, задумался), вошла в дверь. А вы, говорит, Аркадий Иванович, сегодня за хлопотами и забыли в столовой часы завести».

Но таким бессмысленным хождением по порочному кругу загробная судьба Марфы Петровны еще не решается. Человеку зачтется добро, сделанное им при жизни. Достаточно от чистого сердца подать нуждающемуся хотя бы малую луковку, чтобы там, в потусторонней жизни, она рано или поздно, перевесила твои прегрешения. А Марфа Петровна луковку своему ближнему протянула, оставив Дуне, которую так незаслуженно обидела, три тысячи рублей по завещанию (о значении в творчестве Достоевского чисел три и тридцать я уже говорил). Кроме того, Марфа Петровна успела попросить у Дуни прощения и даже всенародно покаяться. Пусть, по слову Иннокентия Анненского, есть нечто высоко комическое в попытках Марфы Петровны пострадать, не отрекаясь при этом от страстей и различных чувственных утех. Ведь и умерла-то она, по-видимому, от апоплексического удара, после плотного обеда, с выпитой чуть не бутылкой вина. На протяжении всей своей жизни Марфа Петровна была погружена в мелкие ежедневные расчеты и заботилась о слишком многом, «когда единое на потребу». Но на то она не Мария и даже не Марфа, удостоившаяся служить Христу, а просто грешная Марфа, из тысячи других таких же. Однако, обителей у Отца Небесного много, найдется в них место и для грешницы, не позабывшей правды. Спору нет, склонность женщины, обуреваемой земными соблазнами, к публичному самобичеванию, высоко комична. Но ведь все истинно высокое непременно серьезно и все комическое, достигая предельной высоты, переходит в трагическое. От Мар-

фы Петровны до Николки-маляра, с его духовной жаждой принять страдание, всего один шаг. Но этого шага Марфа Петровна при жизни не сделала и обрекла себя за гробом на мучительные хождения по порочному кругу. Тень Марфы Петровны, постоянно возвращающаяся к Свидригайлову, не лишена высокого комизма, но, раба прежних привычек и мелочей, она все же не совсем по-пусту снова стремится к земле. Сложна, глубока и противоречива душа любого человека. По некоторым, не лишенным основания, догадкам можно допустить, что Свидригайлов, хоть и не убил Марфу Петровну, но в какой-то мере помог ей умереть. И вот на вопрос Раскольникова — «вы по Марфе Петровне, кажется, очень скучаете?» Свидригайлов отвечает: «А? Может быть. Право,может быть! А кстати, верите ли вы в привидения?». При чем же тут это «кстати»? Не чувствует ли Свидригайлов, что действительно не даром «Марфа Петровна его посещать изволит» и что его тоска по ней способствует таким посещениям? Вот и выходит, что есть какой-то тайный смысл в кружениях человеческой души по мытарствам. Конечно, от веры в существование привидений до веры в Бога весьма далеко, но все же ближе, чем от плоских рассуждений убежденного атеиста до признания им, что есть в мире, кроме материи, еще нечто другое.

Рассуждения Свидригайлова о подлинном существовании привидений совершенно последовательны. «Ведь обыкновенно как говорят? — бормотал Свидригайлов, как бы про себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову. Они говорят: «Ты болен, стало быть, то, что тебе представляется, есть один только несуществующий бред». А ведь тут нет строгой логики. Я согласен, что приведения являются только больным, а не то, что их нет самих по себе... Ну, а что если так рассудить (вот помогите-ка): привидения — это, так сказать, клочки, отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их незачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек, а, стало быть, должен жить одною здешнею жизнью, для полноты и для порядка. Ну, а чуть заболел, чуть нарушился нормальный зем-

ной порядок в организме, тотчас и начинает сказываться возможность другого мира, и чем больше болен, тем и соприкосновение с другим миром больше, так что, когда умрет человек, то прямо и перейдет в другой мир. Я об этом давно рассуждал. Если в будущую жизнь верить, то и этому рассуждению можно поверить».

Но душу, сраженную смертным грехом, ожидают за гробом лишь какие-то темные бесовские пристанища; они-то одни, быть может, и представляют собою для нее вечность.

«Свидригайлов сидел в задумчивости:

— А что, если там одни пауки или что-нибудь в этом роде, сказал он вдруг... Нам вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится».

— «И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого! — с болезненным чувством вскрикнул Раскольников.

— Справедливее? А почем знать, может быть, это и есть справедливое, и, знаете, я бы так непременно нарочно сделал, — ответил Свидригайлов неопределенно улыбаясь.

Каким-то холодом вдруг охватило Раскольникова при этом безобразном ответе».

Однако, Раскольников по собственному опыту мог бы догадаться каков именно был этот холод. Ведь он уже однажды испытал его, когда, превратившись в убийцу, шел в полицейскую контору, жара на улице стояла невыносимая, а он дрожал от озноба. И тогда и теперь это был тот самый преисподний холод, о котором, за столетия до Достоевского, говорил Данте. Ледяное дыхание ада доходило до Раскольникова, и, по справедливости, ничего другого он ожидать не мог. Всего же поразительнее признание Свидригайлова: «Я бы так непременно нарочно сделал». Не приоткрывает ли нам тут Достоевский неумолимую потустороннюю правду и спра-

ведливость? Всяк человек сам хозяин своей здешней и нездешней судьбы. Гробная каморка, в которой проживает Раскольников, лишь отражение его злых вожделений, и от нее рукою подать до загробной закоптелой комнатки с бесовскими пауками по углам. Есть даже что-то притягательное в откровенности Свидригайлова. В отличие от многих, он редко лжет, и сам это знает, что, конечно, не мешает ему хитрить в житейских делах. Во всяком случае, за добряка он слыть не собирался, и, в глубине своего существа, сам давно приговорил себя к погибели. Но его спешное прибытие в Петербург, с целью добиться свидания с Дуней, показывает, что еще не совсем умерла в нем надежда на спасение. И когда, наконец, он хитростью этого свидания добивается, то и обнаруживается горькая и жалкая правда о том, как уже стоя на краю всепоглощающей бездны, он все еще искал ухватиться за Дуню, чтобы прикрыть и исцелить ее девственной чистотою свою изъеденную пороками душу. Ведь из пустой квартиры госпожи Ресслих мог бы Свидригайлов так легко не выпустить Дуню, но в том-то и суть, что он зазвал ее туда лишь для того, чтобы проверить — принимает ли его жизнь или окончательно отталкивает от себя. Жизнь, в лице Дуни, оттолкнула Свидригайлова, и ему оставалось одно — казнить себя смертью. Пока же, завладевшая им темная сила приставила его к Раскольникову, как Мефистофеля к Фаусту или Петра Верховенского к Ставрогину и Кириллову.

*

Было уже около восьми часов вечера, когда Свидригайлов, выходя от Раскольникова, столкнулся в дверях с Разумихиным и пошел вниз по лестнице к выходу. Разумихин забежал к Раскольникову с тем, чтобы на этот раз без всяких приключений отправиться с ним к Пульхерии Александровне и Дуне в нумера Бакалеева. Там-то и произошел бесповоротный разрыв семьи Раскольниковых с Лужиным.

«— Бог избавил! Бог избавил! — бормотала Пульхерия Александровна после того, как Лужин ушел».

«Все радовались, через пять минут даже смеялись». Три тысячи рублей, завещанные Дуне Марфой Петровной, круто меняли положение. Можно было на что-то надеяться и, хоть и очень скромно, помечтать о лучшем будущем. Особенно радовался Разумихин, довольный исчезновением Лужина. «Один только Раскольников сидел все на том же месте, почти угрюмый и даже рассеянный. Он, всего больше настаивавший на удалении Лужина, как будто всех меньше интересовался теперь случившимся». Он вдруг снова почувствовал свою отверженность от всего живого. Пропасть отделяла его от некогда им любимых матери и сестры. Он встал, «медленно повернулся к дверям и медленно пошел из комнаты». Дуня догнала его:

— Брат, что ты с матерью делаешь! — прошептала она, со взглядом, горевшим от негодования. Он тяжело посмотрел на нее.

— Ничего, я приду, и буду ходить! — пробормотал он вполголоса, точно не вполне сознавая, о чем хочет сказать, и вышел из комнаты». Разумихин побежал вслед за ним. «Раскольников поджидал его в конце коридора.

— Я так и знал, что ты выбежишь. — сказал он. — Воротись к ним, и будь с ними... Будь и завтра у них... и всегда... Я, может, приду... если можно. Прощай!

И не протягивая руки он пошел от него, но опять остановился: — Раз навсегда: никогда ни о чем меня не спрашивай. Нечего мне тебе отвечать. Не приходи ко мне. Может, я и приду сюда... Оставь меня, а их *не оставь*. Понимаешь меня?»

Тотчас после этих слов Раскольникова произошло нечто чрезвычайно знаменательное, как бы наглядно подводящее итог всему, что было до того сказано Достоевским о «человеческой натуре», — обладательнице двух сознаний — внешнего рассудочного и внутреннего — духовного. Духовное сознание крайне редко совпадает в нас с сознанием рассудочным. Поэтому и говорит Достоевский, что многое можно знать бессознательно. Но именно это, по отношению к рассудку бессознательное, знание ведет человека к постижению подлинных реальностей.

«В коридоре было темно; они стояли возле лампы. С минуту они смотрели друг на друга. Разумихин всю жизнь помнил эту минуту. Горевший и пристальный взгляд Раскольникова как будто усиливался с каждым мгновением, проникал в его душу, *в сознание*. Вдруг Разумихин вздрогнул. Что-то странное как будто прошло между ними... Какая-то идея проскользнула, как будто намек; что-то ужасное, безобразное и вдруг понятое с обеих сторон... Разумихин побледнел, как мертвец.

— Понимаешь теперь!? — сказал вдруг Раскольников с болезненно искривившимся лицом. — Воротись, ступай к ним, — прибавил он вдруг и быстро повернувшись, пошел из дома».

Два раза спрашивает Раскольников Разумихина, понимает ли он его. Первый раз перед этой потрясающей сценой и второй — немедленно после нее. Но слово «понимаешь» имеет здесь два совершенно разных значения: в первом случае, вполне конкретное, житейское, во втором — глубоко мистическое, относящееся по существу уже не к пониманию, а к постижению. Что же такое было понято «с обеих сторон?» Тут речь идет не о самом преступлении Раскольникова, но о том, что оно метафизически породило. *Странное* «нечто», на подобие какой-то *змеи-идеи*, проскользнуло между Раскольниковым и Разумихиным. Нельзя словами определить особых, нам инопланных, «существ», порождаемых нашими грехами, пороками и злодеяниями. Но этими «существами» мы, невидимо для себя, населяем мир, и, когда умрем, увидим их. Гоголь — художник-визионер, обращаясь к нам, скажет в своем завещании о таких «существах»: «Соотечественники, страшно! Стонет весь умирающий состав мой, чуя исполинские возрастания и плоды, которых семена мы сеяли в жизни, не подозревая и не слыша, какие страшилища от них подымутся». Не этих ли страшилищ пытался изобразить и Гойя, такой же, как Гоголь, художник-визионер?

Семя — преступление Раскольникова, плод — потустороннее чудище, из этого семени выросшее. Когда Раскольников убивал, он ничего «не подозревал и не слышал». Теперь

же, стоя лицом к лицу с Разумихиным, он вдруг «понял» — уловил духовным сознанием присутствие рядом с собою, какого-то страшного, безобразного «существа». Взгляд Раскольникова, усиливаясь с каждым мгновением, проник в душу, *в сознание* Разумихина. Тогда «понял» и Разумихин и побледнел как мертвец. Потом он всю жизнь помнил эту минуту. Но, как выясняется впоследствии, он и после этой минуты не понял рассудком, что Раскольников убийца, пока тот сам не признался в своем преступлении.

Погружаясь в творчество Достоевского, надо забыть о психологии и психоанализе. С ними можно подойти к характеру, к душевному складу, но не к духовной личности человека. «Ведь в том-то и штука, — говорит Достоевский устами Порфирия Петровича, — что вся эта проклятая психология о двух концах». В «Преступлении и наказании» действует не психо, но пневмо-анализ. Замечу, что я говорю сейчас о Достоевском не как о человеке, а как о художнике. Вне художества духовидение Достоевского прекращалось, и он беспомощно утопал в повседневности. Примером тому — «Дневник писателя». Там слишком часто делался Достоевский шовинистом и ксенофобом и был тогда «меж детей ничтожных мира, быть может, всех ничтожней он». Но и в «Дневнике писателя» мысли его оживали, как только из публициста превращался он в художника.

Тотчас после разговора в коридоре, Разумихин вернулся к Дуне и Пульхерии Александровне. «С этого вечера Разумихин стал у них сыном и братом». А Раскольников пошел прямо к дому на канаве, где жила Соня.

Почему он отшатнулся от матери и сестры, почему временами ненавидел их? Тут возникает очень опасная мысль, неприемлемая для гуманиста — проповедника мертвой морали. Падший, преступный не найдет духовной опоры в том, кто не падал, не вскрывал самого себя, не осуществил своих тайных вожделений и помыслов. По Достоевскому, душевная

чистота, не проверенная на опыте, лишь прикрывает в человеке грехи и пороки. Где отказ от непосредственного опыта самовскрытия, там нет ни подвига, ни заслуги. Бережно хранящий свое сокровище при себе никому помочь не может и падшего не поднимет. Так Дуня со своей душевной чистотою, еще не испытанной в жизни, не могла бы ничем помочь брату и ничего, ни сердцем ни умом, не поняла бы в его преступлении. Раскольников, чувствуя это, спрашивает себя: «А выдержит *эта* или не выдержит? — Нет, не выдержит: *этаким* не выдержать! Этакие никогда не выдерживают».

Смирение Сони противостоит злой гордыне Раскольникова, но грех у них один. Смирение и жертвенность приводят Соню к падению во имя спасения других, гордыня доводит Раскольникова до убийства во имя самоутверждения. Преступление Раскольникова для него *убийственно*, падение Сони *самоубийственно*. И вот встает вопрос, что греховнее — убивать других или самого себя? «А пуще всего тем ты грешница, — говорит Раскольников Соне, — что *понапрасну* умертвила и предала себя. Еще бы не ужас, что ты живешь в этой грязи, которую так ненавидишь, и в то же время знаешь сама (стоит только глаза раскрыть), что никому ты этим не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Да скажи же мне, наконец, как этакой позор и такая низость в тебе рядом с другими противоположными и святыми чувствами совмещаются?»

Эти слова, эти вопросы Раскольникова можно было бы с полнейшей точностью повторить, обращаясь к нему самому. Но действительно ли понапрасну пали Соня и Раскольников? Христианство отвечает: *нет!* Стоит только глубоко раскаяться и отойти от греха, как на небе возрадуются такому грешнику больше, чем девяти праведникам. Страшно сказать, но выходит как будто, что Достоевский прав до конца перед лицом Евангелия, оправдывая греховный опыт и отвергая равнодушную человеческую порядочность, ко всему нейтральную чистоту, не проведенную через искушения и зло. Чтобы оправдать жизнь, надо жить всем своим существом, но *живет ли* так называемый поря-

дочный человек или только прозябает, тая в себе смрад и гной своих необнаруженных пороков?

*

Дом, в котором проживала Соня, был трехэтажный. По указанию дворника, он поднялся во второй этаж. «Покамест он бродил в темноте и в недоумении, где бы мог быть вход к Капернаумову, вдруг в трех шагах от него отворилась какая-то дверь; он схватился за нее машинально.

— Кто тут? — тревожно спросил женский голос.

— Это я... к вам, — ответил Раскольников, и вошел в крошечную переднюю.

— Это вы? Господи! — слабо вскрикнула Соня, и встала, как вкопанная».

Заметим кстати, что персонажи Достоевского часто входят друг к другу не стуча, или же заранее проникают в чужую квартиру и поджидают там отсутствующего хозяина. Они делают это не потому, что хотят нарушить правила благоприличия, но потому, что двери перед ними как бы сами растворяются. В комнату Раскольникова входят, не стуча, Свидригайлов, Соня, мещанин в халате, Разумихин, Порфирий Петрович, Дуня. Так Раскольников вошел теперь к Соне. Уже сама неоднократность такого явления показывает, что тут не случайный авторский недосмотр, но какая-то чрезвычайно важная жизненная необходимость, непосредственно связанная с метафизикой происходящих встреч. Герои Достоевского встречаются друг с другом, когда назревает в том внутренняя, ими самими несознанно подготовленная неизбежность. В романе-трагедии, в романе-мистерии все душевное и материальное подчинено духовному и развивается по законам совсем иным, чем в романе реалистическом, например, Льва Толстого, где сгустившаяся, тяжелая, непроницаемая плоть властвует над всем, а душевно-телесные персонажи соображают, иногда думают, но никогда не мыслят. А в творениях Достоевского мыслят не только автор и его герои, но и сама жизнь. Хорошо сказано

у Ремизова: «Достоевский рассказывает о игре-столкновении мыслей, его герои — мысли, его мир — мысленный мир. И это вовсе не значит «беспредметный» — сила и движение мысли живее всякой «физиологии».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в творениях Достоевского бывают положения, когда чисто бытовые подробности отпадают. Более того, бывают в романе-мистерии мгновения сверхестественные, когда все бытовое исчезает и явления одухотворяются. Наши мысли, чувства, мечты и желания, достигая наивысшего напряжения, вызывают сложнейшие пересечения человеческих встреч-столкновений. Как влечется к магниту сталь, так тянемся мы одни к другому, ища себе дополнения. Достоевский показывает нам свершающееся внутри нас, и его герои-идеи несут своим ближним любовь и ненависть, гибель и спасение. В мировом религиозном процессе нет отдельных индивидов, и в плане духовном все мы непрестанно находимся в положительном или отрицательном взаимообщении.

Перед тем, как Раскольников вошел к Соне, часы за стеною у Капернаумова только что пробили одиннадцать. Кто-то опять напоминал убийце, что и теперь еще не поздно покаяться и стать из последнего первым.

Немыслимо передать своими словами беседу Раскольникова с Соней. В «Преступлении и наказании», в минуты духовного подъема, каждое слово, каждый жест, каждое движение разговоривающих становятся по значению безмерными, бездонными и тогда начинаешь постигать, что воистину ни один волос с головы человека не падает случайно. Но этот первый разговор Раскольникова с Соней лишь подготовляет второй, все по существу решающий.

Направляясь к Соне, Раскольников твердо знал, что «ни ему, ни ей ни в каком случае нельзя так оставаться». Их уже заранее породнила одинаковость безысходных положений. По словам Раскольникова, Соня «понапрасну умертвила и предала себя». Точно то же думал он и о себе. Для него не падение Сони было ужасно, а то, что свершилось оно попусту, не достигнув цели. По мнению Раскольникова

бремя, взятое на себя Соней ради других, оказалось ей не по силам, а следовательно, полагал он, нечего было и дерзать, бросая вызов обществу и собственной судьбе. Раскольников знал, что Соня «не выдержит», совсем так же, как не выдержал он. Русское ницшеанство до Ницше, пришедшееся Раскольникову не по плечу, непостижимо *странно* переплеталось с ложно понятой Соней, христианской жертвенностью.

Раскольников говорит о себе: «Принцип-то я убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался». Поправ принцип, не переступила через него и Соня, и, наверное, в первый же день своего смиренного падения, почувствовала, что к ней, жертвенно дерзающей, не обратился бы Христос со словами: «Дерзай, дщерь!». Но кто знает, ведь Соня веровала, быть может, не менее женщины, с верой коснувшейся одежды Христа и тотчас же исцелившейся от недуга. Мы знаем, что упование на Бога спасло Соню, а если ее любовь к отцу и его семье ничему не помогла, то, полюбив Раскольникова, она повела его к раскаянию и сама преобразилась. Когда впервые пришел к ней Раскольников, она уже стояла на краю пропасти. Он не мог не увидеть этого и прежде, чем признаться в своем преступлении, воззвал к ней из глубины души: «Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!.. Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им, а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел».

— «Не понимаю... — прошептала Соня.

— Потом поймешь. Разве ты не то же сделала, ты тоже преступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... свою (это все равно!»).

Но действительно ли до конца понял Раскольников Соню? Нет, он не понял в ней главного, основного, заветного. Соню привела к падению любовь к ближнему, а Раскольникова ненависть и презрение к людям. Не понимал он также истинного значения того, что вершилось теперь вокруг него в этой пустынной Сониной комнате, где даже комод, стоявший в углу, «затерялся как бы в пустоте»,

отражая мерзость запустения в душе убийцы. Не понял также Раскольников почему он вдруг увидел книгу, лежавшую на этом комоде и оказавшуюся Евангелием.

— Это откуда? — крикнул он через комнату.

— Мне принесли, — ответила она, будто нехотя и не взглядывая на него.

— Кто принес?

— Лизавета принесла, я просила.

«Лизавета! Странно!» — подумал он.

Все у Сони становилось для него как-то страннее и чудеснее, с каждою минутой.

— Ты с Лизаветой дружна была?

— Да, она справедливая... она приходила... редко... нельзя было... Мы с ней читали и... говорили. Она Бога узрит».

«Странно звучали для него эти книжные слова, и опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе — юродивые».

Слова Святого Писания, звучавшие для Раскольникова по книжному, были для Сони чем-то неотделимым от существования, от вечности. Пребывая в одиночестве в желтой каморке, похожей на шкаф, на сундук или, как скажет Пульхерия Александровна, на гроб, Раскольников подменил живую жизнь мертвой теорией, явное призрачным, а Соня и в падении своем ни на единый миг не порывала с явью, с насущным, и продолжала жить среди ближних и для ближних. Раскольников — существо ночное, Соня — дневное. Ночь ищет света, а день хочет тьму разогнать.

«Он был скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток», говорит Достоевский о Раскольникове. В плане духовном Раскольников противоположен Соне. За тьмою, объявшей идейного убийцу, она провидит его первозданный, Богом сотворенный лик. Названный во святом крещении Родионом уже стал ее сокровенным помыслом. Непостижимое чудо любви заново воссоздало падшего Адама в Сонином сердце. Но в безотрадной и страшной

действительности стоял перед нею кровавый преступник, с сердцем опустошенным и безлюбовным. Он не понимал и не принимал единого на потребу, и в слепоте свой полагал, что Соня подобна ему. Он пришел за нею, чтобы вместе идти, но куда и по какой дороге? Почему, увидев Евангелие на комоде, он потребовал, чтобы Соня вслух прочитала ему главу о воскрешении Лазаря? Все двоится, все смутно в душе Раскольникова. На вопрос Сони, куда идти, он отвечает вопросом: «Почему ж я знаю?». А смысл евангельских слов о воскрешении Лазаря его душа, одержимая духом глухим и немым, силится истолковать превратно. Но вместе с этим, как замечает Достоевский: «Раскольников понимал отчасти, почему Соня не решалась ему читать, и чем более понимал это, тем как бы грубее и раздражительнее настаивал на чтении. Он слишком хорошо понимал, как тяжело было ей теперь выдавать и обличать все *свое*. Он понял, что чувства эти действительно как бы составляли настоящую и уже давнишнюю, может быть, тайну ее, может быть, еще с самого отрочества, еще в семье, подле несчастного отца и сумасшедшей от горя мачехи, среди голодных детей, безобразных криков и попреков. Но в то же время он узнал теперь, и узнал наверно, что хоть и тосковала она, и боялась чего-то ужасно, принимаясь теперь читать, но вместе с тем ей мучительно самой хотелось прочесть, и непременно *теперь*, что бы там ни вышло потом!.. Он прочел это в ее глазах, понял из ее восторженного волнения!.. Она пересилила себя, подавила горловую спазму, пресекшую в начале стиха ее голос, и продолжала чтение одиннадцатой главы Евангелия Иоаннова.

Пусть отчасти только понял Раскольников Соню, но уже и этого было как будто достаточно, чтобы не звать ее идти куда-то за собою, но самому беспрекословно последовать за нею. Но вот, еще до чтения Евангелия, когда на слова Раскольникова, что и с Полечкой то же будет, что и она пойдет по дороге уличной проститутки, Соня, вскрикнула в отчаянии: «Бог, Бог такого ужаса не допустит»! — ее жестокосердный посетитель, с каким-то даже

злорадством возражает: «Да, может, и Бога-то совсем нет» и «он засмеялся и посмотрел на нее».

Раскольников сказал это не потому что совсем не веровал в Бога, хотя и был, как большинство людей, маловером, но потому что, на словах отрицая Бога, тем самым продолжал богоборствовать.

«Лицо Сони вдруг страшно изменилось: по нем пробежали судороги. С невыразимым укором взглянула она на Раскольникова, хотела было что-то сказать, но ничего не могла выговорить, и только вдруг горько-горько зарыдала... Прошло минуть пять. Он все ходил взад и вперед молча и не взглядывая на нее. Наконец подошел к ней; глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился, и, припав к полу, поцеловал ее ногу. Соня в ужасе от него отшатнулась, как от сумасшедшего».

Но он не был сумасшедшим, напротив, этим жестом он сознательно осуществил лишь то, что давно, давно назревало в нем, *как* бунт против Творца немилосердного.

«Он тотчас же встал.

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, как-то дико произнес он и отошел к окну».

Раскольникову стало ясно на кого он восстает и ради чего бунтует. Еще шаг и ему оставалось бы перенести свое теоретическое сочувствие страданию человеческому на автономное от Неба человечество вообще и превратиться в безбожника гуманиста. Но этого шага Раскольников не сделал, как не сделал его молодой Достоевский, хоть и побывал в русском революционном подполье, основавшемся на притянутых издалека теориях атеиста Фурье. От такой окончательной мерзости спасла Раскольникова его желтая каморка — его гроб, из которого он должен был восстать преображенным или обратиться в подобие духа глухого и немого, овладевшего им. Убитая Раскольниковым Лизавета еще при жизни позаботилась о нем — принесла своей бу-

дущей посреднице, своему двойнику — Соне Мармеладовой Евангелие и положила его в углу на комод «как бы затерявшийся в пустоте». Так великодушно отметила Лизавета опустошенное сердце Раскольникова. Ни на одну минуту не следует забывать, что Сонина комната была отражением в мире явлений сложной, противоречивой души Раскольникова. По Достоевскому, подлинная реальность ожидает людей за гробом, а на земле мы видим лишь ее светлые излучения и темные тени — спасительные и губительные символы.

Вряд ли полностью понимал Раскольников почему сам потребовал от Сони прочитать ему главу из Евенгелия о воскрешении Лазаря, но иначе он поступить не мог... В минуты важных решений действует в нас не внешняя рассудочная, но внутренняя воля, всегда согласованная с назревающими и уже неминуемыми событиями. Евангелие, принесенное когда-то Лизаветой, призывало убийцу к раскаянию, но одержимая бесом душа Раскольникова силилась перевести прозрачную и живую воду Святого Писания в иное, темное русло. Зло снова искало осуществиться за счет добра, грех злостного самоутверждения хотел попрать евангельское чудо, подменив Богочеловека человекобогом.

Чего же искал Раскольников для себя в воскрешении Лазаря? Или теплилась в преступной душе какая-то надежда на спасение? А Соня дочитывала главу о величайшем и неслыханном чуде и чувство великого торжества охватило ее... «Лазарь иди вон». И вышел умерший, — (громко и восторжественно прочла она, дрожа и холодея, как бы воочию сама видела) — обвитый по рукам погребальными пеленами; и лицо его обвязано было платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших что сотворил Иисус, уверовали в Него».

«Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги...». И какое бы зло ни назревало сейчас в уме Раскольникова, но тусклое

пламя огарка показывало, что не все еще погасло в душе несчастного преступника. А что был он несчастен, тотчас почувствовала Соня, когда при втором с ним свидании он признался в своем преступлении. «— Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете, — воскликнула она, как в исступлении».

Вот этот непогасаемый во веки веков, неодолимый свет христианства, исходивший от Сони, должен был рано или поздно воскресить Раскольникова, вывести его, как Лазаря, из гроба. А Соню и в падении осеняло и спасало «какое-то, — по выражению Достоевского, — *ненасытимое* сострадание. Поэтому она и постигает и видит в людях горение божественной правды и на грубое замечание Раскольникова: «— Катерина Ивановна ведь вас чуть не била, у отца-то», — отвечает: «А хоть бы и била, так что ж. Ну, ну так что ж? Вы ничего, ничего не знаете... Это такая несчастная! И больная... Она справедливости ищет... Она чистая, она так верит, что во всем справедливость должна быть, и требует. И хоть мучайте ее, а она несправедливого не сделала. Она сама не замечает, как это все нельзя, чтобы справедливо было в людях, и раздражается. Как ребенок, как ребенок! Она справедливая, справедливая!».

Такие слова исходят не от ума, а от любящего сердца и уж, конечно, не знала Соня, что так до глубины верно определяя Катерину Ивановну, она противополагает ее требования справедливости от людей и Бога неправедным требованиям Раскольникова, восставшего с топором в руках на Бога и людей. Своими жалостливыми словами Соня, сама того не подозревая, провела разделяющую черту между Катериной Ивановной и Раскольниковым, возжелавшим вершить суд и расправу «не как дурак, но как умник». «Это-то меня и сгубило», — сам признается он Соне.

Но напрасно дрожа от радостного ожидания, мечтала Соня, читая Раскольникову Евангелие, что подобно «неверующим, слепым иудеям, и *он, он* — тоже ослепленный и неверующий, он также услышит, он тоже уверует, да сейчас же, теперь же!»

Но в ответ на этот горячий, немой призыв Раскольников заговорил ненавистно и лукаво. Что-то снова перевернуло его, как накануне вечером, когда, после разговора на лестнице с ангелом Поленькой, он пошел по улице и остановился на мосту. Теперь, как и тогда, дух глухой и немой, владевший Раскольниковым, спешил воспользоваться благодатной силой, только что изошедшей от Сони, вдохновенно читавшей Евангелие. Раскольникову снова померещилось «царство рассудка и света», ныне всеми нами испытанное и более умными из нас оцененное по достоинству.

«Я о деле пришел говорить, — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников. Встал и подошел к Соне. — Я сегодня родных бросил, сказал он, мать и сестру... У меня теперь одна ты... Пойдем вместе... Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем!».

Да, никого кроме Лизаветиной крестовой сестры, кроме бедной Сони, у Раскольникова теперь не оставалось. Но он не понимал, что оба они никем не прокляты и никогда никакого проклятия над Соней не нависало. Он забыл, любовью порожденные, слова Мармеладова в распивочной: «Тот, Кто всех пожалел, Кто всех и вся понимал, Он Единый, Он и Судия, приидет в тот день и спросит: «А где дщерь, что мачехе злой и чахоточной, что детям чужим и малолетним себя предала? Где дщерь, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела?». И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз. Простил тебя раз... Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то, что возлюбила много...»

Пребывая в ожесточении и ненависти, Раскольников не учел великого дара в Соне, которого сам был лишен: любви. Зачем он звал Соню идти с ним одною дорогой и к одной цели? Ссылаясь на то, что и Полечка неизбежно погибнет, как Соня погибла, он сам, может быть, не сознавая своего лукавства, заговорил о детях: «А ведь дети, образ Христов: Сих есть Царство Божие. Он велел их чтить и любить, они будущее человечество». Но вот на вопрос Сони «Что же, что же делать?» Раскольников отвечает, попирая

и любовь, и детей и чудо воскрешения Лазаря. Иного «чуда», иного «Лазаря» ожидает он для себя и для Сони, и зовет ее за собою не исцелять, а ломать. «Что делать? Сломать что надо, раз навсегда, да и только, и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь... Свободу и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником! Вот цель! Пойми это! Это мое тебе напутствие. Может, я с тобою в последний раз говорю. Если приду затра, услышишь про все сама, и тогда припомнишь эти теперешние слова. И когда-нибудь потом, через годы, с жизнью, может и поймешь, что они значат. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай».

Соня осталась одна. «Она была как безумная и чувствовала это... «Господи! Как он знает кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это!». Но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак! Никак!».

Да и не могла она придти. Любовь открыла Соне первородный образ Раскольникова, каким вышел он из рук замыслившего его Творца. Любовь открывает нам сияющую божественную глубь человека и это сияние ослепляет нас. Поскольку мы любим, постольку не видим зла в том, кого любим. А между тем, хоть и ушел Раскольников, но его отражение, искаженное его же грехом, оставалось при Соне: та же темная разноугольная комната с комодом, как бы затерявшимся в пустоте, та же запертая дверь в стене слева, ведущая к косноязычным Капернаумовым, кротким во Христе беднякам, та же в противоположной стене наглухо запертая дверь, а за нею воплотившийся сон Раскольникова — Свидригайлов, стоя подслушавший весь разговор, чтение Евангелия и слова все еще бунтующего, идейного убийцы о свободе и о власти над дрожащею тварью. Свидригайлову подслушанный разговор показался «занимательным и знаменательным». Он даже перенес стул из своей комнаты и поставил его у самой двери, «чтобы на будущее время устроиться покомфортнее и получить во всех отношениях полное удовольствие».

Итак, в душе Раскольникова все обстояло по-прежнему: и ангел, и бес, и тяжкий грех.

*

На следующий день утром, «ровно в одиннадцать часов Раскольников вошел в дом -й части, в отдел пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу».

Кто-то снова протягивал преступнику спасительную нить, кто-то снова призывал его в евангельский час к признанию и покаянию. Но совсем не то было на уме у Раскольникова. Не признаваться и каяться явился он сюда, но еще раз точно и окончательно проверить, подозревают его в преступлении или нет. Он все еще колебался и не знал, как решить эту мучительную задачу. Однако, как только утверждался он в мысли, что судебный следователь действительно подозревает его в убийстве, так тотчас с новой силой возникала в нем решимость защищаться и запираться. Здесь действовал особый закон, вряд ли сознаваемый Раскольниковым. Каждый человек бессознательно дорожит свободой совести, хоть и вступает при этом в неразрешимое противоречие с самим собою. Свобода неотделима от ответственности, которой мы не хотим и боимся, и оттого так легко становимся жертвами какой-нибудь очередной, порабощающей нас, социальной доктрины. Но, попав в рабство, мы ищем свободы и, во что бы то ни стало, хотим проявить свою волюшку. После того как Раскольников признался Соне в своем преступлении, она уговаривает его пойти и добровольно сознаться перед людьми и властями. Но когда он говорит, что пришел к ней сообщить, что его «ищут и ловят», она вскрикивает в испуге. Соня ждет от Раскольникова *свободного* признания, но страшится властей, выслеживающих и арестовывающих и тем лишающих преступника свободы выбора.

Никаких данных, способных неопровержимо доказать виновность Раскольникова, у Порфирия Петровича не имелось, а психологии, как мы уже знаем, он, по примеру само-

го Достоевского, весьма не доверял, хоть и пользовался, за неимением лучшего, различными психологическими приемчиками и эффектами. Он знал также, что и преступнику не очень-то помогает надежда на психологию, и прямо говорит Раскольникову: «Все эти психологические средства к защите, отговорки, да увертки, крайне несостоятельны, да и о двух концах».

Порфирий Петрович хорошо знает и от Раскольникова не скрывает, что «ведь общего-то, случая-с, того самого, на который все юридические формы и правила примерены, и с которого они рассчитаны и в книжки записаны, вовсе не существует-с, потому самому, что всякое дело, всякое, хоть, например, преступление, как только оно случится в действительности, тотчас же и обращается в совершенно частный случай-с; да иногда ведь какой: так-таки ни на что прежде не похожий-с. Прекомические иногда случаи случаются в этом роде».

Великая заслуга Порфирия Петровича в том, что он сразу же, по прочтении в журнале «ницшеанской» статейки Раскольникова, понял, что убийство старухи Алены Ивановны есть совершенно особый случай, ни на что́ в уголовной хронике не похожий. Из всех заложенных вещей, найденных у ростовщицы, особое внимание следователя привлекло колечко с тремя красными камешками, принадлежавшее Раскольникову, а в том что виновника преступления судебный следователь искал, главным образом, среди жертв злой и алчной старухи, нет, конечно, ничего удивительного. Порфирий Петрович был не только представителем закона, но еще метафизическим сыщиком по призванию и, в этом отношении, походил на самого Достоевского. В деле об убийстве ростовщицы он и умом понял и сердцем учуял нечто, по его словам, фантастическое, мрачное, современное, порожденное отвлеченными выкладками, далекими от жизни живой. Оттого-то интеллигент-преступник, «когда убивал, дверь за собой забыл притворить, а убил, двух, убил, по теории».

Порфирий Петрович постиг, что такого рода теорией, по милости русских интеллигентов, заражена сама Россия и что

Раскольников всего лишь исполнитель ее тайных велений и вожделений. Поэтому как-то особенно загадочно и страшно и в то же время утешительно звучат слова Порфирия Петровича, уговаривающего Раскольникова добровольно явиться с повинной и, доверившись жизни, не бояться каторги. «Ищите и обрящете. *Вас, может, Бог на этом и ждал*». (Выделено мною. — Г. М.)

Никогда не высказывая своей надежды до конца, Достоевский втайне полагал, что как его лично, как Раскольникова, так и Россию Бог на этом и ждал. Автор «Преступления и наказания» не мог ни на единый миг помыслить о собственной судьбе вне судеб России, и свою каторгу, им религиозно принятую и оправданную, почитал преддверием, ведущим к поголовной всероссийской каторге.

Но как молодой Достоевский до своей катастрофы, да и после нее, уже сидя в тюрьме, долго не признавал за собою никакой вины, хоть и почитал Христа «симпатичной личностью», так и Раскольников шел к судебному следователю не сдаваться, а бороться, хотя накануне к Соне заходил и чтение о воскрешении Лазаря слушал.

Теперь Раскольников стоял в приемной судебного следователя, «А мимо него ходили и проходили люди, которым, повидимому, никакого до него не было дела».

«В следующей комнате сидело и писало несколько писцов, и очевидно было, что никто из них даже и понятия не имел: кто и что такое Раскольников... Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, знал и все видел, так разве дали бы ему, Раскольникову, так стоять теперь и спокойно ждать?.. Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или же... или просто он ничего тоже не знает. И сам своими глазами ничего не видал, да и как он мог видеть? А стало быть, все это вчерашнее, случившееся с ним, с Раскольниковым, опять-таки было призрак, преувеличенный раздраженным и больным воображением его. Эта догадка, еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. Но

обдумав все это теперь, и готовясь к новому бою, он почувствовал вдруг, что он дрожит — и даже негодование закипело в нем при мысли, что он дрожит от страха перед ненавистным Порфирием Петровичем».

Вот и становится ясным, что рассудок Раскольникова, как у любого из нас, почти ничего не знает по сравнению с тем, что ведает человеческая натура в целом. Рассудок заблуждается, а натура изнутри подсказывает правду. Вчерашний мещанинишка ничего сам не видел, да и не мог видеть, однако какие-то таинственные нити идут от него к Раскольникову, и хоть ничего он в действительности не знает, но сердцем постигает многое, потому что, несмотря на свой порок, никогда, в простоте душевной, не порывал с матерью-землей, поруганной идейным убийцей. Оттого он и выростает перед Раскольниковым, как из-под земли, что жил и дышал с нею заодно. Раскольников, совершив преступление *по теории*, сознательно схоронил, закопал свою совесть, а мещанинишка откопал ее и, как бы в нее превратившись, явился к «студенту».

Стоя в приемной, Раскольников не знал, конечно, что этот «призрак», этот «выходец с того света» сидит теперь в соседней комнате под замком за перегородкой на правах заранее приготовленного судебным следователем «сюрпризика». Утвердившись в мысли, что мещанин всего лишь призрак, Раскольников вдруг задрожал от страха, как показалось ему, перед Порфирием Петровичем. Но это было лишь отчасти так, главнейшая же причина внезапного страха крылась в ином: в совести, потерянной Раскольниковым и ушедшей от него к другому. От этого «другого», сидевшего за перегородкой под замком, шли к убийце грозные токи, а ключ от замка лежал в кармане Порфирия Петровича. Круг замыкался и правда матери-земли шла войной на преступника.

Мир целен, все его части и частицы общаются друг с другом: от мещанина к замку, от замка к ключу в кармане Порфирия Петровича и, наконец, от ключа к самому Порфирию Петровичу. Но кто разрешает себе по совести убивать

своих ближних, тот порывает с соборностью и цельность мироздания подавляет его. Для художника душевно-телесного склада материя непроницаема, но для художника духовного строя все взаимопроницаемо, все, кроме смертного греха.

Как ни замечательны сами по себе психологические уловки, по долгу службы пущенные в ход судебным следователем при разговоре с Раскольниковым, но решить дело они не могли. Лишь один мещанин, своим внезапным появлением из-за перегородки, был бы, в какой-то степени, способен поколебать упорство убийцы. В призраке, вставшем из-под земли, таилась религиозная правда, но все же никаких вещественных данных в его показаниях не имелось, а была в них только ничего не доказывающая, скользкая психология. Мещанин ощупью, для себя одного, разоблачил преступника, но проверить разумом собственное чутье оказался не в состоянии. Один Порфирий Петрович и сердцем и умом, словом, всей натурою постиг Раскольникова, опираясь не на психологические выкладки, но на свое духовное знание России. Время было тогда теоретическое, по журналам витийствовали Чернышевские и Добролюбовы, а русские люди из образованных с упоением внимали пению таких соловьев.

Раскольников — дитя своего века, и Порфирий Петрович понимал это, оттого и говорит, обращаясь к нему, не без яда: «Вы батюшка, Родион Романович, уж извините меня старика, человек вы еще молодой-с, так сказать, первой молодости, а потому выше всего ум человеческий цените, по примеру всей молодежи. Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют».

Вот тебе и царство рассудка и света, на которое, стоя ночью на мосту, так самоуверенно ссылался Раскольников! Однако, Порфирий Петрович отлично понимает и глубоко чувствует, что личность Раскольникова преступными теориями не исчерпывается, и немногим позднее скажет ему: «Много я заставил вас перестрадать, Родион Романович. Я не изверг-с. Ведь понимаю же и я, каково это все перетащить на себе человеку удрученному, но гордому, властному

и нетерпеливому, в особенности нетерпеливому. Я вас, во всяком случае, за человека наиблагороднейшего почитаю, и даже с зачатками великодушия-с, хотя и не согласен с вами во всех убеждениях ваших, о чем долгом считаю заявить наперед... Познав вас, почувствовал к вам симпатию».

Вот, для моралиста, непонятное, возмутительное, аморальное заявление! Как! Кровавый злодей, грабитель, и вдруг сам судебный следователь — блюститель закона называет его наиблагороднейшим человеком и даже чувствует к нему привязанность! Неудивительно, что где-то в Америке, по требованию высоконравственных родителей благонравных детей, был уволен какой-то педагог, осмелившийся познакомить своих учеников с «Преступлением и наказанием». Но не велика заслуга соблюдать правила готовой буржуазной морали. Советуя Раскольникову явиться с повинной, Порфирий Петрович говорит ему: «А что, стыда буржуазного что ли испугались? — да и сами того не знаете, — потому молодо! Да много-ль вы еще и жили-то? Много-ли понимаете-то? Теорию выдумал, да и стыдно стало, что сорвалось... Вышло-то подло, это правда, да вы-то все-таки не безнадежный подлец. Совсем не такой подлец! Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, — если только веру иль Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить.» И вдруг, выдавая скрытые замыслы Достоевского, Порфирий Петрович добавляет: «Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще Бога, может, надо благодарить, почем вы знаете: может, вас Бог для чего и бережет.»

Здесь устами Порфирия Петровича говорит сам Достоевский. Ведь его Небо берегло, когда, пребывая в революционном подполье, замышлял он дело во сто миллионов раз безобразнее того, что затеял и исполнил Раскольников. Дело молодого Достоевского доделали мы. Автор «Преступления и наказания» заранее, за долгие годы знал, что будет так. Не верить теперь в возможность покаяния Раскольнико-

ва значило бы не верить, что рано или поздно покается и восстанет из гроба Россия. Исцеленный спасительной каторгой, Достоевский чаял исцеления дорогой его сердцу бесноватой, и своим чаянием поделился с Порфирием Петровичем. Раскольников неотделим от Достоевского, от нас, от России. Преступление Раскольникова возникло из мертвой морали, как возникла из нее кровавая французская революция, породившая целые полчища победоносных французских Лужиных, сытых буржуа. А Раскольников — предвестие провалившейся русской революции, поравнявшей всех в нищите и несчастье. Он, по милости Бога, такой же неудавшийся русский революционер, каким был Достоевский, воскресший на каторге из мертвых. Поголовная всероссийская каторга, ныне наступившая, по вере Достоевского, спасет мир, опутанный мертвыми теориями.

*

Порфирий Петрович за Родиной статейкой и за преступлением, к которому она привела своего автора, различил духовную сущность Раскольникова, но как официальный представитель закона, обязанный вести следствие по всем правилам, он приготовился ко всевозможным психологическим уловкам, хоть и не верил в них нисколько, и посадил за перегородку явившегося с доносом мещанина.

«При входе Раскольникова, Порфирий Петрович тотчас же притворил дверь и они остались одни.»

По Достоевскому жизнь развивается наперекор всем нашим предположениям. «Вдруг» и «странно» — любимые словечки Достоевского — встречаются чуть ли не на каждой странице «Преступления и наказания». Мы можем сколько угодно предполагать и, как нам кажется, предвидеть события, но неведомая сила, из нас же самих исходящая, опрокидывает все расчеты. Каждый из нас же самих ежеминутно может очутиться в положении генералов австрийского гоф-кригсрата, о котором так насмешливо упоминает Профирий Петро-

вич, не подозревая даже какой неожиданный «сюрпризик» поджидает его самого.

«На бумаге-то они и Наполеона разбили, в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а, смотришь, генерал-то Мак и сдается со всей своей армией, хе-хе-хе!.. Действительность и натура, сударь вы мой, есть важная вещь, и уж как иногда самый прозорливейший расчет подсекают!»

Как ни хитрит Раскольников, но натура выдает его, как ни предусмотрителен судебный следователь, но действительность сводит к нулю все его хитросплетения, и потому нет нужды подробно в них разбираться.

По ухваткам, намекам и насмешкам Порфирия Петровича почувствовал Раскольников, что враг его что-то замыслил. «Ждет он что ли чего-нибудь? Эй вздор, брат, пугаешь ты меня и хитришь. Нет у тебя доказательств и не существует вчерашний человек.»

Но Раскольников ошибался: вчерашний человек не только существовал, но еще и сидел совсем близко, готовый по первому зову судебного следователя обрушиться на преступника. Выведенный из себя, сбитый с толку, напуганный словесною игрою, затеянной Порфирием, Раскольников все же понимал, что нет у судебного следователя никаких вещественных доказательств, а есть лишь одна психология, на которой далеко не уедешь...»

«Нут-ка, что теперь скажешь, коли намерен арестовать?». «Он схватил фуражку и пошел к дверям.» «А сюрпризик-то не хотите разве посмотреть? — захихикал Порфирий. Сюрпризик-с, вот тут, за дверью у меня сидит, хе-хе-хе. — Лжешь ты все, — завопил Раскольников, уже не удерживаясь — лжешь, полишинель проклятый!»

Бог знает до чего бы дошло у них дело. «Но тут случилось странное происшествие, нечто до того неожиданное, при обыкновенном ходе вещей, что уж, конечно, ни Раскольников, ни Порфирий Петрович, на такую развязку и не могли рассчитывать.» Лишь тот был бы в силах предугадать ее, кто, подобно Достоевскому, видел внутренний духовный ход на-

зревающих событий и знал бы, по собственному катастрофическому опыту, что многое, кажущееся в жизни обыкновенным, в существе своем фантастично.

Каи ни умен и ни хитер Порфирий, как ни сложен душевно Раскольников, но не они были бы в состоянии постичь тайное значение внезапно разразившегося происшествия. Оно возникло изнутри, из глубочайших жизненных недр, как нечто, хоть и очень смутно, но все же доступное постижению простолюдина, не коснувшегося «просвещения», не порвавшего священной связи с матерью-землею.

Мещанин, сидевший за перегородкой, был готов перед Богом и людьми изобличить «студента». А из приемной рвалась в дверь черноземная сила, жаждущая возложить на себя чужую вину во искупление грехов всего мира, принять праведное страдание. Я сказал «праведное» потому что есть еще страдание неправедное то, к которому призывал Раскольников Соню, когда она, плача и ломая руки, спрашивала его — «что же, что же делать,» а он, подавая ей вместо хлеба змею, отвечал: «Страдание взять на себя. Свободу и власть, а главное власть, над всею дрожащей тварью». Но не сказал тогда Раскольников, что такого рода страдание есть всего лишь мука одержимости.

Теперь напирал из приемной на дверь, отталкивая от себя конвойных, какой-то очень бледный человек, по видимости арестант. Он шагнул прямо в кабинет судебного следователя. Это был Миколка-красильщик. В день учиненного Раскольниковым убийства, Миколка с товарищем по работе — Митькой, красил стены в квартире, расположенной во втором этаже того дома, в котором, двумя этажами выше, проживала ростовщица Алена Ивановна. Мы знаем, что Раскольников, совершив свое преступление, уже успел сбежать до второго этажа, но заслышав шаги людей, поднимавшихся снизу по лестнице ему навстречу, он прошмыгнул в пустую квартиру и притаился у стены за дверью. За минуту до того, Миколка с Митькой с криком и хохотом выскочили оттуда и пустились бегом вниз, догоняя один другого. Когда поднимавшиеся по лестнице люди прошли мимо спрятав-

шегося Раскольникова, он выбежал из засады, быстро спустился во двор и, никого не встретив у ворот, проскользнул на улицу. Не рассудок, так бес, по собственному его замечанию, помогал ему. А в пустой квартире, на полу, на том самом месте, где только что стоял убийца, остался оброненный им в спешке футляр с серьгами, похищенный вместе с другими вещами и деньгами у ростовщицы. Этот футляр подобрал потом Миколка и, соблазненный серьгами, продал за целковый содержателю распивочной Душкину, а тот, узнав об убийстве ростовщицы, испугался, доставил серьги в полицейский участок и выдал красильщика. Сидя в тюрьме, бедный парень сильно призадумался, хоть нисколько не раскаивался в том, что продал свою находку. Согласно писанным законам, Миколка серьги украл, но прав Порфирий Петрович, сказавший про него позднее Раскольникову: «Он тогда вот и украл. А сам этого не знает; потому «коли на земле нашел, что за украл?» Миколка, по недальновидности своей, был сектант. Он, как говорит Порфирий Петрович, «целых два года в деревне у некоего старца под духовным началом был. Да куды! просто в пустыню бежать хотел! Рвение имел, по ночам Богу молился, книги старые «истинные» читал и зачитывался.»

Всего этого достаточно, чтобы вычитать, наконец, и облюбовать для себя «идею». Сектантство опутывает не только религиозно настроенных простолюдинов. Все его виды и подразделения опасны тем, что, будучи неправдой, они содержат в себе малую долю истины, привлекающую своей элементарностью простодушных и ограниченных людей. Но, помимо всего, Миколка является носителем крестьянской правды, столь излюбленной Достоевским.

Автор «Преступления и наказания» никогда не был народником ни справа ни слева, и применять к нему это пошлое слово до крайности неумно. Великий художник-прозорливец всем своим существом предчувствовал страшное будущее России и знал, выражаясь подлыми словами Кармазинова из «Бесов», что все в ней «расползется в слизь и грязь», все, кроме крестьянской правды. А она-то и есть Правосла-

вие, проникшее в глубину глубин российской народной толщи. Вот во что верил Достоевский, и потому не мог не презирать интеллигентских измышлений и лжи. Его ставка на избранных крестьян, единственно уцелевших представителей российской нации, ныне как будто начинает оправдываться.

Миколку-красильщика соблазнило сектанство. Все же этот деревенский парень, как и его крестьянские предки, был напитан, сам того не ведая, многовековым учением Православной Церкви — Христовой Невесты. У Миколки ум — дурак, а душа православная, что и ведал хорошо Достоевский. Сидя в тюрьме, бедный красильщик вспомнил своего старца и решил пострадать, приняв на себя чужую вину. Такая идея, конечно, уже давно назревала в нем, а тут, как нельзя более вó время, подоспело ему на помощь порожденное теорией преступление Раскольникова. Однако не следует думать, что оно оказалось для Миколки лишь внешним поводом. Нет, этот деревенский фанатик был изнутри духовно связан с Раскольниковым. Только в наши дни начинает обнаруживаться подлинный смысл художественных символов Достоевского, и немудреный Миколка, берущий на себя грех Раскольникова, доростает до своего истинного религиозного значения. Не за одного Раскольникова, но за нас всех, зараженных ложным просвещением, отвечает теперь русский мужик, искупая наш общий грех, ничуть не менее тяжкий, чем преступление «студента», клюнувшего на теорию. Жаль только, что Миколки-красильщики не в силах выразить того, что они безошибочно воспринимают как величайшую истину. Для них мир неразложимо целен, и потому каждый из нас, живущих на земле, во всем и за всех виноват.

Раскольников духовно связан с Миколкой-красильщиком и злодуховно с другим Миколкой, на смерть избивающим лошадь.

Замыслив свое злое дело, Раскольников увидел самого себя во сне, но не взрослым двадцатитрехлетним, а мальчиком лет семи, еще не успевшим согрешить сознательно. Человеку, порешившему убить своего ближнего, приснилась соб-

ственная душа в том образе, в каком сотворил ее Бог. И эта, еще не согрешившая, душа, в свою очередь, видит себя во сне в облике злого Миколки, истязающего ни в чем не повинную тварь, попирающего мать-землю. Провиденциальное, Небом ниспосланное сновидение показывает Раскольникову в какой ужас превращается он, злоумышляя. Все это происходит во сне, а наяву Раскольников, уже совершивший кровавое преступление, встречает своего антипода — Миколку-красильщика. Всего замечательнее здесь то, что этот вполне существующий Миколка является символом души семилетнего мальчика Роди Раскольникова. Теперь наяву видит убийца, в облике простодушного деревенского парня, свой первородный образ, непричастный греху.

Кто замышляет убить другого, тот, в плане духовном, покушается на себя. Так злой Миколка-Раскольников, истязая Божью тварь, покушается на собственную душу, вселяя отчаяние и ужас в семилетнего ребенка Родю. Давая нам ощутить глубочайшую связь между Раскольниковым, замыслившим зло, и тем семилетним мальчиком, каким он увидел себя во сне, Достоевский прибегает к особому художественному приему, объединяя их словом «он». Мальчик, пораженный страшным злом и неописуемой жалостью к бедной лошадке, спрашивает отца: — «Папочка, за что они бедную лошадку убили?

— Пьяные, шалят, не наше дело... Пойдем! говорит отец. *Он* обхватывает отца руками, но грудь ему теснит, теснит. *Он* хочет перевести дыхание, вскрикнуть и — просыпается.

Он проснулся весь в поту, с мокрыми от пота волосами, задыхаясь и приподнялся в ужасе.

— Слава Богу, это только сон! сказал *он*. Но что это? Уж не горячка ли во мне начинается: такой безобразный сон?». (Курсив везде мой. Г. М.).

Кто же сейчас проснулся? Семилитний ребенок Родя или возрослый, погрязший во грехе, Родион Раскольников?

И вот теперь в кабинете судебного следователя настала для Раскольникова явь (или сон наяву?). Перед ним и Порфирием Петровичем очутился арестант — Миколка-красиль-

щик, приведенный конвойными на допрос. «Арестанта привели, Николая», — послышался чей-то голос». Нельзя опять и опять не отметить этот «чей-то» голос, неизменно напонимающий о роковом внутреннем ходе событий.

«Вид этого человека с первого взгляда был очень странный. Он глядел прямо перед собою, но как бы никого не видел. В глазах его сверкала решимость, но в то же время смертная бледность покрывала лицо его. Точно его привели на казнь. Совсем побелевшие губы его слегка вздрагивали».

Тут приходит на память Афросиньюшка, ставшая рядом с Раскольниковым в сумерки на мосту. Она так же глядела тогда, «но, очевидно, ничего не видела и никого не различала». Порешив утопиться, она как бы уже покинула земной мир и обратилась в «видение». Афросиньюшка — символ совести Раскольникова, им самим казненной; арестант Николай — дальнейшее духовно-органическое развитие все того же символа. Задумав взять на себя чужую вину, он ожидает казни за несовершенное им преступление и смертная бледность лица показывает его отрешенность от мира. Перед Раскольниковым снова встала его собственная совесть в живом облике Миколки. Она властно требовала от убийцы признаться и покаяться.

«Николай вдруг встал на колени.

— Чего ты? — крикнул Порфирий в изумлении.

— Виноват! Мой грех! Я убивец! — вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом.

— Как... ты... как... Кого ты убил?

— Алену Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я... убил... топором. Омрачение нашло... — прибавил он вдруг и опять замолчал. Он все стоял на коленях».

Даже Порфирий растерялся, хоть и знал твердо, кто именно убил. Для него было совершенно достаточно не только психологических данных всегда о двух концах, но данных, основанных на постижении России, на знании и чувствовании того, что творилось в ее духовных тайниках. Из всех персонажей «Преступления и наказания» никто так

интимно глубоко не связан с автором, как Порфирий. Достоевский наделил его даром провидца и тем породнил с собою.

Придя в себя от неожиданности, Порфирий Петрович тотчас вспомнил о Раскольникове: — «Родион Романович, батюшка! Извините-с, кинулся он к нему, — этак нельзя-с; пожалуйте-с!».

Они уже стояли в дверях. Раскольников совершенно ободрился «до неотразимого желания пофорсить».

— «Здоровье-то свое берегите, здоровье-то-с, — бормотал на прощание Порфирий».

— «А уж и не знаю чего вам пожелать с своей стороны! — подхватил Раскольников, — пожелал бы больших успехов, да ведь видите, какая ваша должность комическая!».

Это меткое словцо очень верно определяет деятельность всякого судебного следователя, иногда действительно не лишенную комизма.

«— Почему же комическая? — тотчас навострил уши Порфирий Петрович.

— Да как же, вот этого бедного Миколку вы ведь как должно быть терзали и мучили, психологически-то, на свой манер, покамест он не сознался? День и ночь, должно быть, доказывали ему: «ты убийца, ты убийца!..» Ну, а теперь, как он уже сознался, вы его опять по косточкам разминать начнете: «Врешь, дескать, не ты убийца! Не мог ты им быть! Не свои ты слова говоришь!». «Ну, так как же после этого должность не комическая?».

Под таким заявлением Раскольникова, иронически характеризующим психологическую акробатику, Достоевский охотно подписался бы сам. Да и подписывался не раз. Именно поэтому понимает и Порфирий Петрович весь трагикомизм неожиданно создавшихся обстоятельств.

«— Хе-хе! Остроумны, остроумны-с. Все-то замечаете! Настоящий игривый ум-с! И самую-то комическую струну зацепите... хе-хе. Это ведь у Гоголя, из писателей, говорят, эта черта-то была в высшей-то степени?

— Да, у Гоголя.

— Да-с у Гоголя-с... до приятнейшего свидания-с.

— До приятнейшего свидания!..»

В одном ошибался Порфирий Петрович: самую комическую струну его насмешливому собеседнику зацепить не удалось. Конечно, не мог предвидеть Раскольников, что сам в ближайшем же будущем попадет в высшей степени комическое положение, истинное трагическое значение которого от него ускользнет.

Он пришел прямо к себе домой и сел на диван, «стараясь хоть как-нибудь собраться с мыслями».

«Про Николая он и рассуждать не брался: он чувствовал, что поражен, что в признании Николая *есть что-то необъяснимое, удивительное, чего теперь ему не понять ни за что*». (Выделено мною. — Г. М.).

Когда, не обнаруживая скрытого смысла собственного замечания, Достоевский на чем-нибудь упорно настаивает, необходимо с особым вниманием отнестись к его словам. Раскольников чувствовал, что в признание Николая есть что-то безмерно значительное, пониманию недоступное. Постичь эту тайну можно было только совестью, но ее-то как раз и утратил Раскольников. Совесть покинула его и, принимая на себя различные лики, снова и снова напоминала о себе. Но расколотый грехом Адам был не в силах заново собрать свои растерянные частицы, тщетно стремившиеся к воссоединению с ним. Ад всесмешлив и во всех человеческих грехах и пороках есть нечто ужасающе нелепое и смешное. Преступник, желая забыть о совести, изгоняет ее, но она возвращается к нему под видом самостоятельных существ, и тогда создается положение, комичнее которого нельзя ничего изобразить. Подумать только, совесть убийцы, просящая у него же прощения! Может ли произойти что-либо нелепее и страшнее этого!

Мещанин, сидевший за перегородкой, слышал весь разговор следователя с Раскольниковым и, конечно, вполне одобрял блюстителя закона, силившегося изобличить «злодея». Но внезапное появление и неожиданное признание красильщика совершенно сбили с толку заготовленный

«сюрпризик». Хитроумные приемы судебного следователя показались тогда мещанину прямым издевательством над ни в чем неповинным человеком. Тот, кто еще так недавно олицетворял собою совесть Раскольникова, обличал его и вел во сне к месту преступления, теперь был готов просить у него прощения. Рассудок подавил в мещанине безошибочное чутье. Ведь от неожиданного признания Николая даже сам Порфирий Петрович на минуту встал в тупик.

Между тем Раскольников сидел в своей каморке на диване, «свесив вниз голову, облокотясь на колени и закрыв руками лицо. Нервная дрожь продолжалась еще во всем его теле. Наконец он встал, взял фуражку, подумал и направился к дверям... Вдруг в сердце своем он ощутил почти радость: ему захотелось поскорее к Катерине Ивановне. На похороны он, разумеется, опоздал, но на поминки поспеет, и там, сейчас, он увидит Соню. Он остановился, подумал, и болезненная улыбка выдавилась на губах его.

— Сегодня! сегодня! — повторил он про себя. — Да, сегодня же! Так должно...».

Он хотел... его тянула какая-то неведомая сила признаться Соне во всем и как можно скорее. Но тут произошло нечто для него совсем неожиданное, хотя и подготовленное заранее в темных недрах его души: он стал жертвой высшего, уже нечеловеческого, юмора. А такой юмор не вызывает ни смеха, ни даже тени улыбки, он серьезен и страшен, как прямое следствие душевного раскола, раздвоения личности, это юмор, сопутствующий трагедии и от нее неотъемлемый.

Раскольникова неудержимо влекло к Соне, и одна мысль о свидании с нею вызывала в нем радость возможного спасения. Но тут-то и случилось страшное. «Только что он хотел отворить дверь, как вдруг она стала отворяться сама. Он задрожал и отскочил назад. Дверь отворялась медленно и тихо. И вдруг показалась фигура — вчерашнего человека *из-под земли*». (Подчеркнуто Достоевским). Автор «Преступления и наказания» очень редко прибегает к курсиву, всегда у него чрезвычайно значительному. Это *«из-под земли»* приобретает здесь многопланный смысл. Вчерашний

человек появился на пороге совсем как привидение, но если он даже и дух, то во всяком случае не небесный, а земной и даже подземный. Это некий дух-простолюдин, еще не порвавший с черноземом, со своими мужицкими предками, на протяжении многих столетий взрезавшими сохою грудь земли.

Прежде чем ответить перед Небом, Раскольников должен ответить за свое преступление перед матерью-землею, им оскверненной. Он это сам ощущает и, предчувствуя роковую встречу *«с вчерашним человеком»*, дрожит и отскакивает от двери, отворяющейся на его глазах как бы по воле нездешней силы. Но всегда ли можно с полной уверенностью различить грань, отделяющую явь от сна и здешнее от нездешнего? В «Преступлении и наказании» явления часто встают перед нами сразу же в трех планах — небесном, инфернальном и земном. Достоевский, как художник наивысшего строя, не ведал плотских преград, оттого и казался он подчас фантастом позитивному Страхову.

«Человек остановился на пороге, посмотрел молча на Раскольникова и ступил шаг в комнату. Он был точь в точь как и вчера, такая же фигура, так же одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение: он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Недоставало только, чтоб он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтоб уж совершенно походить на бабу.

— Что вам? — спросил помертвевший Раскольников.

Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть не до земли поклонился ему. По крайней мере, тронул землю перстом правой руки.

— Что вы? — вскричал Раскольников.

— Виноват, — тихо произнес человек.

— В чем?

— В злобных мыслях.

Оба смотрели друг на друга».

Здесь так много различных и притом глубочайших значений, что исчерпать их невозможно. Чего стоит хотя бы,

сходство «человека из под земли» с деревенскою бабой, неоднократно упоминаемое Достоевским. Женское начало потому так явно выступает в этом человеке, что он все еще крепко связан с нашей общей, изначальной родительницей. По Достоевскому, даже многолетнее пребывание в городе не может ослабить священной связи в ином простолюдине с благодатной живородящей почвой. Именно поэтому, в предчувствии всероссийского крушения, Достоевский все свои надежды, чаяния и упования возлагал на мужика. И вот, это первородное мужеженское начало, земляное и даже подземное, в лице мещанина, стояло перед Раскольниковым. Все это явь, но за явью сама собою, медленно и тихо отворяющаяся дверь и на пороге фигура *из-под земли:* совесть убийцы, загнанная им в темную глубь, упорно к нему возвращающаяся, но от него автономная.

Бывает так, что человеку, тяжко согрешившему, удается на время обмануть свою совесть, и тогда она приходит к нему не как «заимодавец грубый», а как удрученный виною проситель, взывающий о прощении, и ничего не может случиться трагичнее и одновременно комичнее этого.

Сбитый с толку внезапным признанием красильщика мещанин еще только вчера изобличавший Раскольникова, пришел теперь к нему каяться.

«— Обидно стало. Как вы изволили тогда приходить, может во хмелю и дворников в квартал звали и про кровь спрашивали, обидно мне стало, что втуне оставили и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна лишился. А запомнивши адрес, мы вчера сюда приходили и спрашивали.

— Кто приходил? — перебил Раскольников, мгновенно начиная припоминать.

— Я, то есть, вас обидел.

— Так вы из этого дома?

— Да я там же, тогда же в воротах с ними стоял, али запамятовали?..

И вдруг Раскольникову ясно припомнилась вся сцена третьего дня под воротами».

Весь разговор и дальнейшее его развитие показывают,

как все, уже свершившееся в душе Раскольникова, постепенно поступало наружу и обращалось в явь, как отделялась от него совесть и приходила к нему, принимая облик мещанина. Раскольников начинал соображать: «— Так вот, стало быть, чем разрешился весь этот вчерашний ужас... Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, кроме этого бреда, никаких фактов, кроме этой *психологии*, которая *о двух концах*, ничего положительного... (курсив везде Достоевского).

— Это вы сказали сегодня Порфирию о том, что я приходил? — вскричал он, пораженный внезапной идеей.

— Какому Порфирию?

— Приставу следственных дел.

— Я сказал. Дворники не пошли тогда, я и пошел.

— Сегодня?

— Перед вами за минуточку был. И все слышал, все, как он вас истязал.

— Где? что? когда?

— Да тут же, у него за перегородкой все время просидел.

— Как? Так это вы были сюрприз?».

Итак всякая таинственность, казалось, исчезла и все объяснялось просто, но невозможно забыть ни самоотворяющейся двери, ни фигуры, выросшей из-под земли. На деле получается, что не одна психология о двух концах, что за явью стоит *неявленное*, грозное и страшное.

«— А Николая при тебе спрашивал?

— Как вас вывел, и меня тотчас вывел. А Николая допрашивать начал.

Мещанин остановился и вдруг опять положил поклон, коснувшись перстом пола.

— За оговор и за злобу мою простите.

— Бог простит, — ответил Раскольников.

И как только произнес он это, мещанин поклонился ему, но уже не земно, а в пояс, медленно повернулся и вышел из комнаты».

Весь этот торжественный обряд с поклонами, с касанием земли перстом правой руки становится страшным, если только подумать, что совестливый человек кланяется земно бессовестному преступнику, отвечающему на такой поклон обманным и потому кощунственным — «Бог простит». Подобная нелепица могла бы показаться всего лишь комической, не будь она полита кровью злодейски умерщвленных существ.

«— Все о двух концах, теперь все о двух концах, — твердил Раскольников и более чем когда-нибудь бодро вышел из комнаты.

— Теперь мы еще поборемся, с злобною усмешкой проговорил он, сходя с лестницы. Злоба же, относилась к нему самому; он с презрением и стыдом вспоминал о своем «малодушии».»

Почему же, собираясь «бороться», он одновременно испытывал радость, что сейчас увидит Соню? Все, что для Раскольникова связано с Соней, как некая святыня обретается в глубине его души, а зло самоутверждения, как и всякое зло, гнездится на душевной поверхности, силясь проникнуть вглубь, паразитарно завладеть святилищем. Духовная глубина Раскольникова ищет спасения в Соне, но его всеизвращающая гордыня хочет свести Соню с путей, предначертанных Христом, лукаво подменив Богочеловека человекобогом. И все это загадочно и непостижимо совмещается в душе одного человека. Да, все о двух концах, все о двух концах, и это *все* повисает в бесконечности, в душевной бездонности.

Раскольников спешил на поминки.

От скандала к трагедии

Как ни великолепен в художественном отношении скандал, разыгравшийся на поминках по Мармеладову, как ни замечательна предшествовавшая скандалу беседа капиталиста Лужина с социалистом Лебезятниковым, проживавшим рядом с проходной комнатой семьи Мармеладовых в квартире Амалии Липпевехзель, — немки с невыясненным в точности отчеством не то Федоровны, не то Ивановны, а, может быть, и Людвиговны, — как ни прекрасны карикатурные фигуры беседующих и учиняющих безобразие гостей, но говорить о них подробно не буду, хоть и соблазнительно было бы, ради передышки, задержаться на том, что местами лишено обычной в творчестве Достоевского трехпланности. Конечно, скандал на поминках себя перерастает и превращается для Катерины Ивановны в трагедию; конечно, беседа Лужина с Лебезятниковым есть именно та злая и глупая болтовня шестидесятых годов прошлого века, из которой в начале двадцатого столетия назрела ужасающая всероссийская беда, ныне на наших глазах выростающая во всемирную, но все же можно обойтись без особого исследования обывательских дрязг, разбираться в которых Достоевский не брезгал, когда по ходу повествования это было необходимо. Тогда он проявлял в художественном воспроизведении злых и ничтожных житейских смут поразительный по остроте и беспощадности талант карикатуриста, пародиста, а, подчас, и пасквилянта. Он знал, что даже самый нечиновный, самый мелкий бес ничтожества обладает такой силой разрушения, что в состоянии — не будь Божественного Промысла — опрокинуть одним своим когтем земной шар.

Бесом ничтожества одинаково одержимы и Лужин и

его бывший воспитанник Лебезятников. Идея капитализма порождает идею социализма; обе они в равной мере безбожны и злодуховны, в силу своей абсолютной материалистичности. Для Достоевского, как для Оригена, материя являет собою уплотненную грехом духовность и потому вера в материю, как в единственную реальность, есть для него вера в дьявола.

Если перенестись из нашей современности, от вполне ныне осуществившегося капитализма и тщетно, но упорно насаждаемого социализма, в середину прошлого века, когда капиталистическая идея укреплялась в Западной Европе и в Америке, а об идее социалистической еще только писались псевдо-научные труды, то поневоле изумишься прозорливостью автора «Преступления и наказания». Ведь из всех русских писателей только он, Константин Леонтьев и отчасти Писемский понимали в те годы, что неладное творится в Европе и в России и что это неладное есть прямое следствие французской революции. В годы, когда Лев Толстой наивно предавался помещичьим идиллиям и постепенно превращался в близорукого сектанта, а Тургенев, согласно установившейся моде, либеральничал и поносил свое отечество, — Достоевский видел, что барские, хоромы у нас, того и гляди, треснут по швам, а крестьянские избушки на курьих ножках вот-вот расплывутся в слизь и грязь. Он знал также, что не Лужины будут спасать Россию от надвигающейся гибели, хоть и удалось им в западных странах заново укрепить старые каменные строения и возвести золотого тельца. Лужины трусливы, осторожны, но весьма изворотливы. Они держат нос по́ ветру и неустанно следят за всеми модными идейками, высматривая какая их них победит и надолго ли. Лужины прикрывается любой очередной теорийкой, пускаемой в обращение передовыми, непременно по внешнему виду радикально настроенными, кругами, состоявшими у нас в России в середине прошлого века преимущественно из людей, на́званных впервые «интеллигентами» Боборыкиным в одном из его серых романов. По домыслу этого заслу-

женно забытого писателя лишь тот достоин называться интеллигентом, кто мнит себя прогрессистом. Дело тут заключалось совсем не в образованности, но в революционности того или иного индивида. Будь ты ученым в любой области знаний, но при этом несклонным проповедывать революцию, ты не интеллигент, а «враг народа». Например, Каткова, Победоносцева, Случевского, славившихся контрреволюционностью и многосторонней образованностью, или великого русского мыслителя Константина Леонтьева и вдохновенного поэта Фета — ненавистников демократии — никто не решился бы отнести к интеллигентам: это было бы сочтено за кощунство прогрессистами, захватившими уже и тогда без малого всю печать и учредившими свою беспощадную интеллигентскую цензуру.

В девятнадцатом веке в Западной Европе, а потом и в России восторжествовали прогрессисты и именно с ними приходилось, и всё еще приходится, считаться пронырливым Лужиным, умеющим ужиться, хотя и с трудом, даже с теперешними московскими убийцами, втайне ненавидя их от всей души.

Терпеть не мог и наш Петр Петрович Лужин своего юного друга Андрея Семеновича Лебезятникова. «Петр Петрович ненавидел и презирал его сверх меры. Еще в провинции слышал он об Андрее Семеновиче, своем бывшем питомце, как об одном из самых передовых прогрессистов.

Вот почему Петр Петрович положил, по приезде в Петербург, немедленно разузнать в чем дело, и, если надо, то на всякий случай забежать вперед и заискать у «молодых поколений наших». В этом случае надеялся он на Андрея Семеновича, и при посещении, например, Раскольникова, уже научился кое-как округлять известные фразы с чужого голоса».

Далее, в микроскопическом виде, начиналось в поведении Петра Петровича то, что разыгрывается ныне на наших глазах западноевропейскими и американскими дельцами в мировых размерах с лицемерностью, бессовестностью и цинизмом, доселе невиданными.

«Конечно, — продолжает Достоевский, — он быстро успел разглядеть в Андрее Семеновиче чрезвычайно пошленького и простоватого человечка. Но это нисколько не разуверило и не ободрило Петра Петровича. Если бы даже он уверился, что и все прогрессисты такие же дурачки, то и тогда бы не утихло его беспокойство. Собственно до всех этих учений, мыслей, систем (с которыми Андрей Семенович так на него накинулся) ему никакого не было дела. У него была своя собственная цель. Ему надо было только поскорей немедленно разузнать: что и как *тут* случилось! В силе *эти люди* или не в силе!? Есть ли чего бояться, собственно ему, или нет? Обличат его, если он вот то-то предпримет, или не обличат?.. Мало того: нельзя ли как-нибудь к ним подделаться и тут же их поднадуть, если они и в самом деле сильны? Надо или не надо это? Нельзя ли, например, что-нибудь подустроить в своей карьере именно через их же посредство».

Разве здесь упущено Достоевским хоть что-нибудь мало-мальски существенное из дум, чувств, опасений и чаяний мировых Лужиных, когда, наперекор волхвам, пришедшим с Востока поклониться Солнцу Правды, они едут с Запада к хулителям Божественной Истины, в надежде к ним «подделаться», их «поднадуть» и «подустроить» через их же посредство свои карьеры и торговые делишки?

Петр Петрович Лужин это капиталист в зародыше, он как раз-то и есть, по крылатому слову Карла Маркса, «рыцарь первоначального накопления». И далеко ему бедному до нынешних рыцарей баснословной наживы! Петр Петрович собирался ужиться всего-навсего с прогрессивными дурачками, подобными Лебезятникову, а современные Лужины, путешествующие с запада на восток, непрочь от «сосуществования» с явной бесовщиной.

Слепая вера наших промотавшихся отцов в прогресс, как видно, оказалась не тщетной!

При внимательном чтении «Преступления и наказания» нельзя не увидеть, что злая теория и кровавая практика Раскольникова идут параллельно с социалистическими

учениями и системами, излагаемыми Лебезятниковыми, и с капиталистическими деяниями Лужина. Но *натура* Раскольникова по существу своему аристократична, а его страшная «проба» безоглядно отважна. В Раскольникове чувствуется духовный боец, по-русски безумно и напрасно сбившийся с пути. Такая натура не может бесповоротно укрепиться в зле, она, сама того не ведая, ищет раскаяния и в иных случаях способна увенчать даже святостью свою жизнь. В Раскольникове есть нечто благородное, унаследованное им от самого Достоевского, показавшего нам на деле свое раскаяние в преступлении в сто миллионов раз более страшном, чем убийство старушонки-процентщицы.

Натура мелкого подлеца и скопидома Лужина черным черна, но все же она могла бы под тяжкими ударами судьбы перемениться к лучшему. Гораздо хуже, в духовном отношении, положение Лебезятникова: у него, как и у тех, кому он подражает и чьи слова повторяет, *просто-напросто нет натуры.* По каким причинам произошло с Лебезятниковым такое несчастье, неведомо, но натура сбежала от него, как некогда сбежал от гоголевского майора Ковалева его чиновный нос. Душа у Лебезятникова подбита ветерком. Он, как и всé прогрессисты, ни с кем и ни с чем живым не связан органически, он повис в пустоте губительных отвлеченностей, это какая-то нежить и даже доброта его проявляется по заранее им затверженной социалистической шпаргалке.

Наслушавшись в молодости прогрессивных разглагольствований Белинского и побывав в революционном подполье, Достоевский всю жизнь потом боялся абстракций и, опираясь на собственный опыт, призывал нас довериться непосредственному, благодатному и мудрому течению жизни. Устами Порфирия Петровича, обращающегося к Раскольникову, говорит сам Достоевский: — «А вы лукаво не мудрствуйте, отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь — прямо на берег вынесет и на ноги поставит. На какой берег? А я почем знаю? Я только верую что вам еще много жить. Знаю, что вы всé слова мои как рацею

теперь принимаете заученную, да может, после вспомните, пригодится когда-нибудь; для того и говорю... Знаю, что не веруете, а ей Богу, жизнь вынесет». И, мы знаем, жизнь вынесла Достоевского, проведя его предварительно через подобие ада на земле, милостиво приравняв сначала этого небывалого Федьку каторжного к отверженным, к убийцам и грабителям. Я говорю, «милостиво приравняв», потому что злодеяние Достоевского было стократ ужаснее любого уголовного преступления. Он участвовал в «пирах злоумышлений», перед которыми самые низкие и темные человеческие грехи всего только «безумие забав», прощаемых Богом. Собственного глубочайшего падения Достоевский никогда не забывал и себе не прощал. Но он любил своего преступного героя, этого идейного убийцу, этого русского ницшеанца до Ницше, все же косвенно причастного к подлому подпольному коллективу, к величайшему из всех зол.

*

Лебезятников хоть и витал в облаках социалистических мечтаний, но старался в жизненном обиходе соблюдать все правила коммунистической морали, что и превращало его окончательно из человека в ходячую теорию. Но Лужину дела не было ни до какой морали, он действовал согласно своим расчетам и корыстным инстинктам. В нем, по крайней мере, проявляли себя железные законы земного существования и для него таким образом тянулась жизни нить. А самое главное, по Достоевскому, это жить, во что бы то ни стало жить непосредственной жизнью. Тогда все еще поправимо, и сегодняшний торгаш может из злого животного обратиться в человека. Только самый процесс такого обращения ненадежен и длителен. Словом «Улита едет, когда-то будет», а пока что, Лужину очень хотелось отомстить Раскольникову за свое провалившееся жениховство. Для достижения цели он придумал довольно верный способ: подсунуть незаметно сторублевую ассигнацию Соне в карман и потом на поминках при всех, в особенности при Раскольникове, обвинить беззащитную де-

вушку в воровстве. Так он и сделал. Однако на этот раз судьба поступила с ним немилостиво. Подвернувшийся на беду Лебезятников, хотя и был подслеповат, но проделку Лужина подметил и даже успел разглядеть злосчастную сторублевую бумажку. — «Я видел, видел! — кричал и подтверждал Лебезятников. — И хоть это против моих убеждений, но я готов сей же час принять в суде какую угодно присягу, потому что я видел, как вы ей тихонько подсунули! Только я-то дурак, подумал, что вы из благодеяния подсунули! В дверях прощаясь с нею, когда она повернулась и когда вы ей жали одной рукой руку, другой, левой, вы и положили ей тихонько в карман бумажку. Я видел, видел».

Когда в поистине одухотворенном произведении искусства и замысел и исполнение действительно совершенны, то все в нем оказывается органически между собою связанным и каждая мельчайшая деталь и малейший намек обретают неисчерпаемое значение. И вот никто другой, как именно социалист, коммунист и прогрессист Лебезятников замечает мошенническую уловку Лужина — рыцаря первоначального накопления — и выводит при всех на чистую воду своего бывшего опекуна и наставника.

Самая соблазнительная и потому губительная ложь та, что несет в себе долю истины. Такова ложь всевозможных социалистических учений, соблазняющих людей неискушенных. Частицу правды содержит в себе даже марксистская ложь, справедливо названная сатанинской одним из наших самых больших мыслителей двадцатого века — С. Франком, прошедшим в молодости через все обманы марксизма. Но истина, где бы и в чем бы себя ни проявляла, неизменно остается собою. Ее тусклый огонек не померкал в безбожной прогрессивной лжи, поглотившей несчастного Лебезятникова. Этот немеркнущий огонек и давал незамысловатому Андрею Семеновичу духовное право изобличать темного дельца и приобретателя Лужина. Вот тут и раскрывает Достоевский метафизику событий и человеческих встреч-столкновений. Процесс существования в глубине своей мистичен, религиозен, но его глубину воспринимают только святые подвижни-

ки и гении искусства, прошедшие через великие духовные искания и страдания. Процесс жизни глубоко диалектичен, но это не философская диалектика, основанная на шатких научных данных, это некое стихийное вздымание подспудных пластов, свершающееся с неукоснительной внутренней последовательностью, язык которой могут слышать и постичь лишь очень немногие художники духовного склада. О них говорит Тютчев, справедливо причисляя к ним и самого себя:

Иным достался от природы
Инстинкт пророчески слепой.
Они им слышат, чуют воды
И в темной глубине земной.

Одним из этих «иных» был Достоевский. Но здесь под *природой* он, может быть не совсем по-Тютчевски разумел бы лишь одну *натуру* человека. Диалектика Достоевского ничего общего не имеет с философской. Она во всем совпадает с диалектикой жизни живой, исходит из *вдруг* и *внезапно*, из *нежданно и негаданно*, возникая не из «темной глубины земной», но из темной душевной, человеческой глубины, где расположена арена борьбы Бога и диавола. Оттуда доносятся до слуха великого художника не кипение и бурление вод и расплавленной лавы, но зов страстей, отзвуки ада и рая. Можно сказать, что для Достоевского душа человека не душевна, а духовна. И давно пора бы перестать говорить и писать о психологии в его творчестве и о нем самом, как о психологе. Ведь он настойчиво и весьма ядовито высмеивал и психологию и психологов и психиатров. Но, очевидно, для некоторых философов, богословов и особенно профессоров от литературы закон не писан, или наоборот — слишком уж писан. Дошло до того, что психиатрические «открытия» Фрейда стали применять к Достоевскому и принимать его творчество за какое-то преддверие к фрейдизму. Но об этой феноменальной глупости я поговорю в своем месте особо.

*

Еще до внезапного появления Лужина и за ним Лебезятникова, скандал на поминках начинал разгораться по вине самой Катерины Ивановны, совершенно больной и раздраженной невероятным сборищем гостей. Лица более или менее почтенные на ее приглашение не откликнулись. Был тут один услужливый полячок из жильцов Амалии Ивановны, с утра помогавший по хозяйству, «потом один плюгавенький канцелярист без речей, засаленном фраке, в угрях и с противным запахом; потом еще один глухой и почти совсем слепой старичок, когда-то служивший в каком-то почтамте и которого кто-то, с незапамятных времен и неизвестно для чего, содержал у Амалии Ивановны. Явился тоже пьяный отставной поручик, в сущности провиантский чиновник, с самым неприличным и громким хохотом и, «представьте себе», без жилета! Один какой-то сел прямо за стол, даже не поклонившись Катерине Ивановне и, наконец, одна личность, за неимением платья, явилась было в халате, но уж это было до такой степени неприлично, что стараниями Амалии Ивановны и полячка успели-таки его вывести... Полячек, впрочем, привел с собою еще каких-то двух других полячков, которые вовсе никогда и не жили у Амалии Ивановны. Все это чрезвычайно неприятно раздражило Катерину Ивановну».

Невольно рождается вопрос: мыслимо ли в какой-либо другой стране, кроме России, сборище, состоящее из гостей, званых и незваных, ни сословно, ни классово, ни служебно и вообще ничем в быту между собою не связанных? Ведь уже одна возможность появления такого сброда за общей трапезой предвещало всероссийскую катастрофу. Достоевский чувствовал ее неминуемость и, в его постижении, поминки по Мармеладову, окончательно добившие Катерину Ивановну, несли в себе зародыш будущей трагедии всей России. Достоевский знал, что лишь средне-высший, очень тонкий слой русского общества успел как-то отстояться и существовал более или менее благоустроенно, а под его еще ненадежной коркой таился хаос, поджидала своего часа самая низкая мно-

гомиллионная чернь, сдерживаемая до поры до времени нашей, к несчастью немногочисленной, хоть и великолепной, имперской администрацией. На всеблаженные помещичьи идиллии, разводимые Львом Толстым в 60-70 годы прошлого столетия, автор «Преступления и наказания» и «Бесов» смотрел с горькой иронией, а к барственно-либеральному сюсюканью Тургенева относился с отвращением и причислял этого писателя — новоиспеченного гражданина города Баден-Бадена — к русским псевдолибералам, ненавидящим Россию и решительно ничего не смыслившим в российских делах.

В проходной комнате квартиры Амалии Ивановны Липпевехзель назревало что-то страшное по своей злостной нелепости. Там чувствовалось шевеление хаоса. А ведь таких квартир и комнат по русским городам и городишкам уже и тогда расплодилось великое множество. За якобы юмористическим рассказом о поминальном пиршестве чувствуется смертельная тревога Достоевского. Однако в те времена еще находилась управа на непрошенных гостей, за неимением платья, облеченных в халаты. В критическую минуту, на помощь Катерине Ивановне явилось нечто вроде иностранной интервенции, произошло вмешательство в русское безобразие услужливых варягов в облике немки Липпевехзель и безымянного полячка, успевших-таки вывести за дверь бесцеремонное подобие человека в халате.

Празднество для таких халатников состоялось, как известно, но много позднее за счет расстрелянных и умученных, и длилось оно пока самим празднующим не довелось в свою очередь познакомиться с чекистскими подвалами.

Нельзя не сознаться, что по отношению к услужливым варягам Катерина Ивановна сыграла (только в обратном направлении) роль пушкинского неблагодарного Росса, выставившего своих спасителей от вражеского нашествия, Барклая де Толли и Кутузова, на памятнике «без шапок на мороз». Конечно, Амалия Ивановна была баба взбалмошная, скандальная и уж никак не склонная отступить под напором противника; но она «всем сердцем решилась участвовать во всех хлопотах», приготовила кушанье на своей кухне, накрыла

стол, расставила посуду, надела на себя чепец и черное платье с новыми траурными лентами. Трудился с самого утра, помогая по хозяйству, и безымянный полячек. Поладить с Катериной Ивановной было не легко. «От природы была она характера смешливого, веселого и миролюбивого, но от беспрерывных несчастий и неудач она до того *яростно* стала желать и требовать, чтобы все жили в мире и радости *и не смели жить* иначе, что самый легкий диссонанс в жизни, самая малейшая неудача стали приводить ее тотчас же чуть не в исступление и она в один миг, после самых ярких надежд и фантазий, начинала клясть судьбу, рвать и метать все, что ни попадало под руку, и колотиться головой об стену» (выделено у Достоевского. — Г. М.). Возможно, что больше всех возмутил ее тот, у которого повидимому с рождения не было ни имени ни определенного обличья и который, весьма вероятно, походил скорее на какую-нибудь шишигу, чем на человека. Достоевский говорит об этом существе кратко и неопределенно: «Один какой-то сел прямо за стол, даже не поклонившись Катерине Ивановне».

По-Достоевскому действительность неправдоподобнее и фантастичнее всякой фантастики, а Россия — страна неограниченных возможностей, в ней все, что угодно, может произойти. Раздраженная и возмущенная Катерина Ивановна, обращаясь только к Раскольникову, «полушепотом спешила излить перед ним, все накопившиеся в ней чувства и всё справедливое негодование свое на неудавшиеся поминки», а потом почти во всеуслышание стала делать иронические, обидные для гостей замечания. В особенности доставалось квартирной хозяйке, сидевшей за столом рядом с Катериной Ивановной, уже открыто кивавшей на нее Раскольникову: — «Смотрите на нее: вытаращила глаза, чувствует что мы о ней говорим, да не может понять, и глаза вылупила. Фу, сова! ха-ха-ха! Кхи-кхи-кхи! И что это она хочет доказать своим чепчиком. Кхи-кхи-кхи! Заметили вы, ей все хочется, чтобы все считали, что она покровительствует и мне честь делает, что присутствует... Смотрите кого она привела: шуты какие-то!

Чумички! Посмотрите на этого с нечистым лицом: это какая-то сопля на двух ногах!»

Скандал начинал разгораться. Ни Амалия Ивановна ни гости не были глухи и вовсе не так решительно ничего не понимали, как это казалось Катерине Ивановне. «Красные пятна на щеках ее рдели все сильнее и сильнее, грудь ее колыхалась. Еще минута и она уже готова была начать историю». Явившегося на поминки пьяным отставного поручика, в сущности провиантского чиновника, она чуть ли не в глаза назвала дураком. «Многие хихикали, многим, видимо, было это приятно. Провиантского стали подталкивать и что-то шептать ему. Их очевидно хотели стравить. — А па-а-азвольте спросить, это вы насчет чего-с, — начал провиантский, — то есть на чей... благородный счет... вы изволили сейчас... А, впрочем, не надо! Вздор! Вдова! Вдовица! Прощаю... Пас! И он стукнул опять водки».

Если история с провиантским, по пьяному его добродушию, уладилась, то с Амалией Ивановной дело получилось похуже. Она долго выносила уколы, даже ничем не прикрытые обиды, но когда Катерина Ивановна «подчеркнула ей, что так как она чумичка, то и не может судить о том, что такое истинное благородство, Амалия Ивановна не снесла и тотчас же заявила, что ее «фатер» аус Берлин буль ошень, ошень важни шеловек и все руки по карман ходиль и все делаль этак: пуф! пуф! и чтобы действительнее представить своего фатера, Амалия Ивановна привскочила со стула, засунула свои обе руки в карманы, надула щеки и стала издавать какие-то неопределенные звуки ртом, похожие на пуф-пуф, при громком хохоте всех жильцов, которые нарочно поощряли Амалию Ивановну, предчувствуя схватку. Но этого уже не могла вытерпеть Катерина Ивановна и немедленно, во всеуслышание «отчеканила», что у Амалии Карловны, может никогда и фатера-то не было, а просто Амалия Ивановна — петербургская пьяная чухонка и наверно где-нибудь прежде в кухарках жила, а пожалуй и того хуже». После этих слов стычка приблизилась к сокрушительной развязке. «Амалия Ивановна покраснела как рак и завизжала». Все же, может

быть, дело ограничилось бы одними пререканиями, но Катерина Ивановна ядовито заметила, «что отец Амалии Ивановны (если только у нее был какой-нибудь отец) наверное какой-нибудь петербургский чухонец, молоко продавал; а вернее всего, что и совсем отца не было, потому что еще до сих пор неизвестно, как зовут Амалию Ивановну по батюшке: Ивановна или Людвиговна. Тут Амалия Ивановна, рассвирепев окончательно и ударяя кулаком по столу, принялась визжать, что она Амаль Иван, а не Людвиговна, что ее фатер зваль Иоган и что он буль бурмейстер, а что фатер Катерины Ивановны совсем никогда не буль бурмейстер». В ответ на это Катерина Ивановна пригрозила Амалии Ивановне, что сорвет с нее чепчик и растопчет его ногами. «Услышав это, Амалия Ивановна забегала по комнате, крича изо всех сил, что она хозяйка и чтоб Катерина Ивановна «в сию минут съезжаль с квартир». «Поднялся гам и грохот; дети заплакали».

Конечно, Бог один знает, но как будто здесь можно было бы еще допустить, что противницы, поругавшись немного, разойдутся по своим углам. На беду Амалия Ивановна вдруг закричала что-то про желтый билет. Это уже был камешек в Сонин огород, чего Катерина Ивановна никак не могла снести, и, забыв несомненные заслуги ею же самой оскорбленного, разгневанного «варяга», «отпихнула Соню и пустилась к Амалии Ивановне, чтобы немедленно привести свою угрозу, насчет чепчика, в исполнение. В эту минуту отворилась дверь и на пороге комнаты показался Петр Петрович Лужин».

Он появился с видом высшего судьи, как некий мечущий молнии, карающий бог. Но пародия, скандал и злостный фарс, переростая самих себя, уже превращались в трагедию. О таких превращениях говорит в незабываемых стихах верный ученик и последователь Достоевского Случевский:

...в силу нравов, иногда
Всплывают грозные явленья
И люди гибнут без следа.

И ужасающая драма
Родится в треске фраз и слов
Несуществующего срама
И намалеванных оков.

Над Соней и всей семьей Мармеладовых нависала новая угроза, казалось, уже неотвратимой гибели. Если бы Лужину удался его подлый замысел, что бы сталось тогда с Соней, детьми и бедной Катериной Ивановной? По счастью, как это бывает и в жизни и в творчестве Достоевского, нашелся у Мармеладовых вдруг и внезапно, нежданно и негаданно надежный защитник в лице Лебезятникова и, подоспевшего к нему на помощь, Раскольникова. Лужин был пойман на клевете.

Разбушевавшаяся пьяная компания рада была к комунибудь придраться и обрушилась на него с руганью. Ему оставалось как можно скорее покинуть поле битвы. «Но провиантскому не хотелось так легко его выпустить... он схатил со стола стакан, размахнулся и пустил его в Петра Петровича; но стакан полетел прямо в Амалию Ивановну. Она взвизгнула, а провиантский, потеряв от размаху равновесие, тяжело повалился под стол».

Петр Петрович был спасен и поспешил скрыться. «С Соней началась истерика. Наконец, не выдержав, она бросилась вон из комнаты, и побежала домой... Амалия Ивановна, когда в нее, при громком смехе присутствующих, попал стакан, — тоже не выдержала в чужом пиру похмелья. С визгом, как бешеная, кинулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою.

«— Долой с квартир! сейчас! марш!

И с этими словами начала хватать все, что ни попадалось ей под руку из вещей Катерины Ивановны и скидывать на пол. Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила с постели (на которую упала было в изнеможении) и бросилась на Амалию Ивановну. Но борьба была слишком не равна; та отпихнула ее как перышко».

Скандал кончался, порождая трагедию. Она началась

для Катерины Ивановны с *ухода*, не первого и не последнего в русской жизни. Уходам от родных, из отчего дома, еще в древние времена российской истории, положили начало наши подвижники и просто странники, ищущие правды. Одним из таких странников был в русской литературе некрасовский «дядя Влас, старик седой», собирающий пожертвования на церковь. Но тему ухода, поскольку мне известно, впервые затронул Пушкин. Его странник, «как от бельма врачем избавленный слепец», увидел некий свет и поспешил оставить свой город, родной дом, жену и детей. Но люди, испокон веков живущие во лжи, не хотели отпустить, по их мнению, безумного, искателя правды:

Иные уж за мной гнались; — но я тем боле
Спешил перебежать городовое поле,
Дабы скорей узреть, оставя те места,
Спасенья верный путь и тесные врата.

Тему уходов унаследовал от Пушкина Достоевский и довел ее в «Бесах» до завершения в лице Степана Трофимовича Верховенского.

Лев Толстой недаром увлекался легендой об уходе Императора Александра Первого, якобы превратившегося в старца Федора Кузмича. В конечном итоге, Лев Толстой предпочел сам в собственной жизни разыграть эту тему, и, в предсмертный свой час, покинул отчий дом и пошел куда глаза глядят. Зачем он ушел, чего искал, осталось тайной. Думается все же, что шел он за правдой, которой ни в окружающих, ни в самом себе не отыскал. Мы не знаем, искупил ли он, хоть в малой доли, этим поступком свои тяжкие грехи перед Россией и Православной Церковью, настойчиво и кощунственно им поносимой.

Уход Катерины Ивановны не объясняется тем, что ее гнали с квартиры: ссору с Амалией Ивановной наверное можно было сгладить, как это случалось и прежде. Нет, столкновение с глупой немкой послужило для Катерины Ивановны только предлогом к уходу. Так мнила она завершить свой

спор с Богом жестоким и несправедливым. — «Господи! — закричала вдруг она, засверкав глазами, — неужели ж нет справедливости! Кого-ж Тебе защищать, как не нас, сирот? А вот, увидим! — есть на свете суд и правда, есть, я сыщу!»

Она побежала за правдой. Но то была лишь проба перед окончательным ее уходом вместе с детьми неведомо куда и зачем. Между тем в проходной комнате Мармеладовых творилось невиданное и неслыханное безобразие. «Полечка в страхе забилась с детьми в угол на сундук, где, обняв обоих маленьких, вся дрожа, стала ожидать прихода матери. Амалия Ивановна металась по комнате, визжала, причитала, швыряла все, что ни попадалось ей, на пол и буянила. Жильцы горланили кто в лес, кто по дрова, — иные договаривали, что умели, о случившемся событии; другие ссорились и ругались, иные затянули песни»...

— «А теперь пора и мне!» подумал Раскольников. — Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!»

И он отправился на квартиру Сони.

*

По-Достоевскому, в важнейшие минуты жизни, в минуты не самопознания, но *самопостижения* действует в нас не рассудок, а наша натура в целом. Это она решает тогда, наперекор уму, как и что надо говорить и делать. Когда тотчас после разразившегося на поминках скандала, Раскольников снова, во второй раз, направился к Соне, оскорбленной Лужиным и убежавшей в слезах к себе домой, его страшно тревожило предстоящее свидание с нею: «он *должен* был объявить ей, кто убил Лизавету и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками». Тут слово «должен» подчеркнуто, и недаром, самим Достоевским. Не логические выводы вынуждают Раскольникова признаться и притом именно Соне в своем преступлении, но влечет его к исповеди неведомая сила, непреодолимая воля, присущая че-

ловеческой натуре не принимающей греха, навязанного ей злыми домыслами, надуманными теориями.

Дойдя до квартиры Капернаумова, Раскольников «остановился перед дверью с странным вопросом: «надо ли сказывать кто убил Лизавету?» Вопрос был странный потому, что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время невозможно; он только *почувствовал* это и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостью почти придавило его».

На слове «почувствовал» Достоевский ставит ударение, чтобы дать и нам всем ощутить в себе, то, что остается для рассудка непроницаемым. Мучительное сознание перед непреодолимой волей собственной натуры придавило не личность Раскольникова, но его рассуждения и домыслы, по существу своему призрачные и лишь ошибочно принятые им как бы за самого себя. Отрываясь от людей (не от людского коллектива, но от живой соборности), человек предается теориям и, наконец, отожествляет себя с ними. Тогда приходит беда: из ничтожества притянутые теории становятся как бы тенью человека и начинают действовать за него. Поэтому, когда Раскольников убивал старуху, не он сам совершал преступление, а действовала его тень — его «теория», паразитарно с ним отожествившаяся. С точки зрения религиозной, такое состояние нельзя назвать иначе, как одержимостью, а теория, вызванная злыми помыслами из ничтожества, это и есть дух небытия — дьявол. И Раскольников, обращаясь к Соне, с совершенной точностью определяет сущность своего злодеяния: «я ведь и сам знаю, что меня чёрт тащил... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку. Тут так-таки разом и ухлопал себя навеки! А старушонку эту чёрт убил, а не я...» Отсюда следует единственный вывод, сделанный Достоевским устами Раскольникова: «Знаешь, Соня, сказал он вдруг с каким-то вдохновением, — знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, — продолжал он, упирая на каждое слово и загадочно, но ис-

кренно смотря на нее, — то я бы теперь... *счастлив* был! Знай это!»

Словом, простое уголовное преступление так же далеко отстоит от *идейного* злодеяния, как счастье от несчастья. Убить с голода или даже из жажды присвоить себе чужое достояние — тяжкий *человеческий* грех, но убить ближнего во имя той или иной теории — чистейший демонизм и одновременно тягчайшее, почти непоправимое для самого преступника несчастье. И как только Соня, из сбивчивых слов и намеков Раскольникова сердцем угадала, что перед нею не простой уголовный преступник, но особый, непонятный и страшный убийца, «она вдруг точно пронзенная, вздрогнула, вскрикнула и бросилась сама не зная для чего, перед ним на колени. — Что вы, что вы это над собой сделали! — отчаянно проговорила она. И вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко, крепко сжала его руками, — нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете — воскликнула она как бы в иступлении»... И вот, кто же прав? Кто стоит ближе к истине? Моралист ли, холодно, по закону осуждающий грешника, или Соня, позабывшая в первое мгновение о злодейски умерщвленных жертвах, но всем своим существом, всей своею натурой, отчаянно, иступленно пожалевшая того, кто духовно погубил себя сам, «так-таки разом ухлопал себя навеки». Во всяком случае, для Достоевского там уже нет христианина, где проявляет себя какая бы то ни было мораль, в том числе и та, которую почему-то принято называть христианской. Для автора «Преступления и наказания» в Евангелии нет морали, а есть одна любовь, не отменившая, но заменившая собою старозаветные заповеди. Любящему не нужна мораль, любя он уже исполняет заповеди. В постижении Достоевского любовь это наше участие «в трапезе Господней». И нельзя одновременно, как говорит апостол, «пить Чашу Господню и чашу бесовскую», «быть участником в трапезе Господней и в трапезе бесовской». Перед лицом вечности, нас ожидающей, истинный христианин, не рассуждая, не думая, больше всего жалеет того из всех своих ближних, кто наложил на себя наитягчайшее бремя греха. Чем страшнее

преступник, тем он более достоин жалости во Христе. И уже потому это так, что все мы не убиваем других лишь из трусости, зато часто, очень часто желаем смерти другим и следовательно метафизически убиваем их. Осмелившегося осуществить свое греховное желание настигает кара и явный убийца несет ее за себя и за нас — потаённых убийц. Лучше преступление и наказание, чем преступление без наказания, и прав Порфирий Петрович, когда уговаривая Раскольникова добровольно явиться с повинной, внезапно добавляет: «Вас может быть Бог на этом и ждал». В каком-то смысле Раскольников Богом избран. Ведь только очень духовно сильного человека вводит Бог в искушение и, испытывая, пропускает пройти через все стадии смертного греха. Мистическую необходимость и благодатность кары Раскольников почувствовал сам.

Сбитый с толку хитросплетениями судебного следователя, он ощутил прилив какого-то нового испуга: мысль о том, «что Порфирий считает его за невинного, начала вдруг пугать его». Почему? Да потому, что в его положении пребывание на каторге было бы для него спасительной нормой. Его натура хочет каторги, но ум наперекор натуре, наперекор самой сущности бытия ищет, богоборствуя, утвердиться в русском ницшеанстве до Ницше; но натура сильнее ума и внутренняя воля влечет Раскольникова к поруганной им матери земле, представшей перед ним в образе Сони.

Раскольников, «чтобы уже не рассуждать и не мучиться, быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела облокотившись на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорее встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его».

С этого мгновения, в ужасающем напряжении беседы-поединка, разговора-исповеди, начинается стремительное разверзание темных, подспудных глубин преступной души, и не только Раскольникова и самого Достоевского, но и нашей общей всечеловеческой души. Читатель вслед за автором оказывается втянутым в круговорот роковых и вещих событий и уже не различает грани, отделяющей его собственный

внутренний опыт от того, что происходит в Раскольникове и в Соне. В каждом их движении, жесте, повороте и слове отражается абсолютная неизбежность уже не просто и явно происходящего, *но мистически совершающегося*. Поэтому и Соня встала и пошла навстречу Раскольникову, «точно ждала его». Она, как и он, предчувствовала, что то, что сейчас будет *должно* быть и уже есть, и потому именно должно быть, что уже было в плане духовном, подлинно реальном, и вот вот сейчас повторится в своем земном, инобытийственном виде. Оттого, когда Раскольников безмолвно и одним лишь взглядом дает понять Соне, что он-то и есть убийца, «ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это самое и предчувствовала». Тут неминуемо напрашивается заключение, что всё поистине духовно сущное свершается в нас и с нами вне времени. «Он совсем, совсем не так — говорит Достоевский, — думал открыться ей, но вышло *так!*» Важно не то, что предполагал сказать Раскольников, но лишь то, что в тайниках всего его существа, всей его натуры назревало, вершилось и, наконец, поступило наружу, проявилось во вне. На глазах у Сони и как бы на наших глазах спадают с души Раскольникова, в виде ни к чему непригодной шелухи, все его теоретические домыслы, неосуществленные идейки, которыми и мы ежедневно тешимся, стараясь усыпить угрызения совести, укрывая от себя и других единственную, основную правду, нас изобличающую.

*

Войдя в комнату «Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь в точь как вчера».

Зачем понадобилось Достоевскому так настойчиво отмечать, что сел Раскольников как раз на тот стул, на котором только что до него сидела Соня, и почему надо было подчеркнуть, что стала она перед ним в двух шагах точь в точь как вчера? Ко всем произведениям Достоевского следовало бы поставить эпиграф: «ни один волос с головы

человека не падает случайно». Но если это так, то совсем не случайны и все наши слова, жесты и положения. В мировосприятии Достоевского явления природы и вещи, в особенности домашнего обихода, зависят от нас, символизируя наши душевные настроения и духовные состояния. Судьбы Раскольникова и Сони так переплелись и слились воедино, что даже движения и положения Раскольникова и Сони, даже их мимика, выражение лиц взаимно повторяются и совпадают друг с другом. Где Раскольников, там и Соня, и их недоконченный вчерашний разговор должен возобновиться с той самой точки и в тех же условиях, в той же обстановке в каких был прерван вчера. Жизнь, по Достоевскому, во всех своих проявлениях, и равновесных и катастрофических, органична. Потяни за любую нить и отзовется вся вселенная.

Вчерашний разговор, после многознаменательного чтения Евангелия о воскрешении Лазаря, прервался на призыве Раскольникова по собственному произволу «сломать что надо, ради свободы и власти над всем муравейником», и на обещании сказать завтра Соне кто убил Лизавету. Теперь это *«завтра»* превратилось в неотвратимое *«сегодня»*. Но Раскольников еще хотел оттянуть неизбежное. Его теория все еще противилась натуре, его рассудок искал по-прежнему утвердиться в убийственном дерзновении, в гибельном «русском ницшеанстве до Ницше». Раскольников стремится к Соне с им самим до конца не осознанным намерением — найти в ней опору, — свое оправдание.

— «Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (т. е. наверно), что через них погибли бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, в придачу (так как вы себя ни за что считаете, так в *придачу)*. Полечка тоже... потому ей та же дорога. Ну-с так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить, на свете т. е. Лужину-ли жить и делать мерзости или умирать Катерине Ивановне? Так как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю». Но напрасно на что-то надеялся Раскольников, задавая Соне за-

дачу, им самим разрешенную на практике так решительно и кроваво.

«— Зачем вы спрашиваете чему быть невозможно? — с отвращением сказала Соня.

— Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?

— Да ведь я Божьего Промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтобы это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?».

Так отвечает Соня не одному Раскольникову, но и тому подпольному заговорщику, каким в своей молодости был Достоевский, пусть только теоретически, но вполне в духе Раскольникова решавший тогда задачу о многотысячных Лужиных. Ответ на собственную кровавую теорию получил Достоевский на каторге, и, вернувшись из Сибири, вложил его в Сонины уста. Но можно ли было до всероссийской катастрофы заговорить открыто о сходстве какого бы то ни было «революционного героя» с Раскольниковым! Лишь один Н. Н. Страхов, да и то шепотком, на ухо, в частном письме к Льву Толстому осмелился назвать *теоретическим убийством* «геройский» поступок революционных извергов, зверски умертвивших императора Александра II. Говоря так, Страхов вне всякого сомнения, хорошо помнил слова, мельком брошенные Порфирием Петровичем о Раскольникове: «убил, двух убил, по теории».

Соня ответила Раскольникову так неопровержимо, так жизненно просто, что он вдруг переменился: «А ведь ты права, Соня, — тихо проговорил он, наконец: — Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу... Он склонил голову и закрыл руками лицо». Тогда и произошло то, что не могло не произойти: «И вдруг, — говорит Достоевский, — странное неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и при-

стально поглядел на нее, но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла как призрак... Это только значило, что *та* минута пришла».

Да, минута признания настала! «Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель. Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из под петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более». Убивающий ближнего одновременно в плане духовном убивает себя. В неотвратимую минуту признания Раскольников снова ощутил это. Лезвие, теперь уже нездешнего оружия смерти, снова глянуло ему прямо в глаза, совсем как в то мгновение, когда с размаха ударил он ростовщицу обухом топора по темени.

Признаваться перед кем бы то ни было в своем кровавом злодеянии значить умирать душевно, не испытывая при этом малейшей надежды на возможность духовного обновления: прежде чем воскреснуть, надо пройти через отчаяние умирания. А старуха мстила за себя, ея ненавистная тень проскользнула между Раскольниковым и Соней.

«Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал *объявить*, и сам не понимал того, что теперь с ним делалось». Но в глубине его натуры все пришло в движение, его внутренняя внерассудочная воля действовала за него. Эта воля отожествилась с Соней и как бы стала ею. Соня «тихо подошла к нему, села на постель и ждала, не сводя с него глаз. «— Вот что Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), — помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?.. Я сказал, уходя, что может быть, прощаюсь с тобою навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету».

«Она вдруг задрожала всем телом».

Она почувствовала, что́ он скажет и сердцем знала, что вот сию минуту она станет жертвой закланной, что с нею

сейчас повторится нечто подобное тому, что произошло с Лизаветой.

«— Так вы это в самом деле вчера... — с трудом прошептала она. — Так как же вы про это знаете?»...

«Он обернулся к ней и пристально, пристально посмотрел на нее. — Угадай, — проговорил он с прежнею искривленной и бессильной улыбкой.

Точно конвульсия пробежала по всему ее телу».

Раскольников ничего не говорит прямо, лишь взглядом давая ощутить и постичь внутреннему существу Сони то, что еще не дошло до ее внешних чувств и рассудка. «Ведь не могла же она, — замечает Достоевский, — сказать например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем теперь только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как-будто *это самое* и предчувствовала.

— Так не можешь угадать — кто? — спросил он вдруг, с тем ощущением как бы бросался вниз с колокольни.

— Н-нет, чуть слышно прошептала Соня.

— Погляди-ка хорошенько.

— И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг в ее лице как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад, и, протягивая вперед рученку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: также бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени, и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, все более и более от него отстраняясь, и все неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: *точно такой же испуг показался и в*

его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, почти даже с той же детской улыбкой». (Выделено мной. — Г. М.).

До сих пор Раскольников как бы забывал о Лизавете, а если и вспоминал, то только отожествляя ее для себя с Соней. Не умом, не рассудком, но глубиною души он ведал, что Лизавета и Соня для него одно. И вот то, что приоткрывалось лишь его глубинному ве́дению, обращалось в явь. Никакое явление не исчезает бесследно, но переходит, как темная или светлая идея, в иной план существования и может, в своем уже инобытийственном виде, снова открыться человеку. Лезвие топора, зарубившего Лизавету, занеслось теперь над Соней, и она на глазах Раскольникова превращалась в свою крестовую сестру: те же движения, то же беспомощное выражение на лице, тот же испуг. Признаваясь Соне в своем преступлении, Раскольников налагал на нее тяжелое бремя, он как бы убивал ее и тем самым вторично убивал Лизавету. Убивающий другого, духовно убивает себя, и теперь, глядя на Соню, Раскольников убеждался в этом. Признаваясь в своем смертном грехе, он частично искупал его и, поскольку искупал, постольку чувствовал себя его жертвой. Сердце не обмануло Соню, предсказав ей, что нет на свете никого несчастнее и беспомощней убийцы. Сама, охваченная ужасом, она видела его отражение на лице Раскольникова и видела почти детскую улыбку убийцы. В этой улыбке, такой же как у Лизаветы, такой же как у Сони, таился для Раскольникова залог его раскаяния и спасения. Не знаю есть ли еще в мировой литературе подобное раскрытие круговой поруки страдания, падения и преодоления зла или, по крайней мере, возможности зло преодолеть.

Признание Раскольникова наглядно подтвердило, что Соня с Лизаветой были близнецами в Духе, поистине крестовыми сестрами в высшей реальности бытия. И к этой высшей *крестовой* реальности Соня приобщила Раскольникова в ту минуту, когда перекрестившись, надела на него свой собственный крестик, кипарисовый, «простонародный», как отмечает Достоевский, а себе оста-

вила медный, Лизаветин. Так включила Соня кровавого злодея в круговую поруку спасения во Христе. Но Достоевский не Шиллер, не прекраснодушный и простодушный романтик, а суровый реалист, до конца учитывающий беспощадную действительность. И вот Раскольников одновременно несет в себе обоих распятых со Христом разбойников, из которых один злословил и издевался над Сыном Божиим, а другой покорился Ему, признав свое крестное страдание заслуженным. Утвердившийся во грехе разбойник, прочно устроившийся в душе идейного убийцы, подал весть о себе как только надела Соня свой кипарисовый крестик на грудь Раскольникову. «— Это значит, символ того, что крест беру на себя, хе-хе! И точно я до сих пор мало страдал! Я знаю подобных два креста, серебряный и образок. Я их сбросил тогда старушенке на грудь. Вот бы, те кстати теперь, право, те бы мне и надеть». К последней фразе не доставало только Раскольникову снова добавить свое издевательское «хе-хе». Однако тут же в ответ на Сонины слезы «сердце его сжалось на нее глядя». «— Перекрестись, помолись хоть раз, — дрожащим, робким голосом попросила Соня. — О, изволь, это сколько тебе угодно! И от чистого сердца, Соня, от чистого сердца».

Здесь не Иудино лобзание, здесь слышится, пусть глухо и отдаленно, голос второго разбойника, способного преобразиться. В жизни имеются положения недоступные пониманию, их можно только постигать. Не намыленную петлю на шею, но крест на грудь надела Соня Раскольникову. Не верить в возможное покаяние Раскольникова, значит не верить в чудотворную силу Креста. Ведь этот русский ницшеанец до Ницше сам с совершенной точностью определяет степень своего духовного падения, когда говорит: «Я не человека убил, я принцип убил. Принцип-то я убил, а переступить-то не переступил, *на этой стороне остался*» (подчеркнуто мною. — Г. М.).

Выражаясь словами Ницше, «по ту сторону добра и зла», как полагалось бы безбожнику — «сверхчеловеку», Раскольников не очутился. Он остался с нами, хоть и очень

плохими христианами, но все же зло от добра отличающими. А вот законченный убийца по убеждению, тень подлинного Нечаева — Петр Верховенский из «Бесов» не только все принципы убил, но и на другую сторону переправился и почувствовал себя там превосходно, тогда как Раскольникову эта «другая сторона» привиделась лишь во сне и показалась очень неуютной. Путь, избранный Петром Верховенским, это путь Сталина, Гитлера, никогда, никаких угрызений совести не испытавших. Надо совсем не чувствовать смешного, чтобы вообразить, хотя бы на мгновение, как кто-то, скажем та же Соня, надевает крест на грудь Петру Верховенскому или Сталину, а они при этом налагают на себя крестное знамение.

Автор «Преступления и наказания» не показал нам своего героя преображенным. Для этого надо было бы ему написать вторую книгу под заглавием «Преображение». Но на такую задачу не хватило у Достоевского времени, да и вряд ли могло бы хватить, проживи он даже до ста лет. Достоевский сам побывал в революционном подполье, сам в молодости оправдывал теоретические убийства и за это дано было ему, как художнику, «жало в дух»: творец «Преступления и наказания» немел перед светом преображения. Но все в этом романе-трагедии органично, все изнутри связано друг с другом и всякая попытка убрать из него, как нечто лишнее, малейшее звено, малейший намек грозит крушением всему многоэтажному зданию. Достоевский не показал нам Раскольникова преображенным, но всé возможности его душевного спасения наметил в совершенстве. Только необходимо долго и пристально вглядываться во все складки повествования, чтобы эти возможности обнаружить полностью.

Как и всякий великий художник духовного строя, Достоевский в творчестве рудиментарен. Он умеет сводить, им же самим возведенные, сложнейшие построения и лабиринты мысли к первичной простоте, умеет вернуть к первоистоку запутанные, противоречивые чувствования своих персонажей, разоблачить иллюзии, создаваемые человече-

ской трусостью, боязнью доводить мысли до правдивого заключения. Разоблачая наши ухищрения и самообманы, Достоевский обнаруживает неприглядную, а подчас и отрадную, правду о человеке. Умудренный тяжким жизненным опытом, он не терпел в мышлении коротких замыканий и, конечно, отнесся бы иронически к заявлению Мочульского о Раскольникове, якобы раз и навсегда неспособным к раскаянию. Творений Достоевского нельзя читать, надо исследовать умом и сердцем их метафизическую целину. В них все вершится внезапно, неожиданно, вдруг и вопреки учебной логике, гласящей: «Люди смертны, Кай человек, следовательно Кай смертен». Однако, всем известно, что нет правил без исключений и никто не знает в точности не окажется ли Кай исключением и не умрет, показав лишний раз на деле, что дважды два не всегда равняется четырем. Творения Достоевского живое бытийственное подтверждение математических открытий Лобачевского. Величайшая заслуга Достоевского в том, что он сумел творчески запечатлеть *детский лик* человека, и не только жертвы, но и ее палача. Он видел свою и нашу жалкую беспомощность перед напором страстей, греха и порока. По Достоевскому, редко, очень редко кто-нибудь из людей действительно духовно погибает, исказив в себе до полной неузнаваемости свой первородный детский лик.

Я уже неоднократно говорил, что духовно погибает в творчестве Достоевского лишь один Петр Верховенский — революционер, или, выражаясь точнее, убийца по убеждению, избранник дьявола, окончательно порвавший со своим детством. Бунт затеянный Раскольниковым, как и бунт молодого Достоевского, происхождения не душевно-биологического, не разбойного, но злодуховного. И автор и герой «Преступления и наказания» прошли на волосок от гибели. Спасение Достоевского глубоко провиденциально, и мог ли он выразить словами сущность такого явно состоявшегося чуда! Мы должны верить голословному утверждению автора; по его живому, неопровержимому примеру может преобразиться и Раскольников — символ отражающий духовные

недра самого Достоевского, прошедшего через те же соблазны и воскресшего к новой жизни. Создавая Раскольникова, он окончательно преодолевал свои юношеские, идеалистические и следовательно темные мечтания. Идеалистические надстройки, отвлеченные умозаключения заглушают голос совести, они враждебны человеческой натуре, не принимающей греха, навязанного ей абстрактными измышлениями. Стоило Раскольникову признаться перед Соней в своем преступлении, как тотчас стали падать всé возведенные идейным убийцей надстройки, все ложные толкования и оправдания и осталось лишь содеянное им ничем не прикрытое безотрадное зло, будто чья-то рука сорвала все капустные листья с кочана.

Эта рука была совестью Раскольникова, вернувшейся к нему на минуту. Тогда обнаружилась не первичная первородная простота, побуждающая все живое к сложному цветению, *но вторичная простота* распада и смерти, а за нею попрежнему ощущалось присутствие духа глухого и немого, неотступно сопровождающего Раскольникова. Этот дух, изгоняемый лишь постом и молитвой, не рассчитывал на такое обнажение гнойной и смрадной язвы. Совесть, подавая весть о себе, нащупала беса и заклеймила его словами Раскольникова: «Я ведь и сам знаю, что меня черт тащил». Рушилось миражное здание, построенное злыми домыслами, и все уходило дымом: и жалкая эстетика с надуманным «Наполеоном» и ссылки на нищету сестры и матери. Оставалась только вина человека, поддавшегося злому искушению, обманным доводам гордыни.

Как ни низко пал Раскольников, но благородство его натуры, отмеченное Порфирием Петровичем, сказалось само собою, как бы помимо воли идейного убийцы. Трудно было начать признаваться, — потом уже заговорила натура, хотел ли того или нет отравленный рассудок Раскольникова. — «Я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь я убил — вздор! Не для того я убил,

чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества — вздор! Я просто убил, для себя убил, для себя одного: а там бы стал ли я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое. Я это все теперь знаю... Мне другое надобно было узнать, другое толкало меня под руку; мне надо было узнать тогда, и поскорее узнать, вошь-ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая, или *право* имею»...

Так откровенно заговорила натура Раскольникова, но разум идейного убийцы по-прежнему упирался в надуманную, злую теорию. В борьбе с прирожденной цельностью собственной натуры Раскольников готов был признать себя теперь не за избранного, но за вошь подобную всем неизбранным людям. Однако на восклицание Сони: — «Это человек-то вошь!,» — он отвечает странно смотря на нее. «— Да ведь и я знаю, что не вошь». Но почти тотчас мрачно замечает, «как бы в задумчивости». — «Я может на себя еще наклепал, может я *еще* человек, а не вошь, и поторопился себя осудить. Я *еще* поборюсь».

Разумом Раскольников осуждает себя только за «слабость», за то, что, как он полагает, не хватило у него сил стать в уровень с дерзающим «Наполеоном», но сердце подсказывает ему совсем другое. Раскольниковым владела гордыня. Когда, прийдя в первый раз к Соне, он встал перед нею на колени и поклонился до земли, по его же словам, он поклонился не Соне, как живому существу, но, в ее лице, «всему вообще страданию человеческому».

Такое уж тогда было время искажавших обобщений, уродливых абстракций. Раскольников был сыном своего века и, в данном случае, следовал примеру нашей, так называемой интеллигенции, уважавшей, например, в лице крестьянина не просто честного труженника, а, по меткому оп-

ределению Алексея Толстого, «мужика вообще, что смиреньем велик».

В противоположность Раскольникову, Соня жила сердцем и отстояла далеко от всех теорий и абстракций. В ту самую минуту, когда Раскольников открыл ей страшную правду о себе, «вдруг точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колена». Она не нуждалась в рассудочном знании, ей сердце подсказало *что́* надо делать. Она должна тут же, тотчас же, пожалеть убицу, поправшего в себе Образ Божий, погрузившего собственную душу в тлен и мрак. А это и есть для человека главнейшее несчастье. Христианство коренится не в уме, не в морали, но в непосредственном безошибочном движении сердца. Замечание, сделанное однажды Раскольниковым, навсегда пребудет в силе: «Чтобы умно поступать одного ума мало». Доказательством тому служит умный Раскольников и сам невероятно, неправдоподобно умный Достоевский, угодивший на каторгу ради ничтожной, и от этого ничуть не менее преступной теории.

Соня, любя не дальних, как учит рассудок, но ближних, как указывет сердце, шла верной дорогой вплоть и включительно до своего падения. Оттого не Раскольников разгадал Соню, а она разгадала его. Умом сердца постигла Соня что нельзя никому прожить без человека, как хочет того Раскольников, и она видит, всем существом своим видит, что он сам уже знает это. Уговаривая его пойти и сознаться перед властями в своем преступлении, чтобы «страдание принять и искупить себя им», она отвечает на его отказ: «А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с кем будешь? Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними что теперь будет!) Да что я? Ведь ты уже бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О, Господи! Ведь он уже это все знает сам! Ну, как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!»

Не слепая, не безответная, но зоркая христианская любовь владела Соней. Она взывала не к уму Раскольникова, с его запутанными, непонятными ей рассуждениями, но прямо

к сердцу, чуя, что оно не может не откликнуться. Она, «вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко, крепко сжала его руками. Раскольников отшатнулся и с грустной улыбкой посмотрел на нее. — Странная какая ты, Соня, — обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал *про это*. Себя ты не помнишь.»

Да, Соня не помнила себя в порыве любви к другому и тревоги за него. «Давно уже незнакомое ему чувство волною хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах. — Так не оставишь меня, Соня? — говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее. — Нет, нет, никогда и нигде, — вскрикнула Соня». Но стоило ей в самозабвении прибавить: «В каторгу вместе с тобой пойду», — и его как бы вдруг передернуло, «прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его». Не каторги он страшился, но боялся отречься от гордыни, уступить людям и Богу. Отвергнутую им Божью справедливость он давно заменил своей человеческой справедливостью, людей же презирал, все еще надеясь выдержать испытание на звание сверхчеловека. И тут же одновременно чувствовал и сознавал насколько он слаб и беспомощен перед надвигающимся роком. Он вдруг с совершенной ясностью понял, что совсем не из гордости и преизбытка сил звал за собой вчера Соню ломать и властвовать, а потому что и тогда уже чувствовал себя игрушкой слепой судьбы. «И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда тебя звал вчера! А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним я звал, за одним и приходил, не оставить меня. Не оставишь, Соня?»

Но не она, конечно, могла бы оставить его беспомощного и жалкого. Не мертвая мораль, не человеческая справедливость владели ею, а любовь и жалость к глубоко падшему, жалость во Христе к несчастному палачу.

Нам, русским, после перенесенных несметных потерь и несчастий и легендарных событий, свидетелями и участниками которых мы были — нам, все же, не так трудно понять то, что задолго до всероссийского крушения всецело постигал

Достоевский. Но и нам теперь, как и ему тогда, не передать другим той жалости, какую можно почувствовать к существу духовно погибающему. Надо испытать ад на земле, не одним творческим воображением как Данте, но наяву, чтобы ощутить в своем сердце великую жалость к убийце приумножающему сознательно «пиры злоумышлений».

*

Жалость Сони к Раскольникову, для многих из нас, ныне полностью оправдана. Не одни события, пережитые нами, предсказал Достоевский, он предвосхитил также наши сердечные отклики на них, он как бы видел нас в действительности. Следуя примеру Достоевского, зорко следившего за злободневной печатью и часто на нее ссылавшегося, позволю себе и я сослаться на один весьма замечательный очерк, сравнительно недавно появившийся в эмигрантском «Новом журнале». Автор этого очерка К. Ф. Штеппа вспоминает о своем заключении в советской тюрьме в камере смертников в лютые времена ежовщины и говорит, между прочим, о некоем чекисте Левковиче, сидевшим вместе с ним в большевицком застенке и вскоре затем расстрелянным. Левкович был человек вконец искалеченный физически и душевно. Он, по собственному признанию, страдал «специальной чекистской болезнью», названной очевидно опытными палачами «отравлением кровью». «Сидишь себе, читаешь дело и вдруг — эти самые «кровавые мальчики в глазах». А из них ужаснее всех был призрак «попика», расстрелянного Левковичем. «Невзрачный, плюгавый. Идет весь трясется — правда, зимой это было, а он, как водится, в одном белье и босой. И все так лепечет: «яко разбойника мя приими». Так вот он и стал приходить. Сначала изредка, потом чаще».

Наши встречи друг с другом, если вдуматься в их значение, всегда невероятны. Я говорил уже, что одна из главнейших тем Достоевского это тема *метафизики человеческих встреч*. В мирные годы при равновесном развитии жизни никто, кроме Достоевского, не задумывался над внутренним

значением встреч. Но ныне, когда рушатся все вековые устои, казавшиеся непоколебимыми, автор «Преступления и наказания» вступает в свои права и завладевает нами. Во времена катастрофических событий жизнь разыгрывается по-Достоевскому, и мы начинаем замечать, что наши встречи друг с другом не случайны, но часто провиденциальны и всегда заранее подготовлены к осуществлению усилием нашей собственной внутренней воли. Провиденциальной была и встреча чекиста Левковича с другим священником, братом им расстрелянного «попика». Поразительно, что с этим священником довелось встретиться и К. Ф. Штеппе в одной из советских тюремных камер.

Левкович, как большинство чекистов, был безнадежным алкоголиком. Он тщетно пытался заливать водкой свои кровавые видения. Но не они главным образом пугали и терзали его: «В глазах это еще ничего бы, — говорил он, — а вот запах свежей крови»...

«Мне было жаль его» — пишет о Левковиче Штеппа.

В таком казалось бы странном заявлении есть нечто неотразимо привлекательное, идущее непосредственно от сердца. Весь этот знаменательный очерк проходит под знаком «Преступления и наказания», но совсем не потому, что автор очерка в чем-либо подражает Достоевскому, а потому что вся наша современность есть прямое осуществление всего предсказанного этим великим прозорливцем. Прежде чем судить о странном заявлении Штеппы, надо, хотя бы на минуту, почувствовать себя на месте человека, сидящего в камере смертников в ожидании расстрела, необходимо вообразить себя стоящим на самой последней грани, отделяющей нас от иного мира. Только находясь на этой грани, можно ощутить своего ближнего так, как ощущал его «Тот, кто всех пожалел, и Кто всех и вся понимал, Он Единый, Он и Судия».

Есть положения, когда умолкает разум и человеческие суждения обращаются в ничто. Священник, брат расстрелянного Левковичем «попика», простил палача. «Похоже было на то, — заключает Штеппа, — что о. Кирилл принял исповедь, а, может, дал и причастие «сработанному чекисту»

(Левковичу. — Г. М.). Так или иначе, но после того, как Левкович, за поданное им по начальству заявление об уходе с «работы», попал в камеру смертников, был посажен в тюрьму и о. Кирилл. Там он встретил Штеппа.

Доводился ли расстрелянный «попик» действительно братом о. Кириллу? «Может быть это было и не так, пишет автор очерка, — но отцу Кириллу почему-то показалось, что это был как раз его брат. Левковичу он этого не сказал. К чему? Но странное дело: он почувствовал к палачу своего брата невыразимое чувство жалости. — Об этом не думают, — сказал он мне и заставил крепко меня об этом задуматься, — *но бывают случаи, когда преступника нужно жалеть больше, чем его жертву*». (Подчеркнуто мною. — Г. М.).

Вряд ли кто-либо будет отрицать, что все, рассказанное здесь, проходит под знаком Достоевского, вплоть до невыразимой жалости к духовно погибающему существу, вплоть и включительно до слов самого Левковича, говорившего со Штеппой, как на исповеди, потому что, «ведь оба мы смертники и стесняться нам друг перед другом уже не к чему».

Что же такого, равного по глубине Достоевскому, вынес в ожидании расстрела Левкович из своего кровавого опыта? А то самое, отвечу я, что вынес, стоя у смертного столба, Достоевский из своего подпольного революционного опыта и своего требования ста тысяч голов, во имя человеческой справедливости. — «А думали ли вы, — спросил смертник-Левкович у смертника-Штеппы, чудом избежавшего гибели, — думали ли вы, что грех тоже ведет к Богу?» Эти слова Левковича можно было бы поставить эпиграфом к «Преступлению и наказанию»? По Достоевскому, грех тоже ведет к Богу, но по очень узкой и скользкой тропинке, идя по которой можно рухнуть в глубины сатанинские, но можно спастись покаянием и просиять. Путь избранный Раскольниковым пролегает над пропастью, но горит огарок в кривом подсвечнике, освещая в нищенской комнате убийцу и блудницу, «странно сошедшихся над чтением вечной книги». Не легко человеку спастись, но и погибнуть трудно; есть у него, кроме лукавого разума, данная Богом натура, сопротивляющаяся

греху, есть еще милосердие Божие. Если же нет у человека ничего, кроме подлого рассудка, и нет Бога, то нет ни бессмертия, ни спасения, ни гибели. Тогда в ожидании небытия, всё нам позволено. Во всяком случае Раскольников одним подлым рассудком не исчерпывается. В нем, как подметил Порфирий Петрович, действительно есть благородство, способность отказаться от призрачных самооправданий и очнуться перед собой и Соней в своей, ничем не прикрытой, духовной наготе. Он знает и признается, что не желание помочь матери и сестре и самому спастись от нищеты привело его к преступлению, но презрение к людям и жажда властвовать над ними. Он признается, что стать по примеру «Наполеона», сверхчеловеком у него не хватило сил, что черт тащил его на пробу с целью поиздеваться над ним. Он признает свою слабость, но от *идеи* отказаться не хочет, в ее непогрешимость верит и убежден, что из всех смертных ему первому пришла она в голову. «Тут одно только, одно, — говорит он Соне, — стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто за просто все за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел *осмелиться*, и... убил. Я только осмелиться, захотел, Соня, вот вся причина».

Убить Раскольников осмелился, но отречься раз и навсегда от совести, не принимающей зла, он не посмел потому что, хоть и шатко, но в Бога веровал. Безотчетные угрызения совести замучили его, но злая идея — бес, прочно в нем засевшая, соблазняла по-прежнему.

«Идея моя, сама по себе, хороша — думал он, — в ней простое разрешение всех жизненных задач, да я то сам вышел на поверку мал и слаб и в «Наполеоны» не пригоден». Горе Раскольникова в том, что не он владеет своей теорией, а теория владеет им. По Достоевскому, всякая идея — живое существо, обладающее особым организмом и живущее по своим особым законам. Раскольникову приснились однажды

на каторге, какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. «Но эти существа, — говорит Достоевский, — были духи, одаренные умом и волей». Одна из таких трихин, вселившись в Раскольникова в годы его отрочества, привела его в каморку, похожую на гроб, там она окончательно созрела в душе своей жертвы и оказалась духом глухим и немым. Подобно людям, одержимым трихинами, стал и Раскольников считать себя непоколебимо пребывающим в истине. Эта «истина» жгла его душу инфернальным огнем и к Соне он явился изнутри перегоревшим, обугленным. Соня чувствует это и оттого говорит ему: «От Бога вы отошли, и вас Бог поразил, дьяволу предал». Чувствует это и Раскольников и знает, что пришла пора сорвать с себя маску и показать Соне свое истинное лицо. В чистосердечии своем далекая от каких бы то ни было теорий Соня, сама того не замечая, помогает Раскольникову избавиться на минуту от мертвых абстракций. В ответ на его идейные рассуждения, ей непонятные, она лишь восклицает: «Не то, не то!» Но он все еще не хочет сдаваться и, не веря в собственные силы, по-прежнему упорно верит в свою теорию. Это упорство раскрывает на мгновение Соне глаза на страшную идею убийства. В голосе Раскольникова «ей вдруг послышался убийца». «Она с изумлением глядела на него... И опять она не поверила: «и он, он убийца! Да разве это возможно?» И с уст ее срываются слова бездонной глубины и значения: «Да, как вы, вы *такой* могли на это решиться?.. Да что это!»

Любовь открыла Соне —образ Божий в Раскольникове, и сердце ее встрепенулось навстречу такому сиянию. Но вот снова изумление и трепет теперь уже перед внезапно открывшимся грехом в любимом ею существе. Как совместить это? Сияние не разгоняет тьмы и почему тьма не может погасить света? Перед бедной Соней встает неразрешимая загадка — внутренний мир человека — арена борьбы Бога и дьявола. Никто еще не подходил так близко к душе Раскольникова, как подошла Соня, и он почувствовал это: «Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло ему в душу и разом раз-

мягчило ее». На одну минуту, правда, но и этого было достаточно, чтобы вдруг ощутить свою исконную человеческую слабость, беспомощность одинокого существа перед неведомой силой, им же самим вызванной из темных глубин. Раскольников знает, что перед Соней не могут оправдать его отвлеченные рассуждения, которыми так привык он тешить себя в одиночестве. Он невольно попадает на верную дорогу и говорит Соне просто и прямо то, что следует ему о себе сказать. А поверять о себе другому ничем не приукрашенную правду всегда бывает очень тяжело. «Нет, Соня, это не то! — начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный новый поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, — это не то! А лучше предположи (да этак действительно лучше), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен... Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы сам заработал, наверно! Уроки выходили, по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно *озлился* (это слово хорошее). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! а все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, все лежал. Принесет Настасья — поем, не принесет — та́к день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, — я книги распродал, а на столе у меня на записках, да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И все думал».

Вот та почва или, вернее, то абсолютное отсутствие какой бы то ни было почвы, из которого возникают темные теории. Не из тяжелых, часто непосильных жизненных обстоятельств, но из пустоты и совершенной беспричинности рождаются злые замыслы. Не состоятельна ссылка на низкие потолки и тесные комнаты, не они наводят на грех, но иной

грех, зародившись в душе человека, вселяет его в конуру. Недаром признается Раскольников, что из такой конуры он по собственной воле выходить не хотел. Неверно, что именно бедность толкает на преступление. Даже крайняя нищета, сама по себе, никого до убийства не доводит. Нужда, ради пропитания, порою скачет и пляшет и песенки поет, а в это время какой-нибудь сытый мудрец, сидя в тепле и уюте, мастерит очередную теорийку, от которой, вслед за ростовщицами, того и гляди, взлетит на воздух всё человечество, столь любимое на расстоянии комфортабельно устроившимися теоретиками. Пусть хоть один из них отважится, по примеру Раскольникова, заговорить вслух о своих истинных побуждениях. У Раскольникова хватило природной смелости отречься на минуту перед Соней от казуистики и беспощадно обнажить первоистоки зла, укоренившегося в нем. Теория, изобретенная Раскольниковым, производна, его основной грех совсем не она, а гордыня, от нее все его беды: зависть, злость, мстительность, словом, все революционные качества.

Тут все просто, но выразить это было Раскольникову очень трудно. Надо предварительно, так или иначе, каждому по-своему пройти через опыт зла, надо пасть и найти силу приподняться, чтобы познать в себе нечто сущное и потому простое. Девственной наивностью можно любоваться, но в ней нет заслуги. Ведь и зверь первобытно наивен, элементарен. В простоте же нет элементарности, как нет ее, например, в пушкинской прозе или в итальянских примитивах, скупо берегущих единое на потребу, простых, но не упрощенных. В простоте, проявленной Раскольниковым, залог его конечного духовного просветления. Труднее всего Раскольникову избавиться от своей идеи-теории, от вошедшей в него новой трихины — духа наделенного умом и волей. Оттого и расколот Раскольников, что ум его поражен бесовским наваждением, а натура его сопротивляется греху. Кажется, никто не придавал такого огромного значения идеям, как Достоевский. Они для него живые существа, способные завладеть человеком, целым народом, просветить и возвысить его или же ввергнуть в беснование. Человек только тем и отличается

от животного, что может вместить в себя даже великую, божественную идею. Но горе ему и людям его окружающим, когда он становится жертвой злой теории. Раскольников, к счастью для него, хоть и одержим убийственной идеей, но в отличие от Кириллова из «Бесов», не съеден ею полностью, он еще может спасти себя от гибели.

Тяжело было Раскольникову признаваться перед Соней в своем преступлении, но он не предвидел, что после признания ему станет еще тяжелее. «Оба сидели рядом грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал как много на нем было ее любви, и, странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал — сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда всё сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде».

Любовь налагает тяжкие обязанности на того, кто любим. Полюбивший меня открывает во мне подобие Божие и я не могу в глазах любящего не увидеть отражения моего образа в том сиянии, в каком создавал его Бог. Но я-то теперь, расколотый грехом, ничем этому сиянию не соответствую. Как же снова дорасти мне до себя, как снова стать собою подлинно реальным, Богом сотворенным, как спастись от моего призрачного греховного «я»? И, вот вижу, в глазах полюбившего меня существа, свой сияющий образ и вместо радости испытываю страх. Обнаружить причину этого особого страха сумел Фет, увидевший в глазах полюбившей его женщины свое первородное отражение — «огонь небесный». Не его устрашился поэт — нельзя бояться рая:

Но я боюсь таких высот,
Где устоять я не умею,
Как сохранить мне образ тот,
Что придан мне душой твоею?
Боюсь на бледный облик мой

Падет твой взор неблагосклонный,
И я очнусь перед тобой
Угасший вдруг и опаленный.

Странно как будто, не правда ли, приводить здесь эти стихи: ведь уж очень положение Раскольникова и Сони не романтично. Думается, однако, что Владимир Соловьев, так много писавший о любви, мог бы, на моем месте, поступить точно так же. Дух дышит, где хочет, и кто, кроме омертвелого моралиста, решится утверждать, что в душевных тайниках убийцы и проститутки погас безвозвратно «огонь небесный». Но тяжело чувствовать на себе любовь своего ближнего тому, кто ничем ее не заслужил. Любовь одинаково изобличает и любимого и любящего, она — пламень, вспыхивающий в душе человека нежданно и нагадано, его не спросясь. Сосуд скудельный перегорает от вторжения в него нездешней силы. Раскольников и Соня сидели рядом, как бы выброшенные на пустой берег одни. Греховное прошлое объединяло их и одновременно отъединяло от всего и всех. Непосильным бременем показалась Раскольникову Сонина любовь.

«— Соня, — сказал он, — уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть. — Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут — есть на тебе крест? — вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила».

Он хотел отклонить от себя Божью длань, карающую и спасающую его, но страшное бремя Сониной любви превратилось для него в крест. Он отдернул протянутую за крестом руку. — «Не теперь, Соня, лучше потом, — прибавил он, чтобы ее успокоить. — Да, да лучше, лучше — подхватила она с увлечением, — как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем». И как бы в подтверждение неизбежности такого решения, «*в это мгновение* кто-то *три раза* стукнул в дверь». (Подчеркнуто мною. — Г. М.). «— Софья Семеновна, можно к вам? — послышался чей-то очень знакомый вежливый голос. Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия Лебезятникова, заглянула в комнату»

Да, то был всего навсего глупенький, добренький, подслеповатый Лебезятников, усердный распространитель, с чужих слов, столь же, как и сам он, глупеньких, но в отличие от него далеко не добреньких социалистических идеек. Что же такого важного мог возвестить Соне этот поклонник коммуны? А между тем троекратный стук в дверь послышался как раз в то мгновение, когда заговорила Соня о кресте и страдании.

В «Преступлении и наказании» рок нередко дает о себе знать чьим-нибудь неожиданным окриком, дошедшим с улицы, из соседней комнаты, со двора густо населенного дома. Чей это окрик? Важно лишь то, что он всегда служит предвозвестником решающих событий. Иногда же рок выбирает своим посредником совершенно по виду незначительное лицо, вроде мелкого мошенника Коха, шаги которого звучат, однако, по-командорски, предупреждая Раскольникова, засевшего в квартире только что им убитой ростовщицы о какой-то еще не определившейся, но уже страшной неминуемости. Теперь же роковую роль трагического вестника суждено было разыграть Лебезятникову.

«— Я к вам, Софья Семеновна, извините. Я так и думал, что вас застану, — обратился он вдруг к Раскольникову, — т. е. я ничего не думал в этом роде... Но я именно думал. Там у нас Катерина Ивановна с ума сошла, — отрезал он вдруг Соне, бросив Раскольникова. Соня вскрикнула.»

*

Все персонажи «Преступления и наказания», включительно до сонного Зосимова, повинуются той или иной идее, а бедный Лебезятников верует в свою идейку как в Господа Бога. Русские люди, если наживут себе убеждения, что, к счастью, не всегда с ними случается, то поклоняются им пока лоб себе не расшибут, подобно дуракам, которых заставили Богу молиться. Всем нам следовало бы помнить четверостишие Случевского:

Что такое убежденья? —
Мыслей старые мозоли,

След надтруживаний долгих
И источник острой боли

Лебезятников натер себе мозоли не мыслей, но, употребляя словечко Достоевского, *мыслиц*, и испытывал не чувства, а чувствица, что не мешало ему, но напротив помогало, быть одержимым убеждениями. Он ни при каких обстоятельствах не расставался с любимой идейкой, всегда и всюду исходя от нее, как незадачливый танцор, начинающий свой танец непременно от печки. Лебязятников был, что называется, гуманистом, и потому сочувствовал не столько ближним, сколько дальним, от души надеясь социалистическими мерами осчастливить человечество. Он был не прочь пожалеть Катерину Ивановну, но помнил при этом, что коммунистические принципы прежде всего, а потом уже сожаления.

Когда из путанной скороговорки Лебезятникова выяснилось, что Катерина Ивановна, быть может, на самом деле сошла с ума, Соня, схватила мантильку, шляпку и выбежала из комнаты, одеваясь на бегу. Раскольников вышел вслед за нею, Лебезятников за ним.

Достоевский мастер карикатуры, он любит насмешку не лишенную иногда добродушия, но чаще ядовитую. Смех, добрый или злой, в высшей своей стадии переходит в слезы. Юмор питается трагедией и оторвавшись от нее превращается в пустое зубоскальство, трагедия, лишенная юмора, переходит в скандал. Смех сам по себе лишен глубины, а скандал не ведет к духовному очищению. Все это показано нам Достоевским. В его творчестве не редко бывает, что пустые и глупые домыслы одного из персонажей, тут же опрокидываются острым замечанием собеседника. Тогда вдруг выясняется, что глупость, сказанная глупцом, принадлежит не ему, но безликому человеческому коллективу и существует с незапамятных времен. Ничего нет глупее и древнее слепой веры во всесилие логических рассуждений, могущих будто бы все доказать и даже вернуть сумасшедшего к разуму. По выходе вслед за Раскольниковым на улицу Лебезатников тот-

час заговорил. Слова его следует здесь привести. Они в наши дни звучат злободневно, и тем для нас драгоценны. Свободолюбивая, наукообразная болтовня шестидесятых годов прошлого века только теперь принесла полностью свои ядовитые плоды. За домыслами Лебезятникова стоит наша ни с чем не сравнимая отечественная глупость. «— Непременно помешалась! — говорил он Раскольникову, выходя с ним на улицу, — я только не хотел пугать Софью Семеновну и сказал «кажется», но и сомнения нет. Это, говорят, такие бугорки, в чахотке, на мозгу вскакивают, жаль, что я медицины не знаю. Я, впрочем, пробовал ее убедить, но она ничего не слушает.

— Вы ей о бугорках говорили?

— То-есть не совсем о бугорках. Притом она ничего бы не поняла! Но я про то говорю: если убедить человека логически, что в сущности ему не о чем плакать, то он и перестанет плакать. Это ясно. А ваше убеждение, что не перестанет?

— Слишком легко тогда было бы жить, ответил Раскольников!»

В этом ответе чувствуется сам Достоевский во всей полноте своего каторжного опыта. Только на каторге и очень, по его собственным словам, не скоро отказался он от легкости в суждениях, приобретенной им в юности от Белинского и в революционном подполье петрашевцев. Бугорки-то на мозгу действительно вскакивают, но не у Катерины Ивановны в чахотке, а у подпольных теоретиков от чрезмерной склонности к прогрессивным убеждениям. Глупенький Лебезятников — это, прежде всего, жестокая карикатура, созданная Достоевским на самого себя и потом уже на Раскольникова. Так казнил Достоевский свое революционное прошлое, свое юношеское, и от этого нисколько не менее злостное, увлечение социалистическими теориями. Но Раскольников, отвечая Лебезятникову с его бугорками и всеисцеляющей логикой, даже отдаленно не подозревал, что бьет таким ответом по своей же теории, по своей, как он полагал, совершенно новой им надуманной идейке. Уж слишком легко жилось бы, если можно было бы разрешать все вопросы, дробя обу-

хом топора головы злых старушенок, слишком долго зажившихся на свете по убеждению деятельного идеалиста!

В рассуждениях приобретателя Лужина учуял Раскольников пародию на свою теорию, но в болтовне Лебезятникова не заметил карикатуры на собственный домысел. Между тем, в лице Лужина и Лебезятникова, жизнь и справа и слева одинаково высмеивала Раскольникова. Жизнь вершится органично, и ее течение и развитие всецело соответствуют тому, что зарождается и назревает в глубочайших недрах человеческой натуры. Существование не считается с надуманными нами теориями, творя на них карикатуры и пародии. Раскольникова роднит с Лужиным и Лебезятниковым похоть власти. Скопидом Лужин стремится разбогатеть, чтобы насладиться властью, хотя бы над своей семьей, с тем и хочет жениться, подыскав себе в жены существо безответное, им свысока облагодетельствованное, во всем материальном ему обязанное.

Лебезятников безволен и сам никем помыкать не может, а потому ищет присоединиться к коммуне, к деспотическому коллективу, где-нибудь поближе к правящей верхушке, но все это, по крайней своей ограниченности и теоретичности, но крови неповинных жертв, так легко проливаемой подпольными «героями», он очень испугался бы. Лебезятников вообразил себя великим проповедником социальной справедливости и хотел бы своими речами «ударить по сердцам с неведомою силой». На Лужина и Лебезятникова пародии не сочинишь — они сами карикатура и пародия, конечно не на самого Раскольникова, но на его идейку. Судьба этих двух персонажей, поразительно друг друга дополняющих, ни при каких обстоятельствах не может стать трагичной, потому что оба они злодуховны, безбожны и следовательно пусты, а из пустоты трагедии не выкроишь. Зато трагична судьба Раскольникова с его русским ницшеанством до Ницше, осмеянным жизнью сразу с двух сторон. Злостная идея Раскольникова роковым образом порождает его встречу с приобретательской подлостью Лужина и социалистической глупостью Лебезятникова и тотчас обнару-

живает свою несостоятельность. Если идею Раскольникова вынести из гробной каморки на улицу и этим окончательно вульгаризировать, получается то, что на уличном языке наших дней называется фашизмом, обреченным на гибель под двойным давлением идеи капитализма (Лужин) и идеи социализма (Лебезятников), неизбежно порождающих большевизм.

Идеи капитализма и социализма наразрывно связаны с атеизмом, в них отказ от трагедии, от поклонения Голгофе. Русское ницшеанство до Ницше, как и учение самого Ницше, богоборствует все же хотят ли они сами того или нет, но они не до конца безбожны, в них кроются некие зачатки трагедии и недаром участь Ницше и его предшественника — Лермонтова, трагична.

Благодаря каторге Достоевский в глубочайшем духовном одиночестве изжил и победил в себе идею о «сверхчеловеке» и ушел из революционного подполья в жизнь живую. Раскольников и Свидригайлов в «Преступлении и наказании», Ставрогин и Кириллов в «Бесах», Иван Карамазов в «Братьях Карамазовых», вот творческие символы мучительных прохождений Достоевского через все соблазны духовного бунта, через гордыню богоборчества и самоутверждения вне Бога, словом, через все то, что привело Ницше и Лермонтова к трагической гибели. Так же, как они, гибнут Свидригайлов, Ставрогин, Кириллов и Иван Карамазов. Один Раскольников может спастись на каторге по примеру Достоевского. Здесь необходимо оговорить, что гибель персонажей Достоевского не окончательна, они лишь в своем земном существовании падают, сраженные роком, казня себя лютыми угрызениями совести, доводящими до безумия и самоубийства, и тем, быть может, спасаются для вечности. Кириллова, правда, совесть совсем не терзает и он кончает самоубийством ради собственной идеи о человекобоге, иначе сверхчеловеке. Не Кириллов съел свою идею, но идея съела его и он умирает как мученик в ужасных искупительных страданиях. Навеки погибает лишь Петр Верховенский, олицетворяющий собою то,

что всю жизнь до самого гроба мучило Достоевского. Автор «Бесов» не мог простить себе причастности к революционному подполью, к серой бесовщине. Он не захотел преуменьшить страшного значения своего незамолимого греха, своей, как и всех петрашевцев, одержимости, и потому назвал вреднейшей фальшью жалкие попытки псевдо-либералов выдать его с товарищами по преступлению за каких-то безвинно пострадавших идеалистов. Он прямо утверждал что многие, если не всé, петрашевцы, *«в случае, если бы так обернулось дело* (Выделено Достоевским) могли бы стать нечаевцами т. е. встать на нечаевскую дорогу» и убить того, кто захочет уйти из подполья и откажется следовать за ними по пути насилия и крови. Так нечаевцы по приказанию Нечаева убили Иванова, так, и по той же причине, в «Бесах» революционная шайка Петра Верховенского убивает Шатова.

Обращаясь в «Дневнике писателя» к «псевдолибералам», Достоевский, говоря о нечаевцах, добавляет: «Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но *нечаевцем*, не ручаюсь, может и мог бы — во дни моей юности».

Достоевский прекрасно сознавал, что император Николай Первый поступил хорошо, сослав его на каторгу. Недаром всегда чтил он память этого сурового, но справедливого царя.

«Есть исторические моменты в жизни людей, — пишет далее Достоевский, — когда явно, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством человечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?».

Что же теперь-то, в наш век ответить на этот вопрос, когда такого рода примеры уже давно исчисляются миллионами!

Добренький, глупенький Лебезятников сам по себе был бы, пожалуй, безвреден, беда не в нем, но во множестве Лебезятниковых, состоящих в революционном коллективе,

где каждая ничтожная соринка, начитавшись сочинений «великих прогрессистов», начинает рассуждать, а потом и действовать, под началом Петра Верховенского, которого Достоевский так и называет — «мой Нечаев». Тогда каждый взятый по отдельности Лебезятников становится способным на любое преступление, на любое «мокрое дело». В лице Лебезятникова Достоевский разделался со злыми увлечениями своей молодости, приведшими его к страшной, но благодаря каторге, спасительной катастрофе. В «Преступлении и наказании», как и во всяком гениальном создании искусства, нет второстепенных персонажей, все там значительно, все связано друг с другом изнутри, и совсем не случайно. Так, в ту самую минуту, когда, казалось, решалась судьба Раскольникова и он готов был принять от Сони кипарисовый крестик, хоть и отдернул от него руку, — в ту самую минуту раздался троекратный стук в дверь и на пороге появился Лебезятников, как некий мелкий бес, как роковая помеха.

Безбожные рассуждения Лужина о накоплении материальных благ не что иное, как пародия на ницшеанскую статейку Роди — доморощенного «Наполеона», а русский социалист Лебезятников, смехотворный лужинский антипод, всей своей фигурой показывает до какого ничтожества мог бы докатиться Раскольников, если сменил бы свое русское ницшеанство на революционное подполье, словом пошел бы до конца по тропинке, по которой пробовал в молодости прогуляться Достоевский. В жалком и смешном по внешности Лебезятникове коренится величайшее зло, превратившее на наших глазах Россию в подлинный ад на земле. Осуществлению именно этого зла пытался в юности содействовать Достоевский, провиденциально спасенный от духовной гибели каторгой. А Раскольников, с его ницшеанством до Ницше, прошел всего лишь через первичную фазу падения. Об этом и говорит Порфирий Петрович, обращаясь к Раскольникову со словами уже однажды мною приведенными: «Еще хорошо, что вы старушенку только

убили. А выдумай вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразней дело бы сделали».

Лужинская проповедь бесстыдного накопления материальных благ, социализм Лебезятникова, особый цинизм и особый разврат Свидригайлова, мечты Раскольникова о человекобоге все это — различные фазы и разновидности смертного греха, меняющего маски, но не свою сущность. Исток у всех этих разновидностей зла один: атеизм, проповеданный многоучеными прогрессистами отсталым собратьям, еще не познавшим единственной вселенской истины: «Бога нет!».

Все, что писал Достоевский о самой сущности революции было принято, по общему согласию, замалчивать, А между тем растущая в нем тревога за судьбы России одна питала его творчество. Всé символы, всé персонажи романов-трагедий Достоевского это его разноликие поиски Бога, утверждающие и отрицающие Творца. Но кто ищет Творца, тот сам становится творцом и таким образом непосредственно свидетельствует о Боге. Одно твердо знал Достоевский: многоученая пропаганда безбожия, породившая в прошлом всé идеи, всé воровские и кровавые принципы французской революции, докатившись до России, погубят ее. За ничтожными лебезятниковыми различал Достоевский истинных носителей и виновников величайшего в мире зла, совращающих с прямых и трезвых путей не одних безмозглых болтунов, но и простодушных, хотя далеко не глупых русских юношей, удивительно ко всему восприимчивых, всегда готовых фанатически уверовать в любую идею, в любые измышления западноевропейских прогрессистов, как веровал в молодости сам Достоевский, хорошо познавший впоследствии, что «Россия есть теперь по преимуществу то место в целом мире, где все, что угодно, может произойти без малейшего отпору».

Обращаясь в «Дневнике писателя» к русским псевдо-либералам, Достоевский бросает, как бы мимоходом, пророческие слова, которые по справедливости следует отнести и к русским ницшеанцам до и после Ницше, и к рус-

ским революционерам всех толков, начиная, конечно, с нечаевцев. Слова эти Достоевский относил прежде всего к себе самому, к преступному подпольному периоду своей жизни до каторги. Они чрезвычайно важны для понимания всего его творчества и потому необходимо на них задержаться, не скупясь на цитаты. Вот, что писал Достоевский в «Дневнике писателя» за 1873 г., через семь лет после выхода в свет «Преступления и наказания» и через год по напечатании «Бесов»:

«Я уже в 1846 году был посвящен во всю *правду* этого грядущего «обновленного» мира и во всю *святость* будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самих оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства, о безнравственности права собственности; всé эти идеи об уничтожении национальности во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормозу во всеобщем развитии и проч. и проч., всё это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли и которые захватили, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоящею далеко выше уровня тогдашних господствующих понятий — а это-то и соблазняло. Те из нас, т. е. не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда *зараженных*, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству, в виде обновления и воскресения его, — те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. И так, почему, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы, если не всех, конечно, то, по крайней мере, некоторых из нас, в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?».

Здесь тотчас привлекают внимание ради иронии подчеркнутые Достоевским слова *«правда»* грядущего «обновленного» мира, *святость* будущего коммунистического обще-

ства, наконец замечание не только о петрашевцах, но обо всех «тогда *зараженных* новыми идеями русских людях».

Вечная правда Христова спешно подменялась в те годы «правдой» Прудона, Руссо и Фурье; святость великих подвижников Православной Церкви вытеснялась «святостью» подпольных героев, «зараженных», как говорит Достоевский, или точнее *одержимых* злостной идеей духовного бунта. Всего же замечательнее решительный отказ Достоевского провести разделяющую грань между петрашевцами с одной стороны и нечаевцами с другой. Всех деятелей революционного подполья он одинаково считает *зараженными*.

Преступление Раскольникова, тоже одного из зараженных, — не губит идейного убийцу окончательно только потому, что действует он в порядке индивидуальном, не растворяясь в безликом бесовском коллективе. Он нашел в себе силы пойти и сознаться во всем перед властями предержащими. Зараженный злой идеей рассудок изменил Раскольникову, зато не изменила натура: она-то и довела его до признания хоть и принимал он при этом умом ее духовную силу за слабость. Но Достоевский в молодости пошел дальше по преступному пути Раскольникова и никогда потом не мог себе простить своего пребывания среди подпольных заговорщиков.

Всех своих персонажей Достоевский, подобно Гоголю, выводил из собственной душевной глубины. Раскольников всего лишь частица души юного Достоевского до катастрофы и отвечает он только за себя, за свое русское ницшеанство до Ницше, тогда как гений его породивший отвечает за все свои творческие символы, за всех своих персонажей вплоть и включительно до Петра Верховенского. Душу Достоевского, отягченную смертным грехом духовного бунта, Бог просветил на каторге. Этого свершившегося чуда никогда не забывал автор «Преступления и наказания» и потому верил в конечное покаяние Раскольникова.

Только после длительного пребывания на каторге изжил в себе Достоевский бледного мечтателя, стал реалистом в высшем значении этого слова, и тогда лишь благодатно ис-

целился от одержимости. Об этом своем трудном, мучительном превращении в человека из существа одержимого бесом духовного бунта, Достоевский писал, обращаясь к «псевдо-либералам»: «Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния... Приговор смертной казни расстрелянием, прочитанный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — может быть и раскаивались в иных тяжелых делах своих — (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится. И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас... Нет нечто другое изменило взгляд наш и сердца наши... Это нечто другое — было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его. Повторяю, это не так скоро прошло, а постепенно, после очень, очень долгого времени».

К этому Достоевский прибавляет, что ему очень трудно было бы рассказать историю своего перерождения, прежде всего, конечно, религиозного. Ведь веру в Бога, если и не утраченную им совсем, то заглушенную общением с Белинским и пребыванием среди заговорщиков-атеистов, — снова вдохнули в него простолюдины, каторжные, разбойники из *«Мертвого дома»*, взывающие ко Христу, по примеру Евангельского разбойника. И когда вера во Христа, как Бога живого, утвердилась в душе Достоевского, тогда только отрекся он от своих убеждений-заблуждений, заклеймил и отверг всех «предводителей европейской прогрессивной

мысли» и обращаясь к русским «псевдо-либералам» писал: «Мне скажут, пожалуй, что эти господа вовсе не учат злодейству; что, если, например, хоть бы Штраус и ненавидит Христа, и поставил осмеяние и оплевание христианства целью всей своей жизни, то все-таки он обожает человечество в его целом, и учение его возвышенно и благородно, как нельзя более. Очень может быть, что это все так и есть, что цели всех современных представителей европейской прогрессивной мысли — человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново, то выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что всё здание рухнет под проклятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до удивительных результатов. Это аксиома. Европа, по крайней мере, в высших представителях своей мысли, отвергает Христа, мы же, как известно, обязаны подражать Европе».

Не прямое ли тут пророчество о большевизме-социализме, ныне все еще пытающемся паразитарно укорениться в России! Почему же именно Россия пала искупительной жертвой всеевропейского смертного греха, жертвой убийственных теорий, возникших из недр кровавой французской революции? На такой вопрос Достоевский отвечает: «Разве может русский юноша остаться индиферентным к влиянию этих предводителей европейской прогрессивной мысли и других, им подобных, и особенно к русской стороне их учений? Это смешное слово о «русской стороне их учений» — пусть мне простят, единственно потому, что эта русская сторона их учений существует действительно. Состоит она в тех выводах из учений этих, в виде несокрушимейших аксиом, которые делаются только в России; в Европе же возможность выводов этих, говорят, даже неподозреваема».

Русские юноши оказались глупее, но одновременно и честнее западно-европейских, русские мальчики сделали единственно возможный правдивый *практический* вывод из

всех завистью порожденных безбожных теорий, накопившихся в Европе за два последние столетия. И Достоевский знал, что это будет так, знал он также, что ничего нет подлее и трусливее европейских прогрессистов, давно уже преудобнейшим образом осевших в царстве самодовольных западноевропейских лужиных. На деле пришлось за всех платить по счетам не самим изобретателям разрушительных теорий, но их русским подражателям. Что же касается до «русского ницшеанства до Ницше», то возникло оно у нас вполне самостоятельно и было впервые оформлено в русской художественной литературе Пушкиным в «Пиковой даме», а Лермонтовым не только выражено в стихах и прозе, но и принято к руководству в жизни. Не столько от своих шотландских предков унаследовал Лермонтов упорное стремление к богоборчеству, сколько от волжских разбойников, на которых он, по верному замечанию Иннокентия Анненского, так подходил по душевному складу. Ницшеанство до Ницше, в своем несознанном стихийном виде, испокон веков пребывало в душе русского человека и неизменно поступало из глубины на поверхность в смутные годы. Его носители часто кончали раскаянием и смирением, но иногда непоколебимо утверждались в духовном бунте, как, например, Стенька Разин или тот другой, обуянный гордыней, не ведавший ни жалости, ни угрызений совести, разбойник, Орлов, которого повстречал на каторге Достоевский. И уж, конечно, ни Разин, ни этот разбойник не явились бы к Соне признаваться в своих злодеяниях, как сделал это герой «Преступления и наказания». В том-то и суть, что Раскольников — живая частица самого Достоевского, еще в ранней юности переживавшего в мечтах и помыслях соблазны, приведшие впоследствии его героя на каторгу. Но Достоевский в молодости пошел дальше Раскольникова по пути греха и богоборчества, он как бы совершенно потерял себя, приобщившись к революционному подполью, к безликому бесовскому коллективу. Над Достоевским неизъяснимо и непостижимо свершилось Божье чудо, он исцелился от страшного духовного недуга, но так и не поведал и не мог по-

ведать нам истории своего перерождения — она кроется в его творчестве и надо извлекать ее оттуда, зорко следя за развитием художественного повествования. Все рассказанное нам Достоевским о себе в «Дневнике писателя» вошло в преображенном виде в его творчество. По судьбе героев Достоевского мы можем теперь разгадывать метафизику и мистику его собственной судьбы.

*

Раскольников давно уже не слушал болтовни Лебезятникова о лечении каким-то парижским профессором сумасшествия логическими рассуждениями. «Поровнявшись со своим домом, он кивнул головой Лебезятникову и повернул в подворотню. *Лебезятников очнулся, огляделся и побежал дальше*» (подчеркнуто мною — Г. М.). Совсем как Репетилов новейших времен, неустанный распространитель вреднейших пустяков. Только и тут имеется упорно проводимое Достоевским снижение: не блестящий гвардии офицер Герман, а бывший студент, одетый в рваную ветошь, не старая графиня, а старая мещанка-ростовщица и, наконец, не Репетилов со своими лакеями и каретой, а Лебезятников — маленький конторщик, напичканный ядовитым не им изобретенным вздором, передвигающийся, за неимением карареты, «на своих на двоих». Менялись обличия, но та же, всё та же атмосфера назревающей катастрофы сгущалась всё больше и больше. И Лебезятников с полным основанием мог бы повторить слова Репетилова:

У нас есть общество, и тайные собранья,
По четвергам. Секретнейший союз.

Однако Раскольникову де́ла не было ни до бугорков, ни до мудреного парижского профессора, ни до отечественного болтуна Лебезятникова, ни до секретнейших союзов.

«Он вошел в свою каморку и стал посреди ее». *«Для чего он воротился сюда?»*

Я уже неоднократно говорил, что в «Преступлении и наказании» каждое слово на весу и все там одинаково важно, значительно. Вот тут, на только что заданный себе Раскольниковым вопрос отвечает сама жизнь, ее непрерывное бездонное течение, нами отражаемое и нас отражающее. Часто Достоевский как бы говорит читателю: «посмотри вокруг себя, приглядись и ты почувствуешь вдруг, что все окружающее неразрывно связано с тобою и в точности соответствует тому, что в тебе происходит. Везде, вверху, внизу бездонность, глубина и чем обыденнее серая по внешности картина, тем вернее она отражает твое душевное и духовное состояние; она-то в данное мгновение и есть доподлинный и реальный *ты*».

Раскольников расколот грехом, но нерушимая основа его натуры силится осколки подобрать, чтобы заново восстановить его душевную храмину. Натура, помимо рассудка, привела теперь Раскольникова к тому месту, на котором назревала в нем его злая теория и где окончательно завладел его разумом дух глухой и немой. Свидание с Соней не помогло идейному убийце и он снова погрузился в мерзость своего душевного запустения, темного, безотрадного, невыносимого одиночества. «Он оглядел эти желтоватые, обшарканные обои, эту пыль, свою кушетку... Со двора доносился какой-то резкий беспрерывный стук: что-то где-то как будто вколачивали, гвоздь какой-нибудь... Он подошел к окну, поднялся на цыпочки и долго, с видом чрезвычайного внимания ,высматривал во дворе. Но двор был пуст и не было видно стучавших. Налево, во флигеле, виднелись кое-где отворенные окна; на подоконниках стояли горшечки с жиденькою геранью. За окнами вывешено белье... Все это он знал наизусть. Он отвернулся и сел на диван. Никогда, никогда еще не чувствовал он себя так ужасно одиноким».

О серая неподвижность нескончаемых вечных будней давно, давно знакомых серых дворов! Зачем же с напряженным вниманием высматривал Раскольников то, что уже знал

наизусть? Он был отрезан, отъединен грехом от собственной духовной глубины и видел за окном своей гробной каморки лишь снимок своей же омертвелости. Этот буднично серый вид за окном был воплощением его «мертвящей тоски», символ ее затвердевшей дурной бесконечности. То была совсем особая тоска, от нее, — говорит Достоевский «веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой холодной мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». Можно ли вернее определить душевное состояние идейного убийцы, уже почувствовавшего чудовищную нелепость совершенного им злодеяния. Ведь такая вечность, пожалуй, страшнее закоптелой деревенской бани с пауками по углами, ожидающей нас за гробом, по словам Свидригайлова! Куда же бежать от таких предчувствий?

«Раскольников почувствовал еще раз, что, может быть действительно возненавидит Соню, и именно теперь, когда сделал ее несчастнее». «Зачем ходил он к ней просить ее слез? Зачем ему так необходимо заедать ее жизнь? О подлость!».

— «Я останусь один! — проговорил он вдруг решительно, — и не будет она ходить в острог!»

Поражает вопрос, заданный себе Раскольниковым, вопрос, вызванный столкновением очень сложных чувств. В самом деле зачем *необходимо* Раскольникову *заедать* Сонину жизнь? Соня любит его, но сам он еще далек от любви к ней. И все же он не может не пойти и не признаться перед ней в своем преступлении, не может не возложить на ее слабые плечи тяжкого бремени. Так было предрешено не им, но таинственным, непостигаемым ходом самой жизни. И Раскольников тогда уже ведал это, когда сидя в распивочной с пьяненьким Мармеладовым, впервые услышал от него о существовании Сони, «дщери, что отца своего земного, пьяницу непотребного, не ужасаясь зверства его, пожалела». Тогда Раскольников еще только готовился убить ростовщицу, а о том, что придется ему заодно убивать Лизавету, как бы «случайно» подвернувшуюся под топор, его

рассудок никак не знал и знать не мог. Рассудок не знал, но сердце ведало. Рассудком жизнь познается по частям, да и то лишь поверхностно, а сердце человека бьется с жизнью созвучно, оно неотделимо от ее вселенского потока. В минуты крайнего душевного напряжения сердцу человека открывается вневременно то, что еще не сбылось, но уже неминуемо сбудется. Оттого не лжет Раскольников, но говорит сущую глубочайшую правду, когда, обещая сказать Соне кто убил Лизавету, внезапно прибавляет: «Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе, еще тогда, когда отец про тебя говорил и когда Лизавета была жива, я это подумал». Кто замыслил злое дело и окончательно порешил его осуществить, тот уже совершил его метафизически, своевольно отпал от соборности и, оставаясь жить среди людей, ворует их благорасположение. Отсюда неожиданный прилив ненависти к Соне в душе Раскольникова. По отношению к Соне он сознает себя паразитом, заедающим ее жизнь, и при этом знает, что *не может* поступить иначе, потому что хочет жить во что бы то ни стало. А зло само по себе небытийственно и существует лишь за счет добра. Возлагая на Соню тяжесть своего смертного греха, Раскольников получает, хотя бы временно, возможность дышать. Но он сознает свою духовную зависимость от Сони и в его темной нераскаянной душе зарождается ненависть к спасительнице, невольно его порабощающей. По отношению к Соне, знающей о его преступлении, он чувствует себя паразитом, по отношению к другим и особенно к сестре и матери — вором. Когда Дуня нежданно пришла к Раскольникову, «ему — говорит Достоевский, — ужасно захотелось крепко обнять ее и *проститься* с ней и даже *сказать*, но он даже и руки ей не решился подать» (курсив Достоевского — Г. М.). «Потом еще пожалуй содрогнется, когда вспомнит, что я теперь ее обнимал, скажет, что я украл ее поцелуй». Однако воровством и паразитарностью тяжкое положение Раскольникова не ограничивается. Надо помнить, что смутное желание сказать Соне кто убил Лизавету возникло в сердце Раскольникова еще до того как он действительно ее убил. Это жела-

ние возникло в нем несомненно в ту самую минуту, когда Мармеладов заговорил с ним о жертвенной Соне, которую на Страшном Суде призовет Христос и скажет: «Я уже простил тебя раз... Простил тебя раз, прощаются же и теперь грехи твои мнози, за то что возлюбила много». «И простит мою Соню, простит, я уже знаю, что простит. Я это давеча, как у нее был, в моем сердце почувствовал...».

Соня, ее жертвенность, Христос и Его прощение, все это бессознательно слилось воедино в душе Раскольникова, слушавшего рассказ Мармеладова. Человек, замысливший, ради своей теории, кровавое дело, нашел на кого сложить хотя бы частично тяжесть своего уже неизбежного теперь преступления, тяжесть, которого — он предчувствовал это, — придется ему «перетащить на себе». Здесь все безмерно сложно и все здесь, одно от другого неотделимо: духовный бунт, восстание на Творца и тут же надежда на ближнего, на Соню, поистине жертвенным грехом своим ведомую к Богу. Кощунственное, но и жалкое, беспомощное соединение несоединимого! Не то же ли самое вершится в душе любого человека? Раскольников в отличие от многих, не устрашился заострить и разжечь в себе до конца то, что обычно пребывает в душах людей в состоянии ни горячем, ни холодном, а всего лишь теплом. Но Бог такой теплоты не терпит и ждет от нас решений и выбора. Знал ли темный и жестокий богоборец, что его упование на Соню, уже оправданную на небесах, наложит на него невыносимое бремя? — «Я останусь один: проговорил он вдруг решительно, — и не будет она ходит в острог!». Но он и тут заблуждался: уйти в свою скорлупу, снова спрятаться от всего и всех в свою гробную каморку он больше не мог и очень скоро увидел это на опыте. «Чем уедененнее было место, тем сильнее он сознавал как будто чье-то близкое и тревожное присутствие». Дух глухой и немой не покидал его именно в одиночестве. «Он поднял голову и странно улыбнулся. Это была странная мысль». «Может в каторге-то действительно лучше, — подумалось ему вдруг».

В этих словах Раскольникова содержится одна из ос-

новных мыслей Достоевского, если и странная, то совсем в особом, религиозном значении. По Достоевскому, всé преступники, за редчайшими исключениями, да и все люди вообще, сознающие свои грехи, хотят и боятся кары, но все же дышит свободнее, когда она приходит и наступает час расплаты. Каторга лучше бесплодных угрызений совести, лучше пребывания с бесом наедине.

Глубоко религиозные люди, подобные Миколке красильщику готовы взять на себя чужую вину, чтобы пострадать во искупление своих собственных прегрешений. Для этих людей ведь все равно всяк за всех виноват, а из всех грешников «первый есмь аз».

Раскольников «не помнил сколько он просидел у себя с толпившимися в голове его неопределенными мыслями. Вдруг дверь отворилась и вошла Авдотья Романовна. Она сперва остановилась и поглядела на него с порога, как давеча он на Соню; потом уже прошла и села против него на стул, на вчерашнем своем месте». Это могла бы сойти за случайное совпадение, но, уточняя положение, Достоевский замечает, что и остановилась и поглядела Дуня с порога на брата точь в точь как Раскольников, отворив дверь, с порога посмотрел на Соню. Если же помнить, что Раскольников, войдя к Соне сел на стул, «с которого она только что встала», то сходство положений покажется разительным и вещим. В реалистическом романе такие совпадения встречаются редко и, ничего важного не выражают, но в романе-мистерии они глубоко символичны и говорят о том, чтó вершится в плане высших реальностей.

Дуня по всему своему душевному складу противоположна Соне. Поэтому именно ее смертный грех тот же, что и у Сони. Дуня, в преизбытке гордыни и затаенного презрения к людям, хочеть пожертвовать собою ради брата и матери. Ее решение продать себя Лужину под прикрытием законного брака преступно. Этот брак, к счастью не состоявшийся, был бы наихудшим видом проституции. Соню ведет к падению смиренная жертвенность, Дуню — гордыня.

Причины падения у них разные, но грех один: готовность отдать свое тело на поругание.

Духовно между Раскольниковым и Дуней стоит знак равенства. Они друг другу родня по духу и потому в земной жизни они брат с сестрой. Их внутреннее сходство сразу же замечает Разумихин. Порфирий же и Свидригайлов подтверждают это сходство совершенно невольно, один, определяя Раскольникова, другой Дуню. Порфирий, обращаясь прямо к Раскольникову, говорит: «Я вас почитаю за одного из таковых, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять, да с улыбкой смотреть на мучителей, если только веру иль Бога найдет». Ничего не зная об этих словах Порфирия, в тот же самый день Свидригайлов скажет Раскольникову о Дуне: «Она, без сомнения, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно бы, улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами... Сама она только того и жаждет и требует, чтобы за кого-нибудь, какую-нибудь муку поскорее принять, а не дай ей этой муки, так она пожалуй и в окно выскочит». Дуня не просит, но требует подвига. Ее желание пострадать за другого это надменный вызов Богу.

Раскольников стремится к Соне в бессознательных поисках того, чего сам он лишен — в поисках любви и смирения. Дуню притягивает к Раскольникову то, что есть у них обоих общего: идея, в ее мужественном, действенном преломлении у брата и женственном, пассивном у сестры. Они отражают друг друга, и чувствуя это, Раскольников говорит Дуне: «Да и ты... с направлениями... Я бы должен был это сообразить... Что ж и похвально; тебе же лучше... и дойдешь до такой черты, что, не перешагнешь ее — несчастна будешь, а перешагнешь — может, еще несчастнее будешь».

И Соня, и Раскольников и Дуня живут в крайнем напряжении всех своих душевных и духовных сил и это, в решающие для них минуты жизни отражается во вне в мире явлений в виде целого ряда совпадений в обстановке, положениях, в сходстве движений, мимики и жестов. Тогда внезапно обнаруживается, что всё между собою связано в

едином и неделимом потоке существования. Этим объясняется почему так часто персонажи «Преступления и наказания» входят в комнату один к другому не стуча; можно сказать, что они проникают не друг к другу, но друг *в* друга, как будто нет ни в них, ни между ними никаких плотских и материальных преград. Так вошла сейчас Дуня в гробную каморку Раскольникова. Ее привела сюда тревога за брата и мать. Пребывая в своей надменной девственности, Дуня жизни не знала и в том, что вершится в душе у другого, хотя бы самого близкого человека, умом не разбиралась, хоть и подчинялась смутным велениям сердца. Она пришла сказать Раскольникову, что теперь все о нем знает, что Разумихин *все* рассказал и объяснил, что она *«вполне понимает»* как все в нем возмущено несправедливыми «гнусными» подозрениями. «— А теперь» — сказала Дуня, — поднимаясь с места, — я пришла только сказать, что если, на случай, я тебе в чем-нибудь понадоблюсь или понадобится тебе... вся моя жизнь, или что... то кликни меня, я приду, Прощай!».

На этот порыв, на это горячее заявление Раскольников ничего не ответил прямо. Он знал, по себе знал, что Дуня его признания не выдержит, что *этаким* не выдержать». «И он, — добавляет от себя Достоевский, — подумал о Соне».

Раскольников понимал, что Дуня, как и он, никого поддержать не может, но сама нуждается в твердой опоре. Ничего не отвечая на ее слова, он вдруг заговорил о Разумихине: — «Он человек деловой, трудолюбивый, честный и способный сильно любить... прощай Дуня».

«Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась.

— Да что это, брат, разве мы в самом деле навеки расстаемся, что ты мне... такие завещания делаешь?

— Все равно... Прощай...

Он отворотился и пошел от нее к окну. Она постояла, посмотрела на него беспокойно и вышла в тревоге».

Раскольников действительно делал завещание и как бы с рук на руки Дуню передавал Разумихину, а Соне самого себя. «Он вдруг взял фуражку и вышел. Он бродил без

цели. Солнце заходило». Им овладела холодная, мертвящая тоска, «от нее веяло чем-то постоянным, вечным». «Его окликнули. Он оглянулся: к нему бросился Лебезятников. — Вообразите, я был у вас, ищу вас. Вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела! Мы с Софьей Семеновной насилу их отыскали. Сама бьет в сковороду, детей заставляет плясать. Дети плачут. Останавливается на перекрестках у лавочек. За ними глупый народ бежит. Пойдемте!».

*

Жизнь опять и опять призывала к себе Раскольникова и снова втягивала его в круговорот событий, показывая что только в общении с людьми может он избавиться от «мертвящей тоски», от «вечности на аршине пространства». Скандал с уличением Лужина в клевете, разыгравшийся на поминках по Мармеладову, превратился теперь в трагедию, в предсмертную битву, обезумевшей от горя и справедливого гнева, Катерины Ивановны с немилосердным, непостижимо беспощадным Богом. Эта трагедия неминуемо должна была разыграться на глазах у Раскольникова, чтобы понял он и постиг сердцем, хотя бы на минуту, насколько сам-то он, с его злостным бунтом, с темным восстанием на Небо, далек от очистительного огня, испепелившего праведно непокорную Творцу Катерину Ивановну. Ее мученическое существование вершилось не в гробной каморке, но в проходной комнате на виду у людей. И пусть вершилось оно в ничем неприкрытой жестокой нищете среди попреков, столкновений и ссор, ведь именно в них, по видимости ничтожных и серых, назревала спасительная трагедия. Нерушимая основа жизни в завете: никогда не уединяться, никогда не отходить от своих ближних, которых Бог послал и встречи с которыми неизменно порождаются нашими собственными душевными и духовными недрами. Не всё же злоба и брань — нет, нет да и мелькнет во мраке неугасимая искра, затеплится любовь друг к другу во Христе и проявится жертвенность Сони, кротость смиренной Лиза-

веты и, прошедшая через великие испытания, материнская любовь неукротимой Катерины Ивановны. Человеку надлежит жить и умирать на глазах у его ближних и недаром гласит, преисполненная любовью к ближним, русская поговорка: «На людях и смерть красна». Пишущий эти строки сам неоднократно видел на поле брани всепримиряющее сияние на лицах солдат и офицеров, умиравших в кругу боевых товарищей. Но осуществимо ли в действительности уединение? Достоевский всем своим творчеством отвечает: «Нет!». Человеком в уединении неотступно овладает бес. И к великому подвижнику церкви, живущему в пустыне, врываются злые силы, и его одиночество призрачно и он находится в постоянном общении с духами тьмы и света.

Семья Мармеладовых притягивала к себе Раскольникова с того провиденциального дня, когда он повстречал Мармеладова в распивочной. Эта семья несла в себе то, чего не было в Раскольникове и даже гордость Катерины Ивановны совсем иного происхождения, чем у него. Эта гордость была прямым проявлением человеческого достоинства, приниженного Богом, хотя Им же Самим дарованного. Бунт Катерины Ивановны, вопреки всему, и для нее незнаемо, вел ее к Тому, с Кем она так яростно боролась. Она ближе всех персонажей Достоевского, ближе Сони и Лизаветы, подходила к Богу, требуя от Него осуществления на земле небесной справедливости. Она не могла постичь своей избраности, постичь того, что только очень духовно сильные натуры испытывает и сокрушает Творец. Но какова была у бедной Катерины Ивановны глубокая вера в Его существование, когда и в смертный свой час не забыла она обид нанесенных ей Небом! Раскольников по собственному произволу чинил суд и расправу, навязывая жизни свою слишком человеческую справедливость, а Катерина Ивановна ждала ее свыше, не ведая того, что законы Небесные не совпадают с земными и что Царство Божие нудится и дается страданием.

Трагический маскарад-вызов Небу и земле, уже перед лицом смерти, учиненный Катериной Ивановной, воспроиз-

веден Достоевским единственными, незаменимыми словами. Они проникают в сердце и остаются там навсегда. Какое в них невиданное чередование жалкой человеческой беспомощности перед судьбой и горделивой силы, изобличающей Бога в страшных делах Его. Путей, ведущих к Нему, не перечесть, один из них — страх Божий, трепет, в сознании своей греховности, перед Судом нездешним. Это путь аскетический, средневековый, избранный у нас Константином Леонтьевым, прошедшим до того через все соблазны русского ницшеанства. Константин Леонтьев кончил свою жизнь монахом со скорбными словами на устах: «Горе мне окаянному». Знаменит призыв Достоевского: «Смирись гордый человек!». Но сам-то он смирился ли до конца? Ведь тайный смысл страданий несчастной Катерины Ивановны и мучений ни в чем неповинного младенца он хоть и постигал, но умом и сердцем оправдать Бога в делах Его все же как будто не мог.

Когда Раскольников «подошел к столпившейся кучке народа, не доходя двух домов от дома, где жила Соня, он увидел, что «сковороды, про которую говорил Лебезятников, не было, но вместо стука в сковороду, Катерина Ивановна начинала хлопать в такт своими сухими ладонями». Она, «заставляла Полечку петь, а Леню и Колю плясать, причем даже и сама пускалась подпевать, но каждый раз обрывалась на второй ноте от мучительного кашля, отчего снова приходила в отчаяние, проклинала свой кашель и даже плакала. Пуще всего выводил ее из себя плач и страх Коли и Лени. Действительно была попытка нарядить детей в костюмы, как наряжаются уличные певцы и певицы. На мальчике была надета из чего-то красного с белым чалма, чтобы он изображал собою турка. На Леню костюмов недостало; была только надета на голову красная вязаная из гаруса шапочка (или лучше сказать колпак) покойного Семена Захарыча, а в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежавшего еще бабушке Катерины Ивановны и сохранявшегося доселе в сундуке, в виде фамильной редкости. Полечка была в своем обыкновенном платьице. Она смотрела

на мать робко и потерявшись, не отходила от нее, скрывала свои слезы, догадывалась о помешательстве матери и беспокойно осматривалась кругом. Улица и толпа ужасно испугали ее. Соня неотступно ходила за Катериной Ивановной, плача и умоляя ее поминутно воротиться домой. Но Катерина Ивановна была неумолима»... «Один господин в вицмундире и в шинели, солидный чиновник лет пятидесяти с орденом на шее, приблизился и молча подал Катерине Ивановне трехрублевую зелененькую кредитку. В лице его выражалось искреннее сострадание».

Улица, толпа, ужас детей, надорванное невыносимой жалостью сердце Сони и обломок страусового пера, извлеченного из сундука, где он бережно хранился — свидетель когда-то счастливых дней. Во всем этом живет душа самого Достоевского, слишком хорошо познавшего на себе тщету и роковую неустойчивость человеческой жизни вообще и русской в особенности.

Безумная затея Катерины Ивановны закончилась тем, чем неминуемо должна была закончиться: «Коля и Леня напуганные уличной толпой и выходками помешанной матери, схватили друг друга за ручки и бросились бежать. С воплем и плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их. Безобразно и жалко было смотреть на нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за нею. Она споткнулась на всем бегу и упала. — Разбилась в кровь! О, Господи! — вскрикнула Соня, наклоняясь над нею. Всé сбежались, всé затеснились кругом. Раскольников и Лебезятников подбежали из первых... Но когда разглядели хорошенько Катерину Ивановну, то увидали, что она вовсе не разбилась о камень, как подумала Соня, а что кровь, обагрившая мостовую, хлынула из ее груди горлом».

Раздавленного лошадьми умирающего Мармеладова переносили на его квартиру с помощью и по указаниям Раскольникова. Теперь же Соня помогала переносить с улицы в свою комнату умирающую Катерину Ивановну. И вот желал ли того Раскольников или нет, но кто-то неведомый заботливо вел его к людям и настойчиво сближал с Соней.

По Достоевскому, не только тому или другому человеку бывает присуще особое ему одному свойственное духовное обаяние, но есть обаяние родовое, присущие иной семье светлые излучения. Кто-то невидимый все глубже и глубже втягивал Раскольникова в духовные недра семьи Мармеладовых.

«— Сюда, сюда, ко мне! — умоляла Соня. — Вот здесь я живу! Вот этот дом, второй отсюда... Ко мне, поскорее, поскорее! — Металась она ко всем. — За доктором пошлите... О, Господи!».

Катерину Ивановну «внесли к Соне почти замертво и положили на постель. Кровотечение еще продолжалось, но она как бы начинала приходить в себя. В комнату вошли разом, кроме Сони, Раскольникова и Лебезятникова, чиновник и городовой, разогнавший предварительно толпу, из которой некоторые провожали до самых дверей. Полечка ввела, держа за руки, Колю и Леню, дрожавших и плакавших. Сошлись и от Капернаумовых: сам он хромой и кривой, странного вида человек с щетинистыми, торчком стоящими волосами и бакенбардами; жена его, имевшая какой-то раз навсегда испуганный вид и несколько их детей с одервенелыми от постоянного удивления лицами и раскрытыми ртами. Между всей этой публикой появился вдруг и Свидригайлов. Раскольников с удивлением посмотрел на него, не понимая откуда он явился и не помня его в толпе».

В «Преступлении и наказании» нет ни веселых, ни печальных бытовых сцен, и если там сходятся люди друг другу незнакомые, то это никогда не бывает по воле слепого случая. Нет, жизнь, по Достоевскому не только зряча, но еще и дальновидна, в ее подспудных глубинах, в человеческих душах зарождаются и назревают явления и обстоятельства задолго до того как надлежит им сбыться.

У смертного одра Катерины Ивановны сошлись люди изнутри с нею связанные и это включительно до сердобольного чиновника и даже городового, разогнавшего толпу праздных зевак. Этот блюститель порядка, конечно, сам то-

го не ведая, содействовал отбору существ, метафизически, по самым различным и сложным причинам связанных с умирающей.

Мармеладов в последнюю минуту перед своей смертью увидел в нелепом и позорном костюме уличной проститутки свою дочь, свою Соню, пришедшую проститься с отцом. «Она стояла в углу и в тени» и показалась Мармеладову видением, обличающим его. Заметила ли Катерина Ивановна, умирая, чиновника с орденом на шее, мы не знаем, но так или иначе, а был он живым символом ее затаенной несбывшейся грезы. Ведь именно таким, в вицмундире и с орденом, по-детски мечтала Катерина Ивановна увидеть Мармеладова. А он, порабощенный пороком, губил и себя и собственную горячо любимую семью. Чувствуется некий злой юмор жизни в появлении высокопоставленного чиновника в убогой комнате уличной проститутки, да еще при таких трагических обстоятельствах среди нищенского разношерстного сброда. Чалма, вицмундир, колпак покойного Семена Захарыча, блистательный орден и, в довершение нелепицы, обломок страусового пера, украшавшего когда-то Лёнину прабабушку. Есть в этой смеси нечто водевильное, опереточное: жестокое издевательство ничем не брезгующей жизни. Это она глухая, неумолимая, ошарашила хромого и кривого Капернаумова, раз и навсегда испугала своим уродством его жену и детей с застывшими от горького удивления лицами. Семья Капернаумовых это наглядный, обращенный к Небу упрек, это оправдание детски беспомощного бунта, неравного спора Катерины Ивановны с Богом. Оттого и стали Капернаумовы свидетелями смерти безутешной страдалицы.

Ни в чем не повинные дети затравленного жизнью, от горя потерявшего разум существа и тут же злостный бунтарь, идейный убийца! Но не с преступной теорией Раскольникова, а с его натурой, в глубине своей благородной, сроднились праведные требования, предъявленные Богу Катериной Ивановной.

Неизмеримо сложнее и таинственнее внутренние, метафизические причины, приведшие Свидригайлова к постели

умирающей. По первой видимости он никак не связан с Катериной Ивановной, но зато, до поры до времени, крепко связан с Раскольниковым, к которому тянутся от всей семьи Мармеладовых невидимые спасительные нити. Конечно, уже из одного любопытства мог бы Свидригайлов, живший рядом в квартире Реслих, проникнуть в сумятице в Сонину комнату, но было бы слишком близоруко остановиться на таком житейски весьма вероятном и все же слишком упрощенном толковании. Во всяком случае, дальнейшее поведение Свидригайлова показывает нечто совсем другое.

«Между тем Катерина Ивановна отдышалась». Как это часто бывает с помешавшимися, она перед смертью очнулась и обрела разум. «Она смотрела болезненным, но пристальным и проницающим взглядом на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота со лба; наконец попросила приподнять себя...

— Дети где? — спросила она слабым голосом. — Ты привела их, Поля? О, глупые!.. Ну, чего вы побежали... Ох!

Кровь еще покрывала ее иссохшие губы. Она повела кругом глазами, осматриваясь. —

— Так вот ты как живешь, Соня! Ни разу-то я у тебя не была...

Она с страданием посмотрела на нее.

— Иссосали мы тебя, Соня... Поля, Леня, Коля, подите сюда... Ну, вот они, Соня, все, бери их... с рук на руки... а с меня довольно! Кончен бал! Га! Отпустите меня, дайте хоть помереть спокойно.

Ее опустили опять на подушку».

От священника Катерина Ивановна отказалась: свой человеческий, безумный, но праведный спор с Богом о Его божественной, непонятной, непостижимой справедливости она довела до последнего своего вздоха. Но как же для того должна была она веровать в Его существование! Верой непоколебимой она свидетельствовала о Боге, молилась Ему, но не смирилась ни перед Ним, ни перед людьми.

«Беспокойный бред охватывал ее более и более. Порой она вздрагивала, обводила кругом глазами, узнавала всех на

минуту, но тотчас же сознание сменялось бредом. Она хрипло и трудно дышала; что-то как будто клокотало в горле... Га! — вздрогнула она, вдруг опамятовавшись и с каким-то ужасом всех осматривая, но тотчас узнала Соню. — Соня, Соня! — проговорила она кротко и ласково, как бы удивившись, что видит ее перед собой. — Соня, милая, и ты здесь?

Ее опять приподняли.

— Довольно!.. Пора! Прощай, горемыка! Уездили клячу! Надорвала-а-сь! — вскрикнула она отчаянно и ненавистно, и грохнулась головой на подушку.

Она вновь забылась, но это последнее забытье продолжалось недолго. Бледно-желтое, иссохшее лицо ее закинулось навзничь назад, рот раскрылся, ноги судорожно протянулись. Она глубоко-глубоко вздохнула и умерла».

И вот уже не по воле Катерины Ивановны, этот рот, раскрывшийся навстречу смерти, эти судорожно протянувшиеся ноги и этот последний вздох осудили Творца.

Подле отходящей в вечность Катерины Ивановны стоял сам Достоевский, и он не мог бы еще точнее и страшнее выразить свой, говоря словами Тютчева, «души отчаянный протест». В минуты сомнения и неверия, Достоевский винил природу, ее бездушные законы, не пощадившие даже лучшего и чистейшего из людей — Христа. В «Бесах» устами мятущегося и мятежного Кириллова выразил Достоевский свое собственное отчаяние: «Был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал, что сказал другому: «будешь со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей жить. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том-то и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся

планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек?»

Но какое отрадное, ослепительное сияющее противоречие живет в этих страшных словах! Ведь если произошло такое Чудо, а оно воистину произошло, и если это Чудо в том и состоит, что больше никогда такого же не повторится, то как же святы благословенные законы природы его в себя вместившие! Не они поступили беспощадно с Чудом ими воплощенным, но само это Чудо, добровольно, ради нас, подчинившись им до конца, «свершив последнее условье, закон последний бытия», пройдя через умирание, отменило смерть, как для Себя, так и для всех находящих в себе силы последовать за Ним и подражать Ему. Но живая жизнь развивается вне логики, и есть не только злой бунт ненасытных завистников и ненавистников, например, тайных и явных деятелей атеистических революций, но есть еще и праведный бунт, возникающий в душе человека не от безбожия или ненависти к Богу, а напротив того от любви к Нему и от избытка веры в Него. Таков бунт Катерины Ивановны, таковы ее и многострадального Иова упреки, обращенные к Отцу Небесному, — они чисты и праведны. А Раскольников призван быть свидетелем смерти Катерины Ивановны и притом *именно в Сониной комнате*, чтобы увидеть, наконец, весь ужас своего отпадения от правды и уразуметь, что нет у него никаких прав и оснований, в его злой борьбе с Божеством ссылаться, как делал он в разговоре с Соней, на горькую участь чистой сердцем страдалицы.

Смерть Катерины Ивановны приоткрывает в темной душе Свидригайлова совершенно неожиданный и негаданный тайник добрых чувств и намерений, заглушенных, но еще не растоптанных развратом. Вот эти-то остатки светлых чувств, недоступных рассудку, но все еще присущих натуре Свидригайлова, привели его в Сонину комнату и сделали свидетелем очистительной трагедии. Дважды ищет он духовного спасения: тотчас после смерти Катерины Ивановны, не выходя из комнаты Сони и немногим позднее при пос-

леднем своем свидании с Дуней, но об этой второй его попытке спастись речь будет впереди.

*

Катерина Ивановна скончалась. «Соня упала на ее труп, обхватила ее руками и так и замерла, прильнув головой к иссохшей груди покойницы. Полечка припала к ногам матери и целовала их, плача навзрыд. Коля и Леня, еще не поняв, что случилось, но предчувствуя что-то очень страшное, схватили один другого обеими руками за плечики и, уставившись один в другого глазами, вдруг вместе, разом раскрыли рты и начали кричать. Оба еще были в костюмах: один в чалме, другой в ермолке с страусовым пером».

И тут же, как бы дополняя собою и без того надрывающий сердце трагический маскарад, — вдруг появился откуда-то и очутился подле Катерины Ивановны знаменитый похвальный лист, полученный ею в счастливый день по окончании института для благородных девиц. Этим отличием всю свою горемычную жизнь гордилась Катерина Ивановна и о нем благоговейно помянул Мармеладов при встрече с Раскольниковым в трактире. Теперь похвальный лист, неизвестно откуда взявшийся, лежал рядом с умершей, у подушки. «Раскольников видел его», — замечает Достоевский. Что подумал, что почувствовал Раскольников, глядя на священную реликвию — символ тщеты всех человеческих чаяний. Вероятнее всего, еще крепче утвердился он в своем ожесточении...

«Он отошел к окну. К нему подскочил Лебезятников.

— Умерла! — сказал Лебезятников.

— Родион Романович, имею вам два нужных словечка передать, — подошел Свидригайлов.

Лебезятников тотчас же уступил место и деликатно стушевался. Свидригайлов увел удивленного Раскольникова еще подальше в угол.

— Всю эту возню, то-есть похороны и прочее, я беру на себя. Знаете, были бы деньги, а ведь я вам сказал, что у меня лишние. Этих двух птенцов и эту Полечку я помещу в

какие-нибудь сиротские заведения получше и положу на каждого, до совершеннолетия, по тысяче пятисот рублей капиталу, чтоб уж совсем Софья Семеновна была покойна. Да и ее из омута вытащу потому хорошая девушка, так ли? Ну-с, так вы и передайте Авдотье Романовне, что ее десять тысяч я вот так и употребил...

— С какими же целями вы так разблаготворились? — спросил Раскольников.

— Э-эх. Человек недоверчивый! — засмеялся Свидригайлов, — ведь я сказал, что эти деньги у меня лишние. Ну, а просто, по человечеству, не допускаете, что ли? Ведь не *вошь* же была она (он ткнул пальцем в тот угол, где была усопшая), как какая-нибудь старушонка-процентщица. Ну, согласитесь, ну «Лужину ли в самом деле жить и делать мерзости, или ей умирать?.. И не помоги я, так ведь, Полечка, например, туда же, по той же дороге пойдет».

Я уже упоминал о том, что проговорил он это «с видом какого-то подмигивающего веселого плутовства, не спуская глаз с Раскольникова». Когда же побледневший и похолодевший Раскольников, слыша свои собственные слова, сказанные Соне, «прошептал едва переводя дыхание: По-почему вы знаете?», то Свидригайлов, с тем же веселым плутовством собщил ему, что живет тут, рядом с Соней, за запертой дверью в квартире «старинной приятельницы госпожи Реслих» и тотчас заколыхался от смеха, невольно и бессознательно обнаруживая этим свою тайную мистическую связь с убитой ростовщицей и, как бы показывая Раскольникову, что ныне уж ничто не мешает им быть друг с другом нараспашку. Но Свидригайлов зависимостью от порабощающего его зла далеко не исчерпывается и не только любопытство привлекло его в Сонину комнату к постели умирающей «жизнью заезженной клячи». Нет он все еще искал, пусть нерешительно и слабо, сотворить добро и тем спастись от самоубийства, от задуманного им «вояжа», как сам он выражается при первом разговоре с Раскольниковым. На первый взгляд допустимо было бы заподозрить, что, обеспечивая сирот и заботясь о Соне, Свидригайлов, по его же выражению, «хлопочет в

свой карман» — расчитывая практической добротой и щедростью заслужить доверие Авдотьи Романовны, а кстати и Раскольникова. Однако в дальнейшем поведение Свидригайлова при свидании с Дуней, с глазу на глаз, такого подозрения никак не оправдывает. Но об этом поговорим потом. Пока же Свидригайлов, — и это не столько думается, сколько чувствуется, — переступив порог Сониной комнаты, безвозвратно нарушил без того уже шаткое равновесие светлых и темных сил в душе Раскольникова. Теперь идейный убйца вступал в новую решительную фазу своих хождений по мукам. Свет и тьма, смешавшись, превратились для него в сумрак, в тот, стирающий все грани, сумрак, к которому в часы неверия и отчаяния обращался Тютчев:

Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край,
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай.

Дух глухой и немой все настойчивее, все неотвратимее вселял в Раскольникова соблазн самоуничтожения. Но неисповедимы пути Божьи, это твердо на опыте познал Достоевский. Прежде чем, ради познания, вступить вслед за Раскольниковым в новую и последнюю фазу его хождений по мытарствам, необходимо заметить и усиленно подчеркнуть, что именно через Свидригайлова, *через него одного* посылает Бог свою помощь осиротевшим детям Катерины Ивановны, Соне — дочери единородной Мармеладова, и, наконец, Раскольникову, которого Свидригайлов, убивая себя, не только своей смертью предохраняет от самоубийства и избавляет от злого колдовства «старой ведьмы», но и спасает духовно, даруя Соне возможность последовать за ним в Сибирь и там смиренным своим подвижничеством содействовать его преображению. Раскольников, как и все порабощенные моралью и теориями люди, никому ни чем помочь не в состоянии, а развратный, преступный, совершенно *аморальный* Свидригайлов, физически уничтожая себя, за свою, перешедшую

всякую меру, греховность, оставляет по себе добрую память в чистых, благодарных сердцах. В конечном итоге выходит, что не он, далекий от всякой морали и от всех теорий грешник, остается повинен перед девственной Дуней, но она перед ним виновата. Жизнь, всегда необъяснимая, таинственная, неизменно парадоксальная, не считается с человеческими выдумками, трафаретами и штампами. Дуня доводится сестрою Раскольникову и по крови и по духу. Как и он, она стремится своевольно и насильственно овладеть жизнью, исходя из морали, из надуманной теории. Чтобы избавить от нищеты брата и мать, Дуня готова пожертвовать собою: в порядке узаконенном государством и близорукими, частенько лукавыми служителями церкви, она задумала продать себя Лужину, польстилась, как сама потом признается, на его деньги. И нужно прямо сказать, что готовность Дуни к такому особого вида самопожертвованию возникает в ней не столько от любви к брату и матери, сколько от горделивого самоутверждения и презрения к людям, хотя бессознательного, но подлинного. Вдобавок жертвенность Авдотьи Романовны не лишена, по меткому замечанию Раскольникова расчета на излишек комфорта. Из всего этого получается нечто куда более темное, чем бесплодные прогулки Сони по ночным улицам столицы.

Дуня внутренне похожа на брата, она его женственное преломление. Поэтому справедливо было бы обратиться к ней, перефразируя несколько слова Порфирия Петровича, сказанные им Раскольникову: «Еще хорошо, что вы только продать себя решили. А выдумай вы другую мораль, так, пожалуй, еще в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали». Ведь стоит лишь развить мораль или, что то же, теорию Раскольникова и Дуни, как и начнешь, чего доброго, требовать отсечения ста тысяч человеческих голов во имя социальной справедливости. Неизвестно прав ли Свидригайлов, утверждая, что живи Дуня в начале нашей эры, стала бы она, вне сомнения, христианской мученицей. Но Свидригайлову следовало бы помнить, что в те, столь отдаленные от нас времена, избранные люди принимали мученичество и умирали

с улыбкой на устах, ради смирения и во имя Христа. Но в Дуне, обуреваемой гордыней, нет никакой склонности к смирению, зато есть неукротимое стремление властвовать. Порфирий Петрович, определяя Раскольникова, выражается осторожнее. Ничего не говоря о христианстве и о начале нашей эры, он относит Раскольникова к разряду людей, готовых до конца, хоть кишки им вырезай, постоять за идею. Не будем говорить о том, что сталось бы с Раскольниковым и Дуней, живи они в первые века христианства, но в шестидесятые и семидесятые годы русского девятнадцатого столетия, в разгаре благодатных реформ, проводимых сверху, они могли бы очутиться в революционном подполье и, как говорит о самом себе Достоевский, — «встать на нечаевскую дорогу, *в случае если бы так обернулось дело*». Однако, в отличие от Достоевского, признававшего за собою возможность превратиться в молодости в нечаевца, но все же не в самого Нечаева, Раскольников был бы способен сделаться именно Нечаевым, но *нечаевцем никогда*. А из Дуни могла бы, при благоприятных к тому обстоятельствах, выйти террористка в духе Веры Засулич и Перовской. Вот и получилось бы дельце в сто миллионов раз безобразнее убийства злой старушонки процентщицы.

Не трудно предвидеть как сложилось бы существование Дуни, если бы она вышла замуж за Лужина, небрезгливого дельца и капиталиста. Она была умна и по природе своей благородна, и очень скоро поняла бы чем дышит и к чему стремится ее деятельный супруг. Она поняла бы насколько прав был Раскольников, сразу же при первом знакомстве с Лужиным, по существу определивший основную «экономическую идею» этого дельца и проходимца, скроенного по интернациональному образцу. По справедливым словам Раскольникова, стоит только довести до последствий экономическую теорию Лужина, как и «выйдет, что людей можно резать». Ужиться с таким представителем капитализма Дуня была бы не в силах. При ее темпераменте, решительности и жажде во что бы то ни стало, не из смирения, но из гордости, пожертвовать собою, она из буржуазных хором прямо перекочевала

бы в революционное подполье, бессознательно подчиняясь непреложному закону: порочная идея, как и всякая идея вообще, будучи доведена до своего завершения, переходит в свое же порочное противоположение. Таким образом в корне порочная идея капитализма неизбежно порождает порочную идею коммунизма, практически достигаемого кровавым большевизмом, служением не Богу, а дьяволу. Гордыня, ослепляющая Дуню, помешала бы ей увидеть, что переходя из комфортабельного жилья в подполье, она меняет кукушку на ястреба, что если, согласно экономической теории Лужина, можно резать ближних и дальних, то согласно с социалистической теорией, доведенной до логического завершения, тех же ближних и дальних допустимо пристреливать и разрывать бомбами на части. Из слепой гордыни и ненависти к Лужину с его капитализмом Дуня оправдала бы кровавый революционный произвол.

Предположения, высказанные мною сейчас, пусть таковыми и остаются. В действительности Раскольникова ожидала расплата за преступление неизмеримо менее страшное, а Дуню от Лужина, по верному замечанию Пульхерии Александровны, «Бог избавил! Бог избавил!»

Смерть Катерины Ивановны развязала многие, завязанные жизнью, узлы, привела Свидригайлова к Соне, Дуню к Свидригайлову в квартире госпожи Реслих и приблизила всех героев «Преступления и наказания» к окончательному решению их судьбы.

*

Смерть Катерины Ивановны изнутри меняла положение всех персонажей романа-мистерии и духовно перерождала их отношения друг к другу. Ведь не успела еще Катерина Ивановна, лёжа на смертном одре, испустить последнего вздоха, как уже Свидригайлов вошел к ней в Сонину комнату, отделенную от него до той поры наглухо запертой дверью. Говоря иначе, он проник в дотоле запертую для него, таинственную сферу души Раскольникова, где в образе кроткой Сони, жил ангел хранитель идейного убийцы. Свидри-

гайлов, — этот воплотившийся инфернальный сон Раскольникова, этот носитель злых потусторонних сил, представитель особого демона, преграждающего пути к покаянию, перешагнул теперь через заветный порог и вступил в живое общение с Соней, ангелом хранителем своего двойника. Это наиважнейшее в разрастающейся трагедии духовное событие меняло все, полагая начало перерождению опутанного грехом Свидригайлова и, тем самым, освобождая постепенно Раскольникова из под власти убитой им ростовщицы.

Катерина Ивановна была при жизни одушевленным разделом между существами смиренномудрыми, жертвующими собою ради ближних и богоборцами, утвердившимися в бунтующей гордыне, требующими от Неба ими же самими произвольно установленной, слишком человеческой справедливости, берущими все у других, но ничего никому не дающими. Трагедия Катерины Ивановны в том и состояла, что не могла она полностью присоединиться ни к тем ни к другим. Она бунтовала, требуя от Бога все же своей человеческой справедливости и одновременно уходила в заботы о пьянице муже и детях. Она одинаково любила земной мир и ненавидела и проклинала свое неудавшееся нищенское существование. С ее смертью исчезла преграда, отделявшая бунтующих от смиренных, и все в развертывающейся трагедии в тайнодейственном процессе переходило в новую фазу. Для чего понадобилось Свидригайлову устраивать денежно судьбу сирот Мармеладовых и помогать Соне выбраться из гнойной ямы, в которой она погибала?

Поступая так, он ясно сознавал, что спасает этим Раскольникова и спасает, конечно, не его бренное тело от каторжной кары, но его душу для вечности. Тут владело Свидригайловым не какое-нибудь корыстное соображение, смутно подозреваемое в нем Раскольниковым, но нечто совсем, совсем другое. В начале, он, наверное, рассчитывал таким благотворительством снова обратить на себя внимание Дуни. Я говорю «снова» потому, что несомненно была между ними в недалеком прошлом некая близость, на которую помимо намеков и догадок, ясно указывает одно словечко об-

роненное Дуней при последнем ее свидании с Свидригайловым. На заявление Раскольникова, что Дуня его, Свидригайлова, терпеть не может, тот, прищурившись и насмешливо улыбнувшись, отвечает, намекая на эту особую близость: «А вы убеждены, что не может? Вы правы, она меня не любит, но никогда не ручайтесь в делах, бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двум». Вот такой никому неведомый тайничек образовался в отношениях Свидригайлова с Дуней. И был этот тайник как будто даже нездешнего происхождения. Не напрасно Свидригайлов заявит Раскольникову: «Знаете ли, что я мистик отчасти». Во всяком случае есть в нем что-то лунное, уводящее за пределы земли. Он сладострастник, но сладострастие не чувственность: доведенное до высшего предела, оно влечет человека от чувственных утех в злодуховные области. Но одним злом Свидригайлов не исчерпывается. Он не злой дух, но очень, очень несчастное существо в какой-то степени уже не человеческого порядка. Проникая в его внутренний мир, начинаешь чувствовать к нему щемящую сердце жалость, как ни к чему неприкаянному, навеки одинокому. Он знает, что гибель его близка, его тянет к самоубийству роковая сила и в то же время он страшится самоуничтожения, боится небытия, как всякое живое создание. Сам намекая другим на решение покончить с собою, Свидригайлов испытывает мистический ужас, когда Раскольников неожиданно задает ему вопрос: «— А вы могли бы застрелиться? — Ну вот! — с отвращением отпарировал Свидригайлов. — Сделайте одолжение, не говорите об этом, — прибавил он поспешно и даже без всякого фанфаронства, которое выказывалось во всех прежних его словах. Даже лицо его как будто изменилось. — Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать: боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней». Тотчас, после этих слов и признается Свидригайлов, что он отчасти мистик. Вернее же было бы сказать, что в глубине всего своего существа он несет эту мистику. Оттого веет от него холодом запредельных пространств. Рас-

кольников при первой же встрече с ним почувствовал это. Свидригайлов сам хотел бы уйти от нездешнего холода и обратиться полностью в человека, чтобы по примеру всех смертных, наряду со злом, творить хоть немного добра. Он не лжет, говоря Раскольникову, что чувствует раскаяние в том, что причинил Дуне столько неприятностей и потому хотел бы «сделать для неё что-нибудь выгодное». К этому он добавляет, очень важное замечание: «Не привилегию же в самом деле взял я делать одно только злое». Он хочет отмежеваться от того, кому такая привилегия действительно принадлежит. Человеческое неистребимо живет в Свидригайлове, он далеко не бесчеловечен, и поэтому, даже потеряв надежду на собственное спасение, он ищет, прежде чем себя истребить, хоть кому-нибудь сделать добро и в конце концов избавляет Раскольникова от неминуемой, казалось, духовной гибели.

*

Раскольников после смерти Катерины Ивановны первые два-три дня оставался совсем один. «Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безвыходное и тяжелое уединение». Но это только казалось ему. На самом же деле, «чем уединённее было место, тем сильнее он сознавал как будто чьё-то близкое и тревожное присутствие, не то что бы страшное, а как-то уж очень досаждающее.» Получалось, что можно уйти в себя от людей, но нельзя укрыться от того, кого несешь в собственной глубине. Злой дух, всюду сопровождавший Раскольникова, был глух, нем и невидим, но упорно подавал о себе весть, понуждая свою жертву вдруг вспоминать Свидригайлова. Тогда Раскольникову «ясно и тревожно сознавалось, что надо бы как можно скорее сговориться с этим человеком и, что возможно, порешить окончательно». Тут уже ничем не прикрытое указание на связь злого духа с тем, кого он избрал себе в посредники, тут обнаруживается прямая зависимость Свидригайлова от беса, завладевшего Раскольниковым. Так же точно в «Братьях Карамазовых» Смердяков, избранный темной силой в посред-

ники, зависит от чёрта, приставленного адом к Ивану Карамазову, а в «Бесах» Петр Верховенский являет собою мерзостное земное отражение беса, поработившего Ставрогина. Все три плана вселенной находятся в непрестанном взаимообщении. Достоевский видел это, но как художник высшего духовного строя избегал в своем творчестве прямолинейности, с поразительным художественным тактом давал нам лишь ощутить присутствие, окружающих нас невидимых, но оттого не менее реальных духов райского света и кромешной тьмы.

Чего ждал Раскольников от Свидригайлова? Он не отдавал себе в этом полного отчета и только искал на кого бы ему опереться, чтобы утвердиться в своей теории — оправдать свое злодеяние. Чья-то потусторонняя воля тянула его к Свидригайлову, и он чувствовал, что тут «было что-то требующее немедленного разрешения, но чего ни осмыслить, ни словами нельзя передать было. Все в какой-то клубок сматывалось». Но как ни сматывалось, но фигура Свидригайлова все яснее и яснее отделялась от клубка, как бы обещая Раскольникову разрешить неразрешимое. «Впрочем, — говорит Достоевский, — в эти два-три дня после смерти Катерины Ивановны, он уже раза два встречался с Свидригайловым в квартире у Сони, куда он заходил как то без цели, но всегда почти на минуту. Они перекидывались всегда короткими словами и ни разу не заговорили о капитальном пункте, как будто между ними так само собою и условилось, чтобы молчать об этом до времени». И тотчас Достоевский роняет замечание: «Тело Катерины Ивановны еще лежало в гробу». А потому дух ее еще не вовсе отлетел. Невидимое присутствие умершей мешало Раскольникову и Свидригайлову коснуться «капитального пункта». При последней краткой встрече Свидригайлов успел только сказать Раскольникову, что ему удалось поместить всех троих сирот Мармеладовых в весьма приличные заведения и что отложенные для них деньги тоже многому помогли...» «Сказал он что-то и про Соню, обещал как-нибудь зайти на днях сам к Раскольникову и упомянул, что желал бы посоветоваться, что очень надо бы поговорить,

что есть такие дела...» Повидимому и Свидригайлов тоже надеялся на что-то важное найти для себя в Раскольникове, сам ясно не понимая, чего он ждет от него. Разговор происходил в сенях на лестнице. Свидригайлов пристально смотрел в глаза Раскольникову и вдруг, помолчав и понизив голос, спросил:

«— Да что вы, Родион Романович, такой сам не свой? Право! Слушаете и глядите и как будто и не понимаете. Вы ободритесь. Вот дайте поговорим; жаль только, что дела много и чужого и своего... Эх, Родион Романович, — прибавил он вдруг, — всем человекам надобно воздуху, воздуху, воздуху-с... Прежде всего!»

Немногим позднее, Порфирий Петрович, антипод Свидригайлова, уговаривая Раскольникова принести повинную, также троекратно упомянет о воздухе. «Вам теперь только воздуху надо, воздуху, воздуху!» Услышав такое повторение, Раскольников, — замечает Достоевский, «даже вздрогнул.» Два направления с неумолимой ясностью раскрывались перед ним и уклоняться от выбора было немыслимо. Пойдешь направо — тюрьма и каторга, а за ними возможность духовного преображения, спасение во Христе, горний воздух, легкое дыхание. Полетишь на крылах гордыни налево — познаешь вселенную, как некий черный бог, очутишься по ту сторону добра и зла, но станешь ли сверхчеловеком или обратишься в гориллу, дохнешь ли разреженным воздухом или ждет тебя там пустота и мертвая бесовская скука.

Перед Раскольниковым наглядным примером стоял Свидригайлов, всю жизнь предававшийся разврату по причинам совсем иным, чем обычные сладострастники. Он ведь тоже был бунтарь, не хуже Раскольникова. Его своеволие частично истощилось в разврате и обернулось скептицизмом пожилого истаскавшегося человека, вулкан потух, но склонность к оправданию духовного бунта, пиров злоумышления осталась. Говоря с Дуней о Раскольникове, он отзывается о его идее весьма пренебрежительно. «Ничего, так себе теорийка: une théorie comme une autre.» Однако, в какой-то мере он эту «теорийку»принимает и потому говорит Дуне:

«Тут, как бы вам это выразить, своего рода теория, то же самое дело, по которому я нахожу, например, что единичное злодейство позволительно, если главная цель хороша. Единичное злодейство и сто добрых дел!». Вот и обнаруживается, неправда ли, страшное внутреннее сходство Свидригайлова с Раскольниковым. Только один уже отбунтовал в своей душе покушение на Бога, и приблизился вплотную к самосуду над собою, а другой по прирожденному упорству и жестокости лет никак не может сдаться, хоть и знает отлично, что принципы то он попрал, но переступить не посмел, на этой стороне остался. Раскольников уже чувствует, что пойдет с повинной к людям, что без человека ему не прожить, что упорное запирательство доведет его до самоубийства. Для него еще есть выход из тупика. Но для Свидригайлова выхода нет. Неотступное многолетнее надругательство над святостью бытия, дарованного Богом, привело его к праздности и унынию, вселило в него непреодолимую тягу к самоуничтожению, к небытию. Но смерти он мистически боится, в отчаянии своем не надеясь даже, что ему удастся кануть в небытие, раствориться в ничтожестве. Он чувствует, что привидения являются ему неспроста, что они клочки и отрывки других миров, их начало, что привидения эти говорят человеку мертвым языком о тайнах вечности и гроба. Но какова будет эта вечность для того, кто живя на земле, попрал ее душу и над нею надругался?

А что если нет конца существованию и перед тем, кто его исказил своими смертными грехами бесконечное бытие, предстанет в виде «одной комнатки, этак вроде деревенской бани, закоптелой, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность».

Не уничтожения страшился Свидригайлов, но загробной жизни. Он пожелал Раскольникову воздуху, воздуху, воздуху, прежде всего, но сам задыхался под тяжестью собственных грехов и преступлений. В глубине души он уже решил покончить с собою, однако все еще цеплялся за жизнь и слабую замирающую надежду на спасение возлагал на Дуню.

Сложен всяк человек, а русский к тому же еще безмер-

но широк и в нем часто совмещаются и, до поры до времени, уживаются крайне противоречивые стремления и чувства. Эту несчастную русскую широкость Свидригайлов сознает хорошо и говорит о ней Дуне: «Русские люди, вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному, но беда быть широким без особой гениальности... Еще вы меня этой широкостью укоряли». Да, Дуня права, Свидригайлов по-русски широк, сложен, противоречив, и нельзя рядить его всего навсего в одержимого сладострастием человека, подобного какому-нибудь ложноклассическому персонажу. С одной стороны, наплывы сладострастия, вселяющие в него тягу к самоуничтожению, с другой стороны, забота о сиротах и Соне и все еще неумирающая надежда прикрыть, исцелить свои страшные душевные язвы Дуниной чистотой и жутко духовная забота об умершей Мармеладовой: панихиды по ней по его распоряжению служились два раза в день аккуратно.

*

Пожелав Раскольникову воздуху прежде всего, Свидригайлов «посторонился, чтобы пропустить входившего на лестницу священника и дьячка и пошел своею дорогой. Раскольников постоял, подумал и вошел вслед за священником в квартиру Сони».

«Он стал в дверях. Началась служба, тихо, чинно, грустно. В сознании о смерти и в ощущении присутствия смерти всегда для него было что-то тяжелое и мистически-ужасное, с самого детства, да и давно уже он не слыхал панихиды. *Да и было еще тут что-то другое, слишком ужасное и беспокойное* (Выделено мною. — Г. М.). Он смотрел на детей: все они стояли у гроба на коленях; Полечка плакала. Сзади них, тихо и как бы робко плача, молилась Соня... Солнце ярко освещало комнату; кадильный дым восходил клубами; священник читал: «Упокой, Господи». Раскольников отстоял всю службу. *Благословляя и прощаясь, священник как-то странно осматривался* (Выделено мною — Г. М.). После служ-

бы Раскольников подошел к Соне. Та вдруг взяла его за обе руки и преклонила к его плечу голову. Этот короткий дружеский жест даже поразил Раскольникова недоумением; даже странно было; как? Ни малешего отвращения, ни малейшего омерзения к нему, ни малейшего содрогания в ее руке! Это уж была какая-то бесконечность собственного уничижения... Раскольников пожал ей руку и вышел. Ему стало ужасно тяжело. Если бы возможно было уйти куда-нибудь в эту минуту и остаться совсем одному хотя бы на всю жизнь, то он почел бы себя счастливым». Но некуда было уйти от ощущения, как-то уж очень досаждающего присутствия чего-то тревожного. В этом чьем-то невидимом присутствии обычно не было для него ничего особенно страшного, но вот во время панихиды, помимо сознания смерти, всегда для Раскольникова мистически-ужасного, он почувствовал «что-то другое слишком ужасное и беспокойное». Не раскаявшийся в своем преступлении кровавый бунтарь стоял у гроба мученицы, праведной бунтовщицы. Его уму остались недоступны, а сердцу непостижимо-таинственны ее счеты с Творцом. Между идейным убийцей и усопшей вставала темная сила от него же самого исходившая. То был дух глухой и немой, тлетворное дыхание которого безотчетно почувствовал на себе священник и оттого «благословляя и прощаясь, как-то странно осматривался». Смирение Сони Раскольников принял за уничижение, но одновременно говорило в нем и чувство более глубокое, опровергающее всякую гордыню. Ведь уж очень низко перед собственной совестью ценил он себя, когда внимание, проявленное к нему Соней, объяснил ее склонностью к самоуничижению. Он не считал себя достойным даже малейшей нежности и ласки и думал, что ничего, кроме омерзения, со стороны Сони не заслужил. В этом пока лишь смутном сознании своей недостойности и состоял скрытый до времени от всех, залог его спасения.

Ночь после памятной для Раскольникова панихиды он проспал «в кустах на Крестовском острове и перед утром проснулся весь издрогнувший, в лихорадке; он пошел домой и пришел уже ранним утром. После нескольких часов

сна лихорадка прошла, но проснулся он уже поздно; было два часа пополудни. Он вспомнил, что в этот день назначены похороны Катерины Ивановны, и обрадовался, что не присутствовал на них». Если на панихиде он испытал нечто «слишком ужасное и беспокойное», то что же бы он почувствовал на похоронах. Ведь так же точно хоронили старуху Алену Ивановну и её сестру Лизавету. Старухе он проломил череп обухом топора, а Лизавете раскроил лоб лезвием почти до темени. Гроб, отпевание, шествие до кладбища, опускание усопшей в могилу в развертый зев земли, созерцание смерти злодейски, своевольно приумноженной преступником, всё это было теперь ему не по силам. «Настасья принесла ему есть; он ел и пил с большим аппетитом, чуть не с жадностью. Голова его была свежее, и он сам спокойнее... Дверь отворилась, и вошел Разумихин». Роковое развитие внешних и внутренних событий, вызванных к осуществлению злыми помыслами и деяниями Раскольникова, всё ускорялось, порождая встречи за встречами с последовательностью для ума непонятной, но сердцем постижимой. Множились встречи лиц, втянутых в стремительный круговорот происшествий, и персонажи романа-мистерии всё с большей и большей настойчивостью входили не друг к другу, но друг в друга и двери, как бы сами собою перед ними отворялись. Вот и сейчас, не постучав предварительно в дверь, вошел Разумихин в Раскольникова, потому что их встреча назрела, как необходимый толчек для дальнейшего развития всего происходящего. За последние дни даже в душу прямого, простодушного Разумихина стало проникать неясное, полностью им не сознанное подозрение. Разговор в нумерах Бакалеева в коридоре под лампой прошел не совсем бесследно. Какое-то неоформленное чувство зашевелилось в Разумихине, он тогда же к судебному следователю за разъяснениями побежал, но ничего от него толком не добился. Теперь он пришел к Раскольникову, чтобы хоть как-нибудь с его помощью разрубить смотавшиеся в клубок взаимоотношения в семье Раскольникова.

«А! ест, стало-быть не болен! сказал Разумихин, взял

стул и сел за стол против Раскольникова... Вот ты сидишь и вареную говядину жрешь, точно три дня не ел. Оно, положим, и сумасшедшие тоже едят, но хоть ты и слова со мной не сказал, но ты... не сумасшедший! В этом я поклянусь. Прежде всего не сумасшедший. И так, чёрт с вами со всеми, потому что тут какая-то тайна, какой-то секрет; а я над вашими секретами ломать головы не намерен.

— Так только зашел, обругаться, — заключил он, вставая, — душу отвести, а я знаю, что мне теперь делать». Раскольников тотчас догадался, на что именно Разумихин намекал и тем очень удивил простодушного друга.

— Смотри, ты запешь!

— Это так; я запью! Прощай! И он двинулся идти».

Но Раскольников заговорил о Дуне и Разумихин обратился весь во внимание.

— Я сказал ей, что ты очень хороший честный и трудолюбивый человек. Что ты её любишь, я ей не говорил, потому она это сама знает.

— Сама знает?

— Ну, вот еще! Куда бы я не отправился, что бы со мной ни случилось, ты бы остался у них провидением. Я, так сказать, передаю их тебе, Разумихин. Говорю это, потому что совершенно знаю, как ты её любишь, и убежден в чистоте твоего сердца. Знаю тоже, что она тебя может любить и даже, может быть, уже и любит. Теперь сам решай, как знаешь лучше, — надо иль не надо тебе запивать?»

Разумихин от прилива радости совсем растерялся и в ответ забормотал в восторге отрывистые слова, из которых можно было понять, что для него — Бог с ними с секретами, но что он... узнает секрет. «И уверен, — заключил он, — что непременно какой-нибудь вздор и страшные пустяки и что ты один все и затеял. А, впрочем, ты отличнейший человек! Отличнейший человек!...»

Едва зарождавшийся в нем какой-то слепой зачаток подозрения, как рукой сняло, теперь он знал, что ему делать и к чему приложить свои силы. Он верил в жизнь и сердцем ведал, что стоит только отдаться безоглядно, не

рассуждая её мудрому течению, и она рано или поздно вынесет верующего в неё, как Богом данную, на желанный берег. Сближение душ Разумихина и Раскольникова, их единение во имя предстоящего жизненного подвига, состоялось наяву. Вот почему Разумихин, втайне предчувствовал свою нерушимую духовную связь с Раскольниковым, метафизически уже прежде состоявшуюся, вошел к нему и в него, сам того не сознавая, не постучав предварительно в дверь.

«— А я именно хотел тебе прибавить, — сказал Раскольников, — да ты перебил, что ты это очень хорошо давеча рассудил, чтобы тайны и секреты эти не узнавать... Все в свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. Вчера мне один человек сказал, что надо воздуху, человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, что он под этим разумеет».

Итак, тёмная тяга к Свидригайлову не ослабевала в идейном убийце, он по-прежнему надеялся утвердиться в своем русском ницшеанстве до Ницше, и его упорство можно было бы лучше всего определить восклицанием: «нет, врешь, мы ещё поборемся!». Но Разумихина слишком захватило нахлынувшее на него счастье, чтобы мог он с полным вниманием отнестись к словам Раскольникова о воздухе.

Разумихин стоял в задумчивости и волнении и что-то соображал.

«Это политический заговорщик! Наверно! И он накануне какого-нибудь решительного шага, — это наверно! Иначе быть не может и... и Дуня знает... — подумал он вдруг.»

— Так к тебе ходит, Авдотья Романовна, — проговорил он, скандируя слова, — а ты сам хочешь видеться с человеком, который говорит, что воздуху надо больше, воздуху и... и стало-быть, и это письмо... это тоже что-нибудь из того же, заключил он как бы про себя.

— Какое письмо?

— Она письмо одно получила, сегодня, её очень встревожило. Очень, слишком уж даже...

Они оба помолчали.»

Тут Разумихин перескочил на другое и заговорил об убийстве процентщицы, подсмеиваясь над своей недавней уверенностью в невиновности красильщика и над собственными психологическими доводами, которыми он еще так недавно стремился оправдать во всем сознавшегося Миколку. С такой же точно психологической правдоподобностью доказывал он теперь обратное, невольно показывая, что все наши праздные и беспомощные занятия психологией не что иное, как довольно остроумная иллюстрация к русской поговорке «закон — что дышло, куда повернешь, туда и вышло».

Говоря о красильщике, Разумихин вспомнил кстати Порфирия Петровича, сообщившего ему всё о Миколке, сознавшемся в убийстве ростовщицы.

— Он это отлично мне разъяснил. Психологически разъяснил, по-своему.

— Он разъяснил? Сам же тебе и разъяснил?

— Сам, сам; прощай! Потом еще кой-что расскажу, а теперь дело есть. — Он вышел».

Порфирий Петрович был мастер своего дела и отлично знал цену всевозможным психологическим прогулкам по самым дальним закоулкам. Обмануть Разумихина, ему ничего не стоило. Он был заранее уверен, что тот непременно поведает всё Раскольникову и тем, надо полагать, поставит убийцу в тупик.

«— Это, это политический заговорщик, это наверно!» — окончательно решил про себя Разумихин, медленно спускаясь с лестницы. И сестру втянул; это очень, очень может быть с характером Авдотьи Романовны. Свидания у них пошли!.. А ведь она тоже мне намекала... По многим её словам... и словечкам... и намёкам, всё это выходит именно так... Но что же значит теперь это письмо? Я подозреваю... Гм! Нет это я всё разузнаю».

«Он вспомнил и сообразил все о Дунечке, и сердце его замерло. Он сорвался с места и побежал».

*

«Раскольников, как только вышел Разумихин, весь как бы обновился; опять борьба — значит нашелся исход!». Он уже досадовал на себя за то, что признался Соне в своем преступлении; «Ослабел, значит, мгновенно и радикально! Разом! И ведь согласился же он тогда с Соней, сам согласился; сердцем согласился, что так ему одному с этаким делом на душе не прожить.»

И вот он снова перестал понимать, что бороться с собственным сердцем нелепо и бессмысленно, что сердце — правда, а рассудок — ложь. Но на крючек, заброшенный Порфирием, он всё же не попался, хоть и не мог догадаться для чего понадобилось судебному следователю вводить в заблуждение Разумихина. «Итак, Порфирий сам еще и разъяснял Разумихину, *психологически* ему разъяснял! Опять свою проклятую психологию подводить начал! Порфирий-то? Да чтобы Порфирий поверил хоть на минуту, что Миколка виновен...» Раскольников никак не допускал. «Нет, — он непременно что-то задумал; тут есть намерения, но какие?» Попадать в расставленную ловушку Раскольников не хотел и приготовился к бою. Здесь, роковым образом ему вспомнился Свидригайлов — антипод Порфирия Петровича. «С Свидригайловым, — соображал он, — может быть еще тоже предстоит борьба. Свидригайлов, может быть, тоже целый исход; но Порфирий, дело другое.»

Всё, что мучительно долго, как казалось Раскольникову, набухало и ширилось в его душевных недрах, наконец назрело и просилось властно наружу, стремясь превратиться в явь. Последняя его решительная встреча с Порфирием должна была неизбежно и немедленно произойти. Эту встречу одинаково подготовили к осуществлению своей внутренней волей, в собственной глубине как Раскольников так и Порфирий. Здесь необходимо напомнить то, о чем я уже говорил; внутренне, метафизически и мистически они никогда не разлучались и теперь, выплывая из общей для них ду-

шевной бездны друг другу навстречу, не могли не столкнуться физически прямо и непосредственно.

«Раскольников взял фуражку и, задумавшись, пошёл из комнаты... Надо кончить с Свидригайловым, думал он, и во что бы то ни стало и как можно скорей. Этот тоже, кажется, ждет, чтобы я сам к нему пришел». И в это мгновение такая ненависть поднялась вдруг из его усталого сердца, что, может быть, он мог убить кого-нибудь из этих двух: Свидригайлова или Порфирия. По крайней мере он почувствовал, что если не теперь, то впоследствии он в состоянии это сделать. «Посмотрим, посмотрим, повторил он про себя.»

«Но только-что он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с самим Профирием. Тот входил к нему. Раскольников остолбенел на минуту, но только на одну минуту. *Странно, он не очень удивился Порфирию и почти его не испугался* (курсив мой. — Г. М.). Он только вздрогнул, но быстро, мгновенно приготовился. «Может быть развязка! *Но как же это он подошел тихонько, как кошка, и я ничего не слыхал? Неужели, подслушивал?*»

Но Порфирий Петрович и не думал подслушивать. Иначе он неминуемо натолкнулся бы в сенях на только-что до того выходившего Разумихина. Для чего же понадобилось Достоевскому задерживать развитие повествования на такой, казалось бы мелочи, на том как именно столкнулись Раскольников с Профирием? Раскольников бессознательно на одно мгновение почувствовал то, что творилось в глубине его собственной натуры, он бессознательно подсмотрел сокровенное мгновение: переход того, что назрело внутри в наружное, в явное. Молниеносное прозрение, чувством совершившееся в душе и уже поступающее наружу, история каждого из нас. Но мы не придаем тому никакого значения, а Достоевский придавал и, доверяясь умом и сердцем такому тайновидению, познавал духовную сущность человека.

В ту самую минуту, когда Раскольников тронулся с места, чтобы идти к Свидригайлову, он натолкнулся на Порфирия, появившегося перед ним «тихонько, как кошка», правильнее же сказать, как бесшумно воплотившееся приви-

дение. Достоевский всегда в своём творчестве пребывает на грани, отделяющей потустороннее от мира явлений, будучи художником духовного строя, он мог в часы творческого напряжения постигать переход в нашу трехмерность того, что зародилось и назрело *там*, в глубине человеческого духа. «Странно, он не очень удивился Порфирию и почти его не испугался» — говорит Достоевский.

Всей своей натурой Раскольников бессознательно чувствовал, что стоит ему действительно решиться пойти к Свидригайлову не то за советом, не то в томительных поисках «воздуха», тотчас же на его пути встанет Порфирий, как право охраняющее от бесправия. А ведь и то и другое жило и враждовало в душе идейного убийцы и терзало её, требуя выбора. Оттого и не удивился Раскольников внезапной встрече с Порфирием, что нёс его в себе и жаждал выхода из тупика.

Порфирий Петрович пришёл к Раскольникову не только для того чтобы сказать ему решительно и окончательно, кто убил ростовщицу, но и для того, чтобы покаяться в своих прежних приемах и уловках и еще торжественно отречься от праздной, ни к чему не ведшей психологии. Как дошел он до непоколебимой уверенности в том, кто именно убийца? На этот вопрос имеется всего лишь один неопровержимый ответ: он духом своим ведал и сердцем чувствовал дух России. Знание этого необычайного судебного следователя, этого метафизического сыщика, этого двойника самого Достоевского, было глубоко религиозным, мистическим. Смертельная тревога за судьбы России, духовное ве́дение её подспудных пластов и течений, её тяжких исторических грехов и великих страданий, вот что открыло и без того зрячие глаза Порфирия на преступление Раскольникова, на преступление, можно сказать и тогда и ныне *глубоко злободневное*. Не вещественные, чрезвычайно шаткие доказательства, и уж, конечно, не психологические выводы á la Фрейд, помогли Порфирию уловить истину, нет, ему единственно и всецело помогла знаменательная Родина статейка, одновременно и злая и молодая и наивная, наивная как несчастная комсо-

молка, соблазненная бесовскими внушениями, до наших дней еще невиданных извергов, предсказанная Достоевским.

Статейка Раскольникова явилась той самой «махонькой черточкой», которую, по словам Порфирия «уж этак руками можно взять было, чтоб уж вещь была, а не то что одну эту психологию». «Статейку вашу, — говорит Порфирий Петрович Раскольникову, — я прочёл как знакомую. В бессонные ночи и в исступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный, гордый энтузиазм в молодежи! Я тогда поглумился, а теперь вам скажу, что ужасно люблю вообще, то есть, как любитель, эту первую, юную, горячую пробу пера. Дым, туман, струна звенит в тумане. Статья Ваша нелепа и фантастична, но в ней мелькает такая искренность, в ней гордость юная и неподкупная, в ней смелость отчаяния, она мрачная статья-с, да это хорошо-с. Статейку вашу я тогда прочел, да и отложил и... как отложил её тогда, да и подумал: *«Ну, с этим человеком так не пройдет!». Ну, так как же, скажите теперь, после такого предыдущего не увлечься последующим»*. (Курсив мой. — Г. М.).

В статейке Раскольникова запечатлелись не только его собственные, подпольные мечты: будь Герман из «Пиковой дамы» Пушкина немного поумней, чем оказался на самом деле, и он, пожалуй, был бы способен тогда накропать, такое же точно сочинение, или, по крайней мере, подписаться под ним обеими руками. Да и он ли один. А лермонтовский поручик Вулич из «Фаталиста»! Этих двух героев недаром облюбовал Достоевский, ведь они то и были тем глубоко русским *предыдущим*, из которого вылупилось, в лице Раскольникова и в лице Кириллова из «Бесов», ни чуть не менее русское, *последующее*. При этом Достоевский с совершенством показал в «Преступлении и наказании» и в особенности в «Бесах», что русское ницшеанство до Ницше, да и после него, всегда развивалось параллельно с идейками и кровавыми злодеяниями всего нашего революционного подполья. И в высшей степени знаменательно, что представитель русского ницшеанства Кириллов, получает деньги на свое возвраще-

ние в Россию от сбежавших за границу русских революционный убийц. Достоевский, а вслед за ним, и Порфирий Петрович знали, что не только с Раскольниковым, но и с русским народом *«так не пройдёт»*. Знали они так же несомненно, что дорогу, избранную нашими ницшеанцами, русский народ, в конце концов, отвергнет, но этим не спасётся и рухнет в бездонную пропасть, уготованную ему наследниками Нечаева и всеми вместе взятыми псевдолибералами и подпольниками. А ницшеанству, выведенному на улицу и до крайности вульгаризированному (отчего своей сущности оно все же не утратило) суждено было расцвести в Германии, где Ницше систематизировал и превратил в учение этот очень древний соблазн, сразивший некогда Навуходоносора и обративший его в скота.

Замечательнее всего, что Порфирий Петрович, говоря о «черточке», им найденной и, по его словам, Богом ему посланной, на вопрос Раскольникова какая она, отвечать отказывается. Уж слишком глубоко пришлось бы ему погружаться в сущность идей и идеек, витавших тогда в воздухе российской столицы. А такое витание злых человеческих помыслов добром никогда не кончается и все теории, рано или поздно, воплощаются. Если бы не был Раскольников растерян, расколот, он несомненно вспомнил бы, что именно ответил на одно его заявление Порфирий Петрович еще при первом их свидании, ответил, как говорит Достоевский, «со страшной фамильярностью», так сказать, напрямки. «Позвольте вам заметить, — заявил тогда Раскольников, — что Магометом или Наполеоном я себя не считаю.» «— Ну, полноте, кто ж у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает?» — ответил Порфирий, повторяя, быть-может, сам того не ведая, слова Пушкина: «Мы все глядим в Наполеоны». В «Пиковой даме» Пушкин, с заранее рассчитанным намерением, но как бы мельком, говорит устами Томского, что «у Германа профиль Наполеона, а душа Мефистофеля». Одного профиля конечно недостаточно, чтобы стать Наполеоном, и, пожалуй, слишком романтично звучит «душа Мефистофеля», зато вполне, иной раз, бывает доста-

точно русскому человеку такого профиля, чтобы вообразить себя существом избранным, а тогда уже сам сатана позаботится подменить оперного Мефистофеля в душе такого избранника духом глухим и немым и ловко подсунуть в руки новоявленному человекобогу вместо рыцарской шпаги самый обыкновенный топор, наделенный, однако, таинственной властью над себялюбивым мечтателем, предъявившим жизни неоправданную претензию.

Порфирий Петрович пришел к Раскольникову, чтобы прямо и просто, откинув никчёмную психологию, сказать, что знает кто убил ростовщицу. Преступник на свободе задыхается и обретает воздух только в тюрьме и на каторге. Профирию это ведомо, и на вопрос Раскольникова, «если вы меня виновным считаете, зачем не берете меня в острог?» — отвечает: «Да и что я вас на *покой-то* туда посажу? Сами знаете, коли сами проситесь.»

Сажать Раскольникова в острог Профирию Петровичу не выгодно, в чем он сам откровенно признается. Преступник, заключенный в тюрьму, не может не чувствовать, что отбывает заслуженную кару и тем платит за содеянное зло, но поскольку он это чувствует, постольку затихают в нем угрызения совести. Профирий Петрович добивается от Раскольникова чистосердечного признания не только потому, что сам не имеет никаких вещественных улик, могущих доказать виновность преступника, но и потому, главным образом, что успел познать и полюбить его. Порфирий Петрович постиг, что грех Раскольникова есть грех России, что это она, взятая в целом как начало духовное, как нация, отвечает за своих идейных сынов. Живи Порфирий в наши дни, он, вне всякого сомнения, повторил бы, обращаясь к России, слова сказанные им Раскольникову: «Ищите и обрящете, вас может Бог на этом и ждал». Какую же иную страну, если не Россию, несущую в себе всю полноту религиозной истины, было бы Богу испытывать, проводя через страшные искушения. Настанет день, как настал он для Раскольникова на каторге, когда дрогнет очистившееся сердце России и повторит она вслед за своим блудным, преступным сыном, покаян-

ный псалом царственного грешника: «Совершенно омой меня от беззакония моего и от греха моего отчисти меня! потому что преступления мои я знаю и грех мой непрестанно предо мною.» Однако, всё это еще впереди в отдаленном и туманном будущем, а пока что Раскольников не знает поступить ли по совету Порфирия Петровича, снискать воздух в тюрьме и на каторге, или лучше пойти к Свидригайлову и обрести желанный воздух в бегах где-нибудь на свободе в Америке. Но Порфирий Петрович духовно, по существу познал Раскольникова и на вопрос идейного убийцы: — А ну, как я убегу? — отвечает: — Нет, не убежите. Мужик убежит, модный сектант убежит, — лакей чужой мысли, потому, ему только кончик пальца показать, как мичману Дырке, так он на всю жизнь во что хотите поверит. А вы ведь вашей теории уж больше не верите, с чем же вы убежите? Да и чего Вам в бегах? В бегах, гадко и трудно, а вам прежде всего надо жизни и положения определенного, воздуху соответственного, ну, а ваш ли там воздух? Убежите, и сами воротитесь. *Без нас вам нельзя обойтись* (Курсив Достоевского. — Г. М.). Я даже вот уверен, что вы «страдание надумаетесь принять», мне-то на слово теперь не верите, а сами на том остановитесь. Потому страданье, Родион Романович, великая вещь; вы не глядите на то, что я отолстел, нужды нет, зато знаю; не смейтесь над этим, в страдании есть идея. Миколка то прав. Нет, не убежите, Родион Романович.»

Порфирий Петрович знал, что без права и суда Раскольникову обойтись нельзя, но знал от так же, что идейный убийца, потерявший веру в собственную идею, в свою убийственную теорию, может сам осудить себя и от отчаяния заменить право расправой над собою. Предвидя такую, по словам самого же Порфирия, нелепую возможность, он, перед тем как уйти, не забывает обратиться к Раскольникову «с просьбицей щекотливенькой и важной» оставить на случай, если придет тому в голову «ручки этак на себя поднять», «обстоятельную записочку.»

«Порфирий вышел как-то согнувшись, и как бы избегая глядеть на Раскольникова». Он очевидно считал беседу за-

конченной и дело решенным и спешил скрыться от человека, которого «насквозь раскусил». Чрезмерно познав нашего ближнего, мы невольно стыдимся и его и себя. Есть в каждом из нас нечто не подлежащее обнажению. Не пропасть отделяет людей друг от друга и потому, обнаружив грехи и пороки другого, я тотчас нахожу их в собственной душевной глубине. Порфирию Петровичу стало стыдно не только за свое непрошенное вторжение в чужую преступную душу, но и за невольное участие в преступлении. Судебный следователь не священник, к которому мы добровольно идем каяться в грахах. В ремесле судебного следователя есть неизбежная доля насилия и цинизма. Хитроумно вырванные у преступника признания обличают, в какой-то мере, самого допросчика и иногда тревожат его, лишь по видимости, спокойную совесть. Представителю холодного, безликого юридизма надо было бы помнить, что судьба не случайно сводит его вот именно с этим, а не с каким-либо иным преступником и что непременно, роковым образом, есть у судебного следователя в глубине души нечто общее с тем, кого он допрашивает. Оскудевшее сердце чиновника-юриста не чувствует своего духовного родства с ожесточившимся сердцем преступника. Но Порфирий Петрович не только юрист, но еще и поэт и метафизический сыщик, он двойник Достоевского и совесть его чутка и отзывчива совсем как у того, кто его породил. Порфирий Петрович понял бы и оценил по существу стихи еще так недавно ушедшего от нас поэта:

Когда я к другому в упор подхожу,
Я знаю, *нам общее нечто дано,*
И я напряженно и зорко гляжу
Туда, на глубокое дно.

И вижу я много задавленных слов,
Убийств совершенных в зловещей тиши,
Обрывов, провалов, огня, облаков,
Безумства несытой души.

Проникая в духовную сущность человека, с которым свела меня как моя так и его внутренняя воля, я запечатлеваю свой собственный образ и тем самым приобретаю силу ведущую к самопознанию. Чтобы постичь чужую душу, надо к ней любовно прильнуть и увидеть то, что дано нам с ней общего. Порфирий Петрович, в отличие от своих собратьев по ремеслу, хоть и не гнушается коварно расставленными западнями и ловушками, ищет прежде всего установить духовную связь между собою и преступником. Он наделён даром любви к тому, кого так беспощадно ловит и допрашивает. Сам по себе он не жесток, но жизнь неукоснительно и сурово требует права и правды.

«По уходе Порфирия, Раскольников подошел к окну и с раздражительным нетерпением выжидал время, когда по расчету, тот выйдет на улицу и отойдет подальше. Затем поспешно вышел сам из комнаты. Он спешил к Свидригайлову. Чего он надеялся от этого человека — он и сам не знал. *Но в этом человеке таилась какая-то власть над ним. Сознав это раз, он уже не мог успокоиться, а теперь к тому же и пришло время*» (Курсив мой. — Г. М.).

Основную суть своих творений Достоевский глубоко забрасывает в складки повествования. Делает он это как бы на бегу, ни на минуту не задерживая стремительности развивающегося действия. Необходимо пристально с неослабным вниманием следить за беглыми замечаниями, недоговоренными намёками, будто бы случайно оброненными Достоевским словами. В них то как раз и скрывается глубочайшее значение того, что он хочет сказать. Ничего нет нелепее попыток отрывать в произведениях Достоевского диалог от того на чём он держится и чем живёт. А держится он на авторских молниеносных замечаниях, ничего общего не имеющих с ремарками в любой театральной пьесе, всегда внешними, реалистически деловыми. Простодушных, но чаще недобросовестных сценических деятелей соблазняют в романах Достоевского фрагменты как будто бы взятые из классической трагедии. На самом же деле, диалог у Достоевского органически срощён авторскими замечаниями и до-

полнениями с лихорадочными забеганиями вперёд и торопливыми поворотами назад. Театральным постановщикам, режиссерам и беззастенчивым писателям, коверкающим до полной неузнаваемости творения великих писателей, следовало бы помнить непреложный закон: в искусстве форма и содержание друг от друга неотделимы. Изменить форму, изменится и содержание. Ни одного слова в художественном произведении безнаказанно переставить нельзя. Но приспособлять романы Достоевского к театральным подмосткам есть особое, ни с чем не сравнимое, варварство. Хорошо сказано у Ремизова: «Действующие мысли, не лица — так только и можно говорить о героях Достоевского, это не «Анна Каренина». Но и реалистические романы Толстого искажать не подобает. Когда «Анну Каренину», ещё при жизни Толстого, впервые перекроили для французской сцены в Париже, Толстой, пожав плечами, вполне резонно заметил: «Ежели бы я захотел написать театральную пьесу, я это бы сделал, но я написал роман, для чего же его коверкать». Однако с бессовестными зашибателями монеты ничего не поделаешь. Государственные законы любой страны охраняют культурные ценности от явных погромов, учиняемых хулиганами, но от могильных червей защиты нет нигде.

Отбрасывать в произведениях Достоевского авторские замечания, будто бы невзначай сказанные им, или его героями слова, значит превращать творения величайшего художника в сборище дико загримированных сумасшедших призраков, фантастических, но при этом весьма натуралистических, ревущих и воющих зверей, что уже совсем нелепо. Когда же эти невиданные звери на минуту замолкают, то всё не перестают метаться по сцене туда и сюда:

Точно сдуру на балу
Скачут тени по стеклу.

В «Преступлении и наказании» действие развивается стремительно, но есть положения, когда, нисколько не замедляя лихорадочного наростания внешних и внутренних происшествий, начинают кружиться, топтаться на месте, авторские торопливые пояснения и беглые намеки. Это зна-

чит, что наступило время для нового перелома в ходе внутренних, душевных и духовных событий, и вот, сейчас порвется пленка, отделяющая нас от миров иных, и обнаружатся первопричины всего происходящего с нами в мире явлений, в котором мы бьемся и мучимся. В такие трудные, решающие минуты всё только-что казавшееся насущным, отступает в тень. Так было с Раскольниковым спешившим к Свидригайлову потому что *«теперь пришло время»*. Многое тревожило сейчас Раскольникова, так, например, не мог он догадаться, пойдет или не пойдет Свидригайлов с доносом к Порфирию. «Всё это, — говорит Достоевский, — его мучило и в то же время ему было как то не до того. Странное дело, никто бы, может быть, не поверил этому, но о своей теперешней, немедленной судьбе он как-то слабо, рассеянно заботился. *Его мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, — о нём же самом и не о ком другом, но что-то другое, что-то главное»* (Курсив мой. — Г. М.).

Стоило ль «терять время на какого-то Свидригайлова!» — восклицал про себя Раскольников. «А между тем, он всё-таки спешил к нему; уж, не ожидал ли он чего-нибудь от него *нового*, указаний, выхода? И за соломинку ведь хватаются? *Не судьба ль, не инстинкт ли какой сводит их вместе?* Может быть это была только усталость, отчаяние; может быть, надо было не Свидригайлова, а кого-то другого, а Свидригайлов только так тут подвернулся. Соня? Да и зачем бы он пошёл теперь к Соне? Опять просить у ней её слез? *Да и страшна была ему Соня. Соня представляла собою неумолимый приговор, решение без перемены...* Нет не лучше ли испытать Свидригайлова: что это такое? *И он не мог не сознаться внутри, что и действительно тот на что-то ему давно уже как бы нужен»*.

Этот антипод Порфирия Петровича, возникший перед Раскольниковым из зловещего сна о «старой ведьме», нужен был идейному убийце для того, чтобы в безумном дерзании бесповоротно утвердиться во зле. Ведь посулил же ему Свидригайлов «воздуху, воздуху, воздуху». Может быть

этот воздух, обретаемый человекобогом по ту сторону добра и зла, окажется чище и живительнее тюремного, в виде довольно постного утешения, обещанного Порфирием? Кто знает, может быть ещё не поздно забыть о Соне и поравняться с «Наполеоном».

Нет, совсем не так-то просто подвернулся тут Свидригайлов. Но идя к нему, одного не учитывал Раскольников: он не подумал о том, что и для Свидригайлова ещё не остановились часы, что и для него тоже «теперь подходило время». Не удивительно, однако, что этого не учёл Раскольников, заботившийся как-то слабо и рассеянно даже о «своей теперешней, немедленной судьбе», потому что решалось в нём самое «важное, чрезвычайное», наступал роковой час духовного выбора с кем быть и куда идти. А если бы только действительно совершился выбор, там, глубоко под спудом в душевной глубине, то не всё ли равно было бы тогда сидеть ли на каторге или бежать в Америку. Духовно или злодуховно можно почувствовать себя свободным даже в цепях. Весь вопрос только в том какую выбрать свободу,— обманную и следовательно бесовскую, или искупительную, жертвенную и потому Христову.

Ещё один вопрос временами мучил Раскольникова. «А что, если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить её как оружие против Дуни?» «При одной мысли об этом злоба и ненависть к Свидригайлову охватывали Раскольникова. Уж не следует ли открыться во всём Разумихину? Раскольников, — замечает Достоевский, — с омерзением подумал об этом». Это замечание в высшей степени значительно. Душевная и духовная сущность Разумихина совершенно иной породы, иного измерения, чем у Раскольникова и Свидригайлова. Разумихин — сама непосредственность и цельность и оттого грехи его не что иное как *«безумие забав»*, прощаемое Богом. Разумихин, в отличие от Раскольникова, грешит безмысленно, он далек от какой бы то ни было возможности духовного бунта, ведущего к *пирам злоумышления*, к сознательному восстанию на Творца. Недаром основная идея,

проводимая Раскольниковым в его статейке о разрешении проливать кровь *по совести*, — страшит Разумихина, ни на минуту не желающего поверить, что можно не в шутку оправдывать подобную мерзость. «Тут ошибка... Ты увлёкся.... Ты не можешь так думать», — говорит он. Как же теперь на деле показать ему, что не только думать, но и действовать так можно, и что очень часто между двух друзей пролегает невидимая пропасть. Мы все живём над духовно разделяющими нас бездонными провалами и не замечаем этого. Мы понимаем друг друга только в наглядном, в конкретном и лишь крайне редко, да и то урывками, на мгновение постигаем ближнего по существу.

Если Раскольников с омерзением подумал о возможности признаться перед Разумихиным в своём злодеянии, то ведь не меньшее омерзение испытал бы Разумихин, доподлинно узнав, на что оказался способным его друг и приятель. Он несомненно, вслед за Соней, посоветовал бы Раскольникову, немедленно пойти и во всём сознаться перед властями. А попытки идейного убийцы объяснить, что именно довело его до преступления, Разумихин просто не понял бы, как не поняла их Соня. Да и может ли человек, не одержимый бесом, уловить причины ненасытного стремления к власти над всем и всеми, возникающего в душе того, кто избран духом глухим и немым? Для такого избранника вся история человечества, все наши традиции, верования и обычаи бессмысленны. «Весь этот многовековой бред и обман, всю эту нелепицу, надо же кому-нибудь взять просто запросто за хвост и стряхнуть к чёрту! И Раскольников взял и стряхнул: «Я... я захотел *осмелиться*, и убил... я только осмелиться захотел, *вот вся причина*», — говорит он Соне. Но Соня не понимает его, зато сердцем угадывает правду, чувствует, что перед ней одержимый, преданный Богом дьяволу за грех непомерной гордыни. Но у Сони есть опыт греха; опыт смирения, потом перешедшего в ней в самоуничижение, в попрание самой себя. Противоположности соприкасаются. Но за Разумихиным ничего греховного, кроме «безумия забав», не числится и потому, доведись ему выслушать приз-

нание Раскольникова, он пришел бы в слепой и безысходный ужас. Им владеет воля к созиданию, ясному и равновесному. От злодеяний Раскольниковых и Верховенских спасать Россию и восстанавливать битую посуду, предстоит Разумихиным. Но это еще впереди. А пока незачем было Раскольникову, ни до задуманного, ни после совершенного им преступления приходить к Разумихину с признаниями. Только явка с повинною к властям и добровольно принятая каторга могли бы вернуть идейному убийце любовь и уважение его верного друга.

Мы приблизились теперь к моменту, могущему по недоразумению придтись по вкусу любителям так называемого психоанализа, многочисленным, не вышедшим и в наши дни из моды фрейдистам — претенциозным «знатокам» человеческих душ и произведений искусства. В первые три десятилетия двадцатого века мировая литература была переполнена статьями и книгами, написанными в подражание Фрейду, последователями этого безнадёжного позитивиста-материалиста, все же несколько более сложного в рассуждениях и выводах, чем Маркс, с которым по существу у него есть много общего. Маркс строил свою теорию и всё своё мировоззрение на базе желудочной, Фрейд на базе половой, эротической. Для Маркса основа вселенной — желудок, для Фрейда — половые инстинкты. Первоисток всех рассудочных построений этих двух теоретиков — все тот же, со второй половины восемнадцатого века возводимый в различные системы, атеизм, стремление подменить мертвой механикой живую психику. О Фрейде не стоило бы здесь и поминать, но домыслы этого психиатра, пытавшегося с удивительной самоуверенностью судить о величайших художниках слова, были впоследствии навязаны творениям Достоевского. Беспомощные суждения Фрейда и его последователей о художественной литературе многими и ныне принимаются за непреложную истину, как будто возможно от психиатрии, дурной или хорошей, перекинуть мост к духовным истокам искусства. Для Маркса религия и искусство лишь призрачные надстройки над единственно реальной желудочной базой;

— для Фрейда все наши творческие проявления это перестроенная на иной лад, лежащая в основе всего, половая энергия. Для такой перестройки или, что то же надстройки, было придумано Фрейдом особое псевдонаучное словцо — «сублимация», нисколько, с точки зрения религиозной и подлинно эстетической, не умаляющее оскорбления, наносимого атеистическими ухищрениями художнику и всякому человеку, сотворённому по образу и подобию Божьему. Когда еще допустимо, весьма условно, заговаривать о сублимации или по выражению Льва Толстого, о «перегонной чувственности» при подходе к художникам душевно-телесного склада, то применять такого рода определение к художникам мышления, к творцам духовного строя, совершенно нелепо. Вопрос ставится просто и ясно: есть или нет для человека загробная жизнь? Если да, то художник родится «не подражателем природе, но подражателем Творцу» и следовательно глубина его искусства отражает некую инопланную, абсолютную реальность. Если же нет бессмертия, то, вопреки утверждению Баратынского (в стихотворении на смерть Гёте), творца *не* «оправдывает могила его», потому что он свидетельствует ложно и, сознательно или бессознательно, разыгрывает роль самого низкого обманщика и «научное» слово Фрейда вступило бы в силу и «творение» художника стало бы ничем иным, как «перегонной чувственностью», теша лишь очень неприхотливых людей. Нет, в творениях великих художников слышатся отзвуки высшего мира и поэтому-то искусство так утешительно.

Я упомянул о Фрейде и его подражателях, чтобы тотчас провести твердую непроходимую грань между психопаталогией ныне бесчисленных «психоаналитиков» с их разговорами о подсознании и Достоевским, исходившим в своем творчестве из натуры человека взрывчатой, непостижимой, являющейся, по его утверждению, «ареной борьбы Бога и дьявола». Для Достоевского, поскольку он художник, Бог и дьявол доподлинно существуют, нельзя произвольно подменять другими, к тому же еще шаткими понятиями, основные положения самого автора и внедрять чужеродные теории

в живую ткань художественного произведения. Поступать так, значит ровно ничего не смыслить в искусстве.

Но вернемся к Раскольникову, спешившему к Свидригайлову.

«Он остановился посредине улицы и стал осматриваться: по какой дороге он идет и куда он зашел? Он находился на — ском проспекте шагах в тридцати или сорока от Сенной, которую прошел. Весь второй этаж дома налево был занят трактиром. Все окна были отворены настеж; трактир, судя по двигавшимся фигурам в окнах, был набит битком. В зале разливались песенники, звенели кларнет, скрипка и гремел турецкий барабан. Слышны были женские взвизги. Он было хотел пойти назад, *недоумевая, зачем он повернул на — ский проспект*, как вдруг, в одном из крайних отворенных окон трактира, увидел сидевшего у самого окна за чайным столом, с трубкой в зубах, Свидригайлова. *Это страшно, до ужаса поразило его.* Свидригайлов наблюдал и рассматривал его молча, и, *что тоже тот час же поразило Раскольникова,* кажется хотел было вставать, чтобы потихоньку успеть уйти, пока его не заметили.*Раскольников тотчас сделал вид, что как будто и сам не заметил его и смотрит, задумавшись, в сторону, а сам продолжал его наблюдать краем глаза.* Сердце его тревожно билось. Так и есть; Свидригайлов, очевидно, не хотел, чтобы его видели. Он отвёл от губ трубку и уже хотел спрятаться; но поднявшись и отодвинув стул, вероятно, вдруг заметил, что Раскольников его видит и наблюдает. *Между ними произошло нечто похожее на сцену их первого свидания у Раскольникова, во время сна.* Плутовская улыбка показалась на лице Свидригайлова и все более расширялась. *И тот, и другой знали, что оба видят и наблюдают друг друга.* Наконец Свидригайлов громко расхохотался.

— Ну, ну! Входите уж, коли хотите; я здесь! — крикнул он из окна.

Раскольников поднялся в трактир» (Курсив везде мой. — Г. М.).

Раскольников сам не понимал зачем повернул на — ский

проспект. Он направлялся, как ему казалось, к улице и дому, где проживала Соня и где в квартире госпожи Реслих остановился Свидригайлов. Но вот, что-то неведомое привело его, помимо рассудка, на —ский проспект, к трактиру, в котором он внезапно увидел сидевшего у самого окна Свидригайлова. Почему же «это страшно до ужаса», иными словами, до мистического потрясения поразило его? Ведь мог же Свидригайлов вполне естественно очутиться в трактире, находившемся совсем недалеко от квартиры госпожи Реслих, и мог же Раскольников по рассеянности попасть на — ский проспект. Откуда же такой испуг, откуда такое потрясение? Тут Достоевский, как истинный художник, избегая короткого замыкания, бросает психологам и психиатрам ими же самими уж и в те времена в достаточной мере обглоданную кость. Но прежде всего необходимо вспомнить, что точно такое же изумление, такой же ужас, как и теперь при виде Свидригайлова, охватили Раскольникова, когда, замыслив убить ростовщицу, встретил он, проходя по Сенной площади, Лизавету, разговаривавшую с мещанином и бабой — торговцами мелким товаром. Раскольников был потрясён, «хотя, — замечает Достоевский, — во встрече этой не было ничего изумительного». Однако недаром Раскольников «во всем этом деле всегда потом наклонен был видеть некоторую как бы странность, таинственность, как будто присутствие каких-то особых влияний и совпадений». Возвращаясь тогда к себе домой, он свернул с прямой дороги на Сенную площадь совершенно бессознательно, но совсем не случайно, как можно было бы предположить, простодушно доверясь хитрой оговорке Достоевского, сделанной с расчётом несколько смягчить чрезмерность ужаса перед надвигающимся роком. Нет, во встрече Раскольникова на Сенной с Лизаветой было нечто изумительное, вопреки автору.

К такому же точно приёму смягчения прибегает Достоевский говоря о том, как «страшно до ужаса», поражён был Раскольников, увидев неожиданно Свидригайлова сидящего в трактире. И удивительно с какою наивностью попадаются

многодумные психологи в ловушки, намеренно расставленные для них Достоевским.

В этом отношении презабавная сценка разыгралась как только Раскольников вошёл к Свидригайлову в трактир.

Вот она во всей своей хитроумной красе:

«— Я к вам шёл и вас отыскивал, — начал Раскольников, — но почему теперь я вдруг поворотил на — ский проспект с Сенной! Я никогда сюда не поворачиваю и не захожу. Я поворачиваю с Сенной направо. Да и дорога к вам не сюда. Только поворотил, вот и вы! Это странно!

— Зачем же вы прямо не скажете: это чудо!

— Потому что это, может-быть, только случай.

— Ведь какая складка у всего этого народа! — захохотал Свидригайлов. — Не сознается, хотя бы даже внутри и верил чуду! Ведь уж сами говорите, что «может быть» только случай. *И какие здесь всё трусишки насчет своего собственного мнения* (Курсев мой. — Г. М.), вы представить себе не можете, Родион Романович! Я не про вас. Вы имеете собственное мнение и не струсили иметь его. Тем-то вы и завлекли мое любопытство... — А насчет чуда скажу вам, что вы, кажется, эти последние два-три дня проспали. Я вам сам назначил этот трактир и никакого тут чуда не было, что вы прямо пришли; сам растолковал всю дорогу, рассказал место где он стоит, и часы, в которые можно меня застать. Помните?

— Забыл, — отвечал с удивлением Раскольников.

— Верю. Два раза я вам говорил. Адрес отчеканился у вас в памяти механически. Вы и повернули сюда механически, а между тем строго по адресу, сами того не зная. Я и говоря-то вам тогда не надеялся, что мы меня поняли...»

Не получается ли, по словам Свидригайлова, что во всей этой истории Раскольников бессознательно сыграл роль всего только автомата? Но к чему тогда отнести неожиданное упоминание о чуде и вере в него иных людей и заявление о «трусишках насчет собственного мнения», скрывающих от других свою веру в чудеса? Я уже неоднократно упоминал о том, что, по Достоевскому, можно многое знать

бессознательно. Под таким *знанием* он разумел совсем не подсознательную душевную сферу в нас, о которой ныне бесконечно толкуют психиатры и психологи, но особое внерассудочное и рассудку недоступное внутреннее сознание, присущее натуре человека в целом. Это особое духовное сознание никак не опровергает наличия в нас подсознательной сферы, служащей складом вытолкнутых рассудком и впоследствии позабытых им, часто злых и греховных чувствований и представлений до конца не изжитых, и потому, хотя и очень смутно, но мучительно напоминающих о своем приглушенном существовании. Наше подсознание может удержать сведение, заброшеннное в него кем-нибудь другим. Подсознательно Раскольников запомнил, тотчас забытый его рассудком, адрес, сообщенный Свидригайловым. Однако далеко не всё происходящее в человеке и тем более услышанное им со стороны, западая в его подсознание, властвует над ним безоговорочно. Есть еще в душевной глубине нечто основное, беспримесно духовное, допускающее одно и отбрасывающее другое. Это *нечто* владеет нашей натурой в целом и сохраняет лишь то, что ей на потребу. Конечно механика механикой, но душа жива и в духовной глубине своей свободна в выборе. Не подсознание привело Раскольникова в трактир, но сама натура притянула его к Свидригайлову. Человек ответственен за свои деяния, помыслы и чувствования именно потому, что его натуре присуща свобода духовного сознания, в силу которой оно может превратиться из духовного в злодуховное как, например, у Нечаева, Петра Верховенского — законченного убийцы по убеждению. Такое существо, сохраняя свое внешне человеческое обличие, унижает натуру, становится как бы тенью самого себя, исчадьем преисподней. В подобную тень на мгновение обратился Раскольников, когда убивал старуху. Ницшеанец до Ницше, герой «Преступления и наказания» всего лишь прикоснулся к бесовскому злу и различные пути к спасению на земле и в вечности ему не заказаны. Он еще может принять каторгу и раскаяться или, во искупление содеянного зла, сойти с ума, как Иван Карамазов, как сам

Ницше, или, наконец, по примеру Свидригайлова казнить себя добровольно. Казнь, совершенную над собою Свидригайловым, только мертвый моралист, чуждый христианству, может назвать самоубийством. Нет это нечто гораздо более сложное, многопланное, таинственное. Раскольникова притягивало к Свидригайлову далеко не одно желание оправдать свое преступление. Как ни странным покажется моралисту или, по терминологии Достоевского, «порядочному человеку», но надо сказать и подчеркнуть, что, вопреки всем злостным теориям и темным деяниям Раскольникова, натура его искала своего спасителя и чуяла такового в Свидригайлове. Раскольников, неожиданно натолкнувшись на Свидригайлова, испугался до ужаса, потому что его духовному сознанию была ведома злая мистическая связь с убитой ростовщицей этого человека, предающегося уже не только простому, явному но, если допустимо так выразиться, метафизическому разврату. Причастность Свидригайлова к бесовским утехам, страшит идейного убийцу, но он все же ищет утвердиться через него в нераскаянности, предвидя одновременно сердцем возможность спастись при помощи этого злого, загадочного, несчастного, трагического существа. Какое же тут возникает неразрешимое противоречие в духе! О таких противоречиях словами незабываемыми сказал Розанов: «Есть вещи в *себе* диалектические, высвечивающие (сами) и одним светом и другим, кажущиеся с одной стороны так, с другой — иначе. Мы люди страшно несчастны в своих суждениях перед этими диалектическими вещами, ибо страшно бессильны. Бог взял концы вещей и связал в узел — неразвязываемый. Распутать невозможно, а разрубить — все умрет». Как неизменно и умирает от вторжения тупых моралистов в святая святых непостижимого. Моралистическим варварам кратко и вразумительно отвечает тот же Розанов: «Я еще не такой подлец, чтобы думать о морали.» Достоевскому нет дела до нее. Он знает слишком хорошо, что судить о Боге, исходя из человеческой справедливости и прописной нравственности, значит отрицать всесильность,

вездесущность Его, или признавать Его, немилосердно, безмерно жестоким. Жизнь и душа человеческая — клубок противоречий, распутать который можно лишь непосредственным опытом, всем чувствилищем, не разрубать, а натурой внедряясь в существование. Только тогда проникает нас любовь к ближнему — единственное орудие безошибочного познания истины. Вот почему, между прочим, никто из персонажей «Преступления и наказания» не подошёл так близко к христианству и, притом православному, как Разумихин, не брезгающий ни порочными людьми, ни безотрадными явлениями жизни.

Рассудком Раскольников ненавидел Свидригайлова, а натурой тянулся к нему, хотя и боялся зависимости от него, он чувствовал в нём самом себя, свое роковое продолжение. Он внутренно знал, что его судьба неразрывно, духовно, органически связана с судьбой Свидригайлова, который, в свою очередь, бессознательно знал об этом. Они рады были бы спрятаться один от другого, и внутреннее безотчётное желание обоих избежать друг друга отражается в мире явлений целым рядом путанных обстоятельств, как бы препятствующих их встрече. Так, например, и данное появление Раскольникова у окна трактира нарушало в данную минуту некоторые личные планы Свидригайлова, тщетно попытавшегося ускользнуть от своего двойника. Раскольников тотчас же сделал вид, что и сам не видит Свидригайлова. Ему уж очень захотелось отсрочить неизбежную встречу, решавшую окончательно, он это чувствовал, его дальнейшую участь. Получилось загадочное повторение того, что уже однажды произошло, когда Свидригайлов, по приезде в Петербург, явился к нему знакомиться. Но мало ли что чувствуется и знается бессознательно. Войдя в трактир, Раскольников не замедлил спросить Свидригайлова: «Если вы сюда приходите пить и сами назначили два раза, чтоб я к вам сюда же пришел, то почему вы теперь, когда я смотрел в окно с улицы, прятались и хотели уйти? Я это очень хорошо заметил.

— Хе-хе! А почему вы, когда я тогда стоял у вас на

пороге, лежали на софе с закрытыми глазами и притворялись, что спите, тогда как вы вовсе не спали? Я это очень хорошо заметил.

— Я мог иметь... причины... вы сами это знаете.

— И я мог иметь свои причины, хотя вы их и не знаете».

Основания, причем самые простые и у того и у другого действительно имелись. Но нельзя не ощутить, что за этими видимыми основаниями скрывается что-то сложное и таинственное.

Раскольников, увидев на пороге своей комнаты незнакомого господина, заподозрил в нем сыщика и прикинувшись спящим, стал из-под прикрытых век наблюдать за его дальнейшим поведением. А Свидригайлов, заметив остановившегося подле трактира Раскольникова, попытался уклониться от встречи с ним из опасения, что тот помешает его заранее назначенному свиданию с Дуней, которое, на какой-нибудь час позднее должно было состояться в квартире госпожи Реслих.

Но в творчестве Достоевского реально не то, что наружи, а то что под спудом. Там слышится бурление кипящих вод и надо подсторожить «их темный из земли и души исход», чтобы сознать подлинную сущность свершающегося. Внешние события и обстоятельства порождаются тем, что внутри нас, и лишь смутно, в инобытийственном виде, отражают тайное, пребывающее не в мелко низменном подсознании, но в глубине глубин человеческого духа. Судьба Раскольникова зависит от поведения и дальнейших решений Свидригайлова. Отсюда чувство опасности и ужас, испытанный идейным убийцей при внезапной встрече со своим двойником, впервые явившимся перед ним воочию из сна об инфернальной старухе. А боязнь перед воображаемым сыщиком, это на жизненной поверхности того, что происходит в душе, на арене борьбы Бога и дьявола.

*

Раскольников ожидал иного от свидания с Свидригайловым, хотя и не мог бы с точностью определить, на что именно остается ему надеяться. Не понимал полностью и Свидригайлов, почему тянуло его к Раскольникову и, сознавал это. На вопрос Раскольникова «зачем я вам так понадобился?» — он перечисляет только явные причины этой надобности: «Мне понравились вы фантастичностью вашего положения, — вот чем! Кроме того, вы брат особы, которая меня очень интересовала, и, наконец, от этой самой особы в свое время я ужасно много и часто слыхал о вас, из чего и заключил, что вы имеете над нею большое влияние; разве этого мало? хе-хе-хе!».

Когда бы писал Достоевский реалистические романы, то перечисленных здесь причин было бы вполне достаточно для дальнейшего развития психологической интриги. Но за явным кроется тайное и никто из художников так хорошо не ведает этого, как автор «Преступления и наказания». Не ведая, чувствует это и Свидригайлов, общающийся, не бесследно для себя, с миром потусторонним. Оттого он тотчас добавляет: «Впрочем, сознаюсь, ваш вопрос для меня весьма сложен, и мне трудно на него вам ответить. Ну, вот, например, ведь вы пришли ко мне теперь мало того, что по делу, а за чем-нибудь новеньким? Ведь так? Ведь так? — настаивал Свидригайлов с плутовскою улыбкой. — Ну, представьте же себе после этого, что я сам-то, еще ехав сюда в вагоне, на вас же рассчитывал, что вы мне тоже скажете что-нибудь *новенького* (курсив самого Достоевского. — Г. М.) и что от вас же удастся мне чем-нибудь позаимствоваться! Вот какие мы богачи!

— Чем это позаимствоваться?

— Да что вам сказать? Разве я знаю чем?...

Выходит, что подчеркнутого Достоевским *«новенького»* никакими явными причинами и практическими расчетами исчерпать нельзя: его истинное значение уходит вглубь и рассудку не поддается. Остается или верить в чудеса, как

втайне верит Раскольников, или принять творчество Достоевского за нечто произвольно фантастическое, состоящее из ничего не значущих намёков на мистику, для многих просто несуществующую. Замечательно, что сам-то иронизирующий Свидригайлов в мистику верит и даже надеется с помощью Раскольникова ухватиться за потустороннее *новенькое*. Впрочем к вере в нездешнее он уже несколько подготовлен привидениями, запросто приходящими к нему из мира иного.

Но надежда получить при встрече друг от друга что-то важное и решающее оказалась для обоих тщетной. Ведь самое страшное и непреодолимое в жизни это будень, беспросветный будень, заволакивающий и совсем скрывающий от нас все истинно реальное и, следовательно святое, а вечный Бог греха и скуки не создавал, но они неуловимы и сквозь их мутную пелену мы ничего не различаем в ближнем, кроме бледного будничного облика, не подозревая даже, что смотря на него, видим в зеркале самих себя, вернее же сказать, нашу собственную, весьма непривлекательную маску. Так и Раскольников заметил только свой же греховный отпечаток на лице Свидригайлова. Грех однообразен и личины от личины не отличить. Разговор в трактире ни к чему не привёл и ничего *новенького* ни тому ни другому не открыл: уж очень это *новенькое* туманно и неуловимо скользило между слов и мгновенно уходило вглубь, недосягаемую для простого рассудка. Но в том то искусство Достоевского и состоит, чтобы никогда до конца не обнаруживать второй таинственной сферы бытия, неотъемлемо, духовно органически сопутствующей всему житейскому, повседневному, серому в человеке. Истинное, действительно реальное находится не в наших словах, но между, под и над ними. За фанфаронством, напускной иронией и цинизмом чувствовалась в болтовне Свидригайлова смертельная тоска и страх существа, погрязшего в пороках, потонувшего в *метафизическом разврате*. Но бессмертная душа этого существа еще таила в себе последнюю надежду на спасение здесь, на земле. Раскольников не учуял боли и муки в своем двойнике. А Свидригайлов неотвра-

тимо приближался к самоказни, если не искупающей злодеяний, то все же спасающей его от самоубийства. Тень Марфы Петровны недаром Свидригайлова *«посещать изволит»* и он временами как бы теряет представление о времени и месте. Так при первом свидании с Раскольниковым он говорит, что еще только два часа тому назад видел призрак покойницы, а теперь на вопрос Раскольникова продолжает ли к нему приходить Марфа Петровна, отвечает противореча себе: «Ну их, не поминайте; в Петербурге еще не было; да и чорт с ними!» Провалов своего двойника во вневременное и ни к чему не приуроченное Раскольников не замечает, он не видит непоправимого несчастья и обреченности Свидригайлова и из разговора с ним делает вывод совершенно необоснованный: «И я мог, хоть мгновение, ожидать чего-нибудь от этого грубого злодея, от этого сладострастного развратника и подлеца!» Из этих слов явствует, что Раскольников все еще продолжает опираться на мораль, как впрочем и подобает всякому идейному убийце ницшеанского или же социалистического толка. Но Достоевский спешит заметить от себя: «Правда, что суждение свое Раскольников произнес слишком поспешно и легкомысленно. Было нечто во всей обстановке Свидригайлова, что, по крайней мере, придавало ему хоть некоторую оригинальность, если не таинственность». Из чувства меры Достоевский, в данном случае, избегает говорить прямо и только издали наводит читателя на верное постижение личности Свидригайлова вполне безоговорочно таинственной. Стоило ли бы поминать о поспешности и легкомыслии в суждении Раскольникова, когда было бы в Свидригайлове всего только «нечто», придающее ему *некоторую* оригинальность. Многого не замечал Раскольников из вершившегося в других и происходящего вокруг, иначе он догадался бы что в его собственном двойнике творилось то же, что и в нем самом. Ведь в те дни и Раскольников как бы терял опору под ногами и чувство действительности. «Припоминая это время потом, уже долго спустя, он догадывался, что сознание его иногда как бы тускнело... Он был убеждён положительно, что во многом тогда ошибался, на-

пример, в сроках и времени некоторых происшествий... Одно событие он смешивал, например, с другим, другое считал последствием происшествия, существовавшего только в его воображении». Беспомощный, потерявшийся, он повисал над той же бездной, что и его несчастный двойник, Свидригайлов, но в этом тождестве положения не отдавал себе отчета. К чему же могла бы привести их беседа в трактире? Она показала, что внутренно они разительно друг на друга походили и один другого продолжали. Но для Раскольникова жизнь была впереди, а Свидригайлова уже поджидала, по крайней мере физическая, скорая гибель. Он чувствовал приближение смерти и страшился загробных призывов Марфы Петровны, призрачно существовавшей *здесь*, но вполне реальной *там*. Могут ли умершие, под тем или иным видом, посещать живущих на земле? Из разговора Свидригайлова с Раскольниковым о привидениях, следует как будто, что такую возможность Достоевский не отклонял. Его верный последователь Случевский проводил непереходимую грань между умершими и живущими и отрицал реальность привидений. По его разумению они всего лишь «личный бред» отдельного человека. Для Случевского:

Скончавшийся и тот что жив,
То светопись и негатив.
Живущий там, умерший тут,
Как отрицание живут.

Иными словами, существование моего «Я» возможно *там*, лишь при условии, если здесь оно бесповоротно и окончательно свелось к абсолютному нулю и уже никак, ни под каким видом раз и навсегда не может проявить себя в земных очертаниях. Но Достоевский вслед за Свидригайловым готов признать привидения за нечто реальное, что не только не противоречит его мировосприятию, но вполне последовательно вытекает из него. По Достоевскому вселенная трехплана и эти планы находятся в непрестанном взаимообщении. Но если это так, то кто же может предвидить какие именно

условия и формы общения способны возникнуть между живущими на земле и отошедшими в мир иной? И вот к Свидригайлову приходит с того света Марфа Петровна; Ставрогин видит бесов и явно для себя, общается с ними, к Ивану Карамазову является чёрт и беседует с ним. Вдобавок этот чёрт сросся со своим земным отражением, с обликом лакея Смердякова. А Раскольников чувствует рядом с собой неотступное присутствие злого духа, руководящего многими его поступками через своих посредников, людей часто самих по себе невинных, непричастных злу. Так, например, безвестный жилец густо населенного дома, в котором проживает Раскольников, обращаясь со двора к кому то с окриком: «семой час давно» — предупреждает, по воле злой силы, сам того не ведая, идейного убийцу, что пора идти убивать, ростовщицу. По всей вселенной от всех существ и сущностей тянутся нити и все и всё воздействует друг на друга, источая свою волю. Из персонажей Достоевского, часто ощутимо связанных с собственным потусторонним миром, *Свидригайлов самый таинственный*, он пронизан нездешними токами и душа его находится в общении с нежитью, являющейся к нему в кошмаре под видом мыши, бегающей по постели, мелькающей зигзагами во все стороны и вдруг превращающейся в неизвестное существо, во что то снующее неизъяснимое, вскакивающее ему за пазуху, шаркающее по телу, за спиной, под рубашкой. Все это мерещится Свидригайлову в ночь перед смертью. Но нечисть не в силах одолеть его, свести на нет, и лишь скользит по периферии его души, не достигая сердцевины. Погибая в земной жизни, двойник Раскольникова стремится оставить по себе добрую память, хотя бы в тех, с кем довелось ему встретиться в последние дни перед самоказнью. Почему? Ведь законченные злодеи и в предсмертную минуту о добре не заботятся. Думая о судьбе Свидригайлова, испытываешь острое чувство жалости. А вот если бы, даже на глазах у всех, четвертовали таких исчадий как Петр Верховенский, как Нечаев, то вряд ли кто-нибудь пожалел бы их.

Доброе начало в Свидригайлове живо и он уносит его

с собою к преддверию ада, как некую нерушимую защиту от загробных мытарств, угрожающих вечной погибелью. Величайшее несчастье Свидригайлова в том, что здесь на земле он уже раскаяться не в состоянии. Раскаяние есть решительный отказ от греха и порока. На это у Свидригайлова, опутанного своими злодеяниями, духовных сил не хватает. Он ищет спасения в Дуне, судьба которой действительно могла бы при ином развитии событий слиться с его судбой и тем вдохнуть в погибающего, дух живой. Но не раскаяние, а отчаяние владеет Свидригайловым, пресекая для него всякую возможность избавиться от порочных навыков. Взывая внутренно к Дуне о спасении, он прибегает к шантажу, чтобы заставить ее придти на свидание, а когда она приходит в смертельной тревоге за брата, он пытается ею овладеть, обещая достать Раскольникову паспорт для побега за границу. Какое страшное смешение и столкновение противоречивых вожделений и чувств! Конечно, в душе любого человека наблюдается такое же смешение разнородных наклонностей, но нет столкновений; всё в среднем человеке вершится тускло и вяло и оттого погружается он в гибельный омут, нас всех поджидающий, хуже и безнадежнее, чем Раскольников или двойник этого идейного убийцы. Невозможно разобраться до конца в чём по-настоящему состоят злодеяния Свидригайлова и где начинается, как он сам говорит, «мрачные таинственные сказки, которые мне приписывают». Чем сложнее человек, тем противоречивее его помыслы, чувствования и поступки и тем больше о нем россказней, ядовитых и опасных слухов. У кумушек в юбках и штанах языки работают на диво! Достоверно свидетельствует, пожалуй, о преступности Свидригайлова лишь одно видение, померещившееся ему перед самоказнью. В полудремоте ему пригрезился гроб. «Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. Гирлянды цветов обвивали его со свех сторон. Вся в цветах лежала в нем девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми на груди, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, волосы светлой блондинки, были мокры; венок из

роз обвивал её голову. Строгий и уже окостенелый профиль её лица был тоже как бы выточен из мрамора, но улыбка на бледных губах её была полна какой-то недетской безпредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца — утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившею незаслуженным стыдом ее ангельски-чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда был ветер»...

Очень верно подмечено в книге Мочульского, что наводнение оттого сопутствует смерти Свидригайлова, что водная стихия, поглотившая утопленницу по вине этого злодея, мстит ему за себя и становится свидетельницей его исчезновения. Так, мать-земля отвергает и как бы смывает с себя Свидригайлова. Всё же гибель его, даже здесь на земле, не окончательна: спасенный им от самоубийства Раскольников, вечером, идя в полицейскую контору признаваться в убийстве полиции, посреди площади отвешивает поклон до земли не только за себя, но и за своего двойника, охваченного уже загробными мытарствами. Раскольникова связывает с Свидригайловым круговая порука греха. Идейный убийца опускается на колени и целует землю по внутреннему зову собственной натуры «рассудку вопреки, наперекор стихиям». И думается, что невозможно более уместно, чем здесь, привести эти слова Грибоедова тысячи раз и по разным поводам поминаемым. Рассудку не проникнуть в тайны человеческой натуры и никакая стихия не в силах уничтожить духовную сущность человека. Конечный залог спасения Раскольникова и его насчастного двойника таится в поклоне до земли при всём честном народе, в поклоне, осуществившемся не по воле преступника, но по повелению его натуры, в глубине своей не причастной греху. Но до подлинного очищения еще очень далеко и Раскольникову и Свидригайлову. Ницшеанцу

до Ницше предстоит «перетащить на себе» каторгу с ее вшивой безотрадностью и с бессмысленной злобой кровавых разбойников, сбитых в кучу на аршине пространства. Тут тебе и вся вечность! Когда то ещё, по примеру Достоевского, разглядит Раскольников среди заклейменных отверженцев тех, кому суждено вернуть ему утраченную веру в Христа как в Бога живого. Свидригайлову за вечность покажется срок, отпущенный ему небом на искупительные мытарства. Но Соня, перед своим отъездом в Сибирь, уж конечно не забудет внушить сироткам Мармеладовым, как должны они молиться за упокой души раба Божьего Аркадия, их общего благодетеля. Помощь утопающим Свидригайлов, перед своей грешной кончиной, оказать не забыл. Что думал и чувствовал он при этом и поступая так, рассчитывал ли облегчить хоть немного свою посмертную участь? Чужая и собственная душа-загадка, но уж во всяком случае не психологам, но лишь одним духовидцам, проживающим в старые времена по монастырским кельям, надлежить ее разгадывать. Это хорошо знал Достоевский и недаром перед закатом своей жизни поехал в Оптину Пустынь к старцу Амвросию, духовному отцу Константина Леонтьева, наиумнейшего русского человека. Правда, безоговорочной полноты православной истины Достоевский для себя из Оптиной Пустыни не вынес; слишком глубоко увязвило его жало, данное ему свыше в дух, дабы помнил он всегда о своем страшном падении и безмерно не заносился бы лишь частично дарованными ему откровениями. Что же касается неизбывной боли, которую испытывал Достоевский при виде духовно погибающих, то проникала она в него и укрепилась на каторге, когда он увидел близ себя уголовных убийц и, приравненный к ним карающим беспощадным законом, вдруг постиг и понял что именно таким приравнением проявили к нему величайшее милосердие Суд Вышний и человеческий; что в «пирах злоумышлений», хотя бы только мечтательно, пал неизмеримо ниже любого взломщика и грабителя с большой дороги. Павший ниже всех и снова вставший на ноги, не может не чувствовать жалости к заблудшим и не проповедывать снисхождения к ним.

И проявляется тут не сентиментальная выдумка какого-нибудь либерально настроенного буржуа, но нечто бытийственно и религиозно оправданное. Если есть круговая порука греха, то есть и круговая порука спасения и лишь тот выпадает из нее, кто попрал в себе образ и подобие Божие до конца. К таким извергам, ни Раскольникова, ни Свидригайлова отнести нельзя. У нас, прошедших через всероссийскую революционную катастрофу и очутившихся в изгнании, имеется единственная, но зато драгоценная привилегия. Мы ни в чём не зависим от так называемого общественного или, выражаясь точнее, стадного мнения и можем открыто говорить о том, что в дореволюционное время умные и честные русские люди, под давлением интеллигентской цензуры, вынуждены были хранить про себя. Итак, *преступление, совершенное молодым Достоевским, стократ страшнее злодеяния Раскольникова и злостного разврата Свидригайлова.* Принадлежать к безымянному подпольному коллективу и с ним заодно оправдывать пролитие потоков крови ни в чём не повинных людей, подготовляя тем самым осуществление дьявольского зла, творимого ныне в России, можно ли вообразить себе что-либо преступнее этого? Один только Петр Верховенский-Нечаев из «Бесов», неотличимый от подлинных бесов, ужаснее в своём падении любого подпольного революционного героя. А между тем Достоевский сам признается, что в молодости был бы способен стать участником, членом нечаевской шайки. Но он преобразился духовно, может преобразиться и Раскольников, может и Свидригайлов, протягивающий перед смертью руку помощи своим ближним, спастись, пройдя через загробные мытарства.

Здесь необходимо оговориться, что преображение Достоевского произошло не по его заслугам, а в силу непостижимого Божественного благоволения к нему. Спасение же Раскольникова рано или поздно свершится благодаря ниспосланному ему Провидением знакомству с Соней. Это знакомство есть истинное чудо и благодать, заранее Богом намеченная возможность медленного, постепенного и абсолютно сво-

бодного восстановления существа, смертным грехом раздробленного.

Не во власти Достоевского было показать нам творчески конечное преображение своего героя, потому что его собственное духовное исцеление назревало в нем мучительно медленно и длилось до смерти. Черные наплывы сомнения и неверия грозили Достоевскому снова обрушить и поглотить его. Он предвидел это и по выходе из острога писал П. Д. Фонвизной: «Я скажу вам про себя, что я дитя века, дитя неверия и сомнения и даже (я знаю это) *до гробной крышки*. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов ей противных».

Как же, находясь всего лишь в процессе духовного исцеления, мог он показать нам полностью историю преображения Раскольникова, иначе говоря, самого себя? По выходе с каторги он пишет брату то, что мог бы повторить с таким же основанием в последние дни своей жизни: «Ну как передать тебе мою голову, понятия, все, что я прожил, в чём убедился и на чем остановился за все это время? Я не берусь за это. *Такой труд решительно невозможен*». (Курсив мой. — Г. М.). Мочульский, в своей книге о Достоевском, выносит, как бы от лица нас всех, окончательный приговор Раскольникову, якобы неспособному, вопреки утверждению автора «Преступления и наказания», к раскаянию и преображению. «Мы слишком хорошо знаем Раскольникова, — пишет Мочульский, — чтобы поверить в эту благочестивую ложь». Итак, по мнению Мочульского, великий сердцеведец в Раскольникове ошибся и прибавил ко лжи еще и неуместные сентименты. Но Мочульский, в данном случае, заблуждается, проявляя при этом удивительное легкомыслие. Дорогой его сердцу типично интеллигентский либерализм, пытается иногда отражать действительность, но никогда жизненной правде не соответствует. Допустимо ли, например, утверждать, что Достоевский, по написании «Бесов», отказался от своего отрицательного отношения к русской революционно настроенной молодежи и либералам вроде Тургенева и Щед-

рина-Салтыкова? Весь «Дневник писателя» до самого конца и «Братья Карамазовы» показывают с каким неизменным отвращением относился Достоевский не только к Нечаеву и Бакунину, но также к Герцену, с которым так неудачно и лицемерно разыграл он минутную комедию примирения. Правда автор «Бесов», с такими правыми, как князь Мещерский и Катков, чувствовал себя крайне неуютно, но Победоносцева он, вопреки уверениям Мочульского, любил и уважал за государственный ум, одаренность и душевную чистоту. Прекрасно зная истинную цену и левого и правого общественного мнения. Достоевский не задумался бы подписаться под словами Розанова из книги «Уединенное», написавшего в разгаре разрушительной интеллигентской пропаганды: «Как мне нравится Победоносцев, который на слова — «это вызовет дурные толки в обществе», остановился, и не плюнул, а как то выпустил слюну на пол, растер и, ничего не сказав, пошел дальше».

Достоевский считался с левым и правым общественным мнением лишь поскольку оно могло лишить его жалких грошей, получаемых им за свои творения от правых и левых журналов. Сам он по отбытии каторги и до последних своих дней не был ни правым ни, тем более, левым, подобно всем великим российским художникам слова девятнадцатого века стоял неизмеримо выше этих, как теперь, так и тогда внежизненных делений. Художественное творчество поглощало Достоевского и мешало ему до конца сознательно определить свои государственные взгляды и выработать для них ясную терминологию. В этом отношении он показал себя ничуть не менее беспомощным, чем Гоголь еще до него. Во второй половине русского девятнадцатого века лишь престарелый князь П. А. Вяземский, свидетель краткого российского ренессанса, свидетель и расцвета российской империи, и Константин Леонтьев, чудом возникший, как бы из ничего в годы начавшегося развала России, постигали сущность имперских идей и чувствовали государство как целый живой организм. Однажды на вопрос — каких политических мнений придерживался Пушкин, кн. Вяземский ответил: «Он был

либерально-консервативных взглядов». Иными словами Пушкин был типичным имперцем, по своему духовному складу, россиянином восемнадцатого века времен Екатерины Великой.

Но Достоевский, в юности прошедший через русское подполье, кишащее безликими бесами, мог только интуитивно тянуться к Пушкину, совершенно не сознавая при этом своей внутренней близости к Константину Леонтьеву — непосредственно, органически, носителю имперской идеи, создавшей и возвеличившей Россию. В наши дни, когда все перепутано и не существует ни верной, ни просто честной терминологии, понятие имперской идеи подменено пустейшим словом империализма. Трудно достучаться до сердец своих ближних и показать им какое сокровище нами потеряно. Достоевский только чувствовал, что утрачено нечто драгоценное и, как всегда, лихорадочно, искал и не находил полностью, в чем заключается государственная сущность. Отсюда возникла его запоздалая дружба с Победоносцевым, понимавшим не менее Константина Леонтьева, что Россия, изменившая идее, ее созидавшей, духовно порабощенная своим подпольным отребьем, несется к ужасающей бездне. А ведь еще не совсем погибла к тому времени Российская Империя, когда наследник престола, а вскорости Император Александр Третий, мог, по совету Победоносцева, принять Достоевского и предложить ему стать наставником подраставших великих князей. Но к великому горю России в те дни уже поджидала Достоевского смерть. Неминуемый рок надвигался. Россия была обречена. Есть нечто несказанно величественное в последней царственной попытке России спасти себя. И нигде, кроме России, не могло бы произойти совершенно небывалое: Наследник Престола, будущий самодержец, возвеличивая бывшего политического каторжника, злостного бунтаря, принимавшего участие в «пирах злоумышлений», милостью Божией покаявшегося, поручает ему дело Жуковского, воспитателя Императора Александра Второго. Но, поздно было спасать погибавших: в головах русских «просвещенных» людей, в особенности молодежи, развращенной под-

польной пропагандой, назревали намерения, укреплялись идеи враждебные не только России, но вообще всякому творчеству и созданию. Напрасно старался Мочульский уверить нас, что по написании «Бесов» Достоевский перестал относиться презрительно к русским молодым нигилистам, к приторным пожилым либералам. Еще в Сибири, по отбытии каторги, он пристал в политике к монархистам и до последнего своего дня оставался таковым, что конечно, не мешало ему видеть беспросветную тупость и глупость бездарных правых кругов нашего общества. Настоящее место Достоевского удалось определить не розоватому либералу Мочульскому, но гениальному Розанову и притом словами весьма своеобразными, проникающими вглубь. «Достоевский, — пишет автор «Опавших листьев», — вцепился в «сволочь» на Руси и стал пророком ее. Пророком «завтрашнего». Здесь сволочь, взятая в ковычки, раскрывает нечто по существу. Не грабителей и убийц имел в виду в данном случае Розанов, но одержимых бесами подпольников. Теперь тогдашнее «завтрашнее» обратилось в сегодняшнее и смешно приписывать Достоевскому гуманные благоглупости. Ставший пророком, снова слепым не делается, своих взглядов на «сволочь» не меняет и после тяжких испытаний к гуманизму, превращающемуся для него в «гу-гу», заново не возвращается. Тут необходимо еще раз настойчиво отметить, что Достоевский никогда ни в каком смысле не причислял к «сволочи» не только Раскольникова и Свидригайлова, но также Ставрогина, Ивана Карамазова, в особенности Кириллова. Все они великие грешники, но одновременно аристократы духа, в отличие от близких революционных подпольников или же от, так называемых, порядочных господ, умеющих свой душевный смрад втайне хранить при себе. Раскольников, ранняя преступная мечта Достоевского, соблазн источаемый старым типичнейшим русским ницшеанством до Ницше, зародившийся в неопытной, но творческой душе человека, призванного стать пророком величайшей в мире трагедии, пророком русской и, следовательно, всемирной революции. Раскольников всего только первичная робкая про-

ба зла, от которой еще очень и очень далеко до «Ивана царевича» — властителя дум и намерений Петра Верховенского. Мельком упомянутый в «Бесах» «Иван царевич» это еще несбывшееся смутное пророчество Достоевского о появлении антихриста из гробных недр революции. К этим недрам Раскольников не причастен: абсолютное зло возникает из безликого, а герои Достоевского, преданные русскому ницшеанству, греховно самоутверждаясь, все же личностей своих не утратили. Безлики у Достоевского только революционные подпольники. Так в «Бесах» нет своего единственного незаменимого лица ни у Петра Верховенского, ни у подчиненных ему мелких бесов и бесенят вроде Липутина, Эркеля, Толкаченки и прочих. У всех у них не лица, а личины, они порождение хаоса и порождают хаос. Они в него возвращаются. Под их личинами кроется небытие и потому в их судьбе нет существенной разницы. В конце концов не все ли равно — проповедывать, подобно Липутину, фурьеризм, отдавая одновременно деньги в рост под проценты, и, замешавшись нелепейшим образом в подпольное «мокрое дело», бежать из провинции в столицу и пропадать там до ареста по публичным домам, или же, подобно Петру Верховенскому, распоряжаться шайкой бездарных дураков, для верности спаяв их в революционном подполье кровью ни в чем неповинного человека, и потом, спешно, фантастически бессмысленно скрыться за границу. Эта «заграница» совершенно особого свойства: не просто переехать из одной страны в другую, но бесовский уход в небытие, провал в злую потусторонность. Тут совершенная потеря себя, окончательный пропад. Но не все ли равно каким способом пропасть, — потонуть ли в разврате, как Липутин, упереться ли, как прапорщик Эркель, низким лбом навсегда в революционную идейку не длиннее комариного хоботка, или же, наконец, в страхе и ужасе, в надежде заслужить прощение, кинуться как Лямшин, доносить на сотоварищей по преступлению, даже отдаленно не подозревая, что такого рода донос есть прежде всего духовное самоубийство, вернее же сказать, подтвер-

ждение уже состоявшегося в подполье духовного самоуничтожения.

Вообразимо ли, что кто-нибудь из этих подпольных убийц, подчиняясь велению Сони Мармеладовой, иначе — велению своей, на мгновение ожившей совести, опустится, по примеру Раскольникова, на колени на площади при всем честном народе и припадет лицом к матери земле, тяжко им оскорбленной, или от одного отвращения к собственной душевной мерзости, покончит с собой, подобно Свидригайлову и Ставрогину или затерзанный угрызениями совести, зайдя в безвыходный тупик, потеряет разум, как Иван Карамазов? Величайшая разница между русскими ницшеанцами до Ницше (соблазном старым у нас как стара сама Русь) и русскими революционными подпольниками (порождением и продолжением в России идей французской революции), заключается прежде всего в том, что все наши ницшеанцы, глубоко самобытные, всегда обладали резко обозначенными собственными лицами, а русская подпольная нечисть лица никакого не имела и лишь распадалась на отдельные маски почти одна от другой не отличимые, прикрывающие собою полнейшее ничтожество. Эта нежить, в виде какой-то зеленоватой трупной плесени, осевшая на теле России, занесена к нам со стороны тлетворным дыханием самого дьявола. Говоря так, я выражаю не мое мнение, никому в данном случае не интересное, а стараюсь возможно вернее отразить мысль Достоевского, неспроста назвавшего в своем романе наших революционных деятелей не одержимыми, но именно бесами. Этим они еще и отличаются от русских ницшеанцев поистине только одержимых.

Создавая Раскольникова, Достоевский неотступно думал о Германе пушкинской «Пиковой Дамы», создавая Ставрогина, он упорно думал о Лермонтове, с загадочной личностью которого сравнивал своего не менее загадочного героя. Но недопустимо было бы сказать о Лермонтове, типичнейшем, по определению Владимира Соловьева, русском ницшеанце до Ницше, что явный демонизм, ему присущий, исчерпывает его многообразную неповторимую личность. Достоевский

знал что делал, когда сравнивал Ставрогина с Лермонтовым, как бы предвосхищая этим одну из самых острых и глубоких догадок Иннокентия Анненского, обычно бросаемых им мимоходом. По мысли Анненского, не столько похож Лермонтов по складу на своего отдаленного ирландского предка Томаса Лермонта — поэта и пророка, сколько на волжского разбойника, восставшего на Бога и людей. Эти восстания нередко кончались для какого-нибудь атамана злодейской шайки самообличением, самобичеванием и просветленной кончиной в монастыре, а часто смертью во грехах не успевшего покаяться душегуба. Так или иначе, но возможность отойти от зла и неожиданно смириться неизменно пребывала в душе исконно русского бунтаря. Замечательнее всего, что некоторые очень важные предположения и догадки Достоевского и Анненского сходятся и ведут к одному. В «Бесах» Петр Верховенский не в силах своим ничтожным рассудком революционного подпольника постичь Ставрогина и потому надеется уговорить его встать во главе русской социальной революции. Надежда наивная, потому что личность Ставрогина глубже и сложнее вообще всего социального и, в особенности, каких бы то ни было социалистических идей, всегда убогих и плоских. Но, ничего не понимая в Ставрогине и уговаривая его возглавить революцию, Петр Верховенский все же не забывает упомянуть о традиционной русской разбойничьей ладье с не менее традиционной «персидской царевной», превращенной им, применительно к обстоятельствам, в Лизу Тушину. Надо признать, что здесь мелкий бес — Верховенский, заманивая Ставрогина, проявил тонкость в понимании известных свойств русской натуры спокон века склонную к разбою и самоуничтожению. Ведь уж если было пытаться чем соблазнить Ставрогина, то именно ладьей и царевной. Разбойное движение Стеньки Разина *вверх* по матушке Волге от Астрахани до Симбирска, где наголову разбили, наконец этого чисто русского, преисполненного демонизма, бунтаря полки *иноземного* строя под командой князя Барятинского. В истинной сущности нашего отечественного бунтарства трудно разобраться потому, что наросла на ней

вековая пошлость, поразительно порочный вымысел вплоть до бездарной песни с бездарными словами, которую всё еще тянут на все лады престарелые дяди и тети. Кстати, откуда это неумирающее восхищение перед кровавым злодеем, швырнувшим в воду какую-то девицу, ставшую царевной в воображении русских людей, вообще не очень-то склонных к романтизму? Очевидно надо было как-нибудь приукрасить собственную склонность к растоптанию всех ценностей и к самоистреблению.

Да, роковое совпадение в догадках и прозрениях Достоевского и Анненского поразительно! Бунт непостижимой нечеловеческой гордыни Лермонтова, покончившего с собой от руки во всех отношениях недалекого Мартынова, можно сказать почти насильственно втянутого поэтом в поединок, и гибель Ставрогина в намыленной петле, задолго предумышленная, ведут к сердцу Руси, к Волге, к разбойничьим ладьям не одного Стеньки Разина, но многих наших бунтарей из простонародья. Жажда подменить в душе сияющий образ Богочеловека смутным, но злостным представлением о сверхчеловеке, которому все позволено, искушала на Руси и барина и мужика, от Лермонтова, Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина, Ивана Карамазова до какого-нибудь грабителя и убийцы Семена Гаркуши или Кудеяра. Самоутверждение, не ведующее границ, неизбежно толкает к самообожествлению, хотя бы и прикрытому; как у Ницше вещанием о грядущих поколениях существ, преодолевших всё человеческое и преобразившихся в сверхчеловеков. Увлеченный своей проповедью, одного не заметил Ницше ни в себе, ни в других: таинственную близость демонически самоутверждающегося человека к Богу, к Христу. Чувство полнейшего бессилия внезапно тогда посещает нас, когда мы совершенно убеждаемся в своей непререкаемо божественной мощи. И это страшное ощущение собственного ничтожества раскрывает в нас дар к молитве, рождает жалость ко всей страдающей твари. Бедный Ницше и не подозревал даже, как близок был к Христу, когда пронзенный жалостью со слезами обнимал обремененного непосильной тяжестью осла. Да, Ницше ни-

когда не познал помутившимся умом своей глубочайшей христианской сущности. Зато, задолго до него постиг Достоевский на опыте, что самоутверждение вне Бога нередко приводит человека, как например, Кириллова, на волосок от веры в Бога. Этот волосок, преграждающий своевольному существу путь к преображению, оказывается на деле очень жестким и упорным. Тяжкие удары судьбы могут вдохновить бунтующего на подвиг самоотречения. Тогда исчезает преграда и нездешний свет становится даже издали видимым и доступным.

То, что Владимир Соловьев так верно назвал русским ницшеанством до Ницше, дано было Руси самим Богом к преодолению с первых же дней ее существования. Это, конечно, постичь не легко. Надо быть Достоевским и Анненским, чтобы изведать все запутанные лабиринты русской души, все ее темные закоулки и тупики и снова выйти на Божий свет, принося с собою добытое мучительным опытом подлинное знание России. Достоевский и Анненский обнаружили гибельное начало, связующее у нас воедино низы с верхами, все сословия и жизненные подразделения —разбойничью ладью с Лермонтовым. Такое гибельное начало есть не что иное, как наше многовековое упорное стремление подменить в душе Богочеловека призрачным соблазном нереального сверхчеловека, духовное сознание безграничным своеволием, способным поработить нас безвозвратно и сбросить в пропасть революционного самопоедания. От такого ужаса лишь бы бежать и везде найдешь спасение — даже в безумии Ивана Карамазова, даже в намыленной петле Ставрогина. Духовное преображение Достоевского, причастного в молодости к бесовщине, поистине стократ чудеснее и человеческому уму непостижимее, чем покаяние Раскольникова, бунт которого, несмотря на «так себе теорийку», еще не порвал с простодушием разбойничьей ладьи. Не верить в возможность покаяния Раскольникова значит не верить в возможность отказа России на веки вечные от этой злосчастной ладьи и тем более не ве-

рить в победу и торжество нашего отечества над дьявольским подпольем.

Конечно, теорийка хоть и очень юного, но в достаточной мере злого Роди, отдаляет его от не лишенной первобытности ладьи и грозно приближает к «народолюбцу» Нечаеву и «народовольцу» Желябову, однако не настолько, чтобы по их примеру рухнуло в нем бесследно все духовное. Подвиг Сони Мармеладовой — ангельский свет в ночи, спасает Раскольникова от окончательной гибели.

*

Идя к Свидригайлову, Раскольников думал о том, что так таинственно и с практической точки зрения совершенно непонятно тянет его к этому загадочному существу; «Этот человек, — говорил сам себе Раскольников, — очевидно чрезвычайно развратен, непременно хитер и обманчив, может быть очень зол. Про него ходят какие-то россказни. Правда, он хлопотал за детей Катерины Ивановны; но кто знает для чего, и что это значит? У этого человека вечно какие-то намерения и проекты». Известно, какие скверные, часто ни на чем реальном не основанные слухи распространяют друг о друге люди. Приписывать другому злое и порочное очень легко, но на себе одном сосредоточенный Раскольников не знал и не чувствовал, что Свидригайлов безмерно несчастнее его, окруженного вниманием и заботами матери, сестры, Сони и Разумихина. Пусть любовь близких казалась в тягость идейному убийце. Всё же она наглядно существовала и, хотело того или нет ожесточившееся сердце преступника, вела его к исцелению от одержимости. А Свидригайлова безвозвратно поглотило явное и тайное одиночество, он как бы попал в каменный, наглухо замурованный, мешок.

Кто истинно несчастлив, тот для вечности еще не погиб. Сын погибели, иначе говоря, профессиональный революционер — Петр Верховенский не страдает и обагрив руки в крови, весело болтает, играет в карты и ловко ускользает за границу, готовясь к новым злодеяниям. Разврат, укоре-

нившийся в душе Свидригайлова, привил ему особого рода корысть не денежного, но сладострастного происхождения, наделил его тёмными навыками, избавиться от которых не в силах погрязший в пороках человек. Отсюда лукавые приёмчики Свидригайлова, смахивающие на шантаж, с заманиванием Дуни, как в западную, в квартиру старой сводни Реслих. И подумать только, что поступая так, он все еще лелеял некую бледную, слабую надежду спастись девственной чистотой Дуни от провала в потусторонний, быть может для него на веки веков беспросветный мрак. Слишком широк, — по Достоевскому, русский человек, не мешало бы его и сузить. Свидригайлов хорошо знает это и говорит Дуне: «Русские люди вообще широкие люди, Авдотья Романовна, широкие как их земля, и чрезвычайно склонны к фантастическому, к беспорядочному... А помните, как много мы в этом же роде и на эту же тему переговорили с Вами вдвоем, сидя по вечерам на террасе в саду, каждый раз после ужина. Еще вы меня именно широкостью укоряли. *Кто знает, может, в то же самое время и говорили, когда он (т. е. Раскольников) здесь лежал да свое обдумывал*» (Курсив мой. — Г. М.).

Слова Свидригайлова, подчеркнутые мною сейчас, лишь подтверждают одно из основных положений в «Преступлении и наказании». Мысль, по Достоевскому, когда она по-настоящему всецело сосредоточена на чём-нибудь, не ведает расстояния и передаётся людям родственным по натуре, тому, кто действительно нечто замыслил. Лёжа в каморке, похожей на гроб, Раскольников обдумывал свою злую фантастическую теорию, а в это самое время Свидригайлов беседовал с Дуней о склонности русских ко всему фантастическому и развивал перед нею теорию о том, что единичное злодейство позволительно, «если цель хороша». Так именно и думал Раскольников, собираясь проверить на деле правильность такой, как ему казалось, оригинальной находки. Но мысль о безмерной широте русского человека встаёт перед нами во всей своей неопровержимой реальности. Откуда эта наша широта? Прежде и после всего от Православной

Церкви, даровавшей нам абсолютную свободу совести, ни в какой иной религии полностью не существующую. Но есть ли что-либо ответственнее подлинной свободы? Мы страшимся ответственности и данную нам свободу легко подменяем своеволием русского ницшеанства, зародившегося в первобытной душе наших простолюдинов и унаследованной от них пребывающим на вершинах российской культуры Лермонтовым и достигшего своего злого и грозного завершения в поэзии Фета, личность и творчество которого до сих пор никем не разгаданы.

Человек не являет собою что-то в себе законченное. Он находится в безостановочном движении и, будучи пневматологичен, может стать светлым, просияв как ангел, или произвольно отказаться от собственной личности и превратиться в подобие беса. Сущность человека противоречива и многопланна. Свидригайлов развратен? Зол? Может быть преступен? Почти наверное! Но вот откуда в нём боль, тоска, презрение к себе и запоздалое мучительное желание света. Заботы Свидригайлова о детях умершей Катерины Ивановны кажутся Раскольникову корыстными. Уж не для того ли прикидывается добряком этот развратник, чтобы понравиться Дуне и завладеть ею? Основания подозревать Свидригайлова в корыстных умыслах бесспорно имеются. Но одной корыстью тут дело далеко не покрывается. Ведь, потеряв всякую надежду обрести Дунину благосклонность и уже идя на самоказнь, он заходит к Соне и передает ей расписку на деньги, вложенные им куда следует на детей Катерины Ивановны. А Соню он просит принять от него три тысячи рублей, если не для самой себя, то для Раскольникова. — «У Родиона Романовича, — говорит Свидригайлов, — две дороги: или пуля в лоб, или по Владимировке (дорога на каторгу — Г. М.) ...Ну, как выйдет Владимировка — он по ней, а вы ведь за ним? Ведь так? Ведь так... Ну, а коли так то, значит, деньги вот и понадобятся, понимаете? Давая вам, я все равно, что ему даю». В этом откровенном разговоре Свидригайлов проявляет духовную глубину. Он чувствует силу Сониной любви к Раскольникову и твердо зна-

ет, что у этого идейного убийцы имеется, кроме каторги, всего один выход — пуля в лоб. Свидригайлов по собственному примеру догадывается, что в Раскольникове уже назревает стремление добровольно принять искупительную кару. Более того, он как бы «знает бессознательно», что казня себя, избавляет своего юного двойника от самоубийства и направляет его по Владимировке к покаянию и преображению. Все это безусловно так. Однако Достоевский, познавший на себе гибельные последствия идеализма, спешит «огорошить Шиллера», в поучение всякому чрезмерно простодушному идеалисту. Когда, после своих бессмысленных, бесцельных, уже предсмертных похождений по разным трактирам и клоакам Свидригайлов, «весь промокший до нитки» на дожде, поздним вечером является к Соне, «она была не одна, кругом нее было четверо маленьких детей Капернаумова. Софья Семенова поила их чаем... Она молча и почтительно встретила Свидригайлова, с удивлением оглядела его измокшее платье, но не сказала ни слова. *Дети же все тотчас убежали в неописанном ужасе*» (Курсив мой. — Г. М.). Что это значит? Что учуяли они ужасного в этом жалком, потерянном, обрекшим себя самоказни человеке? Еще не причастные злу, дети чувствуют его мистику, ее присутствие в душе отягченной грехами. Так в «Бесах», Ставрогин приходит к Кириллову и застает у него родственницу квартирной хозяйки, старуху с полугодовалым ребенком на руках. Когда Ставрогин вошел в комнату, ребенок увидев его, припал к старухе и закатился долгим, детским плачем; та тотчас же его вынесла. Здесь всего замечательнее то, что старый бессознательно повинуется безошибочной интуиции малого и поскорее уносит младенца прочь от порабощенного темными силами существа во многом подобного Свидригайлову. Для земной жизни и Ставрогин и Свидригайлов безвозвратно пропадшие. Встает перед обоими вечность, готовая встретить их ужасными, но и всеисцеляющими мытарствами.

В творчестве Достоевского люди проникнуты едиными токами и разоблачают друг друга своим высшим сознанием,

не имеющим ничего общего с рассудком, названным по пренебрежению нашему к подлинному значению слов, также сознанием. На самом же деле, рассудок, утверждающий, что дважды два — четыре, бесследно истлеет, а высшее сознание будет руководить нами и в вечном бытии, не нуждающемся в арифметике. Это высшее сознание проявляется в полной мере в детях, в младенце и лишь потом, на пути нашем к греху, отходит в нас на второй план и подменяется рассудком. Словом, благословенный Паскаль уступает место позитивным домыслам Декарта и визионер и пророк Достоевский рационалисту и позитивисту Л. Толстому, слепому и глухому ко всему духовному. И вот, многие персонажи Достоевского, и в их числе Свидригайлов, духовное и злодуховное видят и слышат. Да и такие ли в действительности злодеи, эти русские ницшеанцы, какими они кажутся обывателям моралистического двадцатого века. В живые средние века и в эпоху Возрождения Раскольников и Свидригайлов никого не удивили бы своим не коллективным, не стадным, как в наше бездарное время, но глубоко *личным* опытом зла, ведущим все-таки к Богу, страшными, темными, извилистыми путями. Не побоявшиеся разыграть себя до конца в существовании, могут быть оправданы. В них неистощимо живое начало дарованное небом. Запутавшийся в сетях самого низкого сладострастия, Свидригайлов любит Дуню, но пороки его обступившие, лишили его языка любви. Дуня при последней беседе с Свидригайловым уловила нечто живое и правдивое в нем, несмотря на шантаж, которым он думал удержать ее при себе, настаивая довольно нелепо на том, что тайна Раскольникова ему известна. В разговоре их с глазу на глаз в квартире Реслих скользит что-то двойственное, явно неуловимое. Убил ли Свидригайлов Марфу Петровну, как прямо обвиняет его в этом Дуня, решить невозможно. Но поразительно, что в жару разговора-поединка намечается точно, с полной очевидностью нечто другое, важное: метафизическая ответственность в смерти Марфы Петровны падает как на Свидригайлова так и на Дуню. Тут снова получает бедный Шиллер не малую порцию гороха.

Конечно девичья чистота чистотою, но от первородного греха и девственница не свободна. Страшно сказать, однако в цинической откровенности Свидригайлова заключается правда. Еще до последней роковой встречи с Дуней он, на утверждение Раскольникова, что Дуня его, Свидригайлова, терпеть не может, отвечает прищурившись и насмешливо улыбаясь: «никогда не ручайтесь в делах бывших между мужем и женой или любовником и любовницей. Тут есть всегда один уголок, который всегда всему свету остается неизвестен и который известен только им двоим». Именно такой уголок успел образоваться в отношениях Свидригайлова с Дуней, но со стороны это можно только почувствовать. Когда Дуне стало ясно, что Свидригайлов письмом о Раскольникове заманил ее в западню и намерен воспользоваться всеми выгодами создавшегося положения, она «вдруг вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик». Необходимо привести последующую сцену словами самого автора, потому что истинное значение происходящего в ней, как часто бывает у Достоевского в диалогах, скользит между строк и, зародившись, замирает в намеке.

«Свидригайлов вскочил с места.

— Ага! Так вот как! — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь. — Ну, это совершенно изменяет дело, Авдотья Романовна! Да где это вы револьвер достали? Уже не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер то мой! Старый знакомый! А я то его тогда как искал!... Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали таки даром.

— Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг и, клянусь, я убью тебя!

Дуня была в исступлении... Револьвер она держала наготове.

— Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю? — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте.

— Донеси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!

— А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?

— Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об этом яде... Я знаю, ты за ним ездил... у тебя было готово... Это ты... Это непременно ты... Подлец!

— Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же... все-таки, ты же была бы причиной.

— Лжешь! Я тебя ненавидела всегда, всегда...

— Эге, Авдотья Романовна! Видно забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

— Лжешь (бешенство засверкало в глазах Дуни), лжешь клеветник!

— Лгу? Ну, пожалуй и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует (он усмехнулся). Знаю что выстрелишь, зверек хорошенький. Ну, и стреляй!

Дуня подняла револьвер и мертвенно-бледная, с побледневшею, дрожащею нижней губкой, с сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видел ее столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, точно обжег его, *и сердце его с болью сжалось.* Он ступил шаг и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударилась сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся.

— Укусила оса! Прямо в голову метит... Что это? Кровь!

Он вынул платок, чтоб обтереть кровь, тоненькой струйкой стекавшею по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. *Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как бы сама уж не понимала, что такое она сделала и что это делается.*

— Ну, что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, тихо про-

говорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно. — Этак я вас схватить успею прежде, чем вы взведете курок!

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и поять подняла револьвер.

— Оставьте меня! — проговорила она в отчаянии. — Клянусь я опять выстрелю... я... убью...

— Ну что ж... в трех шагах и нельзя не убить. Ну, а не убьете... тогда...

Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага.

Дунечка выстрелила, осечка!

— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсюль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью воспаленно страстным, тяжелым взглядом. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее... И... и уж, конечно, она убьет его теперь, в двух шагах!...».

«Вдруг она бросила револьвер.

Бросила! — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух.

Что-то как бы разом отошло у него от сердца и, может быть, не одна тягость смертного страха; да вряд ли он ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного чувства, которого бы он и сам не мог определить.

Он подошел к Дуне и тихо обнял ее за талию. Она не сопротивлялась, но вся трепеща, как лист, *смотрела на него умоляющими глазами.* Он было хотел что-то сказать, но *только губы его кривились, а выговорить он не мог.*

— Отпусти меня! — умоляя сказала Дуня.

Свидригайлов вздрогнул: это *ты* было уж как-то не так проговорено, как давешнее.

— Так не любишь? — тихо спросил он.

Дуня отрицательно покачала головой.

— И... не можешь?.. Никогда? — с отчаянием прошептал он.

— Никогда! — прошептала Дуня.

Прошло мгновение ужасной немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал перед ним.

Прошло еще мгновение.

— Вот ключ! (он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне). — Берите; уходите скорей...

Он упорно смотрел в окно.

Дуня подошла к столу взять ключ.

— Скорей! Скорей! — повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь.

Но в этом: «скорей» видно прозвучала какая-то страшная нотка. Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к —му мосту.

Свидригайлов постоял еще у окна минуты три; наконец медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. *Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния.* Кровь уже засыхавшая, запачкала ему ладонь; он посмотрел на кровь со злобою: затем намочил полотенце и вымыл себе висок. Револьвер, отброшенный Дуней и отлетевший к дверям, вдруг попался ему на глаза. Он поднял и осмотрел его. Это был маленький карманный трехударный револьвер, старого устройства; в нем оставалось еще два заряда и один капсюль. Один раз можно было выстрелить. Он подумал сунул револьвер в карман, взял шляпу и вышел».

В этой сцене все двоится. Сначала поражает, что перешедшее все пределы сладострастие превращается в Свидригайлове в жажду самоуничтожения от руки девственницы, еще не познавшей глубин греха. В таком приступе сладострастия есть нечто бесплотное, злодуховное, демоническое. Стоило Дуне при первом выстреле не промахнуться или револьверу не дать осечки при втором спуске курка и отбытие Свидригайлова в «Америку», о котором еще только предпо-

ложительно говорил он Раскольникову, а потом совершенно твердо Соне, могло тут же легко осуществиться. Но нездешние силы, всегда готовые у Достоевского вмешаться в человеческую жизнь, не позволили Дуне стать убийцей и спасли Свидригайлова от черной смерти, от абсолютной погибели в вечности. Одним сладострастием с его злой метафизикой Свидригайлов не исчерпывается, есть в нем еще в высшей степени ценное и прежде всего отвага в доведении своих помыслов и чувств до конца. Его неприуроченность к повседневности, неспособность приноровиться к ней наравне с другими, словом, его какая-то недовоплощенность происходит не только от его причастности к непременно темным потусторонним силам, так же как и он неопределенным, не приуроченным к бытию, но и от его сознательного стремления остаться в стороне от человеческого житья-бытья, наблюдая за ним из за угла. Свидригайлов антисоциален и в том его слабость, поскольку такое свойство пресекает ему путь к христианской соборности, но в этом одновременно его сила, поскольку самозамкнутость предохраняет личность человека от исчезновения в пустом человеческом коллективе. Душа Свидригайлова, изъеденная развратом, всё еще жива и в глубине ее под непроницаемым слоем всевозможных пороков, тлеет любовь к Дуне. Но высказать своей любви словами ему не дано. Он придавлен грехом. Словами Свидригайлов обречен принизить собственное святое чувство и когда он хочет выразить его, получаются пошлые намеки на то, как млела влюбленная Дуня под пение соловья. Что, наверное, правда. Но ведь кроме мления было и другое: была метафизическая, невыразимая и на земле неосуществимая связь двух духовно друг другу родственных существ. Такая связь, говоря языком Баратынского, «нам на земли не для земли дана», здесь нет для нее ни выражения, ни воплощения. Но не только из за своей тяжкой греховности не нашел слов Свидригайлов, чтобы довести до сердца Дуни свое еле брезжущее, но святое чувство. И напрасно ищет он, погибая, опереться на Дуню: родня брату не по одной крови, а и по духу, Дуня сама нуждается в опоре на

земле и находит ее в Разумихине, как Раскольников в Соне. Грех Дуни, польстившейся, по собственному признанию, на деньги Лужина, происхождения того же — «все позволено, если цель хороша», о котором говорит Свидригайлов и которым руководится Раскольников, идя убивать ростовщицу. Можно сказать что Дуня, Свидригайлов и Раскольников родились с этой всеразрушающей идеей. Дуня, после краткого, но тяжкого жизненного опыта, покаянно всей натурой от нее излечилась и выбрала простую долю, выйдя замуж за Разумихина. Дуня, конечно, не сознавала полностью ядовитой идеи, владевшей ею, но разговоры с Свидригайловым даром не прошли, да и непомерная гордыня помогала. Найти же твердую почву под ногами Дуне помогло неотъемлемое от женщины живородящее начало. Тут не причем так называемый здоровый инстинкт самки, здесь благословенная свыше жажда материнства.

Последняя слабая надежда померкла в сердце Свидригайлова. Но что же такое «разом отошло у него от сердца», когда Дуня вдруг бросила револьвер? Это было избавление не от тягости смертного страха «но, — говорит Достоевский, — от другого более скорбного и мрачного чувства, которое он и сам не мог определить». В чем же заключалась сущность этого чувства и от чего и как могло оно родиться? Слов для определения его ни на каком человеческом языке не имеется. Одно принесло оно с собою несчастному грешнику: смутное, еле ощутимое, однако несомненное *обещание бессмертия*. А ведь только любовь дарует бессмертие. Сквозь тинистую пелену пороков, завладевших им, Свидригайлов ощущал с собою рядом не только присутствие злого духа, не только общался с привидениями, но до него доходило еще потустороннее веяние, сулившее ему нечто недосягаемое и всё же где-то вполне реально существующее. Надежда несбыточная *здесь* теперь оказалась осуществимой *там*. Каким путем и пройдя через какие невообразимые мытарства? Кто знает! И все же скорбное, мрачное чувство, несравнимое даже со смертным страхом, отошло от Свидригайлова. Когда он подошел к Дуне и тихо обнял ее за талию,

губы его кривились, но слов у него не было и быть не могло. Да и Дуне лишь одно оставалось сказать умоляюще: «отпусти меня». Земная судьба Свидригайлова безповоротно решилась. На вопрос его «— Так не любишь? Дуня отрицательно повела головой». Откуда же взялось это «ты», не дерзкое, как давешнее, но тихое, почти ласковое? Оно пришло как замирающий отзвук чего-то безконечно далекого, как еле уловимое отражение неземного, может быть райского.

Свидригайлов отпустил Дуню, борясь с новым бессмысленным приступом сладостратия, но вот отпустил... На земле они больше никогда не встретятся. Но разве до наступления весны суровая зима не сохраняет под снежной пеленою «содрогания струи, бегущей подо льдом». И разве та зима, что серебрит наши головы, не «греет сев для будущего мира»? Земные символы — инобытное нездешних сущностей — не обещают ли они нам обрести за гробом желанное, но несбывшееся здесь?

Где нет слов для выражения чувств, нам остается в утешение простое делание. Подозрения Раскольникова рухнули: не для того, чтобы понравиться Дуне обеспечил Свидригайлов сирот и Соню перед своим отплытием в «Америку».

Дуня ушла, а Свидригайлов замер один у окна. Вдруг на мгновение отступили от него темные силы, так давно им владевшие, и он остался покинутым на самого себя перед всепоглощающей бездной, такой же как мы все, беспомощный человек со «странной, жалкой, печальной, слабой улыбкой, искривившей его лицо, улыбкой отчаяния». А странной она была потому, что уже открывался перед его внутренним зрением никому из живых неведомый переход в иные области бытия.

В тот же вечер, после захода к Соне, уже *«часу в двенадцатом* (курсив мой. — Г. М.) он сделал и еще один весьма эксцентрический и неожиданный визит»... Он вошел в тесную квартирку родителей той очень молоденькой девицы, только что еще вышедшей из подростков, которую в разговоре с Раскольниковым он как то нерешительно, назвал

своей невестой. По крайней мере родительнице этой девицы, даме весьма пронырливой и практической, угодно было считать Свидригайлова женихом своей дочери.

История с девицей сама по себе была бы очень неясной, если бы не кошмар с отроковицей в гробу, с девочкой — утопленницей, привидившейся человеку, приговорившему себя к казни за преступление, тяжести которого не могло перенести сердце грешника. Он думал усыпить совесть, загнав ее в самый закоулок души и там задавить ее по возможности, громоздя грех на грех, злодейство на злодейство. Но он не знал, что совесть бессмертна и что она в минуту, подводящую итог всему, вдруг неумолимая встанет перед ним на дыбы.

Хитроумно отделываясь от угрызений совести, мы привыкли тешить себя особыми «научными» словечками, намеренно придавая им призрачное значение. В болезненном полусне, в полубреду Свидригайлов увидел девочку лет четырнадцати, лежащую в гробу.

«Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца-утопленница. Ей было только четырнадцать лет, но это уже было разбитое сердце и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившей это молодое детское сознание залившею незаслуженным стыдом ее ангельски чистую душу и вырвавшею последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный *в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда был ветер*».

Какое же это было видение? По единогласному мнению всех современных психологов и психиатров, то была так называемая галлюцинация, иначе говоря даже нечто просто-напросто призрачное, реально никак не существующее, примерещившееся больному воображению и тотчас развеевшееся в ничто. Но вот у Мочульского, в его книге о Достоевском, есть верное и глубокое замечание. Девочка, смертельно оскорбленная Свидригайловым, утопилась, и теперь, оскверненная преступлением водная сти-

хия мстит за себя осквернителю, умирающему ранним утром в густом петербургском тумане после бурной дождливой ночи, грозившей городу наводнением. Что же это? Случайное совпадение? Но не слишком ли часто происходят в жизни подобные случайности и совпадения? Достоевский, как художник, показывает нам, что все во вселенной изнутри связано друг с другом и всякое явление фатально порождает свое продолжение и что мир зиждется не на случайностях совпадений, а на органически во взаимозависимости возникающих событиях, на слитности между собою человеческих судеб.

Свидригайлов, чувствуя приближение непереносимых мытарств, затеял двусмысленную историю с женитьбой на девочке. Он полагал, таким образом, отклонить надвигающееся возмездие. Но и тут все двоилось в этом осквернителе девственности и, наравне с желанием искупить свой незамолимый грех, в нем по-прежнему дает о себе знать разожженный уголек сладострастия. Лишь по уходе Дуни, потеряв и без того слабую надежду зацепиться за земное существование, Свидригайлов почувствовал вдруг, что даже этот злой роковой уголек потухает, что нет больше ни цели, ни смысла в жизни, что пора готовиться к самоказни, попытавшись в последнюю минуту оставить хоть в ком-нибудь по себе добрую память. Что же это означает? А то, что в глубине души надежда *никогда* не умирает в нас. Сознавая свою слабость, мы ищем опоры в других. Мы чувствуем что существует круговая порука греха, а молитвы за нас еще невинных существ, доходят до Бога. Поправ девственность, Свидригайлов должен перед смертью, обратиться именно к ней в лице сирот Мармеладовых и своей невесты, за духовной поддержкой и помощью в вечности. Такова таинственная мистическая последовательность бытия.

Прямо от Сони, поздним вечером Свидригайлов, все такой же промокший до нитки на дожде, отправился к невесте только для того, чтобы передать ей в виде свадебного подарка, пятнадцать тысяч рублей серебром. «Визит» в двенадцатом часу ночи мог бы показаться сердобольной

мамаше не совсем благоприличным. Однако крупная сумма денег, преподнесенная женихом невесте незадолго до свадьбы перед, якобы, спешной деловой отлучкой, сильно смягчает нравы и помогла найти извинение многому. Мать невесты тотчас разрешила важнейшие недоразумения: «Аркадий Иванович человек большой, человек с делами и связями, богач». «Бог знает, что там у него в голове, вздумал и поехал, вздумал и деньги отдал, а, стало-быть и дивиться нечего. Конечно, странно, что он весь мокрый, но англичане, например, и того эксцентричнее... Главное об этом ни слова никому не говорить»... и что всего важнее «отнюдь, отнюдь, отнюдь не надо сообщать ничего этой пройдохе Реслих».

По словам заботливой родительницы видно, что дело с невестой не обошлось без участия госпожи Реслих и что вся эта история родилась из весьма смешанных и противоречивых чувств Свидригайлова, страшного духовного расщепления, которого уже ничем исцелить на земле было бы невозможно.

«*А Свидригайлов, между тем, ровнехонько в полночь,* (Курсив мой. — Г. М.) переходил через -ков мост, по направлению на Петербургскую сторону. Дождь перестал, но шумел ветер. Он начинал дрожать и одну минуту с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом посмотрел на черную воду Малой Невы. Но скоро ему показалось очень холодно стоять над водой; он повернулся и пошел на -ой проспект».

Мстившая ему водная стихия отвергла его. Надо было казнить себя как-нибудь по иному. В кармане у него по-прежнему лежал трехударный револьвер, брошенный Дуней. Капсюль при одном заряде уцелел. Один раз в висок или в лоб можно было выстрелить, и всему делу конец.

Был час одиннадцатый, когда после смерти бедного Семена Захарыча Раскольников вышел из квартиры Мармеладовых. Еще до того мелькнул для идейного убийцы свет в ночи, исходивший от фонаря в руке полицейского. И в тот же вечер снова увидит Раскольников многообещающий свет в окне своей каморки, подходя к ней с Разумихиным с ули-

цы. Но для Свидригайлова пробила полночь и возвращаться к жизни, растоптанной им в чаду разврата, было поздно. «Отойдя от воды, он повернулся и пошел на -ой проспект. Шагал он по нему очень долго, почти с полчаса. Тут где-то, уже в конце проспекта, он заметил, как-то проезжая недавно мимо, одну гостинницу, деревянную, но обширную, и имя ее, сколько ему помнилось, было что-то вроде Адрианополя. Он не ошибся в своих расчетах. Эта гостиница в такой глуши была такою видною точкой, что возможности не было не отыскать ее, даже среди темноты». Начинались последние, особые часы, проведенные Свидригайловым на земле. На него, самоуправно решающего свою земную участь, надвинулся непроглядный мрак, в грязном притоне под названием претенциозном на нечто экзотическое, *нездешнее.* Я подчеркнул это слово потому, что здесь оно, по крайней мере для меня имеет двойной смысл. Напрасно было бы искать в «Преступлении и наказании» какую-нибудь чисто бытовую реалистическую черточку. Каждое слово там корнями своими уходит вглубь и в глубине надо пытаться разгадать хотя бы малую долю всего свершающегося в этом романе-мистерии.

Оборванец, очевидно исполнявший в «Адрианополе» обязанность коридорного, привел ночного посетителя в какую-то комнатушку, если и не напоминавшую собою прямо загробную «комнатку этак в роде деревенской бани, закоптелой, с пауками по всем углам», то все же дававшую почувствовать, что такого рода потусторонняя деревенская баня, о которой при первой же встрече с Раскольниковым заметил Свидригайлов, не только существует, но и заключает в себе «всю вечность», точнее дурную бесконечность для падшей души, обрекшей себя на длительные мытарства.

Оборванец ушел. «Хорошее должно быть, место, подумал Свидригайлов, — как это я не знал. *А любопытно однако ж, кто здесь останавливается и ночует?*». (Курсив мой. — Г. М.). Вопрос проще простого, не правда ли? Но невольно чувствуется в нем что-то жуткое. Между тем, стоит лишь узнать в точности, кто же тут действительно ночует, как

откроется нечто такое серое, такое ничтожное и беспросветно будничное, что опять поневоле станет жутко. Почему же? Да потому, что ничего нет страшнее человеческого ничтожества — преступного или просто обывательского: оно равно ведет нас к духовному исчезновению, к небытию, отец которого дьявол. Вот и неизвестно в конце концов, кто ночует в «Адрианополе», беспаспортные прощалыги, воры, убийцы или мелкие бесы и уж совсем ничего не значащие, но опасные, бесенята.

Злой замысел, порожденный гордыней, вселил Раскольникова в каморку, похожую на гроб. Разврат, пороки, преступления привели Свидригайлова перед смертью «в отдельный нумер, душный и тесный, где-то в самом конце коридора, в углу, под лестницей». Не признающий никаких снимков с натуры, Достоевский только тогда пристально рассматривает предмет или явление, когда они представляют собою снимки внутренних душевных и духовных состояний человека. Достоевский останавливается на всех деталях комнатушки, в которую попал за три-четыре часа перед своей смертью его герой потому что она вся в целом наглядно отражает творящееся сейчас в существе Свидригайлова.

«Он зажег свечу и осмотрел нумер подробнее. Это была клетушка до того маленькая, что даже почти не под рост Свидригайлову, в одно окно, постель очень грязная, простой крашеный стол и стул занимали почти все пространство. Стены имели вид как бы сколоченных из досок с обшарпанными обоями, до того уже пыльными и изодранными, что цвет их (желтый) угадать еще можно было, но рисунка уже нельзя было распознать никакого. Одна часть стены и потолка была срезана на-кось, как обыкновенно в мансардах, но *тут над этим косяком шла лестница* (Курсив мой. — Г. М.). Свидригайлов поставил свечу, сел на кровать и задумался».

Эта клетушка во многом походила на каморку Раскольникова, которую Достоевский иногда называет также клетушкой. Она была крошечная, шагов в шесть длиной, имевшая самый жалкий вид со своими желтенькими, пыльными и

всюду отстававшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко, и все казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок. Мебель соответствовала помещению...

Комната Сони Мармеладовой тоже была «чрезвычайно низкая» и, поскольку отражала внутренний мир Раскольникова и следовательно в какой-то мере и сущность его двойника — Свидригайлова, имела нечто общее и с комнатушкой «Адрианополя» и с каморкой идейного убийцы. Она была как и эти, такая же низкая и с желтенькими обоями, обшмыганными и истасканными. Вдобавок «стена, выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось».

Во всех трех случаях Достоевский равно настаивает на желтом цвете обоев, неизменно изодранных, пыльных, обшарпанных (тусклая желтизна — символ духовного заболевания, умирания) и на низко нависающих темных потолках (символ порабощения грехом). Но у клетушки Свидригайлова есть одна особенность: над косяком, образовавшимся от срезанной в ней на-кось части стены и потолка, шла лестница, о которой Достоевский не спроста упоминает дважды. Куда приводила эта лестница в «Адрианополе» мы не знаем, но в душе Свидригайлова не вела ли она по своим темным, неизведанным изгибам «в комнатку этак вроде деревенской бани, закоптелую, а по всем углам пауки?» Однако вряд ли такой комнаткой решается на веки вечные судьба Свидригайлова. Не для того Богом ниспосылаются человеку мытарства, чтобы приравнять его к паукам в дурной бесконечности.

Страшный по своему цинизму скептицизм, унаследованный русскими барами от французских энциклопедистов, порождает в лучшем случае разврат, в худшем — атеистическую мораль самодовольных буржуа. Свидригайлов, к счастью для него, от такой морали был далек и он обрекался теперь пройти через метафизические последствия своей порочной и преступной жизни на земле. Личность его *как бы* распадалась, дробилась. Начиналось для него то, что психиатрами принято ложно называть кошмаром, бредом, потерей чувства дей-

ствительности, на самом же деле перед Свидригайловым приоткрывался краешек завесы, скрывающий от нас иную реальность — загробную область, где перед внутренним зрением человека встает чудовищное нагромождение всех его вольных и невольных грехов и сознательно совершенных преступлений.

Но еще за минуту до приоткрытия рокового краешка цинизм и скептицизм владели рассудком смертника. Все же натура, придавленная тяжкими грехами, подавала о себе весть, показывая что духовно не совсем, не до конца, погибает Свидригайлов.

Он потушил свечу. Ему вспомнился вдруг Раскольников: «А шельма, однако-ж, этот Раскольников! Много на себе перетащил. Большой шельмой может быть современем, когда вздор повыскочит, а теперь *слишком* (курсив Достоевского — Г. М.) уж жить ему хочется. Насчет этого пункта этот народ — подлецы. Ну, да черт с ним, как хочет, мне что».

Вздором называет Свидригайлов идею, теорию Раскольникова и возразить ему нельзя ничего. Но когда в отечестве нашем *«этот вздор»* дошел до улицы с ее уличным вождем-полубогом, мы знаем на опыте какой получился кровавый ужас! В основном, однако, Свидригайлов неправ. Ведь только потому и можно признать Раскольникова, хотя бы условно, шельмой, что злая идея плотно засела в его рассудке. Но стоит ему всем сердцем от нее отречься и он перестанет быть шельмой. А то, что Раскольникову *слишком* уж жить хочется, то и прекрасно, воля к жизни, во что бы то ни стало, спасет его, как в конце концов спасет жаждущего быть и быть богоизбранного еврея, пережившего все древние нации, величия и гибели которых он был свидетелем. Благодаря непобедимой воле к жизни, еврей, как сказано в Писании, пребудет до конца. Возможно потому восхотел Сын Божий воплотиться именно в среде евреев, что никто с такой силой, как они, не благословляли земного существования, чуда из чудес, дарованного нам Богом.

Здесь мы подошли к одному из важнейших мест в «Преступлении и наказании», к символу бездонного значения. К

нему приведет нас страшное решение Свидригайлова, все еще одержимого цинизмом и скептицизмом, наследием просветительного века.

«Ему все не спалось. Мало-помалу давешний образ Дунечки стал возникать перед ним и вдруг дрожь прошла по его телу. Нет, это уж надо бросить , — подумал он очнувшись, — надо о чем-нибудь другом думать. Странно и смешно: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной признак, дурной признак, дурной признак. Спорить тоже не любил и не горячился — тоже дурной признак! А сколько я ей давеча наобещал — фу, черт! *А ведь, пожалуй, и перемолола бы меня как-нибудь*» (Курсив мой — Г. М.).

Он опять замолчал и стиснул зубы: опять образ Дунечки появился перед ним точь-в-точь как была она, когда выстрелила в первый раз, ужасно испугалась, опустила револьвер, и, помертвев, смотрела на него, *так, что он два раза успел бы схватить ее, а она и руки не подняла бы в защиту, если бы он сам ей не напомнил. Он вспомнил, как ему в это мгновение точно жалко стало ее, как бы сердце сдавило ему*» (Курсив мой — Г. М.) «Э, к черту! Опять эти мысли; все это надо бросить, бросить! Он уже забывался».

Но правда ли, что если бы Дуня захотела, то, как он сам выразился, «перемолола бы его»? Ведь мог бы он схватить ее тогда, ведь стало ему жалко ее, ведь сдавило ему что-то сердце. Это *что-то* было натурой Свидригайлова, малым уголком его души, еще не зараженным грехом. Бывает так, что от малой искры жалости возгорается великая любовь. Но Дуня выбрала иную простую долю и была права. Становиться на путь самоотречения, истинного духовного подвига, мешала гордыня, ничуть не менее владевшая ею, чем ее братом. Странно, даже как-то дико сказать это, но чувствуется, но мерещится, что через миллионы миллионов световых лет в мире, «где нет для узнаванья здешних чувственных примет» встретятся очищенные от земных соблазнов души Дуни и Свидригайлова для совместной, новой, неведомой жизни.

Но чтобы не навлечь на себя справедливых упреков пси-

хологов и психиатров в потере чувства действительности, суровой и беспощадной, вернемся в «Адрианополь». Я не буду задерживаться на истории с бесовской мышью, привидевшейся в забытьи Свидригайлову, бегающей по постели зигзагами, вскочившей ему за пазуху и вдруг обратившейся во *что-то* шаркающее по телу, за спиной, под рубашкой. Уже приподнимается для Свидригайлова роковой краешек завесы, скрывающей от нас черный спуск к преисподней, к преддверию ада. Исчезла преграда между миром земным и миром потусторонним. Спал ли он тогда или только задремывал, определить невозможно. Да и не так это важно знать: решивший не только умом, но и в глубине сердца бесповоротно казнить себя, он *метафизически* уже совершил над собою казнь. Свидригайлов стал другим, не нашим. Теперь не к нему шли привидения, как это было недавно, но он сам невольно шел к ним навстречу, правда, еще лишь в забытьи, в полусне. Скоро, очень скоро все они превратятся для него в абсолютную реальность, нами до поры до времени непознанную. Он сам смутно чувствовал, что отходит от всего здешнего и что уже незачем жителям загробного мира, когда-то знавшим его на земле, приходить к нему теперь, оттого и подумал он с горькой иронией: «Ведь вот, Марфа Петровна, вот бы теперь вам и пожаловать, и темно, и место пригодное, и минута оригинальная. А ведь вот именно теперь-то и не придете». Да, ирония и цинизм, столь обычные для него, понемногу превращались в горечь; за ними стояло безысходное, безутешное отчаяние слабого человеческого существа, покинутого на самого себя, лицом к лицу с тайными силами, с бесовским колдовством, могущим во мгновенье ока обратить перед ним в развратную нахальную камелию девочку, по его вине, лежащую в гробу с улыбкой на бледных губах, полной какой-то не детской беспредельной скорби и великой жалобы. За это колдовство, за возможность такого наваждения отвечал перед Богом и людьми один Свидригайлов. Он своим преступлением мог бы толкнуть несчастную девочку, останься она жива, на разврат и душевное разложение. Счеты с жизнью у Свидригайлова кончались... Надеялся ли он,

подобно маркизу де Сад, на полнейшее свое исчезновение, на уход в небытие? Едва ли! Даже по собственному признанию он отчасти мистик и, если подлый скептицизм по-видимому истребил в нем веру в Бога, то о существовании загробных обителей он успел узнать кое-что на опыте. Всего печальнее в нем было то, что он сам в себе отлично учитывал: равнодушное отношение к ближним. Поэтому даже большой ненависти ни к кому никогда он не чувствовал, «мстить никогда особенно не желал, а это уже дурной признак, дурной признак, дурной признак!». В этих настойчиво трижды повторенных Свидригайловым словах чувствуется безысходная боль и запоздалое раскаяние. Он разменял, растратил душу по притонам грязнейшего разврата, погубил в карточной игре. Отсюда его здешняя и нездешняя неприкаянность. Он ни холодный, ни горячий, но и не теплый, не из тех, о ком сказано Богом: «вы всего только теплые и потому изблюю вас из уст Моих». Свидригайлов именно нерешенный, загадочный. Он — насмешка над самим собою, горькая ирония промотавшего душу человека. А достигшая подлинного трагизма насмешка, обращенная на самого себя, и есть духовная самоказнь, ведущая к своему фактическому наглядному осуществлению.

Сон о девочке, снившейся Свидригайлову в мертвенно желтой комнатушке, продолжался, наваждение росло и близилось к своему страшному завершению. «Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются». Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как! пятилетняя! — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, — это... что ж это такое?» Но вот она уже совсем поворачивается к нему всем пылающим личиком, простирает руки... «А, проклятая! — вскрикнул в ужасе Свидригайлов, занося над ней руку — ... Но в ту же минуту он проснулся».

Девочке, загубленной Свидригайловым, было четырнадцать лет, но она видится ему во сне пятилетней, в силу бесовского наваждения. Свидригайлову снится не сама четырнад-

цатилетняя девочка во плоти, но ее душа, еще не тронутая грехом. Совершая насилие, он надругался над духовной сущностью девственности. Насилием он сознательно или бессознательно пытался исказить образ Божий в невинном создании и теперь, смертный грех, созданный Свидригайловым, шел на него войной в образе дьявольского наваждения. А на столе осталась телятина, облепленная насекомыми, — символ мертвой плоти собравшегося покончить с собой Свидригайлова.

«Кошмар во всю ночь! — он злобно приподнялся, чувствуя, что весь разбит; кости его болели».

На последних минутах, оставшихся Свидригайлову до самоказни, необходимо задержаться, разбирая, по возможности подробно, авторские замечания. В «Преступлении и наказании» значительно каждое слово, но есть там такие подводящие внутренние итоги страницы, на которых, как на столпах, стоит все это творение, часто поддержанное изнутри каким-нибудь беглым намеком. А вот попробуйте не посчитаться с ним и для вас пошатнется все изумительно стройно возведенное здание.

Итак, Свидригайлов очнулся. «На дворе совершенно густой туман и ничего разглядеть нельзя. Час пятый в исходе; проспал! Он встал и надел свою жакетку и пальто, еще сырые. Нащупав в кармане револьвер, он вынул его и поправил капсюль; потом сел, вынул из кармана записную книжку и на заглавном, самом заметном листочке, написал крупно несколько строк. Прочитав их, он задумался, облокотясь на стол.Револьвер и записная книжка лежали тут же, у локтя. Проснувшиеся мухи лепились на нетронутую порцию телятины, стоявшую тут же на столе».

Эту «порцию» Свидригайлов сам заказал еще вечером оборванцу. Надо же было хоть что-нибудь заказать раз нанимаешь комнату в таком учреждении как «Адрианополь»; и без того оборванец вопросительно смотрел на странного промокшего на дожде пришельца, ожидая очевидно распоряжений посущественнее.

«Свидригайлов долго смотрел на мух, облепивших теля-

тину, и, наконец, свободною правою рукой начал ловить одну муху. Долго истощался он в усилиях, но никак не мог поймать. Наконец, поймав себя на этом интересном занятии, очнулся, вздоргнул, встал и *решительно пошел из комнаты. Через минуту он был на улице»*.

Что же это была за ловля мух? Не начиналась ли тут автоматизация обреченного или, что то же, обрекшего себя на смертную казнь человека? Судя по дальнейшим замечаниям Достоевского, на опыте познавшего душевное состояние ведомого на казнь, выходит именно так.

«Молочный густой туман лежал над городом. Свидригайлов пошел по скользкой, грязной, деревянной мостовой, по направлению к Малой Неве... С досадой стал он рассматривать дома, чтобы думать о чем-нибудь другом. Ни прохожего, ни извозчика не встречалось по проспекту. Уныло и грязно смотрели ярко желтые, деревянные домики, с закрытыми ставнями. Холод и сырость прохватывали все его тело, и его стало знобить. Изредка он натыкался на лавочные и овощные вывески и *каждую тщательно прочитывал*». — (выделено мною — Г. М.).

Совсем как Достоевский, по его собственным словам, когда везли его по городу на казнь! Подчеркнутое мною замечание автора, сделанное им как бы мимоходом, лишний раз показывает, что Свидригайлов идет не на самоубийство, но на самоказнь и потому чувствует и поступает, как приговоренный к смерти преступник.

«Вот уже кончалась деревянная мостовая. Он уже поравнялся с большим каменным домом. Грязная, издрогшая собаченка, с поджатым хвостом, перебежала ему дорогу. Какой-то мертво пьяный в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он поглядел на него и пошел далее. Высокая каланча мелькнула ему влево».

«Ба! — подумал он, — да вот и место, зачем на Петровский? По крайней мере при официальном свидетеле».

Вот снова подтверждение той же мысли о Свидригайлове: казнь происходит на публичном месте при официальных лицах. Так собирались казнить Достоевского на Семенов-

ском плацу. Но самоубийца, чтобы умереть, ищет укромного места.

«Он чуть не усмехнулся этой новой мысли (казнить себя, так сказать официально — Г. М.) и поворотил в -скую улицу. Тут-то стоял большой дом с каланчей. У запертых больших ворот дома стоял, прислонясь к ним плечом, небольшой человек, закутанный в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске. Дремлющим взглядом холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес, несколько времени молча рассматривали один другого. Ахиллесу, наконец, показалось непорядком, что человек не пьян, а стоит перед ним в трех шагах, глядит в упор и ничего не говорит».

Необычное положение, неправда ли? Но о совершенной неизбежности этой встречи, отплывающего в «Америку» Свидригайлова с «Ахиллесом» еврейского происхождения, написал Штейнберг в своей замечательной, во всех отношениях прекрасной статье, озаглавленной «Достоевский и еврейство». К сожалению, он, как Ин. Анненский в своем несравненном очерке о «Преступлении и наказании», остается лишь в ходе и развитии замысла Достоевского, в узоре его мыслей, не упоминая о том, что этот творческий узор мысли органически совпадает с непосредственным глубочайшим процессом жизни, с самой сущностью бытия. Свидригайлов перед смертью *не мог не повстречать* хотя бы ничтожного представителя еврейства и это не только по мистическим причинам, о которых так остро и умно говорит Штейнберг. У Достоевского не мысль создает некое подобие жизненных явлений, но сама жизнь рождает мысль. Иннокентий Анненский, несомненно, знал это лучше нас, но молчал: годы шли тогда предреволюционные, интеллигентские и заговорить по существу о религиозном процессе, положительном и отрицательном в творчестве Достоевского, было бы бесцельно. К тому же, даже Анненский, будучи человеком своего времени, был в некоторой мере отравлен проклятым скепти-

цизмом французского происхождения, подготовившим всероссийскую катастрофу. Но вернемся к Свидригайлову и представителю еврейства «закутанному» в серое солдатское пальто и в медной ахиллесовой каске.

— А зе, сто зе вам и здеся на-а-до? — проговорил он все еще не шевелясь и не изменяя своего положения.

— Да ничего, брат, здравствуй! — ответил Свидригайлов.

— Здеся не места.

— Я, брат, еду в чужие краи.

— В чужие краи?

— В Америку.

— В Америку?

Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок.

Ахиллес приподнял брови.

— А зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места!

— А почему же бы и не место?

— А потому-зе сто не места.

— Ну, брат, это все равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так отвечай, что поехал, дескать, в Америку.

Он приставил револьвер к своему правому виску.

— А-зе, здеся нельзя, здеся не места! — встрепенулся Ахиллес, расширяя все больше и больше зрачки.

Свидригайлов спустил курок».

Если касаться здесь лишь одного разговора Свидригайлова с еврейчиком с каской пожарного на голове, то согласно справедливому утверждению А. З. Штейнберга выйдет, что, по Достоевскому, имеет право на существование только тот, кто несет в себе *живую жизнедеятельную* идею нации, неотъемлемой частью и представителем которой он состоит и хочет состоять. Никакой созидательной идеи у Свидригайлова, истощившего себя в разврате, нет. Потеряв, в лице Дуни, последнюю надежду на спасение, он отвернулся от жизни окончательно. По очень верному замечанию А. З. Штейнберга: «Свидригайлов возмущен до последней глубины идеей вечности или бессмертия, как дурной бесконечности, он восстает против вечного шага на месте, против вечного возвраще-

ния». Этим, добавлю от себя, он обнаруживает свою связь с русским ницшеанством до Ницше, недаром он двойник Раскольникова.

От мыслей о вечном возвращении можно сойти с ума, как сошел Иван Карамазов и впоследствии Ницше, или покончить с собою. Свидригайлов выбирает второй выход из расставленной ему самим чертом ловушки. Однако мы знаем, что не одни мысли о вечном возвращении сводят Свидригайлова в могилу и не они одни вызывают с его стороны неизбежность встречи с ничтожным на вид представителем еврейства. Все же эти мысли, соблазнявшие Свидригайлова, чрезвычайно сильно содействовали ее осуществлению. «И какая встреча, — пишет А. З. Штейнберг как бы от лица самого Достоевского, — могла бы нагляднее воплотить перед ним (Свидригайловым) всю бессмыслицу существования, нежели встреча, с от века призрачно существующим евреем, с Вечным Жидом! Подобно ручному «попугаю», он твердит везде и всегда свое жалкое: «здеся не места» — не место умирать, не место восстания против закона жизни и его непреложности. Пусть призраки скорбно довольствуются таким отрицательным утверждением жизни — *истинно живой* (курсив мой — Г. М.) — предпочитают этому проклятию самосохранения полное самоуничтожение. Лишь тот, кто не влеком своим Богом подобно жертве бессловесной, а сам пролагает Ему и помазанному Им Строителю путь вперед, имеет обязанность и право жить».

Эти строки очень точная и верная передача А. З. Штейнбергом того, что между прочим действительно думал и чувствовал Достоевский, когда писал о последних минутах Свидригайлова и создавал символ своего Ахиллеса еврейского происхождения. Но, кроме этого, было еще нечто очень важное за Свидригайловым и Ахиллесом во время их встречи и разговора. Ведь, скажи Дуня при свидании хоть одно ласковое слово Свидригайлову, страшная мысль о вечном возвращении, о дурной бесконечности если бы и не покинула его совсем, то сильно пошатнулась бы в его голове, а там, может быть, он оказался бы прав, предполагая, что Ду-

ня перемолола бы его как-нибудь. Но Дуня истинного подвига совершить не хотела и не могла, и Свидригайлов погиб от тайных угрызений совести и безысходного отчаяния. Человек, уже порвавший связи со всем земным, стоял перед Ахиллесом. Нет, не живое начало, а душевная опустошенность Свидригайлова неизбежно вызвала его встречу с Ахиллесом — представителем еврейства, утратившего навсегда, по мнению Достоевского, свою мессианскую идею и потому обратившегося в призрак, все еще бессмысленно жаждущий длить свое земное существование. Однако поставить на этом точку мог бы кто-нибудь другой, но никак не Достоевский, слишком хорошо и глубоко ведавший, что такое противоречие в духе. За явной опустошенностью Свидригайлова стояла невидимая, на первый взгляд, причина его самоказни и страшного, может быть дикого самопожертвования: он пал искупительной жертвой проклятого русского ницшеанства до Ницше. А убогий Ахиллес — представитель еврейства — якобы не имевший явных оснований жаждать жить, хоть и не был признанным мыслителем, но твердил свое мудрое «здеся не места» — нельзя умирать, надо жить, и такое утверждение есть величайшая благословенная *правда*.

Раскольников низко пал и был близок к полному отчаянию, но к нему приходит его враг-друг, Порфирий Петрович, с великим утешением, с советом признаться перед властями в своем преступлении и *безоглядно довериться течению жизни*. «А вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни, прямо, не рассуждая; не беспокойтесь — прямо на берег вынесет и на ноги поставит. — На какой берег? А я почем знаю? Я только верую, что вам еще много жить».

Мы христиане полагаем, что еврейство стоит сейчас в духовном отношении не высоко. Но тогда откуда берется у него и теперь непреодолимая воля к существованию? Вот неразрешимая тайна этой поистине загадочной нации. Говоря так, я, конечно, имею в виду не международных евреев, прочно оседлавших золотого тельца, но глубочайшие недра еврейской нации. Жизнь и воля к жизни даются нам не духом небытия — дьяволом, но Богом, и не попусту дышет тот,

кто хочет быть. Лучше кого бы то ни было знал и чувствовал это Достоевский. В своей статье о евреях, признанной антисемитской крайне ограниченными подслеповатыми, вроде Лебезятникова, людьми, он пишет: «Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, и окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди... И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков и теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение стоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое мировое и глубокое, о чем может быть человечество еще не в силах произнесть свого последнего слова... Евреи народ беспримерный в мире».

Так вот откуда эта ни с чем несравнимая по силе еврейская жажда жить! Приведенные мною сейчас слова Достоевского приводит и А. З. Штейнберг в своей статье «Достоевский и еврейство», задавая вопрос: «Слыханное ли дело, чтобы «антисемит» говорил таким языком?»

Допустимо ли вообще наклеить на Достоевского такой гнусный уличный ярлык? Только глупостью и бессовестностью тех, кто это делает, можно объяснить подобный поступок. Истинная элита еврейства — еврейская нация чувствует и сознает себя носителем еще не явленной миру величайшей и *непременно религиозной идеи.* «Да и нельзя, повторяю я, — пишет Достоевский, — даже и представить себе еврея без Бога».

Непосредственно из этого утверждения появилось у Достоевского бранное и не совсем приличное словечко «жид». Еврей, отрицающий Бога, обращается в жида, предателя собственного народа. При неистовости, свойственной автору «Дневника писателя», брань разрастается и часто справедливые, но еще чаще несостоятельные, уличения современных евреев во всевозможных грехах и пороках, возникают в изобилии. Из всех народов, евреи, по вполне понятным причинам, болезненнее всего отзываются на упреки и обвинения. О пореволюционной атеистической Франции Достоевский написал статью, куда более меткую и ядовитую, чем о евреях,

однако французы не считают его заядлым франкофобом, памятуя, что в других статьях он называет их гениальной нацией, даровавшей человечеству неоценимые сокровища. Все нации должны были бы простить Достоевскому нападки и уличения, подчас неотразимо верные, а иногда граничащие с клеветой, если бы при этом он ясно и четко, в своих публицистических писаниях, оговорил и наши русские самые главные пороки, из которых наиглавнейший — непревзойденное хамство. Слово лишь тогда крепко удерживается в языке, когда оно определяет что-либо постоянное, присущее данному народу. Ни на одном языке, кроме русского, нет понятия: хамить, хам, хамлюга, хамлю и даже хамка. Неизбывное хамство породило русскую революцию, упорно искавшую в течение целого столетия растоптать Россию. Грядущее царство хама, о котором писал Мережковский, ныне стало явью и началось именно в России. И нам все еще не дано знать, кто же окажется прав: Достоевский ли с его пламенным желанием верить, что среди русского народа-богоносца совершится Второе Пришествие, или величайший русский мыслитель Константин Леонтьев, вполне допускавший возможность воцарения антихриста прежде всего в России. Вести, ныне доходящие до нас из царства хама, подтверждают как будто правоту Достоевского. Но кто знает? Утешительно лишь то, что Достоевский, до конца преодолевший в себе всяческого рода идеализм, никогда не забывал при случае щелкнуть сентиментально доверчивого Шиллера. Говоря далеко недвусмысленно в своем творчестве о русских тяжких грехах и пороках, Достоевский далеко не достаточно касался их в публицистических статьях и потому легко сходил за шовиниста, за ксенофоба. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Так бывало с Достоевским; творя, он забывал об идее, становился великим художником и пророком и тогда его ум и сердце постигали все и всех в свете неугасимой правды.

Типично русский грязный цинизм и занесенный к нам из Франции досужими барами подлейший скептицизм поро-

дили в Свидригайлове серую непреодолимую скуку. Она-то и есть мерзость запустения, ведущая душу и тело к разврату, а дух к замене вечности ложным чувством дурной бесконечности, шагом на месте, идеей вечного возвращения. Русский цинизм и нигилизм стары, как сама Русь, от них бунт ради бунта, берущий свое начало в темных закоулках души, потом часто проявляющий себя во вне пролитием крови, лютым безобразием и неизменно кончающийся бесовским ощущением ужасной вселенской пустоты бытия. Бог сотворил мир из ничего. Впавший в смертный грех человек силится победить собственную пустоту путем самоутверждения, стать уже не человеком но неким черным богом, иначе сверхчеловеком-*человекобогом*. Но нельзя гордыней преодолеть пустоту, и наших ницшеанцев всех классов и сословий поглощала скука. Скучал Стенька Разин, скучают Свидригайлов, Ставрогин, Печорин, скучал Лермонтов от шага на месте в созданной им злостной самозамкнутости.

Свидригайлов — русский ницшеанец не по идеям, которые он вообще презирал, но что гораздо важнее, по мирочувствию и мировосприятию. В душе его теперь водворилась мерзость запустения, олицетворенная для него в предсмертный час тем, что он увидел, выйдя ранним утром из «Адрианополя» на улицу. Унылые, грязные домики, ни прохожего, ни извозчика, грязная издрогшая собаченка, перебежавшая ему дорогу — символ его жалкой, беспомощно потерявшейся души и «какой-то мертво-пьяный, в шинели, лицом вниз лежащий поперек тротуара». Этот мертво-пьяный аноним, ужасный безымянный символ окончательной утраты Свидригайловым и веры и надежды.

Человек, приговоривший себя к смерти, натолкнулся на распростертое существо в шинели. «Он поглядел на него, — замечает Достоевский, — и пошел далее». Судьба Ивана Карамазова, сошедшего с ума, все же не так безнадежна на земле. Идя к Смердякову на свидание, он повстречал пьяного мужика, шедшего домой на бровях, как говорится о проглотивших несчетное количество «рюмашек», и в ярости столкнул его с дороги в снег, но возвращаясь подобрал замерзаю-

щего пьянчугу и спас от гибели. Такой поступок показывает, что Иван еще не порвал тайных нитей, соединяющих его духовно с российскими недрами и что поэтому уже грозившее ему тогда помешательство будет временным. Он еще не отпал от жизни и она, явная, непосредственная, как мужик, во плоти, не отвергала его. Не то с Свидригайловым. Мертвецки пьяный аноним в шинели сам вероятно давно оторвался от родимых российских истоков и лежал бесчувственный на улице в городе канцеляристов и всевозможных семинаристов. Сраженное алкоголем существо, конечно, и думать позабыло о мужицкой сермяге, чудодейственно исцелившей Достоевского от теорий «знатного иностранца» Фурье и бредней «сопляка» Белинского. Свидригайлов, к счастью для себя, никогда не имел прямого отношения ни к Фурье, ни к «этой сопле», как называл Достоевский Белинского, а был он русским барином, промотавшим на разврате деньги и душу и погибшим от крайнего самоутверждения, скорее инстинктивного, чем сознательного. Промотавший душу лишается, в той или иной мере, личности, становится безымянным существом. На улице поперек тропы для пешеходов лежал икс, а поглядел на него и прошел мимо игрек, увидевший тотчас вслед затем высокую каланчу и Ахиллеса в каске. На лице этого пожарного стража «виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечаталась на всех без исключениях лицах еврейского племени». Словами «брюзгливая» и «кисло» Достоевский как будто пытается умалить глубочайшее жизненное и мистическое значение этой особой вековечной еврейской скорби. Поступая так, он проявляет большую художественную чуткость. Нельзя самым прямолинейным образом возложить груз четырех тысячелетий на плечи какого-то щупленького еврейчика, быть может даже и глуповатого. А все же великая книга Бытия, им не сознанная, жила у него в крови и подавала весть о себе в его беспомощном бормотании: «А и здеся не места» — нельзя самовольно умирать, надо жить и нести Бога в своем сердце, пусть ожесточенном гонениями и омраченном непомерной еврейской гордыней. Но евреи, — говорит Розанов, — научили нас всех

молиться. В их среде родился Богочеловек, трагически ими непризнанный до времени. Самоказнь Свидригайлова, на глазах у ничтожного по внешности еврейчика — не что иное в творчестве Достоевского, как первый удар по русскому человекобожеству, так долго и упорно соблазнявшему нас, на миг показавшему в «Бесах» при смерти Кириллова свой звериный лик и, под именем Ставрогина, покончившему с собой в намыленной петле. Из всех человеческих встреч в творениях Достоевского самая многозначительная и многознаменательная — это встреча Свидригайлова с убогим Ахиллесом: в ней чуется присутствие Христа-Богочеловека, воспринятого в чудовищно искаженном виде русским великим грешником, возжелавшим самоказнью искупить свои преступления, но совершенно бессознательно создавшим таким своевольным поступком карикатуру на распятие Божественного Человеколюбца. А бедный еврейчик, подавленный тяжким грехом своих жестоковыйных предков, отрекшихся, пусть только временно, от истинного Мессии, обречен, так же совершенно бессознательно, твердить в защиту данного нам Богом бытия свое беспомощное «не мозна». Но беспомощных, несчастных, не сознающих, и не умеющих даже толком покаяться, наверное, прощает Христос и Мать-Земля.

В те самые часы, когда в «Адрианополе» терзал Свидригайлова «кошмар во всю ночь», «Раскольников бродил под дождем по городу. На следующий день вечером, возвратившись в свою каморку, уже после свидания с матерью, он застал там Дуню и на вопрос ее: — Где же ты был всю ночь? — отвечает: — Не помню хорошо; видишь, сестра, я окончательно хотел решиться и много раз ходил близ Невы; это я помню. Я хотел там и покончить, но... я не решился... прошептал он, опять недоверчиво взглядывая на Дуню.» Но сестра возразит ему на это, как и подобает, истинно живой все еще живому:

«— Слава Богу! А как мы боялись именно этого, я и Софья Семеновна. Стало быть, ты в жизнь еще веруешь; слава Богу, слава Богу!».

«Раскольников горько улыбнулся.

— Я не веровал, а сейчас вместе с матерью, обнявшись, плакали; я не верую, а ее просил за себя молиться. Это Бог знает, как делается, Дунечка, и я ничего в этом не понимаю.»

Ну, а кто понимает, как это делается. Уж не психологи ли и психиатры во главе с Фрейдом и его, по духу, двоюродным братом Карлом Марксом?

Отравленный рассудок идейного убийцы, к счастью, даже не пытается что-либо тут понять и Раскольников ничего не знает о том, что он верует и в жизнь и в Бога, но знает всем существом своим, что хочет жить, а следовательно надеяться и веровать. Поэтому в решающую минуту он отшатывается от Невы и бессознательно направляется к матери, как будто ноги сами собою ведут его к ней. Ноги его стали свободны от пут, потому что Свидригайлов, окончательно и бесповоротно решив казнить себя, исполнил свое намерение. Уходя в мир иной, он взрывает основы русского ницшеанства своего двойника, лишает Раскольникова всякой опоры на пути к полному и безбожному своеволию. Свидригайлов и Порфирий духовно содействуют спасению Раскольникова. Дуня, обращаясь к брату, повторяет, сама того не ведая, великую истину, высказанную Ахиллесом Свидригайлову, а Порфирием Раскольникову: «Стало быть ты в жизнь еще веруешь: слава Богу, слава Богу!» Иными словами: люби жизнь и помни, что самовольно умирать «не мозна», и лучше всего отдаться жизни не рассуждая, «тогда она прямо на берег вынесет и на ноги поставит.» Но до этого Раскольникову еще очень и очень далеко. Злая идея крепко засела в его рассудке. Она, хотя и тяжко ранена самоказнью Свидригайлова, но питаемая гордыней убийцы, умирать не хочет. Ноги Раскольникова ведут его «натуру» к родной матери, к Соне, к общей нашей матери-земле, сердце его ищет прощения и примирения, но одержимость теорией не шутка, а Бог, хоть и милосерд, но прав, и за содеянное преступление влечет человека по темным лабиринтам угрожающих испытаний и мытарств.

Неутолимая жажда жить отшатнула Раскольникова от самоубийства и, прежде всего, повела его, ничего не понимающего из того, что с ним теперь делается, к родной матери, Пульхерии Александровне — к породившей его малой частице нашей общей родительницы — земли.

Наклонностей к теоретическим выкладкам у Пульхерии Александровны было не больше, чем у Пульхерии Ивановны из «Старосветских помещиков» Гоголя, зато обладала она чутким и любящим сердцем, способным постигать то, что ускользает от чрезмерно рассудительных и разумных особей, от преданных умственным спекуляциям индивидов, начиная, хотя бы, с Лужина и Лебезятникова и кончая Огюстом Контом и Спенсером или нашими отечественными разумниками Герценом и Михайловским, веровавшими в прогресс и силу рассудка пуще, чем темный мужик верует в Господа Бога.

В тот же день, когда на рассвете Свидригайлов казнил себя, «Раскольников, уже вечером, часу в седьмом, подходил к квартире матери».

«Костюм его был ужасен: все грязное, пробывшее всю ночь под дождем, изорванное, истрепанное. Лицо его было обезображено от усталости, непогоды, физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собой. Всю эту ночь провел он один, Бог знает где. *Но по крайней мере, он решился*». (Курсив мой. — Г. М.).

К словам «он решился» Достоевский здесь ничего не добавляет и лишь гораздо позднее одним, внезапно сделанным, потрясающим замечанием раскрывает основную, мистическую причину, дающую Раскольникову возможность осуществить решение. Однако, сам Раскольников полагал тогда, что собирается и будет действовать ни от кого и ни от чего независимо. Но об этом поговорим потом, пока же отмечу только, что роковая ночь перед смертью Свидригайлова и решением Раскольникова окончательно сближает духовно этих двойников, русских ницшеанцев до Ницше, сближает вплоть до внешних примет — промокшей одежды и крайней физической усталости. Но великая разница между ними в

том, что для Свидригайлова то была на земле последняя ночь, а для заново зарождающегося Раскольникова — *первая*. Да, в недрах этой петербургской ночи, обезображенной бурей, как было обезображено мукой лицо идейного убийцы, зачинался новый Родя, намечалась в глубине глубин его духовная завязь. Она то теперь и направляла преступника прямо к родной матери, к наивной по детски, как сама природа, Пульхерии Александровне, мало что сознающей разумом, но обладательнице женственного высшего сознания, присущего матери-земле. А то, что родительница Родиона Раскольникова и наша общая родительница — земля неотделимы друг от друга и даже по отдельности немыслимы одна от другой, ясно чувствуется в течение всей встречи преступного сына с матерью, как бы оглушенной и погруженной в темноту страшным отпадением ее детища от света. Но в темноте и оглушенности высшее сознание Пульхерии Александровны постигало некую правоту. И так же несомненно поражены были Дуня и Разумихин, долго скрывавшие все от бедной матери, когда уже через десять месяцев после отъезда Раскольникова на каторгу, тяжело заболевшая Пульхерия Александровна обронила в бреду, умирая, «слова, по которым можно было заключить, что она гораздо более подозревала в судьбе сына, чем даже предполагали». Этой, не совсем ловко построенной фразой, Достоевский выразил нечто для него очень важное, а именно свою веру в то, что всякой матери, по примеру матери-земли, даровано небом особое зрение, очень часто исходящее «рассудку вопреки», но совсем не «наперекор стихиям», а в полном согласии с ними, из аксиомы: дважды два — пять.

Коротенькой, однако когтистой и рогатой, идейкой, крепко и цепко засевшей в голове Раскольникова, казнил Достоевский собственную безумно, нелепо и преступно растраченную молодость. На примере Раскольникова он показал нам свое внутреннее, духовное, но только еще первичное, начальное падение. По сравнению с дальнейшим, вторичным падением Достоевского, кровавая идейка и преступление Раскольникова кажутся нам, хоть весьма злостны-

ми, все же лишь неумелым, любительским заигрыванием с бесом, и чем-то очень далеким от творимого по повелению подпольного коллектива — зла. Свое вторичное ужасающее падение Достоевский заклеймил, вызвав из преисподней, силою художественного творчества, мелкого беса, принявшего облик Петра Верховенского. Поразительна при этом, беспощадность, проявленная Достоевским к самому себе. Ведь роль лакея при Ставрогине, добровольно взятая на себя Петром Верховенским, вольно или невольно разыграл юный Достоевский при своем сотоварище по революционному подполью, некоем Спешневе, принятом тогда будущим автором «Бесов», за таинственного гения и неотразимого красавца, оказавшемся впоследствии во всех отношениях совершеннейшим нулем. Впрочем, к кому же из русских подпольщиков по призванию не применим припев немудреной песенки: «Буль, буль, круглый нуль». Русская революция, подготовленная нашими нигилистами или, выражаясь проще «ничевохами», не что иное, как попытка духа небытия водвориться на земле. Как восстал Достоевский из величайшей мерзости революционного запустения, нам неведомо. Сам он до скончания своих дней, не нашел слов выразить это. Да и возможно ли рассказать о том, как умерший воскресает из мертвых. В языках человеческих для многого, слишком многого, нет определения. «Людские так грубы слова, их даже нашептывать стыдно», — сетовал Фет. Баратынский дал жене «своенравное прозванье» — символ чувств, «которым выраженья» он не нашел в языках. Но, говорит Случевский, «для многих чувств нет меры, нет закона и прозвищ нет». Труднее всего передать словами мгновение, когда перед взором ищущего и алчущего вдруг встает дотоле неведомый мир. А это происходит всегда неожиданно и мгновенно, хотя потом долгие годы продолжают раскрываться перед вопрошающим все новые и новые области внезапно представшего мира. О невозможности уловить в словесные сети это первичное мгновение как раз и говорят наши поэты. Так же точно Достоевскому было бы легче написать всю историю своего восстания из мертвых, чем

запечатлеть его первый миг, навсегда оставшийся для всех непостижимым чудом. Перед тем, что свершается за пределами закона, язык немеет. Ничего существенного не сообщил нам Достоевский и о внезапном прозрении Раскольникова, ослепшего в грехе. Зато мы знаем по ходу и развитию всего повествования в «Преступлении и наказании», что постепенно подготовляло и неминуемо должно было привести идейного убийцу к отказу от злой теории и, наконец, к раскаянию. Но единственный решающий миг духовного преображения вчерашнего злодея неизъясним. Нам не дано постичь, почему не кто-нибудь другой, но вот именно *этот* человек делается избранником Бога, почему Савл, гонитель христиан, одобряющий побиение камнями святого Стефана, Савл, как сказано в Писании «терзавший Церковь», был избран Самим Христом в апостолы и «внезапно осиял его свет с неба» Тот же вопрос — сохраняя всю разницу расстояний и размеров — должно задать о Достоевском и на многие «почему» здесь можно было бы ответить с ясностью, но миг обращения недавнего сообщника подпольных интеллигентов в Божьего избранника, на веки вечные останется непостижимым и неизъяснимым.

СОДЕРЖАНИЕ

Георгий Андреевич Мейер 5

Топор Раскольникова 15

Дух глухой и немой 87

Хождение по мукам 149

Свет в ночи 221

Сон и его воплощение 271

Человек из-под земли 309

От скандала к трагедии 349